

А
ИОН

ЛЕЙХТВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА • 1965

Ф ИОН ЕИХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией
А. Дымина, Б. Сучкова,
С. Тураева и А. Чаковского*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

Ф ИОН ЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

ИЗГНАНИЕ
Книга 3

СИМОНА

Переводы с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

И(Нем)
Ф36

LION FEUCHTWANGER
EXIL

Roman

1939

SIMONE

Roman

1945

Примечания

Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКОЙ

ИЗГНАНИЕ

Р О М А Н

*Перевод с немецкого
И. Горкиной и Р. Розенталя*

Книга третья

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

И люди будут издыхать
от страха и ожидания бедст-
вий, грядущих на вселенную.

Евангелие от Луки

1. ГОЛУБОЕ ПИСЬМО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.
2. АННА ПОСТАВИЛА ТОЧКУ.
3. СОЛИДАРНОСТЬ.
4. СМЕЛЫЙ МАНЕВР.
5. ИСКУШЕНИЕ.
6. «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
7. ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ НА ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ.
8. БИТВА ХИЩНИКОВ.
9. ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ.
10. ТЕРПЕНИЕ. ТЕРПЕНИЕ.
11. «ПОЛЗАЛ БЫ ВАЛЬТЕР НА БРЮХЕ...»
12. УПЛЫВАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ.
13. ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОГО ДЕЛА.
14. ОН РЕШИЛ СТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫМ НЕГОДЯЕМ.
15. КОСТЮМ НА НЕМ БОЛТАЕТСЯ, КАК НА ВЕШАЛКЕ.
16. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, XXІ, 26.
17. НЮРНБЕРГ.
18. ГЕЙЛЬБРУН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ.
19. ВВЕРХ СТУПЕНЬКА ЗА СТУПЕНЬКОЙ.
20. ВЕКСЕЛЬ НА БУДУЩЕЕ.
21. МАДАМ ДЕ ШАСЕФЬЕР СНИМАЮТ СО СТЕНЫ.
22. ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА.
23. СЧАСТЛИВЧИКИ.
24. КОРОЛИ В ПОДШТАННИКАХ.
25. ДОБРЫЙ ПЕТУХ ПОЕТ УЖЕ В ПОЛНОЧЬ.

Глава 1

ГОЛУБОЕ ПИСЬМО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Зепп еще не успел выйти из редакции «ПН», как уже пожалел о своей опрометчивости. Ведь он так твердо решил не отзываться на провокационные выпады коварного Гингольда — и все же пятиминутного разговора с ним оказалось достаточно, чтобы он, Зепп, бросил ему в лицо заявление об уходе. Сказать этому псу, этому зазнавшемуся тупице «я ухожу» было, конечно, огромным удовольствием, усладой для сердца. Но услада куплена слишком дорогой ценой, а если сравнить ее с горем, которое он накликал на себя и на Анну, нельзя не признать, что он за нее здорово переплатил.

Всю дорогу домой Зепп мучился угрызениями совести. А он еще так хвастливо заверил Анну, что его положение в редакции прочнее прочного. И вот — извольте радоваться. Великолепным ударом он подрубил сук, на котором сидел.

В «Аранхуэс» Зепп пришел необычно рано; ни Анны, ни мальчика не было дома. Расстроенный и недовольный, сидел он в заново обитом кресле. Зло на собственную глупость грызло его все сильнее. Он попросту нежизнеспособен, он никогда не поумнеет. Ему непременно нужно настоять на своем, вместо того чтобы послушаться Анны. Сперва он своим диким упрямством сорвал переезд в Лондон, а потом еще сам лишил себя

жалкой должности в «ПН». Теперь на Анну ляжет вся забота о том, чтобы не пойти ко дну вместе с ним и с мальчиком.

Зепп представляет себе, как он сидел бы теперь — если бы не эта дурацкая выходка — в редакции «ПН», как он в последний раз отбелил бы пародию на речь фюрера и продиктовал ее Эрне в окончательной редакции. Он дрожит от бешенства при мысли, что речь теперь вообще не появится в печати. «От этого гада вонь идет», — говорит он намеренно вульгарно и поднимает злые глаза на красивые стенные часы, тиканье которых сегодня раздражает его так же сильно, как обычно радует и бодрит.

«Да это же игра фантазии». Вдруг в нем зашевелился врожденный легкомысленный оптимизм. «Все это сплошная комедия. Кто же будет рассматривать необдуманно вырвавшиеся у меня слова как серьезное заявление об уходе? А если и будет — тем лучше. Ни один суд не признает правоту Гингольда. То, что я сказал, — это *façon de parler*¹, а никак не юридический акт. Гейльбрун быстро уладит дело и, быть может, уже уладил».

Так он успокаивает себя и уже видит хорошие стороны в том, что произошло. У него неожиданно оказалось несколько часов досуга. Он радуется, как радовался мальчуганом неожиданным каникулам. Садится к роялю. Сейчас он в форме, сейчас тиканье часов помогает ему, рождается музыка, настоящая мелодия, та, которую он искал для одной из песен Вальтера фон дер Фогельвайде, мелодия, которая давно уже бродит в его мозгу. Он лукаво посмеивается. Он хитро освободил себе полдня для музыки — вот и все. Да, инстинкт никогда не подводит его.

В стихах Вальтера есть какая-то сила, ему, Зеппу, они особенно близки. Как хорошо, что он может наконец написать к ним музыку. «Ползал бы Вальтер на брюхе, /как бы он был вам мил/, в почете и славе бы жил! /Но радость не живет со славою такой. /Рифмуются они, как задница с луной./ А Вальтер все поет, и песнь его вольна».

¹ Манера выражаться (франц.).

Да, так бывает со всеми. Если не ползаешь на брюхе перед сильными мира сего, все идет прахом. Но остается единственно истинное — петь то, что хочешь, «ту песнь, что льется из груди». Зепп в задумчивости останавливается, губы у него плотно сжаты, что придает напряженное и немного комическое выражение линии рта; затем снова начинает бегать из угла в угол. Он проигрывает свою мелодию на пианино, пишет, сопит, он необычайно весел.

Таким его застает Анна. Он ждет, что она сейчас спросит его, почему он так рано дома. Но Анна ушла в себя, почти не разговаривает. И понятно: ведь она расстроена тем, что столь милый ее сердцу лондонский проект провалился. Как бы получше преподнести ей историю с Гингольдом? Раз она ни о чем его не спрашивает, пожалуй, умнее будет вовсе ничего не рассказывать. Она склонна видеть все в черном свете и создавать себе напрасные страхи; к тому же инцидент, надо думать, уже улажен. К чему беспокоить ее.

Настроение Зеппа, омраченное всеми этими сообщениями, снова поднимается. Он чувствует себя немного виноватым перед Анной, ему хочется быть с ней милым, ласковым, и он, не обращая внимания на ее сдержанность, весело болтает. С еще не остывшим пылом он сыграл и пропел своим резким фальцетом новые строфы Вальтера фон дер Фогельвайде. Он точно знает, во что должны отлиться эти песни, но пока еще ни одна не удалась ему по-настоящему. А эта песня приблизительно отвечает тому, что носилось в его воображении; в ней — и гордость, и смелость, и дерзость, и веселье. Конечно, она еще не готова, Зепп взыскательный художник, но песня ему удалась, это уже ясно.

Анна вслушивается. У нее чуткий слух, особенно чуткий к музыке ее Зеппа; тогда, несколько недель назад, она поняла, что песни Вальтера Зеппу «не удались», но теперь она отлично слышит, как хороша сыгранная им новая песня. Улавливает и недостатки ее. Сыграй ей Зепп эту песню в другое время, сердце прыгало бы у нее от радости. Конечно, она не удержалась бы от критических замечаний, советов. Началась бы ссора, оба они горячились бы, и дело кончилось бы примирением;

ведь он знает, что никто в мире не разбирается в его музыке лучше Анны. Но сегодня она не в силах отнестись к нему так, как бывало раньше, он слишком глубоко ранил ее, невероятно глупо было отвергнуть лондонский план. Не ангел же она, не может она все забыть, будто ничего и не было. У нее нашлись слова одобрения, но они прозвучали вяло, нет у нее сил давать советы, раздражать критикой обидчивого Зеппа. Он настаивает: пусть она скажет, что еще несовершенно, не наполнено содержанием. Но Анна отвечает полусловами, она очень устала. Его воодушевление падает, он оскорблен.

Следующий день был воскресный.

В Германии воскресенье не было для Анны приятным днем. Магазины закрыты, театры и кино переполнены, у кухарки и у горничной — выходной день. Здесь, в Париже, Анна поняла, что такое праздник. Можно выспаться, Зепп дежурит только раз в две недели, она в этот день больше обычного бывает с ним и с сыном. Лишь в эмиграции она постигла, какое счастье располагать своим временем.

Но это воскресенье было для обоих серым днем. Зепп — натура открытая, его грызет, что он так и не рассказал Анне историю с Гингольдом. Он колеблется: не исправить ли свою ошибку. Ему и хотелось бы этого, но у него как-то не поворачивается язык. Он придумывает всевозможные доводы. Раз он молчал вчера, то сегодня уже неловко вдруг взять да и выложить всю правду. Могло бы показаться, что у него совесть нечиста, и всему этому делу было бы придано значение, которого оно, по существу, не имеет.

И он продолжает молчать, ему тяжело и неловко, эта нелепая история стоит между ним и ею.

Анна, занятая собой, сначала не обращает внимания на его принужденность и наигранное оживление, но, разумеется, мало-помалу начинает замечать их; по-видимому, что-то случилось, она объясняет его странное поведение раскаянием. Ему жаль, что он с такой ребяческой запальчивостью разрушил ее лондонские планы. Раскаяние Зеппа она предвидела. Но благоразумие и на этот раз, как всегда, пришло к нему слишком поздно. Сколько можно было, она оттягивала ответ Вольгемуту,

но он заседал на нее, в конце концов ей пришлось сказать свое «нет», и теперь уж ничего не поделаешь.

Впрочем, Вольгемут вел себя как нельзя более порядочно. Обещал выплатить ей не только жалованье до конца квартала, но и сверх того значительную сумму в виде премии. Он, конечно, рад-радехонек, что она отказалась ехать в Лондон и что он может взять с собой Элли Френкель. Несмотря на подавленность, Анну почти растрогало, что Вольгемут из всех сил старался не показать ей, до чего он обрадован ее отказом.

Анна охотно рассказала бы обо всем этом Зеппу и поговорила с ним. Но боялась, что, коснувшись лондонской темы, не выдержит и возмущение непостижимо глупым упрямством Зеппа перельется через край. Она знает себя и знает его, ничего, кроме ссоры, из этого не вышло бы. Что уплыло, то уплыло, и чего не воротить, того не воротить. К чему говорить друг другу злые слова? И она проглатывает свое негодование. Правда, заставить себя сверх того еще мило улыбаться — нет, на это она уже не способна.

Но то, о чем он умолчал, и то, чего она ему не сказала, встало между ними стеной; уныло тянулся воскресный день, и оба были рады, когда он прошел.

В понедельник утром Анна ушла на работу, Ганс — в свой лицей, Зепп остался дома один.

Он решил отправиться в редакцию и вести себя так, будто ничего не случилось. Он поговорит с Гейльбруном. Тот его отчитает, Зепп примет все упреки без возражения; он их заслужил, но серьезно решил исправиться. Только он собрался уйти, как явился почтальон.

— Распишитесь, пожалуйста, — сказал он, подавая Зеппу заказное письмо.

Отправителем на конверте значились «Парижские новости».

Зепп держал письмо в руке: удивленный, встревоженный, он медлил вскрывать его. Что это, быть может, редакция должна ему деньги? Или ему хотят сообщить, что не принимают всерьез вырвавшиеся у него слова и рассчитывают на его сотрудничество? Но почему бы не воспользоваться телефоном?

Впрочем, зачем так долго гадать о содержании письма? Надо только прочесть его.

И, однако, он не распечатывает письма, он стоит, задумавшись, в неловкой позе, разглядывает серовато-голубой конверт и думает: «Какой уродливый штамп. Можно бы за те же деньги иметь что-нибудь покрасивее. Странно, что редакция вступила со мной в переписку».

Вдруг в порыве внезапного нетерпения он разорвал, смял конверт. И прочел:

«Многоуважаемый господин профессор. Порядка ради имеем честь письменно подтвердить, что мы приняли к сведению и удовлетворили Вашу просьбу об увольнении, выраженную восьмого августа сего года. Позволяем себе одновременно выписать Вам оклад за август месяц, по тридцать первое число. Соболаговолите получить деньги в нашей кассе или сообщить, куда их направить. С совершенным уважением редакция и издательство «Парижских новостей».

Гингольд, Гейльбрун».

Зепп читал медленно. Прочитанное плохо проникало в сознание. Он осмотрел подписи, твердую купеческую — Гингольда и размашистую, замысловатую — Гейльбруна.

— Гм, гм, — произнес он. — Вот как.

Зепп прочел письмо еще раз.

— Однако это сюрприз, — сказал он. Наконец-то он понял, что содержится в письме, но все еще не хотел понимать, не верил.

Больше всего его мучила и удручала подпись Гейльбруна. Возможно, что она фальшивая. Конечно, это так, Гингольд просто подделал ее. Такой негодяй и спекулянт на все способен. Зепп знал подпись Гейльбруна, он осмотрел каждую букву. Она хорошо подделана.

Странно. Странно, что Гейльбрун покинул его на произвол судьбы. Он прозаложил бы свою голову, что Гейльбрун сдержит данное им слово. Грязный он еврей, этот Гейльбрун. Вот такие евреи и виноваты в том, что Гитлер взял верх. «Вот такие грязные евреи, — вдруг говорит он громко и еще раз повторяет, думая о Гингольде и Гейльбруне: — Грязные евреи».

Вдруг на него наваливается страшная усталость, ноги подкашиваются, он садится в клеенчатое кресло. На столе лежит письмо, серо-голубое, незаметный клочок бумаги. «Голубое письмо», — думает Зепп. В таких письмах во времена кайзера власти обычно сообщали чиновникам об увольнении, и название «голубое письмо» сохранилось вплоть до третьей империи. «Стало быть, все кончено, — думает он. — Теперь уже не обманешь себя. Анна опять оказалась права. Она всегда права. Мир — свиной хлев. Ну что он теперь скажет Анне?

Быть может, она еще сумеет повернуть дело так, чтобы мы поехали в Лондон? Чепуха. Слишком поздно. Она же мне растолковала, почему надо было принять решение несколько дней назад. Теперь уж и она ничего поделать не может. Я вел себя как осел.

В материальном отношении это конец, дело ясное. Теперь мы неудержимо покатымся под гору. Превратимся в пролетариев. Ну а если даже в пролетариев, что из того? Станем такими же, как Черниг или Гарри Майзель. Так ли уж это страшно? Черниг писал хорошие стихи, как ни был он засален и замызган, да и «Сонет 66» чего-нибудь стоит, это вещь. Если бы я писал что-либо подобное, я мог бы кормиться пером, стань я даже пролетарием. Какие только фантазии не лезут в голову. А итог ясен как день: все кончено.

Раньше я, не задумываясь, носил потертый костюм, я мог себе это позволить, ведь за мной стояла Анна, у меня была должность, было немного денег. Я не одевался приличнее просто из лени; был тут, вероятно, и некоторый снобизм — снобизм навыворот. Отныне я не могу позволить себе этого. Отныне Зеппу Траутвейну придется подтянуться, иначе ни одна собака не будет с ним считаться».

Он поднялся медленным автоматическим движением, словно толкаемый посторонней силой, словно во сне. Какое счастье, что Анны не было дома, когда пришло письмо. Он не знал бы, куда деваться от стыда. Он и сейчас не знает, как он посмотрит ей в глаза.

Он пошел в ванную. Начал бриться — медленно, тщательно, до странности машинальными движениями. Разделся. Обычно он бросал костюм и белье куда попало,

а на этот раз аккуратно разложил и развесил вещи по местам. И оделся с ног до головы во все новое.

Зепп Траутвейн ушел из гостиницы «Аранхуэс», чтобы бродить по знойному городу Парижу без цели и смысла.

Анна пришла домой раньше обычного. Вольгемут дал ей свободных полдня, чтобы она могла заняться поисками нового места. Она побывала в комитете по оказанию помощи эмигрантам, позвонила господину Перейро, говорила с одним адвокатом и одним коммерсантом. Кое-кто выказал готовность предоставить ей работу, но все упиралось в отсутствие «трудовой карточки». Она тут же съездила в префектуру хлопотать о карточке. Но зря она так торопилась, ей пришлось бесконечно долго дожидаться разговора с каким-то чиновником, и все для того, чтобы получить ничего не говорящий ответ.

Езда и беготня под палящими лучами солнца, ожидание в полиции, вечные усилия сохранить любезную мину, бессмысленность всей этой суеты утомили ее больше, чем самая напряженная работа. В «Аранхуэс» Анна пришла в полном изнеможении. Она сорвала с себя платье, закрыла ставни и бросилась на кровать.

В комнате было душно, а когда открывали окно, становилось еще хуже. Анна лежала в постели голая, ей было жарко и неудобно. Наконец она заснула, но сон ее был далеко не благодатный.

Она в Германии. Она отправилась вместе с Зеппом к своей матери. Мать терпеть не могла Зеппа, да к тому же она давно умерла. Но им ничего не оставалось, как поехать к ней, в другом месте их нашли бы нацисты, а у матери полиция уже побывала и, значит, вторично не сделает у нее обыска. Они сели в трамвай. Хорошо, что Зепп так неряшливо одет, людям труднее будет догадаться, что это Траутвейн; и в самом деле, никто его не узнал. Но надо пересест на номер двадцать четвертый. Здесь их подстерегают новые опасности, на остановке всегда так людно, тут легко может случиться, что тебя узнают и схватят. А двадцать четвертого нет как нет; если мать не одна, это опасно, даже горничная

Лена — и та опасна. Наконец они стоят у дверей квартиры. Но Зепп вдруг заявляет, что все это невозможно глупо; он поедет в Одеон и отправится в свой класс. Она в отчаянии, она заклинает его, приводит довод за доводом. Зепп вызвал лифт, но не успел войти, как Анна нажала кнопку и послала кабину обратно вниз. Зепп только зло рассмеялся и стал спускаться по лестнице. Есть от чего прийти в отчаяние, он всегда верен себе, нет границ его упрямству. И теперь — она это предвидела — кто-то поднимается по лестнице ему навстречу и заговаривает с ним.

— А, вот и вы, господин профессор.

Это его ученик, Анна знает его, но не может вспомнить, как его зовут. Они идут опять наверх. Ученик — его фамилия Гольцман или что-то в этом роде — подмигивает ей и Зеппу, нагло, фамильярно, подло.

— Легко могу себе представить, что происходит, но не бойтесь, я вас не выдам.

Анна, однако, понимает, что это ловушка. Лифт опять поднимается, теперь это, наверно, они и они заберут Зеппа. Лифт останавливается с глухим шумом, дверь открылась — и Анна проснулась вся в поту.

Она огляделась и с большим облегчением поняла, что находится в гостинице «Аранхуэс», в городе Париже, а не в третьей империи, что ей нечего бояться лифта, поднимается он или опускается. Такие сны, будто она в Германии и ее преследуют нацисты, часто виделись ей, и почти все эмигранты рассказывали, что им снятся подобные ужасы. К числу хороших минут — в жизни эмигранта их немного — принадлежит минута, когда, проснувшись, убеждаешься, что ты не на родине.

Анна открыла ставни. Теперь, вечером, дышалось чуть полегче. Она окинула комнату взглядом хозяйки. Зепп отличается способностью производить нисимоверный беспорядок. Письменный стол, как всегда, загроможден, она обычно убирает его с предельной осторожностью, не перекладывая вещей с места на место. Сероголубой конверт со штампом «Парижских новостей» можно со спокойной совестью выбросить в корзинку для бумаг. Или Зепп сделал себе на нем какую-нибудь пометку? Нет, письмо лежит рядом. Она взяла его в руки

и произвольно, без всякого любопытства прочла; у Зеппа не было от нее секретов.

Она прочла, она поняла.

Ей всегда было ясно, ясно как день, что так оно будет. Но сейчас, когда письмо лежит перед ней, написанное на машинке, на нее нападает такой страх, что начинают дрожать колени. Анна стоит, прислонившись к письменному столу, опустив руку с письмом, и не догадывается сесть. «Я же знала», — отмечает она про себя, и к ее отчаянию примешивается слабая и печальная нотка удовлетворения: она была права.

«Значит, все кончено», — деловито установила Анна.

Но тут она взбунтовалась, нет, она не сдастся. Как это — все кончено?

Еще остались деньги от гонорара за «Персов». Ей предстоит получить премиальные у Вольгемута, до зимы они прекрасно продержатся, а за это время она непременно пойдет другую работу.

Превосходно. Если бы дело шло только о ней и Гансе, она бы не боялась. Но с Зеппом так невероятно трудно. Он сопротивляется всякому разумному изменению условий жизни, он все губит, в нем живет какой-то дикий инстинкт разрушения, над которым никто не властен. То, что он неряха, что он не хочет в Лондон, что он выбирает себе таких друзей, как Черниг, Гарри Майзель и Рингсейс, — все это исходит из одних и тех же мрачных глубин. Это началось, когда он покинул Германию, выпущен был уехать из Мюнхена. Он, не сопротивляясь, падает, он хочет упасть. Может показаться, что вместе с Мюнхеном у него отняли его естественную опору — и он не может не рухнуть.

Все это Анна не столько думает, сколько чувствует, и это чувство поражает ее глубже и опаснее, чем мысли. Иногда бывает, что сначала стойко выдержишь удар и лишь некоторое время спустя, когда все уже давно кончилось, тебя начинает трясти. Так и Анну только теперь со всей силой охватывают гнев и отчаяние.

Она с трудом добирается до кровати и садится на нее, опустошенная, наклонившись всем корпусом вперед, уставившись в грязный паркет. Дыра в полу все еще не заделана и деревянная планка не исправлена.

Она говорила об этом господину Мерсье пять-шесть раз, но он отмалчивается, он не починит пола, пока кто-нибудь не сломает себе ногу.

Письмо пришло сегодня утром. Сегодня — понедельник. Вчера, в воскресенье, Зепп не был в редакции. Значит, скандал, по-видимому, произошел еще в субботу; в субботу он отказался от должности. Поэтому, вероятно, он и вел себя все время так странно. Но почему он ни звука не проронил о происшедшем? Что это за враждебная замкнутость? Как он мог эти бесконечные полтора дня и две ночи прожить рядом с ней, сидеть, лежать, болтать, спать, есть — и ни словом не обмолвиться о самом важном? Упрямо, зло затаить все? Неужто между ними уже нет ничего общего? Так далеко они ушли друг от друга? Что же, они — враги?

Это же бесчеловечно — как он с ней обращается. Когда он наскандалил в редакции, неужели у него не было ни одной, ни единой мысли о ней? Не мог же он не знать, как сильно ударит по ней то, что он натворил. Быть может, он и сделал это сй назло. Неужто многие прожитые вместе годы уже ничего не значат — и только потому, что мы с ним не в Мюнхене, а в Париже?

Он получил письмо сегодня утром. Почему он даже и тогда не раскрыл рта? Почему не позвонил ей, не посоветовался с ней? Если уж он молчал в субботу и в воскресенье, как мог он, получив письмо, продолжать эту подлую игру в прятки? Или он хочет показать ей, что она стала ему совсем чужой, что он сам справится со своими делами?

Сегодня она еще раз поговорит с господином Мерсье. Он обязан починить паркет. Это же срам, до чего здесь все запущено, они скатываются все ниже и ниже. Деревянная планка. Паркет. «Вы еще сбавите спеси, фрау Кон».

Зимели уже уехали. Одинока я, как пес. Не с кем словом перемолвиться. Разве что с Элли Френкель?

Вероятно, Зепп прав, они чужие, совместная жизнь лишь разрушает обоих, один другого ослабляет и уничтожает. Надо было принять предложение Вольгемута и поехать одной в Лондон. Она больше не понимает Зеппа, и он не понимает ее.

Как это все случилось? Как она попала в эту грязную гостиницу «Аранхуэс»? Почему она должна грызться за сломанную планку с этим противным сквалыгой Мерсье? Ведь ее место не здесь, а в Германии. Не полюби она Зеппа, могла бы она остаться в Германии? Чепуха. Вырвали тебя из родной почвы, по заслугам или нет — все равно. Так оно есть, а за то, что было, никто тебе ломаного гроша не даст.

До половины девятого осталось еще три минуты. Как быстро прошел этот вечер. Еще совсем светло — какое-то неприятное освещение, и прохладнее не становится. А часы — красивые. Единственное, что у тебя осталось.

По крайней мере позвонить-то он мог ей. Что он делает все это время? Где слоняется? Вероятно, рассказывает своим друзьям о том, что с ним приключилось. Может быть, даже бахвалится, изображает, как он отчитал Гингольда. К другим он бежит — к Чернигу, к Рингсейсу. Или к своей Эрне Редлих. А ей, Анне, он даже не позвонил. Это подлость. А ведь она только ради Зеппа сделала Чернига снова человеком.

Ее ли вина, что все так сложилось? Она всегда вела себя порядочно, ей не в чем себя упрекнуть. С тех пор как вся жизнь переломилась, она взяла на себя большую часть забот, это она может сказать с чистой совестью. И не жаловалась, никогда не жаловалась ему и лишь изредка — себе. Почему он так относится к ней? Она единственный человек, знающий цену его дарованию, и единственный, на кого он может положиться. Все остальные ни теплы ни холодны к нему. Или он воображает, что в случае нужды за него постоит Черниг? Или Эрна Редлих? Теперь-то он почувствовал, какая надежная опора — люди. Он готов был клясться всеми святыми, что Гейльбрун надежен, как скала. И вот на письме подпись Гейльбруна. Нет никого, кто бы постоял за него. Только она, Анна. А он ей даже не позвонил.

Она не хочет во всем оправдывать себя и винить его. В том, что у них испортились отношения, виноваты обстоятельства. Искусство требует времени. Нужно время, чтобы создать произведение искусства, и нужно время, чтобы его воспринять. Время и свободная голова. В Гер-

мании у них было и то и другое, поэтому и отношения были хорошие. Теперь, в изгнании, у них нет ни того, ни другого. Их любовь погубило изгнание.

Если бы Зепп даже вернулся к музыке, Анна уже не была бы для него прежней, «настоящей»; работа и заботы, нелепые, мелкие заботы, поглотили ее не только физически, но и духовно. В Германии будничные заботы казались ей тем, чем они действительно были, — чем-то незначительным, ничтожным; в Париже они выросли в нечто первостепенное и в конце концов заслонили от нее весь мир. Разумеется, песня, которую написал позавчера Зепп, важнее, чем Вольгемут, Гингольд и Гейльбрун, вместе взятые, она это и почувствовала. Но она не могла сказать ему этого, как раз в эту минуту не могла, она была слишком загнана и истомлена, слишком много бед на нее обрушилось.

«Могущественные империи гибнут, а гомеровский стих живет вечно» — эти слова великого немца любила цитировать Зепп, и в Германии она это понимала. А теперь трудовая карточка для нее дороже, чем Моцарт и Бетховен.

Вдруг Анна почувствовала сильнейший голод. Она была весь день на ногах и ничего не ела. Быть может, все рисуется ей в черном свете от голода и слабости. Во всяком случае, надо поесть.

Она идет в кухню, разбивает два яйца, берет молока и масла. Молоко скисло. Мадам Шэ опять слила вчерашнее молоко со свежим. Яичница от этого не пострадала бы, и все же Анну охватывает бессмысленная ярость. Почему она не вышвырнула эту особу? Она вся дрожит от злобы, от безмерной бессильной злобы на Зеппа, на мадам Шэ, на Ганса, на Гитлера, на самое себя. Она оставляет в кухне разбитые яйца и скисшее молоко, возвращается в комнату, бросается на постель, плачет.

Два года она держалась. Каждый день был хуже предыдущего, каждая ночь хуже предыдущей, за эти два года она превратилась в пародию на прежнюю Анну. Однако она не распускалась, она держалась. Но больше она не может. И не хочет. Чуть ли не с наслаждением замечает она, что ее энергия иссякла. Вся ее выдержка была лишь искусственно возведенным фасадом, за ним

скрывалась беспомощная женщина, неспособная на новые усилия, жалкая, исходящая слезами.

Уже совсем смеркается, почти темно, и это — облегчение. Долгий был день, долгий и жестокий. Циферблат пока еще можно разглядеть: без десяти девять. Что теперь делает Зепп? Вероятно, сидит со своей Эрной Редлих в каком-нибудь быстро, ужинает и разглагольствует. Если он не вернется до наступления ночи, если в половине десятого его не будет, тогда...

Что тогда?

Часы надо завести. Часы красивые, и она гордится тем, что спасла их. Но надо следить за ними, надо заводить их раз в неделю, тогда они идут точно. Злая была бы шутка, если бы они остановились до половины десятого. Она достает ключ, становится на стул, заводит часы. Когда-нибудь это случится в последний раз.

Нелегко спуститься со стула. Сегодняшний день доконал ее. Еще и яичницу жарить? Нет, она слишком устала. Анна бросается на постель, вытягивается, и ей удастся расслабить мускулы; усталость уже не причиняет страданий, ей хорошо, она лежит, отдыхает.

Достаточно долго она шла в упряжке, теперь можно распрячься. Она выполнила свои обязанности, пора и отдохнуть. Отдых. Она имеет на него право. К сожалению, право мало что означает. Получи она все то, на что имеет право, она была бы теперь не в мрачной гостинице «Аранхуэс», а в Германии, в своем чудесном доме, светлом и уютном. Ни черта не стоят право, порядочность, долг. Если бы они чего-нибудь стоили, Элли Френкель мучилась бы теперь на ее месте, а она, Анна, поехала бы в Лондон.

Не право царствует, а удача, голый случай.

Незачем рассуждать, надо спать. Она вообразит себе стадо овец, скачущих через плетень, одна овца за другой, или же досчитает до тысячи — и заснет.

Двести семьдесят восемь, двести семьдесят девять, двести восемьдесят. Пять минут назад ей казалось невероятным, что усталость может быть приятна, может не причинять страданий. Отдых. Знать, что впереди — отдых. Каникулы. Летние каникулы, когда она была ребенком, были ее мечтой, ее большим счастьем. Вот они

и пришли, долгие летние каникулы. Школьный год был плохой, и она получила дурные отметки. Несправедливо получила. Но теперь это не важно. Она знает, что сделала свое, отметки несправедливы, но каникулы наступили, и это главное.

Кто виноват в том, что школьный год был так плох и отметки несправедливы? «Бог — это сумма многих психологических факторов», — обычно говорит Зепп. Если бы Зепп получил такие отметки, он бы подумал: «Плевать я на них хотел!»

Пятьсот тринадцать, пятьсот четырнадцать, пятьсот пятнадцать. Какое наслаждение вот так лежать. «Слабый — умирает, сильный — сражается». Как хорошо, что она не сильная. Как хорошо, что она имеет право лечь и уснуть. При полной тишине было бы еще лучше. Если бы она затворила окно, было бы тише. Но она слишком устала, пусть уж окно остается открытым.

Да, так лучше. Когда придет Зепп, покоя не будет, он захочет с ней объясниться. Он примется долго, обстоятельно рассказывать, почему он поссорился с Гингольдом, почему должен был поступить именно так, а не иначе, уверять ее, что все к лучшему. И нести несусветный вздор, а она, зная, что это бессмысленно, и твердо решив все проглотить, в конце концов не вытерпит, начнет возражать, а все это стоит труда и сил, изматывает нервы, она терпела два года, и больше не хочет.

Она выполнила свой долг и теперь жаждет покоя. Отдохнуть от Зеппа, отдохнуть от мира, отдохнуть от Гитлера, отдохнуть от бога, отдохнуть от самой себя. Она больше не участвует в игре, она не желает.

Девятьсот четырнадцать, девятьсот пятнадцать, девятьсот шестнадцать. Анна лежит с закрытыми глазами. Она так долго боролась за счастье, и ничего из этого не вышло. Теперь, когда она отказалась от борьбы, когда она вышла из битвы, теперь она счастлива. Бедная Анна, красивая Анна, глупая Анна, храбрая Анна, как бессмысленна была твоя храбрость, как нелепа, до идиотизма нелепа твоя борьба, и только теперь, в тридцать восемь лет, ты поумнела.

По ее усталому, но уже разгладившемуся лицу пробегают легкая, лукавая улыбка, тень улыбки.

Совсем стемнело. Неужели уже половина десятого?

Если половина десятого, а его все нет, она это сделает. Она уже не различает, который час, и боится зажечь свет. А если Зепп сейчас придет? Значит, она проиграла игру и не имеет права сделать задуманное. Если он придет, это будет вопиющей несправедливостью и ужасным невезением. Бог, сумма многих психологических факторов, не смеет допустить такую несправедливость. Нет, нет. Да никто и не придет. Мальчик поужинает где-нибудь в городе, и Зепп, наверное, тоже, иначе он давно был бы здесь.

В сущности, ей бы следовало что-нибудь написать Зеппу. В конце концов, он ее любил, то, что она сделает, потрясет его, и то, что она напишет, что будет им прочтено в эти минуты потрясения, на него подействует. Самое важное — отойти от политики. Она убеждена, что он ничего не смыслит в практической политике. Он ничего не вносит в эту политику, кроме упрямой воли к добру и готовности помочь. Этого недостаточно. Ему не хватает техники, таланта, беззастенчивости и подлости — качеств, необходимых для политики. Он музыкант — и не только всей душой, но и всем разумом. Это, пожалуй, следовало бы написать ему. Но она так часто говорила ему это, и раз уж он не внял любимому голосу, убеждавшему его, то и клочку бумаги не поверит. Да и устала она, не найдет настоящие, веские слова.

Нехорошо, если ее обнаружат слишком рано. Чего доброго, еще вернут к жизни, и все ее усилия будут напрасны. И весь ужас начнется сызнова. Как ей это сделать? Если она возьмет шланг в рот, все произойдет быстрее и ее не обнаружат слишком рано. Ганс, наверное, не явится домой раньше двенадцати. Он теперь участвует в возне вокруг какой-то политической идеи и всегда бесконечно долго торчит где-то вместе со своими друзьями и товарищами. А может быть, он у своей замечательной мадам Шэ. Оба они побродяги, ее мужчины. За Ганса она не беспокоится. Он-то с жизнью справится. Не то что она.

Жаль, что она не выкрасила еще раз волосы. Хотелось бы ей быть красивой, когда Ганс увидит ее в последний раз. Он стал совсем чужой, совсем отошел от

нее. Ужасно хочется еще раз погладить его по голове. Значит, это действительно было в последний раз — в тот день, когда ей подумалось: однажды должно же это случиться в последний раз.

Так, теперь встать. От света ужасно больно, она произвольно заморгала так, что с трудом различает, который час. После половины десятого прошло уже семь минут. Она может сделать *это*.

Анна затворяет окно. Раньше нужно навести порядок. Пусть не говорят, что она удрала, как свинья из хлева. Хорошо, что часы уже заведены; на все остальное уйдет меньше времени.

Она идет в ванную. Ставит яйца и сковородку на место. Теперь все в порядке. Хорошо, что она ничего не ела, ее не так будет тошнить.

Она напускает в ванну воды. Да, шланг достаточно длинный. Мерсье посчитает Зеппу за газ по крайней мере вдвойне. Но это уже не ее забота. Приятно слушать, как плещет вода. Она всегда любила этот звук.

Вот коробочка со снотворным. Сколько принять? Таблетки «Седормит» — легкое средство, но она возьмет только три, не больше четырех, а то ее непременно вырвет. Анна бросает таблетки в стакан воды, долго и аккуратно размешивает их, пока они не растворяются до конца, и выпивает. До чего горько. Она не хочет, чтобы во рту оставалась горечь, вот начатая бутылка красного вина. Пригубив рюмку, она ставит ее на столик, но затем, улыбаясь, отпивает еще глоток. Сегодня это можно себе позволить. Аккуратно сполоснув рюмку, стакан, из которого она пила снотворное, и ложечку, она все расставляет по местам.

Анна переходит в комнату. Машинка опять задурила. Теперь об этом придется думать Гансу. Серо-голубое письмо «ПН» лежит на полу, она поднимает его, складывает, кладет в книгу, так что оно хорошо видно, но упасть не может. Книга раскрыта. Ей уже прежде хотелось захлопнуть книгу, беспорядок ее раздражает. Она поднимает руку, чтобы закрыть книгу, но нет, может быть, Зепп намеренно оставил ее раскрытой.

Анна включает радио. И не сразу находит приличную музыку. Но вот объявляют «Маленькую ночную

серенаду» Моцарта, и она счастлива. Включает самую большую громкость — ведь дверь придется запереть, а она хочет, чтобы ей была слышна музыка.

Анна возвращается в ванную. Пора закрыть кран. Вот ее изображение в зеркале. Пародия. Пародия на самое себя? Да нет же, не так уж она плоха. Между прочим, она где-то прочитала, что отравившиеся газом выглядят свежими, цветущими. Чудесно было бы, если бы она сохранилась в памяти Ганса красивой. Он добродушен, уж он не будет смотреть на нее злыми глазами.

Анна открывает газовый кран, входит в ванну, ложится в воду. Очень горячо, ей даже немного страшно, затем тепло становится ей приятным, она подтягивает колени, как грудной младенец, и расслабляет мускулы.

Хорошо так — лежать, сжавшись в комочек. И мысли не мучают: вот это следует сделать сегодня, а это ждет тебя завтра, за одно надо взяться, от другого отступить. Все позади, и вода приятная, теплая. Что может быть лучше, чем блаженная усталость, — и впереди никаких обязательств.

Всегда казалось, что она сильна, не сломлена. Все ее за это хвалили, но они ошибались; эти два года стерли ее в порошок. Достаточно было одного сильного удара, и все развеялось в прах.

Как противен этот сладковатый запах, как трудно заставить себя держать во рту плант. Лучше всего придержать его зубами. Тридцать восемь лет — это много и немного, как посмотреть. Что скажет Зепп? Жаль его, но ничего не поделаешь. Она любила его, как только можно любить человека. Да и он «хорошо относился» к ней. Она не виновата, и он не виноват. Виноваты обстоятельства. «Но обстоятельства — они не таковы».

Жалко ей себя. Сентиментальность? Ну, так она позовит себе немного сентиментальности.

Из соседнего номера стучат в стенку, да и снизу застучали... Вероятно, радио слишком гремит. А ведь «Маленькая серенада» — совсем не бравурная музыка; чудесная это вещь, и через запертую дверь она так тихо звучит.

Но это уже не «Маленькая серенада», это песня Зеппа на слова Вальтера. Она ясно слышит ее. «Ползал

бы Вальтер на брюхе, как бы он был вам мил, в почете и славе бы жил. Но Вальтер все поет, и песнь его вольна». Каждое слово, каждый звук песни звенит у нее в ушах — так, как Зепп ее сыграл и спел. Она улыбается. Это хороший, самый лучший Зепп Траутвейн. Последнее, что он сыграл ей. В какой-то раз должен же быть последний раз. Она слишком скупое его похвалила. Художник нуждается в одобрении. Если бы Зепп знал, что каждый звук остался у нее в ушах и сердце, он обрадовался бы. В сущности, следовало написать ему, что песнь очень хороша и что у нее в памяти с первого же раза запечатлелся каждый звук. Но ей очень трудно выйти из ванны. Она улыбается, улыбается все шире.

Снизу все еще стучат. Но ей уж нет до этого дела. Пусть жалуются завтра Мерсье.

Грешно ли то, что она делает? Если ее будут судить, ее оправдают. Она спасена. Для последней берлинской постановки «Фауста» музыку написал Зепп. Замечательно у него это вышло: «Спасена». Ликующе, но совсем не по-церковному, ни намек на пафос, сентиментальность. «Спасена».

Пусть себе стучат хоть до второго пришествия.

И соседи стучали долго — снизу, сверху, со всех сторон, «Маленькая ночная серенада» давно кончилась, а радио все еще гремело. Последние известия, прогнозы погоды, доклад на политическую тему, арии из итальянских опер, танцевальная музыка — все одинаково громко. Когда Зепп пришел домой, радио еще не умолкло.

Глава 2

АННА ПОСТАВИЛА ТОЧКУ

Зепп, прочитав письмо Гингольда и уйдя из гостиницы «Аранхуэс», долго бродил по знойному городу Парижу. Сначала он шел по левому берегу Сены, глядя в землю, ставя ноги посками внутрь, уйдя в свои мысли и

временами сам с собой разговаривая; затем повернул обратно, машинально пересек мост, прошел большое расстояние по набережной, снова вернулся, снова пересек мост; попал даже на остров.

Мысли беспорядочно проносились у него в голове, но все возвращались к предстоящему разговору с Анной. В душе он уже спорил с ней. Во многом она была права, но он не сдавался. Он старался объяснить ей, что представляет собой это неповторимое существо — Зепп Траутвейн, в котором уживаются темные, даже злые страсти, несколько верных мыслей, следы пережитого многими поколениями мюнхенцев, бесчисленные слабости, некоторые добродетели, и все это замешано на таких крепких дрожжах, как музыка и добрая воля. Да, он будет защищаться, но в то же время беспристрастно выслушает и обдумает ее доводы. Зепп аккуратно оделся во все новое из желания показать Анне, что ее неодобрительное отношение к его неряшеству в конце концов возымело свое действие и он серьезно намерен переломить себя и все исправить. А теперь он, если можно так выразиться, и душевно принарядился и почистился для этого важного объяснения.

Впрочем, ведь Анне-то как раз и следовало бы радоваться, что все сложилось так, а не иначе. Разве не она вечно уговаривала его отказаться от политики, освободить время для музыки? Да и сам он при мысли, что ему не придется какое-то время заниматься политикой, в глубине души радуется своему освобождению. Не потому ли он надел сегодня свой новый костюм, что старый Зепп умер?

Наступил полдень, Зепп набегался, подлость Гингольда и предательство Гейльбруна жестоко расстроили его, он почувствовал голод. Усевшись на террасе какого-то кабачка, весь погруженный в свои мысли, он поел что попало с большим аппетитом.

И опять беспокойно зашагал по улицам. В середине дня его можно было видеть в Люксембургском саду; он сидел с рассеянным видом и все размышлял, размышлял. Ему пришло на ум, что он мог бы позвонить Анне. Теперь он чувствует себя вооруженным, он может объяснить ей, почему он поступил на первый взгляд так

лепоятно. В том-то и дело, что все понятно, и ему непременно удастся растолковать ей все. А затем ему подумалось, что все же лучше поговорить сначала с другими, с Чернигом, с Рингсейсом или Эрной Редлих. Увидев, как они будут реагировать на его рассказ, он сможет лучше выдержать бой с Анной; ему не хотелось бы занять ошибочную позицию. Он позвонил Эрне Редлих и уговорился встретиться с ней вечером. С Анной он объяснится завтра утром, еще раз хорошенько все обдумав и выслушав мнение других.

На мгновение ему даже пришло в голову пойти в редакцию «ПН» и сказать Гейльбрану, что он о нем думает. Потом Зепп решил отложить этот разговор; пока он весь кипит, он способен лишь сделать новую глупость. Лучше навестить старика Рингсейса. В нем есть что-то благотворно-умиротворяющее, он смотрит на людей и вещи мудро, вдумчиво.

Тайный советник Рингсейс жил где-то очень далеко в Бельвиле, в большом многоквартирном доме, и Траутвейну было нелегко его разыскать. Каморка Рингсейса помещалась под самой крышей.

Зепп застал его лежащим в постели. В крохотной комнате было душно, устоялся запах пота. Рингсейс рассказал Зеппу, что его одолевает ревматизм, и долго говорил о том, как он рад, что Зепп навестил его. Вдруг у него начались сильные боли, болезненная гримаса исказила бескровное, изрезанное морщинами, обрамленное шкиперской бородкой лицо. Зепп счел за лучшее ничего не говорить. Он тихонько сидел и смотрел на измученного старика. Тот некоторое время лежал, занятый своими болями. Потом приступ, очевидно, прошел, Рингсейс вернулся из ада, тепло взглянул на гостя своими большими выпуклыми глазами и попросил его рассказать о себе.

И Зепп рассказал о том, что с ним случилось. Рингсейс внимательно слушал.

— Жаль, — сказал он наконец, — что можно сообщить только слова, только названия и обозначения постигнутого опыта, знания, а не само знание. Возьмем, например, науку ожидания. Кто научился ждать, над тем никто и ничто не властен. Откровенно признаюсь

вам, — он говорил с трудом и таинственно, — после вынужденного отъезда из Германии я сам некоторое время томился тоской и тревогой, я бы даже сказал — чувствовал себя несчастным. Больше всего я жалел об одной рукописи. — И, начав говорить, он уже рассказал все подробно. — Дело в том, что я взялся написать для энциклопедии статью о Ксантиппе. Я двадцать лет собирал материал, я собрал все, что только можно было найти, и пришел к новым убедительным выводам, подтверждающим точку зрения тех, кто пытался спасти честь Ксантиппы. Люди рады опозорить человека, и за две тысячи триста лет можно многое наклепать на храбрую умершую женщину. Мне это никогда не нравилось, да и сейчас не нравится. И я, как вы понимаете, радовался своему материалу, и мне жаль было, что он остался в моей аудитории, в шестом шкафу, вместе со старыми папками. — Он умолк, по его большому бескровному лицу медленно расплзалась хитрая усмешка. — Но, видите ли, — продолжал он, — когда мне пришлось, так сказать, заново приняться за работу над материалом о Ксантиппе, я обнаружил на полях одной старой рукописи заметку, и она подсказала мне догадку, весьма убедительную и для моих целей крайне важную, можно сказать — решающую. А ведь получи я просто свой старый материал, я, безусловно, прошел бы мимо этой заметки и не добрался бы до моей догадки. Значит, я поторопился, незачем было расстраиваться, это было глупо с самого начала. Ибо, видите ли, вся работа в целом не была срочной, да она и теперь еще не срочная. Когда я уехал, энциклопедия дошла до буквы «Т» (том *Taurisci* — *Tharsis*¹), я, стало быть, в лучшем случае понадобится еще двенадцать лет, пока мы доберемся до буквы «Х» и до слова *Xanthippe*². До тех пор Одиссей вернется и вся история с нашими варварами порастет густой травой. Но я хотел говорить не о себе, дорогой мой Зепп, — виновато сказал он, — а о вас. Самое важное — подготовиться внутренне. Мало есть вещей, которые не могут быть сделаны завтра лучше, чем сегодня.

¹ Таврида — Тапс.

² Ксантиппа.

Это была примитивная мудрость; однако она успокоила Зеппа и укрепила его силы в тяжелую минуту.

Наступил вечер, и Зепп отправился в ресторан, где уговорился встретиться с Эрной Редлих. Он пришел раньше назначенного времени, и она тоже. Эрна была возбуждена. Она рассказала о том, какое впечатление произвел случай с Зеппом на редакцию. Сегодня взамен Зеппа в редакцию явился Герман Фиш, Зепп его знает, тот самый Фиш, который раньше работал в «Берлинер Тагеблатт». Да, Зепп его знал, Герман Фиш — хороший, но политически бесцветный журналист, трус. И никто из редакторов не желает мириться с его присутствием. Все настаивают, чтобы Зеппа вернули на работу и чтобы его статья, пародия на речь фюрера, была напечатана.

Вот что рассказала Эрна, пылая сочувствием к Зеппу. Ее глаза, придававшие лицу чуть сентиментальное выражение, сияли, детское открытое личико разругалось, она против обыкновения размахивала перед Зеппом своими маленькими ручками. Потом стала упрекать его: почему он ни о чем не сказал ей, ведь прошло уже целых два дня, как все это случилось. Она-то думала, что они друзья, и вдруг оказывается, что о таких событиях ей приходится узнавать в редакции от третьих лиц, а не от него.

Зеппа растрогало ее волнение, а от того, что она сказала, у него забило сердце. Он же знал, что товарищи станут за него горой. И Зепп сразу поверил, что все образуется. Как хорошо, что он решил повременить и не рассказал о случившемся Анне. Только напрасно унизил бы себя. Завтра, говоря с ней, он будет чувствовать под собой более твердую почву.

Зепп еще долго болтал с Эрной Редлих, он прошел с ней часть пути, а затем, бодрый, направился домой.

Навстречу ему ударил газ, у него занялось дыхание. Рванув окно, он распахнул его и побежал в ванную закрыть кран. Увидел в ванне, в воде, Анну; ее тело опустилось в воду, но она все еще полулежала, вода доходила ей до рта. Однако у нее был свежий вид, кожа розовая, губы красные. Слава богу, она жива.

Зепп дотронулся до нее, она показалась ему холодной, холоднее воды. Он попытался ее поднять, тело было тяжелое, безжизненное. На минуту он выпустил ее, глубоко вздохнул; заметил шланг, лежащий возле нее в ванне. Снова, натужившись, попытался вытащить ее из воды. Наконец с большим усилием поднял и поволок к кровати; с тела струилась вода, вода патекала на пол, на постель, Зепп и сам весь промок до нитки.

Он выбежал на лестницу, постучал в соседнюю дверь.

— Врача, врача! — кричал он, не помня себя, по-немецки. Сквозь одну приоткрывшуюся дверь просунулась голова.

— Что такое?

— Врача, врача, — повторял Зепп уже по-французски. — Несчастный случай.

Он опять побежал в комнату. Неумело пытался вернуть к жизни Анну, равномерно вытягивая и поднимая ее руки.

«Это же все неправда, — думал Зепп. — Все это прикидывается мне. Я с ума сошел. Она не могла сделать это».

— Анна, Анна! — кричал он, боязливо заглядывая ей в лицо и ожидая ответа; но у нее отвалилась челюсть, и теперь рот с большими белыми зубами зиял уродливо и страшно.

Радио все еще играло. Он выключил его. И торопливо, раз за разом, не помня себя, продолжал сгибать и вытягивать ей руки. «Я же надел ради нее новый костюм, — думал обезумевший Зепп. — Она же, наверное, заметила. И могла из этого понять, как хорошо я к ней отношусь. Как она узнала об истории с Гингольдом? Ведь я ничего не сказал ей. Нет, все это не может быть».

Кто-то вошел, это был Ганс. После первых мгновений безмерного испуга он понял все — гораздо быстрее, чем Зепп. До прихода врача он вместе с отцом бился над Анной, давая краткие, деловые указания; больше ни о чем не было сказано ни слова.

В сопровождении Мерсье пришел врач с кислородным аппаратом. За ним — полицейский чиновник. После короткого осмотра врач установил, что здесь делать ему нечего, и все удалились.

Только теперь Зепп по-настоящему понял, что произошло. Ганс, сам обессиленный, с ужасом увидел, что отец потерял над собой власть. Он сидел, беспомощно сторбившись, и тихо, без конца, по-детски плакал. Ганс с трудом заставил его снять с себя промокший костюм.

Потом они сидели в тесно заставленной комнате наедине с умершей. Окна были широко раскрыты, но легкий сладковатый запах газа все еще держался. На улице воздух становился все свежее, от усталости и ночной прохлады обоих познабливало.

Зепп, в неряшливо одетой пижаме, весь скорчился, одна штанина у него завернулась, и Ганс невольно смотрел на ногу отца, поросшую грязновато-седыми волосами. А тот говорил и говорил, и вдруг надолго умолкал. Он то обращался к Гансу, то к самому себе, не ожидая ответа.

Он чувствовал потребность оправдаться перед мальчуганом и перед самим собой. Его мучило, что он часто брюзжал, был несправедлив к Анне, его мучило, что он так по-ребячески выкрикнул: «Никогда, никогда, никогда». Он раскаивался, что ничего не сказал ей об увольнении и что сегодня вечером провел так много времени с Эрной. Все это было очень нехорошо, но, разумеется, не это толкнуло Анну на самоубийство. Причину надо искать глубже, он тут ни при чем, виноват ли он, что в эмиграции вся жизнь так мелкотравчата, ничтожна и убога? Невелика премудрость быть героем однажды, дважды или трижды, гораздо труднее нести непрерывную цепь будничных забот и мытарств. И оттого, что вся эта дрянь, эти повседневные мелочные заботы изматывали Анну гораздо больше, чем его, Зеппа, она утратила веру и мужество.

— Она, видишь ли, поставила точку, — говорит он и несколько раз повторяет эту странную фразу.

У Ганса рвется сердце от пережитого ужаса. Как он ни старается держаться, мысли у него путаются и разбегаются. Он хочет постичь, что толкнуло мать в объятия смерти. Из речей Зеппа он постепенно начинает уяснять себе причины и следствия. «Разве я виноват? Разве я виноват?» — требовательно спрашивает Зепп.

Ганс всегда склонен винить в первую очередь обстоятельства, и все же Зепп преступно легкомысленно вел себя, этого отрицать нельзя. И хотя мальчик на вопрос отца ответил: «Нет, нет», — но это «нет» прозвучало очень уж вяло и неубедительно.

Бегут часы, забрезжил бледный рассвет. Зепп молчит, погруженный в себя. Он хорошо расслышал нотку сомнения и неуверенности в ответе Ганса, и это больно задело его. Он спорит с собой, он спорит и с Анной. Она судила правильно, он, вероятно, плохой политик, он ничего не понимает, кроме своей музыки. Но он же тугодум, надо было предоставить ему больше времени для размышлений, надо было ждать, вместо того чтобы попросту поставить точку. Анна была ему большой опорой, она была его музыкальной совестью и участвовала в его работе, пока он сам не забросил свое искусство; пожалуй, без нее он застрял бы на полпути. Но у нее была неприятная манера, несносная, она повторяла одно и то же двадцать раз, не давала ни отдыху, ни сроку, и ее вечные приставания действовали на нервы; долго ли выдержишь, если от тебя изо дня в день требуют наивысших достижений. И если на порицания она была скоро, то на похвалу скупилась. Когда он сыграл ей напоследок песню на слова Вальтера, она едва процедила сквозь зубы несколько слов одобрения. После всех своих придирок могла бы хотя бы немного расщедриться: ведь песня действительно хороша. И если быть искренним, так он порой даже рад был, что в эмиграции Анна не могла по-настоящему участвовать в его работе.

Подло с его стороны, что в эти минуты он наскреб такие мыслишки. Только потому, что совесть у него нечиста. За все хорошее, что она сделала для него, он ей не воздал.

Зепп снова начинает говорить. Когда у них возникали какие-нибудь разногласия, объясняет он Гансу, стараясь приглушить свой пронзительный голос, и поэтому он звучит хрипло и монотонно, Анна почти всегда бывала права. Но он тоже не хотел огорчать ее, и в конечном счете оба шли на уступки. Договорились бы они и на сей раз, тут и сомнений быть не может. Он ведь так тщательно и опрятно оделся — специально для объ-

яснения с Анной; к удивлению Ганса, Зепп несколько раз это повторяет. Гансу приходится подтвердить, что он застал его, придя домой, в хорошем новом костюме.

— Это очень важно,— говорит Зепп и опять несколько раз повторяет ту же фразу.

Ганс не понимает, куда, собственно, клонит Зепп. Но не задумывается над этим, его мучают собственные мысли. Не только Зеппу, но и ему следовало иначе вести себя с этой умершей женщиной. Он вдруг почувствовал, как она проводит рукой по его волосам. Мама часто делала это, но он отлично помнит, когда она погладила его по голове в последний раз. То, что он предложил ей двести пятьдесят франков, было глупо и грубо. В последнее время они перестали понимать друг друга, он и мама. Она ничего не знала и не хотела знать о его новом мире. Но она делала для него все, что один человек может сделать для другого. Не раз он почувствует, жестоко почувствует, что ее нет на свете. До чего же нелепо, что он решил сдавать экзамены на бакалавра. Ведь он давно мог бы зарабатывать, ей не пришлось бы так изматываться, и все сложилось бы иначе.

У мамы теперь совсем другое лицо, чем было при жизни, более строгое, более красивое. Или он ошибается? В последние месяцы мать была для него лишь вечно занятой домохозяйкой. Глядя на нее сейчас, он впервые думает о том, что не всегда он знал ее лишь как женщину, с которой вместе мыл посуду. Он роется в памяти, пытаясь воскресить картины прошлого. Он видит ее молодой, в декольтированном бальном платье — тогда он был еще совсем мал,— видит ее спину, прекрасные спящие глаза, нежное и яркое лицо. А вот она же во время поездки в Париж, уже значительно позднее, энергичная, подвижная, в меховом мантио — совсем иная, чем женщина, которую он ребенком видел в вечернем платье с обнаженной спиной, но и не та, что согнулась над грудой посуды. Это совершенно разные женщины, и все они — его мать. Как мало он знал ее, как мало он о ней думал.

Зепп рывком поднимается с клеенчатого кресла. До его сознания дошло тиканье часов, и ему вспомнилось, что уже наступает вторник, а ведь часы заводят в попе-

дельник вечером. Радуюсь в глубине души, что надо сделать нечто отвлекающее от тяжелых мыслей, Зепп встал; все тело у него болит, и ошеломленный Ганс видит, что он влезает на стул и заводит часы.

Но ключ почти не поворачивается: часы заведены. Анна, прежде чем сделать «это», завела их.

В душе Зеппа словно плотина прорвалась. Он вдруг понял, что она до последнего мгновения думала о нем, только о нем. Она лишь скупой похвалила его за песню Вальтера, но никогда уже не будет на свете ни единого человека, который бы так слушал его музыку, как Анна, всей душой отзывалась она на нее.

И вдруг перед ним предстает почти осязаемо живо все, что она сделала для него, ее вечная большая любовь и мелкие повседневные заботы, все, что она ради него оставила, до конца ему отдавшись, он видит все сразу, десятки разнообразных Анн, сливающихся в единую Анну. Он видит Анну смертельно усталую, улыбающуюся, ослабевшую от потери крови после рождения маленького Ганса; Анну, стоящую у рояля, когда он впервые сыграл ей «Тридцать седьмую оду Горация»; Анну, вместе с ним смеющуюся безудержным смехом, как будто ничем не вызванным, бессмысленным и все же полным смысла, за минуту до того, как министр вручил Зеппу орден; Анну, лежащую на лужайке в Богемском лесу, с солнечными бликами на животе.

И вдруг, в этот бледный час рассвета, Зепп снова заговорил, он начал рассказывать своему мальчугану об Анне. Он рассказал ему о молодой Анне, о ее сверкающей жизнерадостности и чувстве юмора; какой это был добрый товарищ, как она умела прощать глупую шутку, дурное настроение. Рассказал, какой она была еще до рождения Ганса. Ганс, смотревший на нее сознательным, оценивающим взглядом только в последние годы, не имеет даже представления о том, как отличается Анна последних лет от прежней Анны. Да, Зепп не мог не прославлять эту женщину, не мог не пропеть ей надгробную песнь, и он дал себе волю, он изобразил девушку Анну, какой она была в восемнадцать и девятнадцать лет, он описывал ее тело с такими подробностями, о которых никогда бы не поведал мальчугану. Он дол-

жен был рассказать ему, как прекрасна была эта умершая женщина в пору расцвета.

Ганс слушал испуганный, очарованный, смущенный. Он узнаёт мать, какой она была в прежние времена. В конце концов, он часть этой женщины, единственное, что от нее осталось; чувство, что он продолжает ее, в нем очень сильно, и поэтому он вправе знать, какой она была. И все-таки бесстыдное описание Зеппа смущает его, он даже покраснел и не смеет взглянуть отцу в глаза.

А Зепп уже говорит о другом, он не прерывает свой бесконечный монолог. Мысли Ганса ускользают в сторону. Мать принадлежала к несчастному поколению, обреченному на гибель, поколению, вынесшему на своих плечах наглуую, бессмысленную империалистическую войну; оно страдало от всевозможных вывихов и теперь кончает свои дни в жестоких судорогах. Мать это чувствовала, чувствовала сильнее Зеппа и потому «поставила точку». Сам Ганс не понимает, как можно капитулировать без борьбы. Но человеку предыдущего поколения, каким была его мать, нельзя поставить в упрек, что он дезертировал.

Зепп постепенно умолк, на этот раз окончательно. Отец и сын, сторбившись, сидели рядом у окна. Наступило утро. Зепп клевал носом или смотрел в одну точку, тупой, опустошенный. Ганс тоже чувствовал себя совершенно разбитым. Позади был загруженный день, домой он пришел усталый, ужасное событие заглушило усталость, — тем сильнее одолела она его теперь. Силы остались его.

Бедная мама. Ганс чувствовал глубокое сострадание к ней. Как страшно принадлежать к такому поколению. Не надо было ему предлагать ей тогда двести пятьдесят франков. А от экзамена лучше отказаться. Трудно в этом прогнившем старом мире делать естественное, разумное, то, к чему ты призван. Годы потратил он на зубрежку ради получения аттестата. Зеппу надо было заниматься музыкой, а он пишет политические статьи. Потому и умерла мама. Когда мы придем к власти, жизнь станет иной, лучшей. В нашем мире не будет изгнания. В нашем мире не будет никому не нужных экзаменов и

никто ни у кого не украдет парусной лодки. Бедная мама. Обреченное поколение.

Глаза у него закрылись. Он прикорнул на своем стуле, в неудобной позе. И все же заснул здоровым сном без сновидений, набираясь сил для дела своей жизни, которое не будет обреченным, он это знал.

Глава 3

СОЛИДАРНОСТЬ

В воскресенье Гейльбрун проспал чуть ли не до полудня. Когда он проснулся, его положение показалось ему не столь безнадежным. За обедом он изображал веселость, разговаривал с Гретой добрым, отеческим и уже снова чуть-чуть величественным тоном.

После обеда он встретил в клубе Эгона Франка и, чувствуя себя в хорошей форме, тотчас же отозвал его в сторону и изложил свою просьбу. Эгон Франк особенного зинтузна не обнаружил, но, промямлив что-то, обещал дать ему деньги, так что у Гейльбруна гора с плеч свалилась.

К вечеру он был в полном ладу с собой. Ему было жаль Зеппа Траутвейна, но ведь тот поступил непростительно глупо, и, если дело его приняло плохой оборот, он не имел никакого права сваливать последствия на него, Гейльбруна. На первом месте у него обязательства по отношению к дочери и ее ребенку. Когда Гингольд позвонил ему и подчеркнуто равнодушным тоном, в котором трудно было уловить нотку напряженности и страха, спросил, какое же решение он принял, Гейльбруну удалось без особых угрызений совести, в пышных, велеречивых словах сказать «да».

Он готовился к тому, что в редакции его хорошенько отчитают за Зеппа Траутвейна, и внимательно продумал свой ответ. И когда редакторы Пфейфер и Бергер, по-видимому от имени всех остальных, действительно явились к нему и с тревогой спросили, что случилось с Зеппом, он повел себя величаво, уверенно и притом глу-

боко человечно. Разумеется, заверил Гейльбрун своих коллег, он и не думает отступить от Зеппа, ведь он же сам устроил его здесь, и Зепп будет по-прежнему работать в «ПН». Но с формально юридической точки зрения — что поделаешь с Гингольдом? Увольнение остается в силе. Видеть в этом политический маневр со стороны Гингольда — бессмыслица. Пусть только Гингольд попробует сунуться к старому Гейльбруну с такими фокусами.

Но редакторы этим не удовлетворились. Они требовали ясного и решительного ответа: дал он свое согласие на увольнение Зеппа, как уверяет Гингольд, или не дал. Тут жизнерадостность и величавость Гейльбруна постепенно померкли; как он ни вилял, а пришлось сознаться, что он не сказал «нет».

— Этого достаточно, — сухо закончил разговор редактор Бергер, и оба удалились с мрачным, зловещим видом.

Гейльбрун остался один, крайне удрученный; лоб и голова его с торчащими ежиком, седыми, цвета стали, волосами взмокли от пота. «Этого достаточно», — звенело у него в ушах. Он был по натуре порядочный человек и в душе признал, что они правы — бергеры, пфейферы и другие. Он не сказал «нет», этого достаточно, а его дочь Грета в лучшем случае — смягчающее вину обстоятельство, но не основание для оправдательного приговора.

По ту сторону двери стояли разгневанные редакторы. Нельзя же молча смотреть, как выбрасывают на улицу такого способного, честного работника, как Зепп, нельзя спустить это Гингольду. Зепп забросил свою музыку, чтобы отдать все силы борьбе за Фридриха Беньямина, — из чувства товарищества, из солидарности. Стоит только поглядеть на покинутый обшарпанный письменный стол, за которым прежде работал Фридрих Беньямин, а в последнее время — Зепп Траутвейн, и ярость в тебе так и закипает. Нет, такого человека нельзя бросить на произвол судьбы. В этом деле, в деле Зеппа Траутвейна на карту поставлена идея, самое существование «ПН». Редакторы, правда, говорили обычно об этом «дрянном листке» и о собственной работе в пренебрежп-

тельно-ироническом тоне, но в глубине души каждый из них был убежден, что это хорошая работа, что это борьба за правое дело. Если бы они не видели смысла в своей работе, им невтерпёж было бы влачить это жалкое существование. Но можно ли сказать, что «Парижские новости» — правое дело, если в редакции творятся такие вещи, как изгнание Зеппа Траутвейна? Газете по меньшей мере угрожает опасность, вопреки высокопарным заверениям Гейльбруна, превратиться в чисто коммерческое предприятие господина Луи Гингольда.

Они стояли, собравшись в кружок, сердитые и возмущенные. Пятидесятилетний толстяк Бернгард Пфейфер, флегматик, астматик, журналист с тридцатилетним стажем, немало видел и пережил; он отличался широким, располагающим к себе добродушием, всякое волнение он привык на девять десятых приписывать шоку от первого впечатления, его любимым выражением было: «Спокойненько, спокойненько». Но сегодня он не употреблял его. Худой, длинный Георг Бергер, желчный скептик, сухой и точный, был всегда озабочен соблюдением юридических форм. Но сегодня он не думал о юридических формах. Невысокий, ловкий, деловитый Г. В. Вейсенбрун, с чеканным оливково-смуглым лицом и изящной, стройной фигурой, дерзкий, энергичный, был большой охотник до сенсаций. Но сегодня он был сдержан, происшествие говорило само за себя и не нуждалось в сенсационном оформлении. Как ни отличались друг от друга редакторы, сейчас они были заодно. Они знали: то, что сегодня случилось с Зеппом, завтра может случиться с каждым из них. Низость Гингольда направлена против всех них, она направлена против всего, что составляло смысл и сущность «ПН», против всей немецкой эмиграции. Проявляя солидарность по отношению к Зеппу, они выступают как представители всей эмиграции.

Но пока они не шли дальше глухого возмущения, оно не выливалось ни в ясное решение, ни в определенное действие. Решение появилось лишь тогда, когда к ним присоединился Петер Дюлькен, так называемый «волонтер».

Этот молодой человек, долговязый, сухопарый, с худым остроносым лицом и необычно длинными волосами, сегодня пришел поздно. Он часто опаздывал, хотя при всей своей внешней развинченности был далеко не ленив. Сегодня он задержался у антиквара, предложившего ему первое издание партитуры Гайдна; Петер Дюлькен был страстным коллекционером рукописей и первых изданий классической музыки. Товарищи часто потешались над его страстью и уверяли, что критические исследования и издание классической музыки занимают его гораздо больше, чем журналистская работа. Но Петер очень серьезно относился к своей работе в «Парижских новостях».

Его функции не были точно определены, но он оказывал ценную помощь всем отделам, и, как порой ни посмеивались в редакции над его деятельностью, всем не хватало его, когда он отсутствовал.

Петер Дюлькен, Пит, как все называли его, покинул родину против воли родных, как только варвары очутились у власти, хотя ничто его к этому не вынуждало. В Германии Пит интересовался не политикой, а музыкой. Сначала он сочинял песни, написал несколько сонат, и не без некоторого успеха. Но, чувствуя, что никогда ему не достичь желанного совершенства, он сосредоточил свое внимание и силы на восстановлении некоторых партитур великих мастеров в их первоначальной чистоте. Он страдал оттого, что многие произведения классиков безнадежно, как ему казалось, искажены описками и печатками, вкравшимися в партитуру, и, исправляя эти ошибки, он вел упорную борьбу за восстановление творчества этих мастеров, в его первоизданной чистоте и гармонии.

Этой деятельностью заполнялась жизнь двадцатидевятилетнего Пита в Германии. Но теперь, переселившись в Париж, он занимался любимым делом лишь мимоходом, а все свои силы и все свое время отдавал борьбе против нацистов, сотрудничеству в «Парижских новостях». Его родители, богатые кельнские евреи, умоляли его отказаться от политической деятельности. Они просили, они угрожали лишить его материальной поддержки. Ему было жаль их, но пойти им навстречу он

не мог. Впрочем, несмотря на угрозы, они высылали ему окольным путем, через заграничных родственников, месячное содержание и вместе с тем старались не без риска для себя переправить ему из Германии его собрание рукописей и первых изданий.

Пит был им благодарен. Но если бы они и выполнили угрозы, которыми осыпали его, он не изменил бы своего поведения. Пит жил, как ему нравилось и как он считал правильным. Все, что он делал, было просто; непосредственно. Среди людей, связанных тысячами старых и новых условностей, он один вел себя естественно. Поэтому, как всякое исключение из общего правила, он казался несстественным. Но так как он ни для кого не являлся обузой, его ценили таким, каков он был, и все любили его.

С Зеппом Траутвейном Пит очень подружился. Правда, Зепп не относился к его борьбе за восстановление чистоты классической музыки так серьезно, как он сам, но Петер Дюлькен чувствовал, как много музыки в Зеппе. Пит верил в него, ожидал от него великих произведений, но по собственному душевному опыту понимал, почему Зепп, несмотря ни на что, забросил свою музыку и отдался борьбе против варваров. Его связывала с Зеппом крепкая дружба, далеко выходившая за рамки «коллегальности», дружба, теплоту которой Зепп скорее принимал, чем разделял.

Когда Петер Дюлькен услышал, что произошло, он не стал тратить время на разговоры. «Это гнусность» — вот все, что он сказал. И принялся ходить по обширному залу редакции, погруженный в раздумье, иногда откидывая со лба каштановые волосы, как обычно, когда что-нибудь волновало его. И снова подошел к товарищам. Заявил напрямик, как всегда, что от Гингольда добром ничего не добьешься. Общими словами тоже делу не поможешь. Надо решиться и забастовать всей редакцией, если увольнение Траутвейна не будет отменено в течение двадцати четырех часов.

В душе все знали, что это единственный путь, но никто не имел мужества произнести это вслух. Когда Петер Дюлькен своим тягучим голосом, но весьма решительно и определенно произнес это слово, выпустил его

из своего большого мальчишеского рта, они испугались опасностей, которые навлекли бы на себя решением бастовать. На редактора Пфейфера серой глыбой павалились заботы. Что станется с женой и детьми, если он лишится оклада, который получает в «ПН»? Редактора Бергера прошиб пот, он боязливо думал о том, сколько будет мыкаться, сколько дорог исходит своими усталыми ногами по знойному городу Парижу, пока найдет хоть какую-нибудь работенку и добудет несколько франков. И даже подвижный деятельный Вейсенбрун с большой опаской думал о последствиях.

«Питу легко, у него есть месячное содержание, — думали они, — а с нами что будет?» Но в то же время они знали, что несправедливы к Питу. Знали, что он сказал бы то же самое, если бы стоял перед нищетой.

— Забастовка, Пит, — наконец заговорил толстяк Пфейфер, покачивая своей крупной головой, — слово большое. А откуда вы знаете, что своей забастовкой мы не сыграем на руку Гингольду? Если он действительно собирается изменить политическую линию, то мы лишь окажем ему услугу, бросив работу. И он воспользуется случаем избавиться от нас без больших хлопот.

Он знал, что это верно и неверно. Но еще раньше, чем они могли взвесить все «за» и «против», в комнату вошел рыхлый бледный человек в несколько поношенном, торжественно длинном, черном сюртуке.

— Здравствуйте, господа, — сказал он не совсем уверенно, с любезной улыбкой. — Надеюсь, мы с вами хорошо сработаемся. Где мне сесть?

И Герман Фиш, новый сотрудник, человек, призванный заменить Зеппа Траутвейна, обвел всех дружелюбным взглядом.

Да, Гингольд не ленился, он хорошо использовал свой воскресный день, он обо всем договорился с Германом Фишем — и вот он здесь, этот Герман Фиш.

— Думается мне, — сказал он, натолкнувшись на враждебную замкнутость редакторов, — что прежде всего следует поздороваться со стариком Гейльбруном.

— Да, это правильно, — подбодрили его, и он, несколько подавленный, исчез в кабинете Гейльбруна.

Редакторы переглянулись. Появление Германа Фиша обостряло положение. Если Гингольд действительно намерен заменить их одного за другим более удобными ему людьми, тогда лучший способ расстроить этот замысел — объявить забастовку в ультимативной форме. Если все бросят работу, он будет вынужден либо принять их требования, либо отказаться от издания «Парижских новостей». Ведь ему понадобится не меньше двух-трех недель, чтобы составить сколько-нибудь работоспособную редакцию, а такой продолжительный перерыв погубит газету.

Пит и Вейсенбрун рвались сегодня же предъявить ультиматум Гингольду. Но Бергер и Пфейфер требовали отложить окончательное решение до завтра.

Никому из сотрудников «ПН» не спалось в эту ночь с понедельника на вторник. Они обязаны проявить солидарность; было бы подло бросить на произвол судьбы Зеппа. Но если они забастуют, то надо быть готовым к тому, что упрямый и мстительный Гингольд перестанет выпускать газету, и тогда им придется туго, в особенности в ближайшие месяцы.

С двойственным чувством явились они в редакцию во вторник; они хотели забастовки и боялись ее. И тут пришло известие о смерти Анны; каждому из них казалось, что и он виновен в этой смерти, что все они слишком медлили. И забастовка сразу стала решенным делом, колебания кончились. Теперь они немедленно предъявят ультиматум Гингольду.

Осторожный Пфейфер просил подумать, не следует ли предварительно известить Гейльбруна. Стали думать. Но Петер Дюлькен торопил. На долгие переговоры, говорил он, нет времени, надо поставить Гейльбруна перед совершившимся фактом, точно так же как он сделал с ними. Наконец к Гингольду отправились Пфейфер, Бергер и Вейсенбрун; Пит повел их за собой.

Эти два дня были для Гингольда днями надежды. Все как будто улаживалось. Гейльбрун согласился на увольнение Траутвейна, а Герман Фиш тотчас же понял деликатные намеки Гингольда, это был человек, с кото-

рым можно было сработаться. Критик Залинг тоже выразил готовность вести музыкальный отдел вместо Зеппа. Очень скоро Гингольд сможет сообщить своим доверителям, что Траутвейн выгнан и что на его месте сидит умеренный, надежный человек. Архизлодеи, правда, скоры на расправу и не спешат выпустить из рук свою жертву; впрочем, надо отдать им справедливость, до сих пор они выполняли свои обязательства. Кроме того, они все еще заинтересованы в том, чтобы приручить «Парижские новости». Если Лейзеганг увидит, что все идет по намеченной программе, то через несколько дней, через неделю и не позже чем через две Гинделе будет свободна.

Такими надеждами баюкал себя Гингольд, когда пришло известие о смерти Анны Траутвейн. Он затрепетал от страха. Его новые проекты летели ко всем чертям. Траутвейны сделали это ему назло, только для того, чтобы его дитя Гинделе осталась в когтях у архизлодеев. «Возьми себя в руки, — прикрикнул он на себя по-еврейски. — Думай хорошенько, напряги свой ум. Ты не смеешь еще раз промахнуться. Ты не смеешь выказать себя слабым перед этими нахалами. Их надо взять хитростью, их надо обхаживать и улещивать до тех пор, пока не освободят твое дитя, Гинделе. Пусть тогда делают, что хотят. Пусть тогда «Парижские новости» провалятся в тартарары, пусть погибнет моя репутация доброго еврея. А мои дела в Германии — пропади они пропадом, пусть архизлодеи растащат все, что у меня еще осталось там. Если только мое дитя будет на свободе, мне все это трын-трава, и я возблагодарю всевышнего, да славится имя его».

Вот о чем думал Гингольд, когда к нему пришли редакторы. Как ни грозно они двинулись на него, он встретил их крайне вежливо. Он тотчас же заговорил о тяжком ударе, постигшем нашего дорогого друга и коллегу профессора Траутвейна. Профессор уже в течение нескольких месяцев ему не нравился. Он был так возбужден, так нервничал. Гингольд даже боялся, как бы с ним чего не приключилось, особенно в последний день, когда он в самых резких выражениях отказался от работы в редакции.

— Да, мы пришли к вам по поводу Траутвейна,— сухо заявил Петер Дюлькен, так как другие не знали, с чего начать, и Гингольд, несмотря на всю свою осторожность, не мог удержаться и бросил из-под очков злой, пронзительный взгляд на дерзкого юнца. Но, раньше чем он собрался ответить, заговорил Вейсенбрун. Он сразу пошел в наступление:

— То, что случилось с Траутвейном, по нашему мнению, не только печально, но и возмутительно.

— Да,— ответил Гингольд.— Преступники они, эти пацисты, это они во всем виноваты.

— Возмущение наше,— сказал Петер Дюлькен спокойным голосом, но глаза его блеснули,— относится на сей раз не только к пацистам, оно относится к другим, господин Гингольд.

Гингольд сидел и теребил свою четырехугольную, черную с проседью бороду. Надо умаслить этих людей, они опять ставят под угрозу его Гинделе, надо разговаривать с ними полюбезнее.

— Вы можете спокойно высказать все, без всяких недомолвок,— вежливо сказал он.— Мне бы хотелось, чтобы в этом деле не осталось никаких недоразумений между нами. Объяснитесь. Говорите возможно точнее.

— Это мы и собираемся сделать,— сказал своим желчным голосом редактор Бергер, всегда и во всем любивший точность.— Вы утверждаете, что профессор Траутвейн в резких выражениях отказался от работы. Мы не думаем, что все происшедшее имеет именно тот смысл, который вы в него вложили. Оправданно ли увольнение Траутвейна с формально юридической точки зрения или нет, мы все, служащие вашей редакции, отказываемся продолжать работу без коллеги Траутвейна. Мы требуем от вас, господин Гингольд, чтобы вы предложили профессору Траутвейну продолжать свою работу в редакции или, если хотите, вновь за нее взяться. Если мы до завтрашнего вечера не получим гарантий, что Зепп Траутвейн послезавтра будет восстановлен в качестве постоянного редактора «Парижских новостей», мы все, как один, прекратим работу.

«Нельзя допустить, чтобы «ПН» теперь закрылись,— размышлял Гингольд.— Теперь — нет. Не теперь. Если

они закроются, то архизлодей не будут заинтересованы в том, чтобы оказать мне услугу, и будут без конца держать мою дочь в концлагере и замучают ее до смерти, ибо они мстительны». Внутри у него все кипело, как в самоваре, но он предостерег себя: «Спокойно, подумай хорошенько, не показывай своей ярости и своего горя. Великий, добрый боже, пошли мне дельную мысль, хорошую идею».

— Господа,— сказал он, успокаивая их, заклиная,— зачем же сразу так горячиться? Зачем сразу начинать с требований, а не с предложений? О предложениях можно говорить. Не надо действовать опрометчиво, в особенности если дело идет о щекотливых вещах. Мы так долго сотрудничали с вами и так хорошо сработались. Давайте спокойно и мирно подумаем, пока не найдем решение. Вы полагаете, несчастье, случившееся с профессором Траутвейном, не волнует меня? Я обдумываю ваши предложения. На этой основе можно вести переговоры.

«Я возьмусь за Гейльбруна и Германа Фиша,— думал он между тем. Он думал отчетливо, последовательно.— Если Гейльбрун и Герман Фиш будут продолжать дело, значит, витрина останется, и именно такая, какой хотят архизлодей. Тогда архизлодей будут мной довольны и еще на этой неделе освободят Гинделе. Дай-то бог, дай-то бог».

— Ведите переговоры, господин Гингольд,— сказал Петер Дюлькен,— но ведите их, смею вам посоветовать, прежде всего с Зеппом Траутвейном. Если мы завтра вечером не получим требуемых гарантий, вам придется вести переговоры гораздо дольше.

Гингольд чуть не вскипел. Что позволяет себе этот сопляк? Чтоб ему провалиться. Но он снова сказал себе: «Я должен удержать их, этих нахалов. Надо сделать вид, что не слышишь их наглых речей. Они ослеплены, у них нет ни глаз, ни ума. Они не видят никакой разницы между этой ффрау Траутвейн и моей Гинделе. Им кажется ужасным то, что ффрау Траутвейн умерла. Они не знают, что моя Гинделе в концлагере. Они не знают, что по-настоящему ужасно».

Вслух он сказал:

— Прошу вас, господа, постарайтесь сохранить спокойствие. И будьте справедливы. Я тоже стараюсь. Я слышал ваши предложения, я обдумываю их. Профессор Траутвейн отнесся ко мне очень плохо, но я готов еще раз с ним поговорить, — может быть, он по-прежнему будет писать о музыке. Хотя мы могли бы заполучить Залинга, господа. Возможно, что мы найдем компромиссное решение. Но, прошу вас, говорите о предложениях и не настаивайте на требованиях, которые можно только принять или отклонить. Потом вы, вероятно, сами об этом пожалеете. И прежде всего дайте мне время. Дайте мне пять дней, три дня. Можно разве вот так, сгоряча, решать дела, имеющие такое важное значение? Всемогущему богу — и тому для сотворения мира понадобилось шесть дней.

«Надо поговорить с Гейльбруном, — думал он. — Надо поговорить с Гермапом Фишем. Это добрый знак, что с ними нет Гейльбруна. Надо предложить ему больше денег».

— Мы не герои, — ответил ему толстяк Пфейфер, — но мы и не лавочники. Предложений мы вам не делали, а поставили требование, обдуманное требование, и толковать его вкрявь и вкось не приходится.

— Значит, вы, так сказать, приставили мне нож к горлу? — спросил Гингольд с вымученной улыбкой.

— Мы ставим вам ультиматум, — флегматично подтвердил Петер Дюлькен своим высоким голосом. — Срок истекает завтра, в восемь часов вечера.

Франц Гейльбрун между тем сидел в своем кабинете, обставленном со скудной роскошью. «Этого достаточно», — сказал ему сухопарый Бергер. Но этого было недостаточно, понадобилось еще, чтобы Анна Траутвейн открыла газовый кран. Теперь уже достаточно. Теперь он сидит в своем кабинете, конченный человек, конченный в глазах света и своих собственных.

Его лицо с полной, отвисшей нижней губой как бы расплылось. Рот слегка перекосился. Что предпримут редакторы? Он может спрятаться от них за своей мас-

сивной дверью, но и сквозь дверь проникает их презрение — этому он помешать не может.

Но и это еще не самое худшее. Хуже всего, что он сам прекрасно знает, что он сделал и что должен был сделать. Ссылка на дочь Грету, это смягчающее обстоятельство, — просто чушь, предлог, сочиненный им для себя же. Он отлично разбирался в шкале ценностей и отлично знал свой долг, он умышленно, для собственного удобства зажмурился и прикинулся, что плохо видит. Теперь он получил урок. «Этого достаточно».

Вошел Герман Фиш. Он проникнул, что редакторы грозят забастовкой, и пришел к Гейльбруну, своему естественному союзнику.

Два дня назад Гейльбрун попросту расхохотался бы, скажи ему кто-нибудь, что его редакторы будут принимать решения через его голову. Теперь его самоуважение уже настолько подорвано, что известие, принесенное Германом Фишем, вряд ли могло потрясти его еще сильнее. Но ему было стыдно перед самим собой, что он как раз теперь связан с этими против тех, порядочных. Впрочем, и Герман Фиш считал, что дело дрянь. Ему начало казаться, что он влип в скверную историю. Этот Гейльбрун — тоже всего лишь обломок, человек, прикованный к той же тачке, что он сам, какая уж от него помощь, одни затруднения. Оба сидели нахохлившись, как куры под дождем.

Пришел Гингольд. Он взял себя в руки. Чтобы завоевать Гейльбруна и Германа Фиша, надо прежде всего держаться бодро. Он сухо и деловито рассказал об ультиматуме редакторов. Видя, что Гейльбрун и Фиш пали духом, он заговорил очень решительно.

— Надо лишь умно взяться за дело, — сказал он, — и тогда смертельный удар по «Парижским новостям», задуманный редакторами, окажется лишь полезным для газеты. Я ведь давно решил произвести изменения в составе редакции, и, таким образом, ультиматум мне на руку. Все теперь зависит от вашего поведения.

И он предложил, чтобы Гейльбрун в пику взбунтовавшимся редакторам по-прежнему исполнял функции главного редактора. С помощью ловкого, умного Германа Фиша он в кратчайший срок сколотит штат способных

редакторов, и это даже к лучшему, по крайней мере редакция избавится от вечных склочников и скандалистов.

— Кто хочет всем заткнуть рот,— сказал он без видимой связи с предыдущим,— тому понадобится много хлеба, во всяком случае больше, чем есть у старого Гингольда. Ну, а в случае капитуляции господ Гейльбруна и Фиша вряд ли найдется средство спасти газету. Если я действительно вынужден буду отказаться от издания «ПН», какое же ликование поднимется в лагере нацистов.— Второпях он сказал «архизлодеев».

Поэтому он просит обоих редакторов, так сказать, от имени всей эмиграции принять меры, чтобы в столь критическое время не пришлось прекратить издание самого авторитетного органа германской оппозиции.

Если бы здесь не было Фиша, Гейльбрун без всяких колебаний ответил бы решительным отказом. Было уже «достаточно», и он не пойдет на новые гнилые компромиссы. Но не успел он рот открыть, как заговорил Герман Фиш; посыпались предложения, как продержаться в переходное время, Фиш называл имена, пускался в подробности, и, пока он говорил, Гейльбруна опять начали одолевать сомнения. Разве он исправит то, что сделал, если надуется и отойдет в сторону? Гингольд — спекулянт, и если он уговаривает их остаться, то, уж конечно, ради каких-то темных дел. Но в одном старый мошенник прав: если «ПН» перестанут выходить, то вся германская оппозиция лишится своего рупора, и, быть может, навсегда. Вправе ли Гейльбрун содействовать этому своей пассивностью? Не будет ли опрометчивостью, если он скажет, гордый своей правотой: «Я вам не товарищ. Делайте, что хотите». Ведь это так же неразумно, как то, что сделал Зепп. Он заколебался. Один голос в нем говорил: «Согласись»,— а другой, шедший из тайных глубин души, настаивал: «Не соглашайся».

Герман Фиш кончил. Теперь оба, Гингольд и Фиш, смотрели на Гейльбруна, и он понял, что от его решения зависит судьба «ПН» — важного политического достоинства германской эмиграции. На одно мгновение эта мысль возвратила ему былую уверенность, и он снова почувствовал себя «особой». Он заявил по-старому раз-

машисто и жизнерадостно, что обсуждаемый вопрос слишком важен и решить его мгновенно нельзя. При всей срочности этого дела он должен тщательно взвесить все «за» и «против» и раньше чем вечером ответ дать не может. Все это было сказано так решительно, что возражать не приходилось. Он ушел, и Гингольд, весь сжавшись, озабоченно смотрел вслед человеку, от которого теперь зависела судьба Гинделе и его самого.

Гейльбрун поехал домой. Грета ушла с ребенком гулять. Он был рад, что не встретился с ней.

Он лежал на диване в полутемной, с занавешенными окнами комнате, с потухшей сигарой во рту — и размышлял. Если «Парижские новости» перестанут выходить, то вред, причиненный делу эмиграции их исчезновением, намного превысит пользу, принесенную газетой за все время ее существования. А он потеряет последние остатки благосостояния и комфорта, он обнищает, а с ним его дочь и внучка. Если же он примет предложение Гингольда и тем самым поможет тому, чтобы газета по-прежнему выходила, что будет делом сомнительным и гнилым, он, который отвечает за все, не сможет смотреть в глаза порядочным людям.

Экономка доложила, что его просят к телефону.

— Оставьте меня в покое, — сердито проворчал он.

— Это фрау Гейльбрун, — настаивала экономка. — Она желает говорить с вами или с фрау Гретой.

Гейльбрун вскочил. Он не знал, радоваться ему или сожалеть, что Бригитта опять объявилась в Париже. Она жила в Вене, где открыла большое бюро машинописи и переводов. Он давно ее не видел; она имела обыкновение время от времени неожиданно появляться, чтобы повидать его или Грету. Она приехала, вероятно, потому, что узнала о беде Греты. Он боялся Бригитты и был ей рад. Энергичная, прямая, она видела человека насквозь и умела заглянуть в самые глубокие тайники его души. Гейльбрун боялся ее и одновременно жаждал излить перед ней душу.

Поэтому он с легким испугом и с большой радостью услышал ее голос в трубке.

— Что случилось? — тотчас же строго спросила она. — Почему это ты не в редакции? Правда ли, что Грета живет у тебя? По-видимому, у вас там творятся хорошенькие дела. Кажется, вам опять нужен благоразумный человек, который бы опять навел у вас порядок.

— Возможно, что и так, Бригитта, — ответил он, стараясь говорить шутливо. — Но не лучше ли обсудить это с глазу на глаз?

Уговорились, что она приедет обедать.

Как это ни странно, Гейльбрун, едва он услышал голос Бригитты, твердо решил отклонить предложение Гингольда, он даже не допускал возможности, что когда-либо колебался. Если он не сразу отказал Гингольду, то лишь оттого, что после оплошности, допущенной Траутвейном, взял за правило в важных делах давать себе отсрочку на несколько часов и только затем принимать окончательное решение.

Пришла Бригитта. Шумно встретил Гейльбрун свою «тетушку в зеленом». Так он называл ее по сходству с веселой белокурой женщиной — фигурой с картины, висевшей у них в Берлине, — автором которой считали Франса Гальса. У этой женщины было большое, несколько слинявшее староеобразное лицо. Облик Бригитты, в юности веселой и жизнерадостной, с самого начала, так сказать подспудно, носил в себе черты этой «тетушки в зеленом». Гейльбрун часто дразнил ее этим и с удовлетворением, насмешкой и жалостью видел, что с возрастом эти черты проявляются в ней все сильнее.

Бригитта тотчас же поняла, что Гейльбрун так удручен и подавлен не только из-за Греты. Несколько умных наводящих вопросов — и она узнала обо всем, что произошло. Гейльбрун сначала рассказывал с оттенком хвастовства; но вскоре отказался от всякой попытки выгородить себя. Даже когда она выразила уверенность, что он не сразу отверг предложение Гингольда, Гейльбрун почти не отпирался. И с облегчением вздохнул, когда Бригитта наконец отметила: главное, чтобы в итоге он все же сказал «нет».

Затем пришла Грета, и фрау Бригитта обошлась и с ней не очень-то мягко. Она не понимает, как могла

Грета хотя бы на мгновение усомниться в том, что Оскар КлейнпETER бросит ее. И особенно глупо было настаивать на поездке Оскара в Лондон. Что могло получиться из этой поездки для обеих сторон, кроме мучений? Деньги можно было потратить на что-нибудь лучшее.

После обеда Грета ушла к себе, немного обиженная и тем не менее подбодренная жестким и трезвым подходом матери к явлениям жизни. Гейльбрун и его «тетушка в зеленом» снова остались одни.

По правде говоря, Бригитта приехала потому, что впервые за много лет хотела воспользоваться помощью, которую Гейльбрун неоднократно предлагал ей. Бригитте представилась возможность слить ее венское бюро с другим, более обширным, на условиях, которые показались ей выгодными, но для этого пришлось бы вложить в дело дополнительный капитал. Она надеялась, что Франц поможет ей, да, как видно, явилась в неподходящую минуту.

Вот он сидит, усталый, старый, в головах у него висит портрет работы Либермана, единственное, что осталось у Греты от клейнпETERского дома. Бригитта всегда видела в своем Франце, жили ли они вместе или порознь, барина, каким он был изображен на этом портрете, гордого, жизнерадостного, самоуверенного, надменного, обаятельного своим вечным оптимизмом, обаятельного именно тем, что он дает себе и другим такие импульсивные, несбыточные обещания. Но человек, который сидит перед ней сгорбившись, устало поникнув побелевшей головой, имеет мало общего с портретом. Такое открытие потрясло ее. Она от этого не меньше любит своего Франца, напротив, именно потому, что он сегодня так присмирел и не разворачивает перед ней, как обычно, сотни великолепных планов, он вызывает в ней сострадание и непривычную нежность. Зло посмеиваясь над собой, она думает, что было бы нелепо хотя бы словом упомянуть о своем деле; жизнь и так достаточно истрепала, истерзала Франца, зачем же вдобавок причинять ему еще муки стыда.

Раньше нельзя было ужиться с ним из-за его надменности и оттого, что он попадался на каждую новую блестящую приманку и с необыкновенным энтузиазмом

тянулся к ней. Но именно за это Бригитта его любила. Теперь, когда он, видимо, изменился, в ней зашевелилась великая надежда: нельзя ли им снова зажить вместе — великолепному Францу Гейльбруну, немного присмиревшему, потому что ему здорово досталось, и энергичной «тетушке в зеленом», порой докучливой, но умеющей его обуздать.

Бригитта окинула взглядом старую, привычную мебель — среди нее она прожила так много лет своей жизни, — и на сердце у нее потеплело. Однако она энергично призвала себя к порядку: как часто ей казалось, что Франц изменился, но ее неизменно ждало разочарование. Теперь, когда она наконец поумнела, не надо повторять старые ошибки; она знает, что новая попытка совместной жизни не может кончиться хорошо.

Бригитта со вздохом вернула себя с небес на землю. В данный момент единственное, что она может сделать, — это успокоить и утешить жестоко удрученного человека. В таком состоянии она не бросит его. Уж пусть бы он лучше важничал и бахвалился. Она осторожно заговаривает с ним, ловко дозируя порицание и надежду, стараясь помочь ему встать на ноги. И вот он уже обрел немного прежней гордости. Стал рисоваться перед Бригиттой. Решил в ее присутствии дать ответ старику. Снял трубку, потребовал Гингольда. Как только тот узнал, кто у телефона, он тотчас же заговорил торопливым, противным голосом:

— Наконец. Значит, согласны. Да, я совсем забыл: разумеется, я готов компенсировать вас за добавочный труд и хлопоты — хочу повесить вам оклад на тридцать процентов. Вы согласны, дорогой Гейльбрун?

— Я отказываюсь, — сказал Гейльбрун решительно и даже не особенно величественно. — Я присоединяюсь к ультиматуму редакции.

И повесил трубку, не дожидаясь ответа.

— Ну вот, тетушка в зеленом, — добродушно сказал он Бригитте, обняв ее за талию и скептически посмеиваясь над самим собой. А она переводила взгляд с живого Гейльбруна на портрет кисти Либермана, и разница уже не казалась ей столь разительной.

Глава 4

СМЕЛЫЙ МАНЕВР

Пфейфер, Бергер и Петер Дюлькен, сменяя друг друга, изложили все, что могло быть важным для оценки юридической ситуации, в которую они попали. С напряженным интересом смотрят они на советника юстиции Царнке и ждут, что он скажет.

Царнке ходил по комнате, внимательно слушая, небрежно рассеивая по ковру пепел от сигары; время от времени он неожиданно останавливался и окидывал говорящего взглядом больших, внимательных карих глаз. Подойдя к столу, он налил себе вишневого ликеру, выпил и подвел итог:

— Выходит так, что моральное право на вашей стороне, а юридическое — на стороне Гингольда.

— К такому же выводу пришел и я, — меланхолически сказал Бергер.

— Но именно поэтому мы к вам и явились, — возразил Петер Дюлькен и с лукавой улыбкой взглянул в лицо советнику юстиции. — Хороший адвокат на то и существует, чтобы помочь хорошему делу восторжествовать над плохими законами. Хорошо все то, что бьет по старому Гингольду.

Царнке рассмеялся. Беседа велась сердечно и отнюдь не в тоне серьезного совещания; Царнке не любил вести переговоры со своими клиентами в слишком официальном тоне.

Сидели в уютной столовой за чашкой кофе. Тут же была кухня хозяина Софи, от которой у него не было секретов. Совещания с клиентами обычно продолжались долго. Царнке любил окольные пути, отступления, рассказывал анекдоты. «Я люблю соус больше жаркого», — говаривал он, и с этой его прихотью мирились даже люди, склонные торопиться; он не только был отличный юрист, но умел дать и вне юридических рамок добрый, умный совет и обладал искусством после продолжительной и как будто не очень деловой беседы сделать точные, отчетливые выводы.

Так было и сегодня.

— Ваши договоры,— сказал он,— разумеется, теряют силу с того момента, как вы объявили забастовку. Если я правильно понимаю вас, вы шли на то, чтобы нарушить формальное право.

— Да,— ответил Пфейфер.

Царнке покачал головой; на его мясистом лице выделялись густые усы угольно-черного цвета, вероятно восстановленного с помощью косметики. Он обвел глазами всех троих и сделал жест, выражавший сомнение и озабоченность. Но полные губы улыбались. Невысокий, живой, обходительный, страдавший плоскостопием, адвокат снова принялся бегать из угла в угол по толстому, усыпанному пеплом ковру; он загребал руками, словно рассекая воду. Дело редакторов нравилось ему. В эмиграции было нечто пассивное, застойное; приятно было встретить людей, которые действовали, не боялись пойти в наступление.

Юлиан Царнке не особенно интересовался политической, но нацистов он ненавидел страстно. И не без личных оснований. Сам он был сыном отца-«арийца» и матери-еврейки; с тех пор как нацисты оказались у власти, он, как человек «смешанной крови», не имел права выступать перед судом. Но этого права не был лишен его сын Роберт, которого он взял к себе в компаньоны, ибо у Роберта была только одна бабушка-еврейка, мать Царнке, поэтому в третьей империи он считался на три четверти арийцем. И теперь получилось, что Царнке-отец обладал талантом, а Царнке-сын лишь «чистой» — на три четверти — кровью. В первое время они устроились так, что Юлиан Царнке составлял защитительную речь и вообще натаскивал сына, а во время выступлений Роберта Юлиан большей частью обретался в Моабите, центре берлинской юстиции. Он любил воздух Моабита.

Но то, что молодой Царнке, «почти ариец» и официальное лицо, общался с отцом-«неарийцем», вызывало неудовольствие у властей третьей империи, и Роберт Царнке заявил отцу, что, когда он, Роберт, выступает, отец не должен показываться в Моабите. Но Юлиан Царнке был глух на это ухо, он любил свой Моабит, он не мог существовать без него. Начались ссоры между отцом и сыном. Тулипса сын все сильнее

приставал к талантливому отцу, настаивая, чтобы тот перестал бывать в судебных залах, где на него косятся. Царнке-отец был мудрый человек, он, крупный адвокат, глубоко заглянул в пучину человеческой глупости, честолюбие сына было ему понятно, и, отрекись от него Роберт из карьеристских побуждений, он бы с этим примирился. Но сын отрицал отца сверх всякой необходимости, он хотел спрятать его, скрыть от глаз общест-венности, загнать на задворки. Общение между отцом и сыном потеряло всякий смысл, Юлиан Царнке счел разумным покинуть Берлин.

И вот Царнке живет в Париже, если судить по тому, что на виду, живет неплохо, — он успел вовремя спасти часть своего состояния. Старик делал вид, что чувствует себя хорошо. Но счастливыми ни отец, ни сын не были. Молодой Царнке понимал, что деятельность адвоката ему не по плечу, помощь отца нужна была ему до за-резу. А Юлиан Царнке был лишен возможности демон-стрировать свое искусство, измышлять юридические уловки, умело обрабатывать судей и стороны, он тоско-вал по Берлину, по своему Моабиту.

Дело «Парижских новостей» было ему по душе. Здесь можно было содействовать победе стороны, нару-шившей букву закона во имя морального права; помочь симпатичным людям в борьбе против мошенника и под-леца; а главное, ему понравился этот молодой человек, этот Петер Дюлькен, с его свободным, не замутненным сентиментальностью восприятием реальной жизни.

— А если Гингольд не примет ультиматума и при-хлопнет «ПН»? — с интересом спросил Царнке.

— Тогда надо попытаться выпускать собственную газету, — сказал, побряхтывая, Пфейфер; Царнке не понял, объясняется ли это кряхтение астмой или стра-хом перед трудной задачей.

— Не очень-то это приятно — такая распря среди эмигрантов, — размышлял вслух Царнке. — Пожива для нацистов. Да и дорогое удовольствие.

— У Гингольда — средства производства, у нас — рабочая сила, — уныло сказал Бергер.

— Стало быть, надо отнять у него средства произ-водства, — деловито и дерзко подытожил Петер Дюль-

кен. Он тоже встал и принялся неуклюже бегать из угла в угол, отбрасывая назад непослушную прядь волос, ожесточенно размышляя.

— Отличная идея,— рассмеялся Бергер.— Надо только отнять у Гитлера третью империю, и национал-социализму конец.

— Вот как я мыслю себе это,— стал объяснять свой план Пит, игнорируя ироническое замечание Бергера.— Мы будем издавать газету на собственный счет под слегка измененным названием. Список подписчиков у нас есть. Редлих или Глюксман отпечатают его нам на машинке. Типографии совершенно безразлично, за чей счет печатается газета, лишь бы заказчик платил. Подписчикам она будет доставляться по-прежнему; их ничуть не беспокоит, кто издает газету — консорциум «Добрая надежда» или другое акционерное общество. Наши новые «ПН», или «ПП», или как бы мы их ни называли, после двух номеров пустят такие крепкие корни, что никто и не вспомнит, как они назывались раньше.

Бергер и Пфейфер иронически усмехались. Советник юстиции был известен как человек практики, не уносящийся в облака, и оба ждали, что он здорово отделает Пита и его нелепый проект. Но Царнке сказал:

— Это было бы смелым маневром.— Он остановился перед Питом и задумчиво посмотрел ему в глаза, машинально поглаживая густые черные усы. И вдруг улыбнулся и рассказал анекдот: — Однажды в Черновцах старый еврей с длинной белой бородой подошел к театральной кассе. Он закрыл рукой бороду и сказал: «Дайте мне студенческий билет».

— И что же? — с интересом спросил Пфейфер.

— И получил его,— ответил Царнке.

Все рассмеялись.

— Главное, где вы возьмете деньги? — спросил адвокат.

— Немного денег я смогу дать,— сказал после непродолжительного раздумья Пит.— Есть человек, интересующийся рукописью партитуры Генделя. За нее можно выручить монету. Мне придется довольствоваться для моей работы фотоснимками. Другие же пользуются ими.

Пфейфер и Бергер дружелюбно и взволнованно смотрели на Пита. Они часто потешались над его страстью, но знали, что расстаться с рукописью Генделя — это величайшая жертва для него. Советнику юстиции с самого начала понравилась свободная, хладнокровно-энергичная натура Петера Дюлькена, его прямодушные, сочетающиеся с находчивостью. Самоотверженность Петера Дюлькена окончательно покорила Царнке.

— Я тоже постараюсь достать денег, — пообещал он.

— Не хочешь ли еще чашку кофе? — энергично вмешалась кузина, до сих пор молча и внимательно слушавшая.

Царнке взял к себе кузину, чтобы она заботилась о нем и удерживала от опрометчивых решений. Он был отзывчив и легко воспламенялся, порой слишком быстро говорил «да» и давал волю своему неосторожному озорному языку. В таких случаях Софи полагалось предостеречь его. Иногда он спохватывался, но чаще отвечал ей:

— Вижу, вижу, милая Софи, что я опять собираюсь наглупить, но уж эту единственную глупость мне придется сказать, — и он ее говорил.

Сегодня Царнке только улыбнулся и весело ответил:

— Нет, Софи, благодарю, кофе мне не надо.

Но именно потому, что проект Петера Дюлькена понравился ему своей смелостью, Царнке деловито изложил все трудности, ожидающие его клиентов. Гингольд мог опереться на статьи закона.

— Если вы решитесь на такой шаг, господа, — разъяснял он им, — надо быть готовыми к тому, что курьер суда станет у вас частым гостем. Гингольд будет что ни день закатывать вам новые судебные решения. Надо иметь крепкие нервы, чтобы все это выдерживать.

— Думается, нервы у нас крепкие, — сказал Петер Дюлькен.

Пфейфер и Бергер сознавали всю рискованность этой затеи. Но уж раз они торжественно и от чистого сердца заявили о своей солидарности с Зеппом, нельзя же теперь отступить и отречься от него. Даже если ты

стар, если тебя мучает астма, если ты измотан и обременен заботами,— все равно, хочешь не хочешь, а становишься в одну шеренгу с молодым Питом.

Царнке выполнил свой долг и указал клиентам на подстерегающие их опасности. Если они все же дерзают, это их дело. Ему это нравится, и он охотно поможет им. Несмотря на то что Софи предложила ему еще чашку кофе, Царнке заявил, что он, очень вероятно, добудет для них денег. Пфейфер и Бергер заразились общим настроением; сама рискованность, авантюристность этой затеи все больше и больше увлекала их. Как озорные мальчишки и как заговорщики, сидели они вчетвером, рассеивали по ковру сигарный пепел, прихлебывали кофе или вишневый ликер, грызли печенье и готовили смелый маневр.

Осталось неясным, как быть с Гейльбруном. Он, правда, вел себя некрасиво в деле с Зеппом, но без блеска его имени, без его большого опыта им будет трудно обойтись. Надо учесть и то, что Гингольд попытается и впредь издавать «ПН» и, если он привлечет на свою сторону Гейльбруна, новому делу с самого начала грозит провал.

Пфейфер и Бергер решили вступить с ним в переговоры. Беседа будет не из приятных. Они долго работали вместе с Гейльбруном, они знают друг друга десятилетия. В конце концов, именно он основал «ПН», а они обошлись с ним резко, как с союзником врага. При таких обстоятельствах нелегко признаться, что без него им будет трудно.

Но Гейльбрун облегчил им неприятную задачу.

— Конечно, нехорошо было с вашей стороны,— начал он,— вынести мне вотум недоверия. Но я могу это понять.— Он почувствовал глубокое внутреннее удовлетворение, однако решил не разыгрывать из себя обиженного.— Не будем злопамятны,— сказал он.— Лучше обсудим создавшееся положение. Наш Гингольд предложил мне по-прежнему выпускать «ПН» и сколотить совместно с Германом Фишем новую редакцию. Я, разумеется, отказался. Все же не думаю, чтобы Гин-

гольд сложил оружие.— Гейльбрун в раздумье взглянул на редакторов своими воспаленными глазами. Наступило тягостное молчание.

— Раз вы отказались, Гейльбрун,— сказал Пфейфер,— ему будет сложно найти подходящего человека.

— Да и нам, к сожалению, тоже,— желчно проворчал Бергер.

Про себя Гейльбрун с облегчением вздохнул, но постарался выказать скромность.

— Если не возражаете, я к вашим услугам,— кротко сказал он.

Этим главный редактор окончательно вогнал их в краску. Даже в словах и жестах он не проявил ни малейшей надменности. Пфейфер и Бергер были пристыжены.

В среду — вечером этого дня истекал срок ультиматума — Гингольд не показывался в редакции. Он сидел дома и судорожно набирал людей, которые обеспечили бы выпуск «ПН».

Редакторы со своей стороны добросовестно составили очередной номер «ПН». Затем они прекратили работу, перебрались в новое помещение и подготовили выпуск первого номера собственной газеты, которая должна была выйти под названием «Парижская почта для немцев».

Они вложили в работу весь свой пыл. Они уже называли свою новую газету только инициалами «ПП» и напряженно ждали выхода в свет первого номера.

Глава 5 ИСКУШЕНИЕ

После смерти Анны оказалось, что у Зеппа больше друзей, чем он думал. Мерсье с удивлением наблюдал, как много респектабельных людей явились засвидетельствовать свое соболезнование Зеппу. И письма приходили кипами; даже Леонард Римап, не убоившись цензуры и гестапо, написал искреннее, дружеское, скорбное письмо.

Зепп принимал друзей, читал письма, но все это не особенно трогало его. Он сидел хмурый в кресле, которое Анна для него обила, в домашних туфлях, которые она купила для него, споря с самим собой, злой на весь мир.

Он старался вызвать в памяти образ Анны, это удавалось ему, она вставала перед ним как живая, он слышал ее любимый, звучный голос. Он вспоминал ту бурную ночь, когда она впервые кричала на него. «Ты рехнулся,— кричала она.— Брось ее к черту, твою дурацкую политику!» Так ясно звенел в его ушах голос Анны, что он дергал головой, словно хотел стряхнуть каплю воды.

Но голос не умолкал, и покойная Анна, как ни странно, говорила с ним так убедительно, как не умела говорить живая. И вдруг ему показалось, что он понял смысл ее смерти: она умерла, потому что не могла убедить его. Заставить его осознать, что в политику он вносил лишь добрую волю, но отнюдь не талант, что его долг вернуться к музыке. Чтобы раскрыть ему глаза, Анна отдала высшее, что может отдать человек,— свою жизнь. Бессмысленной ее смерть будет только в том случае, если он не примет ее жертву.

Истолковав так смерть Анны, он почувствовал большое облегчение: теперь ему позволено вернуться к музыке. Да, теперь он возвращается к своему подлинному призванию, он наверстает то, что потерял за время долгого и бесплодного перерыва, он обещает ей это, как ученик, сделавший ошибку. «Будь что будет, старушка,— сказал он вслух, не разбирая, говорит ли он с ней или с собой,— теперь я буду заниматься музыкой, и только музыкой. Ты увидишь, это будет нечто стоящее». И прибавил: «Прости, чудесный край»,— подразумевая «ПН» и всю свою политическую писанину.

Это было утром. А во второй половине дня пришел Питер Дюлькен и заявил, что хочет поговорить с ним о важном деле. Зепп неохотно ответил, что ему теперь не до редакционных дел. Но Пит со своей обычной флегматической энергией настоял, чтобы его выслушали, и подробно поведал Зеппу обо всем происшедшем.

Первое, что почувствовал Зепп, была большая, неразумная радость. Значит, он прав: мир состоит не из одних гингольдов. Все, Пит, Пфейфер, Бергер,— все встали на его защиту, даже Гейльбрун, этот подлец, не мог увильнуть. «И Анна до этого не дожила,— подумал он.— Все приходит слишком поздно. Как письмо Тьюверлена к Гарри Майзелю. Рингсейс, пожалуй, прав насчет науки ожидания».

— Мне незачем вам говорить, Пит,— радостно сказал он своим пронзительным голосом,— какое для меня облегчение услышать то, что вы мне рассказали. Если бы вы все оставили меня в беде, я бы до конца жизни не мог забыть вашего вероломства. Я был совершенно убит. Говорю вам как на духу: я дошел до того, что мысленно обозвал Гейльбруна грязным евреем. И теперь мне стыдно взглянуть вам в глаза. Вы замечательный друг, Пит, и все вы замечательные парни.

Он схватил руку Пита и крепко пожал ее.

Пит во избежание сентиментальностей перевел разговор на деловую тему.

— Мы основали новую газету, «Парижскую почту для немцев»,— сказал он,— потому что не хотим от вас отказаться. Вы нам нужны, мы не можем без вас обойтись. Красивых слов я говорить не умею, но ваше имя, иначе трудно было бы выразиться, ваше имя как раз теперь стало знаменем. В первом же номере мы даем на видном месте статью, вызвавшую разрыв с Гингольдом, пародийную речь Гитлера о Рихарде Вагнере.

Зепп нахмурился. Он опять сделал глупость. Не надо было так громко кукарекать, выражать свою радость. Петер Дюлькен может еще подумать, что он собирается торчать в этой проклятой редакции до скончания века. Нет, конечно, милостивые государи. Зепп вышел из игры. Зепп занимается своей музыкой и ничего больше знать не желает. Он сейчас же яснее ясного растолкует Питу, что это его твердое, непоколебимое решение. Лучше быть минутку грубияном, чем всю жизнь сидеть в дерьме.

— Послушайте-ка, Пит,— начал он подчеркнуто резким тоном.— Вы умный парень, вы кое-что пони-

маете в музыке, и с вами я могу говорить откровенно. Конечно, благородно, что вы заявили о своей солидарности со мной, но, по существу, это вполне естественно. — «Если вам представляется, что вы сможете меня вторично уговорить, — думал он, — и вторично запрячь меня в ваши «ПН», или «ПП», или как там называется ваш дрянной листок, то вы глубоко ошибаетесь. Меня вы второй раз не заарканите, уж будьте уверены». — И сердито, громко прибавил: — Я говорю это только для того, чтобы вы там в редакции не заблуждались на этот счет. Я ведь, в конце концов, тоже послал к чертям свою музыку ради ваших «ПН» и не ждал, что кто-нибудь поблагодарит меня, да никто и не сделал этого. — Он говорил запальчиво, презрительные выражения и диалектизмы подчеркивали горечь его слов.

Пит слушал. Он чуть склонил голову, и его худое острокносое лицо, открытое и живое, выражало смущение. Зеппу было жалко, что он так грубо напустился на Пита. Он был не очень высокого мнения о работе Пита, считал ее черной работой, «когда короли строят, у возчиков много дела», тем не менее Пит понимает, что такое музыка, и, разумеется, хорошенько подумал, прежде чем прийти к нему с таким предложением. Поэтому он прибавил мягче, чуть виноватым голосом:

— Вы моралист, Пит. Выражались вы очень вежливо, но, по существу, вы прочли мне лекцию о долге: по вашему мнению, остаться в «ПП» — мой священный долг. Сказать ли вам, как звучит на чистом немецком языке то, что вы так осторожно проповедовали мне? — И он принялся переводить предложение Пита на свой собственный язык. — Мир гибнет, — выкрикнул он фальцетом, — а этот злосчастный Зепп возомнил, будто он особенный и ему позволительно заниматься только музыкой. Что он себе, собственно, воображает, этот субъект? Разве нельзя быть большим художником и наряду с этим иметь другую профессию? Разве Гете, Шекспир, Готфрид Келлер только и делали, что сочиняли? И таких примеров вы, надо думать, можете привести великое множество. И вдруг приходит Зепп Траутвейн, человек не такого уж большого формата, и попросту

ваявляет: «Пою, как птица вольная», — и покидает нас: дескать, надсаживайтесь, дело ваше. Ведь нечто подобное вы хотели мне сказать? Сознавайтесь, Пит.

Петер Дюлькен все еще смущенно улыбался. Он выглядел совсем мальчишкой. «Немного похож на юного Шиллера», — подумал Зепп. Петер Дюлькен был чуток, в словах Зеппа он уловил вполне оправданное высокомерие музыканта. «Но разве я сам, — мелькнула у него мысль, — не продал рукопись Генделя? А это далось мне не легко. Конечно, техника совершенствуется, я могу работать и по фотокопиям, но оригинальная рукопись — это нечто иное, а для меня — нечто совсем иное». Прежде чем отнести рукопись покупателю, он долго гладил пожелтевшие листы, — листы, исписанные рукой Генделя, он прикипел к ним сердцем. «Хорошо, — думал он, — Зепп натура творческая, а я нет. Но когда я замечаю, слушая Бетховена, или Моцарта, или Гайдна, что здесь что-то не так, здесь пелёные описки или опечатки изувечили первоначальный текст, и знаю, что мог бы найти, где нарушена гармония, найти ее первоначальную чистоту, а вместо этого торчу в редакции и работаю до упаду, — разве мне не больно? Мне тоже известно, что такое жертва. И Зепп не смеет теперь уйти, это невозможно, он должен остаться на посту. Я имею право потребовать этого. Было бы преступно не сделать такой попытки».

— Верно, — проговорил он своим высоким голосом, растопыривая и соединяя пальцы нервных рук пианиста, — я действительно думал нечто подобное. Не так, вероятно, дерзко; я знаю, какой вы музыкант, и могу понять, что для вас означает отказаться от своей работы и вместо этого писать для нашего жалкого листка. Я не нахал, и мне приходится себя перебороть, но вот я стою перед вами и прошу: потерпите, поработайте для нас. — Он видел, что Зепп сидит, мрачно насупившись, сжав свой большой рот, и он почувствовал себя грубым и жестоким. Но в некоторых случаях такт неуместен и грубость становится заповедью человечности. — Могу себе представить, что вы сейчас думаете. Что-нибудь вроде: наплевать мне на вас. И несколько не обижаюсь. Думайте себе на здоровье, бранитесь по-ба-

варски, не скупитесь на самые сочные ругательства, но останьтесь. Вы будете себя плохо чувствовать, если не останетесь.

Зепп все время едва ли не злорадно наблюдал, как надсаживается Пит, и все доводы отскакивали от него как от стенки горох. Но последние слова Пита, что он, Зепп, и сам будет плохо чувствовать себя, оказали свое действие. Если бы Пит продолжал уговаривать его, он, вероятно, сдался бы.

Но Пит не мог продолжать. Он исчерпал всю назойливость и все красноречие, на какие был способен. И так как Зепп молчал, он заговорил о другом.

— Деньги у нас на некоторое время есть, — сказал он. — Советник юстиции Царнке достал нам сто тысяч, да я продал свой генделевский подлинник — вы знаете, опус пятьдесят девятый.

Он говорил, как всегда, флегматично, неуклюже, но Зеппа эти простые слова взволновали больше, чем все сказанное Питом раньше. У него чуть было не сорвалось: «Вот вам моя рука, разумеется, я остаюсь», — но тут же подумал: «Э, погоди-ка, не делай новых глупостей». Он одернул себя и сказал только:

— Во всяком случае, Пит, благодарю вас за совет.

После ухода Петера Дюлькена он долго сидел, забившись в кресло, мрачный. Они-то свою выгоду понимают. Было бы сумасшествием опять строить из себя шута. Солидарность, видите ли, товарищество, и уж я на веки вечные должен стать их пленником. Для чего же умерла Анна, если даже и теперь я не возьмусь за ум и не выполню решение, подсказанное мне ее смертью?

А то, что Пит тычет мне в лицо, он, мол, продал этот дурацкий подлинник Генделя, так это просто наглый блеф. И не подумаю поддаться на эту удочку. Рукопись, клочок бумаги, — а я изволь пожертвовать своим призванием, всей своей жизнью. Ставить это на одну доску прямо-таки бесстыдство.

Он и сердит, и доволен, что не дал победить себя. И все же радость оттого, что он может отдаться музыке, глубокая радость, всколыхнувшая его накануне прихода Пита, вдруг испарилась. Он призывает на

помощь Анну. Но ему уже не удастся отчетливо представить себе ее образ. Вместо ее звучного голоса он слышит по-кельнски спокойный и флегматичный голос Петера Дюлькена: «Да я продал свой генделевский подлинник — вы знаете, опус пятьдесят девятый».

На следующее утро он впервые увидел «Парижскую почту для немцев». «ПП», — сказал он про себя зло и презрительно, но тотчас же принялся за чтение. Сначала он читал с деланным равнодушием, затем все с большей жадностью, с профессиональным интересом. Он всмотрелся в титульную полосу, в новое название. Он прочел заметку с объяснением перемены названия. Она была составлена ловко; в ней говорилось о разногласиях между издательством и редакцией, но не было полемики против Гингольда, ничего такого, что послужило бы для него зацепкой. Заметка не бросалась в глаза, и, вероятно, немногие подписчики поймут, что это новая газета. Затем Зенп прочел свою пародию на речь фюрера о Рихарде Вагнере; статью в самом деле поместили так, чтобы ни один читатель не проглядел ее. Он пробежал весь номер до последней буквы, не как читатель, как редактор. Чтение захватило его, он восклицал «ага», прищелкивал языком, бурчал «ах, паршивцы», или «великолепно», или «задали же мы им жару».

Лишь прочитав газету до конца и бросив ее на письменный стол, он с удивлением, испугом и презрением к себе почувствовал, как поглотило его это чтение, как он врос и влюбился в свою редакторскую работу.

Но это в последний раз, с этим покончено навсегда. И он с ожесточением сел за пианино.

Принялся за одну из песен Вальтера.

«На что же — увы — мои годы ушли?» — начал он, и слова эти глубоко проникли в его сердце. «Товарищи детства, — говорилось дальше, — дряхлы и лепивы, и вырублен лес, и заброшены нивы. Лишь воды текут, как веками текли». Да, это его волновало. И дальше: «Иной, что мне другом звался, едва замечает меня». И заключительный стих: «Все больше и больше обид». Мелодия

к этим стихам давно уже звучала в нем. Хорошая мелодия, гораздо ярче и свежее, чем написанная им в свое время к оде Горация о «быстро текущих годах». Но сегодня работа у него не спорится, ничего не выходит, все остается мертвым и холодным. Он почти обрадовался, когда рядом кто-то начал барабанить деревянными пальцами сонату Моцарта, так что ему представился предлог с шумом захлопнуть крышку пианино.

Зепп потянулся. Он сказал «нет», он не дал себя переспорить, он принадлежит теперь своей музыке. Это хорошо, это замечательно; если песня сейчас, утром, не удалась, значит, удастся днем.

Но она не удалась ни днем, ни на следующий день, ни еще на следующий. Зепп оставался бескрылым. Все говорил себе, как он счастлив, что может заниматься музыкой. Но когда ему попадался на глаза номер «ПП», трудно было отделаться от мысли, что он удрал из школы, что он прогульщик.

На третий день пришел Черниг. Он был неплохой друг, он уже несколько раз побывал у Зеппа. И Зепп в его присутствии делался молчаливым, застывал; сегодня он встретил своего приятеля раздраженной, запальчивой болтовней, он вымещал на нем досаду на самого себя и искал слов, которые могли бы задеть Чернига.

— Вы, Черниг, единственный человек, — начал он, — не имеющий права соболеznовать мне. Разве не вы издевались в язвительных строфах над убожеством мещанских семейных уз и над плохим душком остывших супружеских отношений? Ваше соболеznование я могу понять только как иронию. — И он процитировал Чернигу стихи Чернига.

— Очень похвально, профессор, — спокойно ответил тот, — что вы запомнили наизусть мои стихи. Мне они уже до некоторой степени чужды. Я от них не отрекся, нет, это превосходные стихи. Но за семь лет, говорит где-то Стриндберг, все клетки в нашем организме обновляются, и сами мы уже не те. Я просто вырос из моих стихов. Как вам известно, я виталист, — продолжал он оправдываться перед Зеппом, — по-моему, кто

хочет по-настоящему жить, и чувствовать абсолютную свободу, должен принять на себя все, что только можно пережить, и не бежать от опасностей и пропастей, а даже искать их. Вот почему я принял на себя всемирный потоп, рискуя околеть. Я пережил всемирный потоп, я знаю, что это такое, но теперь молодость прошла, и с меня хватит, теперь я хотел бы попасть в ковчег. Человек — странная помесь: он то Фауст, то Мефистофель, а то просто какой-нибудь Мюллер или Шульце. Сейчас я некий Шульце. — Зепп слушал молча, вместо ответа он только язвительно улыбался. Черниг продолжал: — В настоящее время оставаться одиночкой — смелость, которая граничит с глупостью; ибо кто сегодня не займет места в какой-нибудь шеренге, тот почти наверняка будет растоптан массами. Я хорошо это знал и тем не менее имел мужество много лет жить индивидуалистом — вероятно, последним индивидуалистом. Но это уже прошлое, отжитое, история. И то, что вы, профессор, — вежливо кончил он, — помните мои стихи тех времен, когда я еще был индивидуалистом, доказывает вашу любовь к истории.

Зеппа раздражало, что Черниг проскользнул в царство буржуазного уюта и, по-видимому, отлично себя там чувствует. Неужто человеческая природа так непостоянна? Неужто человек уж не тот, когда встречаешь его во второй раз, как речные волны, в которые ты вторично опустил ногу, уже не те? Но тайная причина недовольства коренилась глубже. Ему хотелось иметь друга, которому он мог бы пожаловаться на самого себя, на свою бескрылость и пустоту и который бы успокоил его. А перед Чернигом, тем, что сидит против него, он изливаться не мог. Это уже не тот человек, который в свое время читал ему свои стихи в кафе «Добрая надежда». С сегодняшним Чернигом у него не осталось ничего общего.

Разговор зашел о «Совете 66». В свое время Зепп, поглощенный работой в газете, предоставил другу свободу действий, и «Сонет 66» был издан так, как хотелось Чернигу, — в роскошном переплете и с претенциозным предисловием. События последнего времени мешали Зеппу сказать Чернигу, как противно ему это

оформление. Сегодня он был в подходящем настроении для такого разговора. Он стал зло и пристрастно потешаться над пзысканностью бумаги, шрифта, переплета и разобрал по косточкам вводный очерк Чернига. Раздраженный Зепп нашел глубоко обидные слова. Сначала Черниг отвечал терпеливо, но постепенно и он вошел в раж и стал наносить удары, выбирая больные места.

— Язвительный тон, профессор, — сказал он, придавая оттенок сугубой кротости своему детскому голосу, — вам отнюдь не к лицу. Вы по натуре добродушны, но, разозлившись, становитесь на редкость пристрастны. Вы уже давно говорите совсем не о моем очерке, ваша критика целиком направлена против нынешнего Оскара Чернига. И на этого Чернига вы тоже смотрите с достойной сожаления субъективностью. Взираете на него столь неблагоприятно лишь потому, что сами-то вы не в ладу с собой. Я уже однажды сказал вам, что в каждом новом положении — и это весьма примечательно — мы находим повое враждебное нам начало и считаем его наихудшим злом. Тогда я видел своего заклятого врага в распорядке дня, которым нас допекали в «Убежище». Теперь я постиг, что «заклятый враг» — не вне, а внутри нас. Мой худший враг — это не Гитлер и не глупость, мой худший враг — это я. И то, что сегодня так взвинтило вам нервы, дорогой профессор, — это не Оскар Черниг, и не его превосходный очерк о Гарри Майзеле, это вы сами.

Слова Чернига глубоко задели Зеппа, и долго еще после того, как друг ушел, он мысленно перебирал и ворошил их. Он упрямо пил сладкий яд черниговских стихов, теперь безразличных автору, и нынешний Зепп был ему чуть ли не противнее, чем нынешний Черниг.

Он сел за пианино, опять и опять пытаясь влить в вальтеровские стихи муку недовольства последними двумя годами своей жизни, годами, потерянными по собственному недомыслию. «На что же — увы — мои годы ушли?» Но звуки иссякли, все оставалось мертво. То, что он делал, было так же бездарно, как игра на рояле за стеной. Он выдохся, он конченный человек.

Вечером того же дня впервые после смерти Анны Зепп встретился с Эрной Редлих. Зепп жаждал излить ей свою душу, как делал это прежде. Она всегда умела слушать; кроме того, она храбро, ни на что не глядя, разумеется ради него, завладела списком подписчиков «ПН» — он узнал об этом от Петера Дюлькена, — и у нее, вероятно, были неприятности с начальством. Эрн настоящий друг, с ней можно отвести душу, пожаловаться, что он боится творческого бесплодия и что работа в газете погубила его как художника. Он надеялся, что, когда назовет все свои страхи по имени, ему легче будет от них избавиться.

Но когда Эрн во плоти уселась против него за столиком кафе, у Зеппа словно язык отнялся. Близость, установившаяся между ними, исчезла. Казалось, что теперь, когда Анна умерла, она имела над ним большую власть, чем при жизни. Он не понимал, как мог он изливать душу перед этой незначительной, неумной девочкой, забывая о существовании Анны, и встреча прошла натянуто, холодно.

Глава 6

«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»

В последующие дни он вновь и вновь заставлял себя взяться за работу. Но вместо стихов Вальтера фон дер Фогельвайде слышал слова Петера Дюлькена, и ничто ему не удавалось. Никогда в жизни Зепп не чувствовал себя таким бесплодным, выхолощенным. Он исписался, он попросту «старая кляча». Но ему показалось, что этим выражением он умаляет свою беду, и он быстро поправился: «Мой *daimonion*¹ молчит».

Слово «даймонион» напомнило Зеппу о старике Рингсейсе. Вот с кем можно отвести душу. Как это он не подумал о нем тотчас же. Он навестил его.

Рингсейс все еще лежал в своей крошечной зловонной каморке, заброшенный, старый, обреченный.

¹ Божество (греч.).

— Редкая птица, — воскликнул он по-латыни, увидев Зеппа; он явно ожил. — Здесь, в этом доме, — объяснил он, — живут почти исключительно французы, а с ними мне теперь трудно сговориться: мое французское и английское произношение, вероятно, всегда было плохим, но все же мне удавалось говорить на этих языках даже с людьми, чуждыми гуманитарного образования. Но память моя слабеет, я позабыл множество французских и английских слов, и сколько-нибудь свободно я сейчас говорю только по-немецки, по-латыни и по-гречески. Вот почему я так рад, когда меня навещает немец.

Зепп, потрясенный, смотрел на Рингсейса: до чего же старик исхудал за те немногие дни, что он не видел его. И все же их встреча протекала именно так, как представлял себе Зепп: Рингсейс просил его рассказать о себе, а Зеппу легко говорилось с ним. Он рассказал о своей великой и роковой ошибке, о том, как он впутался в политику и как Анна умерла, чтобы эти пути порвались; он, Зепп, действительно разорвал их. И все же он ощущает их, как ощущают боль в ампутированной ноге или руке. Зепп рассказал, что он не может заниматься музыкой и боится, уж не иссяк ли этот источник навсегда. Он поведал старику о своих сомнениях и муках, ничего не утаив, даже того, что кажется себе ленивым учеником, удравшим из школы. Он говорил откровенно, как человек, не желающий ни приукрашивать свою особу, ни возводить на себя напраслину.

Рингсейс слушал. Его голова, большая, тяжелая, лежала на продавленной и неопрятной подушке, шкиперская бородка окаймляла худое лицо. Он не двигался, не смотрел на Зеппа, он смотрел своими старыми, слинявшими, выпуклыми глазами в потолок, его лицо было кротким, а мысли, казалось, витали где-то далеко. И все же у Зеппа создалось ощущение, будто он говорит перед судьей и от этого судьи зависит, оправдать или осудить его.

— Да, дорогой Зепп, — сказал наконец Рингсейс, — значит, и ваша бедная Анна не нашла в себе сил дождаться, она ушла, поставила точку, как вы выражаетесь. Молодым тяжелее — они нетерпеливее. И все же

уйти таким путем — это не самое худшее. Как сказал один древний мудрец, добровольность смерти — самое лучшее, что есть у человека, самое человеческое, единственное, что отличает его от животного и от бога. Но нам, более старому поколению, мне и, уж конечно, вам, Зепп, надо ждать. Тяжело вам стало ждать. Вы со страхом и ужасом замечаете, что уже не властны над звуками, как в былое время, да к тому же еще корите себя, что, мол, сами виноваты. А это, как легко можно себе представить, — тягостное, мучительное состояние. Но есть свой смысл в том, чтобы ждать и отдаваться работе, которая кажется вам бесполезной. Поверьте старику, Зепп, и не жалейте об этом. Уметь ждать — это все.

Не раз уже Рингсейс излагал Зеппу в старомодных, назидательных выражениях эту свою великую теорию ожидания. И речи его иногда казались Зеппу несколько безвкусными; но сегодня, размягченный всем пережитым и своей исповедью, он оказался восприимчивым к тихим словам старика, они просочились в него.

Вспомнилось ему выражение — нечто среднее между советом и приветствием, — которое крестьяне на его родине имели обыкновение употреблять при каждом удобном случае: дай срок. Вспомнилось, что его отец однажды купил в горной местности крестьянский домик; обитатели этой местности никогда не называли отца по его фамилии Траутвейн, он превратился в Бихлера, да так Бихлером и остался, так как купленный им дом когда-то, в незапамятные времена, принадлежал какому-то Бихлеру и каждый новый владелец с тех пор назывался Бихлером. У этого Бихлера было достаточно времени, он насчитывал уже тысячу лет. «Дай срок».

Это та же бодрая мудрость, которой обладали древние; но то, что имел в виду Рингсейс, было нечто иное, более глубокое. Своим внутренним взором Зепп видел «ожидание», о котором говорил Рингсейс, он слышал его своим внутренним слухом. О, счастье и чудо. Глухота Зеппа вдруг исчезла. В нем зазвенело, зазвучало, раздались голоса, аккорды, он видел и слышал. Каморка старика Рингсейса раздвинулась, она стала огромной. Это уже зал ожидания, да, конечно, зал, с

четырьмя голыми стенами, но такой чудовищно огромный, что стен не видно. Зал этот бесконечно убог, он напоминает бараки эмигрантов, и хотя его пронизывает тот же неприятный, резкий, беспощадный свет, каким освещают бараки, но по углам притаились тени и все грани как бы стерты. Однако зал кишел людьми; здесь были не только несчастные эмигранты-немцы, но и все современники Траутвейна. Они прикорнули на растрепанных узлах и чемоданах с наскоро собранным и ненужным домашним скарбом, они приросли к своим чемоданам и в то же время двигались, они казались и взволнованными и подавленными; была ночь — горел ведь резкий свет, но в то же время это был и день, не то летний, не то зимний; они ждали так давно, что уже не существовало времени года и разницы между днем и ночью. Люди сидели и сновали взад-вперед, лихорадочно возбужденные и тупо покорные. Никто не уходил, народу все прибывало, зал был уже переполнен, но в него протискивались всё новые люди, и место для них каким-то чудом находилось.

Это зал ожидания и в то же время тюрьма. Раздавались резкие звонки, трещали сигналы, свистели локомотивы, гремели громкоговорители, выкликались направления поездов. Но все не тех, которых ожидали эти люди. При каждом новом сигнале они настораживались, но железнодорожное начальство принимало меры, чтобы не допустить отправки поездов, которых они ждали. Все новые поезда отбывали, но давно объявленных долгожданных начальство не отправляло. Оно даже сообщало причины, но это были пустые, все более пустые отговорки; под конец они стали так раздражающе невесомы, что даже самые глупые понимали, насколько они циничны. Но что же еще оставалось всем этим людям, как не ждать? Они были объектами осуществляемой над ними власти, которую якобы осуществляли сами, ибо дирекция делала вид, будто отправляет поезда ради них, только ради них.

В этот зал ожидания мысленно всматривался Зепп, пока Рингсейс говорил с ним и после того, как он умолк. Он видел зал ожидания и еще лучше слышал его. Слышал, как объявлялись направления поездов,

как поезда приходили и уходили пустыми или надевательноски медленно проползали мимо ожидающих: он слышал стоны ожидающих, их отчаяние, их проклятия, их смирение, их изнеможение и наперекор всем разочарованиям каждый раз вновь воскресающую надежду.

В эти минуты, в маленькой, плохо проветренной комнате, пока старый Рингсейс, тихий и кроткий, лежал в терпеливом, почти блаженном забытьи, пока он дремал, чувствуя, как приближается последнее, краткое, бысролетное выздоровление,— здесь и в эти минуты Зепп впервые услышал звуки той симфонии «Зал ожидания», которой суждено было его прославить.

Покинув Рингсейса, Зепп еще долгие часы бродил по городу Парижу, захваченный своим видением. Был ли он когда-либо так счастлив за всю свою жизнь? Да, радость, разыгравшая в нем, когда он снова обрел кипучий источник своего «я», во много раз превзошла муки последних дней, когда он считал его иссякшим. Музыка несла его, поднимала его. Не было таких трудностей, которых он не мог бы преодолеть.

Когда-то он носился с мыслью написать ораторию «Ад». В те времена волну звуков разбудили в нем стихи Данте; насколько же он вырос, если теперь зазвучала в нем сама жизнь. Он освободился от искусственного и холодного гуманизма минувших лет. Теперь ему не было надобности идти к своему искусству окольным путем, через искусство других, он проник в гущу действительной жизни, ибо зал ожидания и был адом, но более реальным, более жизненным. То, что сказал ему Рингсейс, не пустые слова утешения. Тягостное, мучительное состояние последнего времени он пережил даром.

Как беден и опустошен был Зепп несколько часов назад — и как богат сейчас. Он шагал по городу Парижу, он теперь не мог бы сидеть дома, стены его тесной, душной комнаты давили бы его. Он шагал, шагал, все дальше и дальше.

Так он попал в предместье, в пустынный квартал. Между большими уродливыми домами казарменного типа затерялись старые виллы; приземистые и в то же

время высокомерно сдержанные, они жались между обступившими их высокими, наглыми, голыми домами.

Уже наступила ночь. Зепп был здесь почти единственным прохожим, его шаги гулко раздавались в тишине.

Он заметил, что возле одной из вилл кто-то усердно роется в мусорном ящике. Человек поднял глаза, боязливо и настороженно ожидая, пройдет ли Зепп мимо или нет, вдруг он изумленно вскинул брови, снова нагнулся над мусором и наконец, когда Зепп удалился уже шагов на двадцать — тридцать, отошел от ящика и последовал за ним.

Зеппу было жутковато слышать за спиной дыхание подозрительного субъекта. Он ускорил шаг, но и тот пошел быстрее. Освещение было скудное; кроме того, путь к центру города лежал через большой сквер, где было совсем уж темно.

Неожиданно Зепп услышал за собой голос.

— Что вы так бежите, господин профессор? — спросил этот голос по-немецки и прибавил с неприятным смехом: — Уж не испугались ли?

Зепп обернулся. В неверном свете фонаря к нему приближался оборванец, и чем ближе он подходил, тем оборваннее предстал. Брюки, пиджак, ботинки — все на нем развалилось, везде проглядывало голое тело, в этих лохмотьях человек казался голее голого. С лица, покрытого рыжеватой щетиной, смотрели с чуть смущенным и все же фамильярным выражением воспаленные глаза.

— Не притворяйтесь, — нахально и в то же время боязливо заговорил незнакомец. — Вы профессор Траутвейн. — Он смотрел на Зеппа так, будто тот должен хорошо его знать.

— Ну да, я профессор Траутвейн, — ворчливо ответил Зепп, подходя ближе. Он тщетно рылся в памяти: кто бы это мог быть?

— И не старайтесь вспомнить, господин профессор, — сказал незнакомец. — Ничего не выйдет. Я, видите ли, Зигмунд Манассе.

Зепп вздрогнул. Зигмунд Манассе, тот самый, который написал большую монографию об Иоганне Шта-

мице и раз навсегда доказал, что Штамиц — творец современной инструментальной музыки и гений? Да, вне всяких сомнений, это Зигмунд Манассе. Зепп несколько раз встречался с ним: это он.

— Если я не пугаю вас, пойдете вместе. Я уже давно не слышал немецкой речи, мне хотелось бы поговорить по-немецки, забываешь язык. Мне вообще редко приходится говорить.

Зепп Траутвейн все еще стоял, поставив ноги носками внутрь; в некрасивой, напряженной позе и оцепенело смотрел на оборванца. Это — Зигмунд Манассе?

— Конечно, — выговорил он наконец, — пойдете. — В ночном безмолвии его голос прозвучал особенно пронзительно.

— Тогда, пожалуйста, вернемтесь на то самое место, где мы встретились, — попросил оборванец. — А то прибегают собаки, и я останусь ни с чем.

Зепп, подавленный, шагал рядом с оборванцем по пустынной улице предместья, спрашивал и слушал. Зигмунд Манассе рассказывал, не жалуясь. Пожалуй, единственным чувством, которое можно было уловить в его повествовании, было гневное удовлетворение: вот, мол, какие шутки судьба выкидывает с людьми, заставляющими лучшей участи.

Зигмунд Манассе, как «неариец», вынужден был оставить скромную должность учителя, как только нацисты стали у власти; давать частные уроки ему тоже не разрешалось. Он эмигрировал. Комитеты сначала оказывали ему поддержку, но Зигмунд Манассе никогда не отличался ловкостью: он не сумел найти какую-нибудь работенку. Музыковедение, особенно та его отрасль, которой занимался Зигмунд, не было в спросе. Он был рад играть всюду, куда бы его ни позвали, но как получить трудовую карточку? И он катился под гору; пособие из комитета перестал получать, ибо прошли все сроки. Одно время он изготавливал дешевые потешные музыкальные инструменты для танцевальных вечеров, две недели продавал безделушки в ночных кафе, костюмы и белье спустил старьевщику. Наконец он получил койку в эмигрантском бараке, ос-

тавался там, пока его терпели, потом ночевал под мостами Сены, и еще раз как-то его пустили на две недели в барак, последний костюм постепенно превратился в лохмотья, и вот теперь он профессиональный clochard, бродяга.

— Порой,— рассказывал он,— я, естественно, помышлял о самоубийстве. И рад, что отказался от этой мысли. Стать clochard совсем не просто. У нас есть своя гордость, и свой цех, и свои законы; человеку надо сначала скатиться на самое дно: лишь тогда мы принимаем его в свою среду и терпим среди нас. Но когда ты уже очутился на дне, то оказывается, что такой выход еще не самый страшный. В особенности летом. А мне еще и повезло, я открыл этот район, мои собратья его проглядели, и теперь на моей стороне нечто вроде права первооткрывателя. Другие решили, что здесь нечем поживиться,— ведь это район бедноты. А я вот доказал, что у меня хороший нюх. Виллы, сохранившиеся между доходными домами,— это же находка. Особенно номер тридцать седьмой. Понимаете, профессор Траутвейн, по меньшей мере через ночь я выуживаю что-нибудь путное из мусорного ящика. Детей возле этой виллы нет, собак — тоже, почти все отбросы достаются мне.— И он снова принялся рыться в мусоре.

Зигмунд с изумлением уставился на серебряную двадцатифранковую монету, которую протянул ему Зепп.

— Есть еще на свете богатые люди,— сказал он,— богачи, ricconi, richards. Странно, что по-французски они называются richards.

И Зепп всю дорогу слышал его смущенный смех, видел боязливый и нахальный взгляд воспаленных глаз, которыми уставился на него Зигмунд Манассе, автор труда о Штамице, clochard.

«Richard,— думал он,— богач. Clochard — бродяга, босяк. Бродяга еще называется у нас Schlawiner. Clochard, вероятно, не имеет ничего общего со словом cloche, колокол, а скорее происходит от clocher — хромать. Schlawiner происходит от «словак». Гитлеру по национальности следовало бы быть словаком, то есть

Schlawiner'ом. La comparaison cloche — это сравнение хромает. «Если нет ни гроша за душой, лучше сразу ложись в могилу. Чтобы право на жизнь получить, надо имущим быть». Не следует слишком много воображать о себе. Il ne faut pas clocher devant le boiteux — перед хромым не надо хромать. А я хочу заниматься музыкой. Хочу сбежать из «ПП», посвятить себя музыке и написать «Зал ожидания». Да смеешь ли ты отдаваться музыке, пока зигмунды манассе наперегонки с собаками роются в мусорном ящике? Смеешь ли ты писать «Зал ожидания», вместо того чтобы бороться за такую жизнь, где подобному не будет места?» Его душила горечь, граничащая с отчаянием, чувство покорности судьбе, цепи, которые он носит и не может сбросить с себя. Он вдруг ощутил безмерную усталость.

В мозгу проносились какие-то нелепые и страшные ассоциации: «Clochard — бродяга, clocher — хромать, cloche — колокол. Колокол зовет. Нельзя отлынивать от посещения церкви. Если не пойдешь на звон колокола, колокол придет к тебе. Колокол, колокол уж не звонит, он идет, переваливаясь, к тебе.

Все это необходимо изменить, необходимо. Нельзя отлынивать, надо дело делать. Заниматься политикой — ничто другое тебе не дозволено. Колокол, колокол не звонит, пусть же Зал ожидания ждет».

Но на следующее утро, проснувшись, Зепп возмутился и отбросил решение, принятое вчера вечером. Он очень устал, поэтому жалость к Зигмунду Манассе захватила его врасплох. Если он устоял перед Петером Дюлькеном, то уж справится и с Зигмундом Манассе. Он, Зепп, все себе уяснил, его доводы крепки, понятны ему и другим. Он рожден творить музыку, а не изменять мир. Об этом пусть благоволят заботиться те, кто обладает соответствующими способностями. И разве не веление судьбы, не указующий перст ее, что источник вновь забил? Он сел за фортепьяно. Но начал работать не над «Залом ожидания», а над песней Вальтера «На что же — увы — мои годы ушли?». И теперь все выходило, звуки сливались в стройное целое. Он работал, он был счастлив.

Зепп еще сидел за работой, когда пришла неожиданная гостья — Ильза Беньямин.

Да, это была Ильза. Но она ли это? Вечная смена надежды и разочарования, уверенность, что у нее есть цель, неотступно следовавший за ней образ Фрица Беньямина, который сидит в нацистской тюрьме в ожидании страшного конца, не зная, что значительная часть цивилизованного мира стремится вызволить его, — все эти волнения и переживания преобразили ее. Нарядная кукла, какой она была полгода назад, превратилась в человека. Порой, глядя на себя в зеркало, она с изумлением спрашивала: «Голубчики мои, я ли это?» Улыбка, чуть трогавшая губы, когда она произносила эти слова, и саксонская интонация — это, конечно, была прежняя Ильза.

Известие о смерти Анны потрясло ее. Ильза не поняла до конца мотивов, толкнувших Анну на самоубийство, но знала, что перемены в «ПН» и это самоубийство каким-то непонятным для нее образом связаны с редакторской работой Зеппа и его борьбой за Фрицхена. А стало быть, она, помимо своей воли и ведома, связана с несчастьем Зеппа.

Она пришла к нему выразить свое соболезнование.

Зепп досадовал, что ему помешали работать. Сначала он решил выпроводить Ильзу возможно скорее, приняв ее угрюмо и нелюбезно. Но когда он увидел ее живое лицо, ему впервые стало ясно, до чего она изменилась. Он подумал, что был к ней несправедлив, и отказался от своего намерения.

И все же он был скуп на слова, да и она говорила мало. Ильза сидела и курила — за последнее время она привыкла непрерывно курить; она сказала:

— В таких случаях начинаешь понимать, что мы, эмигранты, вольно или невольно связаны друг с другом. Удар, поражающий одного, поражает всех. — И еще она сказала: — Никто из нас не может утверждать, что он не виноват. Мы все виноваты — все и во всем. — И немного погодя: — Иногда чувствуешь, что ты не дорос до своей судьбы.

К концу Зепп слушал Ильзу уже только краем уха, и в его сознание то, что она говорила, не проникало.

Ильза сказала о всеобщей вине как бы про себя, неопределенно, не имея в виду его или свои поступки или речи. Но эти слова Зепп услышал, они внезапно разбудили в нем мысль, которая все время дремала, а в последние дни отравляла ему жизнь.

Да, да, да, он виноват. Не перед редакторами «ПП» был он в долгу, но есть некто другой, имеющий право предъявлять к нему требования, — это Фридрих Бенъямин. Да, много красноречивых доводов насочинял Зепп, убеждая себя, что надо вернуться к музыке, но все это чушь, а что касается сути дела, то он лишь бродил вокруг да около и лучшей частью своего «я» знал это с самого начала. Он хотел дезертировать, он и стал дезертиром, но теперь пойман с поличным. Бежал с поля битвы, хотел увильнуть.

Да, да, да. Виноват — и не со вчерашнего дня. До сих пор он не хотел себе в этом признаться, но теперь ему ясно: дезертиром он стал в ту минуту, когда прочел сообщение о неблагоприятном составе третейского суда. В ту минуту он потерял мужество, он сложил оружие и втайне принял решение бежать. Тогда он в глубине души отказался от борьбы с нацистами — с некоторым облегчением, как он теперь сознается себе. Вот тогда он предал Фридриха Бенъямина и дело эмиграции, предоставил их собственной судьбе. Теперь ему все ясно. Если бы в ту минуту, минуту паники, Зепп не принял трусливого решения, он иначе держал бы себя с Гингольдом, с Гейльбруном, с Анной, с самим собой. «Слабый — умирает, сильный — сражается». Он не умер и не сражался: он, малодушный, предоставил другим умирать за себя.

Прежняя Ильза, удивленная и раздосадованная молчаливостью своего собеседника, попыталась бы вывести его из состояния подавленности чарами своего кокетства; теперешняя Ильза угадывала, что в нем происходит, и вскоре оставила его наедине с самим собой.

Зепп дрожал от гнева и смятения. То, что было им сделано за последние два года, он оценивал теперь совершенно по-иному, чем полчаса назад. Как честолубивый школьник, он выскочил вперед и взялся выпол-

нить необязательное задание, задание для прилежных учеников, которое сперва увлекло его, но с самого начала было ему не по плечу. А то, что он умел делать, для чего был рожден, он забросил, быть может, навсегда. Ибо теперь ему показано, что выхода для него больше нет. «На что же — увы — мои годы ушли?» — пожалуй, это была его последняя песнь.

Нелепое, жуткое, бесплотное видение — Фридрих Бенъямин — снова тут, оно с насмешкой глядит на Зеппа, слышится тихая, призрачная музыка. Нет, с этим Бенъямином шутки плохи. Он тебя не выпустит. Долг свой взыщет. Каким же он, Зепп, был дураком, что навязал себе на шею борьбу за Бенъямина. Тот пригласил его в свой проклятый кабак «Серебряный петух», угостил завтраком, даже не особенно вкусным, а он, Зепп, продал свое искусство и свободу за чечевичную похлебку, съеденную в «Серебряном петухе».

С тех пор как у него побывала Ильза, Зепп знал с мучительной уверенностью: не может он освободиться. На две минуты он нашел в себе мужество быть грубым с Петером Дюлькеном. Это было нечто, тут понадобилась решимость, но, к сожалению, она пришла слишком поздно. Когда Фрицхен обратился к нему с просьбой — вот тогда и следовало набраться храбрости и сказать «нет». Но он не сказал «нет» и тем самым навеки посадил себя на хорошую, прочную цепь. Ибо теперь Фридрих Бенъямин днем и ночью предъявляет ему расписку, и волей-неволей приходится отдавать последнее в уплату долга. Если же он этого не сделает и если Фрицхен погибнет, вина будет на нем, Зеппе, и всю жизнь не будет ему ни минуты покоя.

Что же так неразрывно связало его с Фридрихом Бенъямином? Когда он об этом размышлял, в его памяти против воли оживали бредовые воспоминания о фронте, кошмар смертельного страха, оргия уничтожения. Вернувшись с войны, он зарыл на самое дно души эти мучительные воспоминания, чтобы они больше никогда не терзали его. А Фридрих Бенъямин вынес с фронта жаркую ненависть ко всем проявлениям милитаризма. Он растил в своей душе эту ненависть, он рисковал жизнью, борясь против всего того

бессмысленного и бесчеловечного, что составляет суть войны, борясь за вечный мир. Зная наперед, какого микроскопического успеха может в лучшем случае достигнуть отдельная личность в этой борьбе, он все же поставил на карту свою жизнь ради такой утопической цели. Не потому ли Зепп чувствовал себя в долгу перед ним?

Но каковы бы ни были причины, долг существует, он не может от него увильнуть, никогда он не сможет заниматься музыкой, если увильнет от него. Петер Дюлькен был прав, мудро и сочувственно советуя ему остаться. Другого выхода нет.

Зепп решил работать в редакции «ПП» до тех пор, пока дело Бенямина не будет разрешено.

Вечером того же дня, через неделю после смерти Анны, Зепп завел часы — красивые часы, вывезенные из Мюнхена. И в последний раз ему удалось вызвать из небытия образ Анны. Отныне ее облик и ее голос будут для него только воспоминанием.

Затем он по телефону сообщил в редакцию «ПП», что завтра придет на работу, как обычно; он сказал об этом между прочим, как о чем-то незначительном.

И все же его покорило, когда наутро товарищи хоть и сердечно поздоровались с ним, но не выразили никаких чувств по поводу его появления. Даже Петер Дюлькен удовольствовался тем, что пожал ему руку и сказал:

— Вот и вы, Зепп.

Новое помещение «ПП» не было таким обширным и пустынным, как то, что занимали «ПН», но оно казалось, пожалуй, еще более неудобным и безрадостным. Зепп поискал глазами обшарпанный письменный стол, за которым когда-то работал Фридрих Бенямин, а в последнее время — он. Стола этого, разумеется, не могло здесь быть, он остался в редакции «ПН», у Гингольда. Зепп был рад, что его нет, но все-таки ему чего-то не хватало.

Гейльбрун пришел поздороваться с Зеппом. Со времени своего предательского поступка он видел Зеппа

лишь на кремации Анны; он тогда пожал ему руку, и Зепп взглянул на него в таком оцепенении, что он не знал, видит ли Зепп вообще, кто подошел к нему. Теперь не миновать объяснения. Гейльбрун и боялся и желал его, даже жаждал. Он понял, хотелось ему сказать Зеппу, что он натворил, понял, как глубоко он виноват. Впрочем, Гейльбрун сам же и высмеивал свой порыв: это же чистая Достоевщина.

В Гейльбруне теперь или, по крайней мере, сегодня было что-то мягкое, приглушенное, казалось, он надел на себя сурдинку.

— Мне, пожалуй, следовало поговорить с вами раньше, Зепп,— сказал он,— объяснить, как это все произошло. Я знаю, что вел себя неправильно.

— Да, вы вели себя неправильно,— зло и сухо ответил Зепп.— Но хорошо, что вы не пришли. Я, всего вероятнее, выгнал бы вас. Кстати — скажу уж вам все, как оно есть,— мне не очень-то приятно слышать, когда вы называете меня Зепп. Не нравится мне это. Называйте меня Траутвейн, как я вас называю Гейльбрун.

Гейльбрун почувствовал облегчение, услышав сердитый ответ Зеппа.

— Не буду долго распространяться,— продолжал он, не говоря ни Зепп, ни Траутвейн.— Я мог бы сказать, что и на вас падает часть вины и что вся история в общем — лишь сцепление неблагоприятных обстоятельств. Но не хочу прибегать к дешевым отговоркам. Я поступил плохо и очень об этом сожалею. Очутись я в том же положении, я не поступил бы так вторично. Но, быть может, есть многое, что смягчает мою вину.— И он рассказал ему о Грете.

— Если уж очень постараться,— ответил Зепп,— можно понять ваш образ действий. И все же должен сказать, что вы поступили плохо, низко. Все понять для меня не значит все простить. Я не мститель, но и Христом никогда не был. Меня ваше поведение взбесило, да я и сейчас еще не успокоился, и было бы несправедливо, если бы пострадал один я, а вам бы все сошло с рук. Говоря откровенно, я доволен, что и вы хлебнули горя. Так-то, а теперь, когда мы выяснили наши личные отношения, приступим к работе.

И Зепп принялся писать свою первую статью для «ПП», гневную статью о том, как третья империя старается оттянуть слушание дела Бенъямипа в третейском суде.

Глава 7

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ НА ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Когда Луи Гингольд увидел первый номер «ПП», он весь скорчился от бешенства, затем впал в тупое отчаяние и снова — в ярость. Он сравнил с этим номером «ПП» номер «ПН», состряпанный Германом Фишем. Как убого выглядели «Парижские новости» в своем новом обличье. По сравнению с «ПП» они казались общипанными. Куча неинтересных, беспорядочных, непроверенных, плохо прокомментированных известий — вот что представляла собой газета. Ничто. С ним покончено. Появление «ПП» означало окончательную гибель его дочери, его Гинделе.

В опустевшей редакции у него был разговор с Германом Фишем. Тот хотел сдаться. При таких обстоятельствах приходится закрывать лавочку, продолжать дело — безнадежная затея, только сам испачкаешься, связавшись с этими сомнительными «Парижскими новостями». Но Гингольд стал его уговаривать, он не отставал от него, не переводя дух осыпал его и мольбами и бранью. Фиш должен выпускать «ПН» и положить конец нахальной, бессмысленной, бесстыдной копкунции.

— Постарайтесь, мой милый, добрый, уважаемый господин Фиш, — скрипел оп. — Не жалейте денег. Покупайте всякого, кто только умеет писать. Никаких расходов я не побоюсь, лишь бы отбить «ПН» у этих разбойников.

Затем он поехал к своему адвокату. Много было предпринято, учинен гражданский иск к «ПП», против отдельных редакторов и служащих возбуждено обвинение в воровстве и обмане, типографию обрабатывали

угрозами и лстивыми уговорами, Гингольд сделал все, что мог.

Когда не осталось ни одного шага, который еще можно было бы предпринять, он поехал в свою пустую квартиру, где теперь стояла полная тишина,— дети его были на даче. «Лучше разумно действовать одну минуту, чем плакать три дня»,— сказал он себе, но это не помогло. Он сидел одинокий, опустошенный и измотанный, он почувствовал свое бессилие и застонал. Номера «ПН» и «ПП» он взял с собой, он все время их сравнивал, его жесткий взгляд, выражавший и жадность, и страх затравленного животного, перебегал сквозь очки с одной газетной полосы на другую. Он уже знал паизусть редакционную заметку, в которой «ПП» информировала своих читателей о мотивах перемены названия; вместе со своим адвокатом он изучил ее слово за словом. Заметка была составлена дьявольски ловко, с этой стороны придратся к нахам редакторам никак нельзя было. Напрасно он бесился и возмущался, взывал к опыту адвоката. Немыслимо, негодовал он, чтобы почтенного дельца обокрали в Париже среди бела дня, публично, на глазах у всех ограбили, это же хуже, чем в третьей империи. Но адвокат считал, что с юридической точки зрения ситуация далеко не бесспорна, эти молодцы действуют с умом; очень сомнительно, чтобы можно было вырвать у них из рук их газету. Гингольд был побит вдвойне и втройне; даже если он и выиграет процесс против нахалов, все будет, наверно, слишком поздно, он не увидит больше свое дитя, свою Гинделе.

Пока он мог что-то предпринимать, развивать планы перед редактором и адвокатом, беситься и изливать свой гнев, он еще чувствовал себя сносно. Но сейчас, в душной квартире, измотанный, осыпая себя упреками, мучимый видениями, он только и мог, что молиться, ждать и загонять внутрь свою ярость.

Ему не сиделось. Он ходил по большим, безвкусно обставленным комнатам, сначала медленно, еле волоча ноги, потом все быстрее и наконец бегом, взад и вперед, как зверь в клетке.

Пришел Нахум Файнберг. Уже несколько недель он наблюдал самоуничтожение своего хозяина и метался между страхом, жалостью и все более критическим отношением к нему. Действительно ли Луи Гингольд — великий делец балъзаковского типа, которого он, Файнберг, так долго видел в нем? В последние дни Нахум, узнав новости, грозившие нанести новый удар, новую рану его хозяину, колебался, падать ли Гингольда или осведомлять его об истинном положении дел. В конце концов он решил ничего не скрывать от своего шефа. Нахум Файнберг, этот начитанный, интересующийся психологией человек, испытывал мелкое предосудительное любопытство: ему хотелось посмотреть, до каких пределов распустился Гингольд, прежде обладавший большой выдержкой, каким взрывом безудержной ярости он встретит новое неблагоприятное известие. Нахум Файнберг, разумеется, догадывался, что произошло. Сегодня утром, когда он увидел первый номер «ПП», он начал собирать сведения о том, как приняли новую газету. В первые же часы по выходе «ПП» стало ясно, что смелая выходка редакторов удалась и что дела, которые завязались у Гингольда с нацистами, стало быть, срываются. Файнберг был полон искреннего сострадания к своему хозяину, потерпевшему жестокое поражение, но ведь Гингольд делец и, следовательно, вправе требовать, чтобы секретарь держал его в курсе всего происходящего. Он сделал доклад господину Гингольду.

Луи Гингольд выслушал доклад. Луи Гингольд видел экземпляр «ПП» в кармане у своего секретаря. Больше он не мог таиться, не мог один нести в себе всю муку и все отчаяние, он поведал верному Файнбергу о своей беде.

С этой минуты Нахум Файнберг тихо, но настойчиво взял в собственные руки дела, которые его хозяин вел с нацистами. Как ни глубоко взволновало Файнберга несчастье хозяина, он испытывал почти удовлетворение оттого, что получил возможность проявить себя. Он ведь знал, что, если Бенедикта Перлеса пошлют в Берлин, это добром не кончится, и отговаривал хозяина из всех сил. Ему очень хотелось пристыдить своего сопер-

ника, он решил вызволить его из нацистского ада вместе с его женой и энергично взялся за дело.

— Надо принимать меры,— твердил он по нескольку раз в день, и он принимал меры. Побежал к шведскому консулу. Добился, чтобы посольство вошло с представлением к берлинским властям по поводу шведской подданной Иды Перлес. Не допустил, чтобы сведения о происшедшем проникли в прессу: это лишь ухудшило бы участь Иды. Нашел, что было, впрочем, нетрудно, влиятельных и продажных нацистских чиновников и вступил с ними в переговоры, прося их похотатайствовать за Иду Перлес. Он узнал адрес господина Лейзеганга, который находился в отпуске. Он заставил Гингольда позвонить ему.

Но эта «спасательная мера» — разговор по телефону — оказалась ошибочной.

Лейзеганг тоже был неприятно удивлен неожиданным появлением «ПП». Он проводил отпуск в отеле «Кап-Мартен». В сущности, это было для него слишком дорого, но он пошел на такой расход ради жены и двух дочерей, девиц на выданье, которые могли там завязать знакомства, особенно на пляже. Сам господин Лейзеганг много и охотно бывал в Ментоне или Монте-Карло, это было для него самое приятное время в году. И вот надо же этим проклятым евреям выпустить «ПП» и своим мерзким листком испакостить ему короткий отпуск.

Что же предпринять? Выход «ПП», возможно, провалил весь сложный, дорогостоящий и хитроумный замысел, направленный против «ПН». Но кто их разберет, этих бонз. Может быть, они все-таки решат продолжать начатую затею. Лучше всего было бы позвонить Визенеру и попросить у него инструкций. Лейзеганг уже заказал разговор, но тут же отменил его. Если что-нибудь срывается, от начальства редко услышишь разумный совет, чаще всего — лишь сплошную брань. Он хорошо знал стиль работы нацистской чиновничьей иерархии. И на этот раз будет то же самое. Берлин недоволен, он выражает легкое порицание Гейдебрегу, тот, сгустив краски, передает его Визенеру, а затем уж хорошенькая взбучка обрушивается на

него, Лейзеганга, того, кто проделал всю работу. И к тому же неплохую работу, смеет он утверждать. Если она все же кончилась полным крахом, то лишь потому, что у этих эмигрантских писак есть убеждения и нет разумного реалистического взгляда на вещи, как у нацистов.

Весь день он втайне надеялся, что Визенер захочет с ним посоветоваться и дать ему инструкции. Вечером его действительно потребовали из Парижа к телефону; он направился в кабину с независимым видом, но с напряженным ожиданием в душе. К своему большому разочарованию, он услышал голос Гингольда.

И вот Густав Лейзеганг, белокурый, загорелый, гладкий и круглый, стоит в кабинете отеля «Кап-Мартен», а за письменным столом в своей квартире на авеню Великой Армии сидит Луи Гингольд, тощий, весь в холодном поту, с лихорадочно блестящими глазами. Прежде всего он извинился, что нарушил заслуженный отдых господина Лейзеганга. Он старался придать своему голосу обычную в деловых отношениях вежливость, а прозвучали в этом сдавленном голосе лукавство и отчаяние, от которого у Нахума Файнберга, слушавшего разговор, сжалось сердце. Но, продолжал Гингольд, все, к сожалению, произошло так, как он опасался, когда господин Лейзеганг стал его торопить, подгонять. В тот короткий срок, который был ему указан, не было никакой возможности спокойно произвести изменения в составе редакции, сотрудники взбунтовались и, как, вероятно, уже известно господину Лейзегангу, основали собственную газету. Гингольд, конечно, попытается по-прежнему выпускать свою. Есть даже известное преимущество в том, что события приняли такой оборот; смутьяны сами себя устранили, и теперь будет гораздо легче добиться умеренного тона, которого требуют от «ПН» доверители господина Лейзеганга. Тем не менее он, Гингольд, опасается, что появление новой газеты может породить недоразумения. Во избежание таковых он позволяет себе нарушить отдых господина Лейзеганга. Он настоятельно просит не относить за его счет наглые претензии редакторов. Он настоятельно просит не заставлять его,

ни в чем не повинного, расплачиваться за чужие грехи.

Густав Лейзеганг обрадовался, что есть на ком выместить досаду, вызванную грозным молчанием Визенера. Голос Лейзеганга, когда он заговорил, был уже далеко не кротким, в нем зазвучали резкие ноты. Что вообразил себе господин Гингольд? Это же дерзость, это же, надо прямо сказать, еврейское нахальство, беспокоить его на отдыхе такими пустяками. То, что он из чистой любезности давал советы господину Гингольду, это отнюдь не дает право сему господину взваливать ответственность на него, Лейзеганга, и так настойчиво преследовать его даже в отеле, где он отдыхает. Если Гингольд взялся за дело не с того конца, пусть сам исправляет свои промахи.

Видя, что просьбы ни к чему не приводят, Гингольд попытался пустить в ход скрытые угрозы. Он заговорил о негодовании, которое может вызвать дело его дочери у шведских властей,— почему он и старается, чтобы сведения об этом деле не попали в прессу. Но тут он получил сокрушительный отпор.

Швеция, подумал Лейзеганг, полный почти веселого презрения к глупости Гингольда, Швеция — страна, в которой всего шесть миллионов населения, да к тому же демократическая, а у нас семьдесят миллионов плюс фюрер. Я-то всегда думал, что этот Гингольд не лишен смекалки, а он говорит: «Швеция».

— Да что вы, спятили? — громко и резко крикнул он в аппарат. — Или, может быть, у вас солнечный удар? Я Лейзеганг, представитель агентства Гельгауз и К^о, коммерсант, а не адвокат и не полицейский комиссар. Когда мы вели с вами переговоры, меня ни сколько не интересовали члены вашей почтенной семьи, будь они святые или растлители малолетних. И должен вас настоятельно просить,— закончил он с неподдельным негодованием,— не докучать мне своими приватными делами. Да еще во время моего отпуска. И точка,— сказал он и повесил трубку.

Гингольд на другом конце провода не хотел понять этого «и точка». Не хотел слышать звука, раздавшегося при отключении аппарата. Он продолжал говорить, он

умолял, заклинал, выпрашивал, он говорил так униженно, так униженно, что Нахум Файнберг испугался, он был только затравленным отцом, молящим о спасении жизни своего ребенка, и никем больше. Телефонистка сказала: «Разговор окончен». Он не хотел понимать, ему нетерпеливо повторяли одно и то же, но и тогда он не повесил трубку сам, Нахум Файнберг вынужден был сделать это за него.

Когда Гейдебрег, бывший еще в Аркашоне, нашел среди своей почты первый номер «ПП», он сказал про себя: «Ну, вот и новости из Африки».

Он сидел в красивой, изящно обставленной комнате павильона для гостей, в имении мадам де Шасефьер. В окно светило позднее, жаркое солнце, вскоре он переоденется к ужину. Но пока у него есть время немножко поразмыслить. Он сидел, большой, грузный, в светлом деревянном кресле, сиденье и спинка которого были обиты яркой материей. Над головой у него висела картина, написанная в самых нежных тонах, сверхсовременная и чуть «дегенеративная», как находил Гейдебрег, но сегодня его это не трогало.

План обуздания «ПН», значит, провалился. Три месяца назад это было бы для него чувствительным поражением, но нынче его не будут слишком уж сурово корить в Берлине за неудачную попытку укротить эмигрантский сброд. Этот единственный промах не мог изменить общей картины: свою парижскую миссию он выполнил успешно.

Да, он проделал хорошую работу, он имеет право быть довольным собой. Возьмем хотя бы историю с послом, этим типичным аристократом; как и многие сотрудники министерства иностранных дел, он оказался для партии чересчур щепетильным, чересчур «европейцем». Он, Гейдебрег, взялся устранить сего несимпатичного человека без скандала, который был бы неминуем, если бы пришлось официально отозвать любимого во Франции дипломата. Эту задачу Гейдебрег решил изящно, что вынуждены признать даже самые недоброжелательные его критики. Сначала он осто-

рожно подорвал авторитет посольства, давая секретные указания важным французским инстанциям; парижане поняли, что рейх представлен не пышным зданием на улице Лилль, а «Немецким домом» на улице Пантьевр. За кулисами Гейдебрег достиг еще больших успехов. Он установил слежку за посольством, даже отдал тайное распоряжение кое-кому из служащих посольства взломать письменный стол посла. Это грозило неприятностями, если бы обыск оказался безрезультатным. Но результаты были, при обыске нашли материалы, весьма заинтересовавшие гестапо. Посол, вообще говоря человек умный и сдержанный, на этот раз, в пылу раздражения и ожесточения, повел себя опрометчиво. Как бы то ни было, цель достигнута, борьба между посольством и партией окончательно решена.

Пропаганда рейха в Западной Европе тоже совершенно преобразилась, с тех пор как он, Гейдебрег, взял ее в свои руки. На тех методах, какими вела ее улица Лилль, на чистоплюйских, так называемых дипломатических методах, разумеется, далеко не уедешь. Гейдебрег разрешил проблему воистину по-национал-социалистски, он пустил в ход северную хитрость. Он ухмыльнулся, вспомнив о двух ежедневных газетах, которыми он теперь располагает в Париже, двух старых почтенных органах, правда сейчас мало читаемых. Как просто это все, если только идешь к цели напролом. Теперь, если рейх хочет распространить во Франции определенные сведения и взгляды или комментировать французские события в определенном духе, надо лишь мигнуть этим газетам. И тогда германской прессе, германскому радио легко выдавать статьи и комментарии этих газет за общественное мнение Франции, с точной ссылкой на источники. Гейдебрег улыбнулся еще самодовольнее, подумав о том, что такими методами он нанес удар и послу, которому приходится расхлебывать всю эту кашу; к нему обращаются французские инстанции, если немецкая пресса действует слишком грубо, ему приносят жалобы, он обязан все улаживать.

Что же касается его основной задачи, усыпления общественного мнения Франции, то здесь Гейдебрег за

несколько месяцев достиг десятиро больших результатов, чем улица Лилль за весь период со времени захвата власти. Всех тех, кому выгодно верить в мирную политику Германии, он сумел использовать для своих целей; во французских юридических кругах все чаще высказывались за франко-германское соглашение: с этой целью было основано общество, подготовлен новый слет фронтовиков, да и многое сделано для организации слета молодежи, инициатором которого был молодой де Шасефьер; к сожалению, этот юноша не мог возглавить движение за слет. Когда Гейдебрег вспомнил об этой истории, в его позе и лице невольно проступило двусмысленное выражение: он был и тяжеловесно-величав и, казалось, игриво подмигивал кому-то; это же выражение появлялось у него, когда он заверял — и не без успеха — ведущих французских промышленников, политиков и журналистов, что вооружение Германии не таит в себе каких-либо агрессивных замыслов против Запада.

Если в одном, в обуздании эмигрантского сброда, он, пожалуй, не достиг успехов, которыми были бы довольны в Берлине, то все же лицом в грязь он не ударил — с лихвой восполнил этот срыв успехами в других областях.

Пора одеваться к ужину. Он побрился. Принял душ. Причесался. Теперь это было не так просто, как раньше, когда он коротко стригся. «Капуя», — подумал он и надел рубашку. В этом году он впервые в жизни начал носить мягкие рубашки при смокинге. И все-таки основание «ПП» — поражение, сомневаться не приходится. Лучше было бы — это уже ясно — последовать совету коллеги Герке, а не Визенера. В сущности, очень странно, что он питает слабость к Визенеру. Успехами Визенера она не оправдана. Вообще этот субъект не стопроцентен. От него немного пахнет «растакуэром».

Мягкие рубашки к смокингу, такие слова, как «растакуэр», — все это доказывает, что он здорово офранцузился. Он перевел: в Визенере есть авантюристический душок.

Впрочем, сегодня у этого коллеги, у авантюриста Визенера, невесело на душе, и поделом. Столько затра-

чено труда и денег — и все зря; он, что называется, сел в галошу, наш Визенер.

Гейдебрег вдел запонки. Насколько легче и быстрее вдевать их в мягкие рубашки, чем в крахмальные. Он снова улыбнулся, и потому, что был доволен удобным вдеванием запонок, и потому, что поражение Визенера пришлось ему кстати. Гейдебрегу казалось, что его присутствие в Аркашоне мешает Визенеру приехать к мадам де Шасефьер: ему смутно вспоминалась библейская притча о Давиде, отбившем Вирсавию у своего царедворца Урии. И тому подобное. Он чувствовал себя в долгу перед Визенером. Поэтому он был доволен, что и ему есть за что прощать Визенера. «Как и мы отпускаем должникам нашим», — подумал он и надел смокинг. Гейдебрег обозрел грузного господина, смотревшего на него из зеркала. Нет, несмотря на капуйскую изнеженность, он не утратил своего достоинства. Кстати, он и не подумает совершенно избавить от кары Визенера. Но она будет не столь сурова, эта кара.

Таким образом, основание «ПП» не явилось для Гейдебрега тяжелым ударом, но и забыть об этом поражении он не мог. За ужином он держался не так непринужденно, как обычно; Леа и Рауль заметили, что мысли его витают где-то далеко.

Даже ночной отдых его был отравлен. С появлением «ПП» его каникулы кончились, им опять завладела политика.

На следующий день Гейдебрег с раннего утра связался по телефону с Парижем, с Берлином, даже с Берхтесгаденом. Лакей Эмиль позднее с явным неодобрением узнает, какой большой счет за телефонные разговоры оставил в наследство этот надолго расположившийся в Аркашоне гость. Самому Гейдебрегу было неприятно, что рейх и нацистская партия таким образом возложили значительные траты на женщину не совсем чистой расы. Но он не видел возможности возместить даме дополнительные издержки; какие бы дорогие цветы он ни преподнес ей, это будет слабой компенсацией.

В результате телефонных разговоров он решил уехать в тот же день, и притом прямо в Берлин,

не задерживаясь в Париже, не переговорив с Визенером.

Он простился с Леа. Ей бросилось в глаза, что он опять преобразился в толстокожее животное — такой же корректно-деревянный и неуклюжий, как в начале своего пребывания в Париже; даже его французский язык опять изобличал в нем жителя Восточной Пруссии. Он вперил в Леа тусклые белесые глаза, прикрытые почти лишенными ресниц веками, сделал поклон, напоминавший движения марионетки, и сказал:

— Мадам, я приятно провел время в вашем имении. Разрешите поблагодарить вас. — По привычке он чуть не прибавил: от имени фюрера и партии национал-социалистов.

Затем Гейдебрег выехал в Париж, а оттуда тотчас же улетел в Берлин.

Грузный, массивный, сидел он в самолете и смотрел, как под ним уходит прочь земля Северной Франции. Не раз путешествовал он в самолете, но сегодня он впервые заметил, какой пустынной кажется даже густонаселенная страна, если смотреть на нее сверху. Ничего, кроме лесов, полей, пастбищ. Человек оказался не в состоянии впечатать в свою землю много следов; если озирать сверху большое пространство, следы человеческие совершенно исчезают. Но позднее, когда Гейдебрег отправился в туалет и сквозь дыру увидел приветственно кивавшие ему холмы и леса, он отказался от своих пораженческих выводов и с гордостью подумал: «Каких великолепных успехов мы все-таки достигли».

Бытие определяет сознание? Вздор: сознание определяет бытие. Всего несколько часов, как он уехал из Аркашона, и вот уже Аркашон так же далек от него, как Иокотама, он исчез, забыт. Для него, Гейдебрега, теперь существует только Берлин, куда он летит, город, к которому он с каждой минутой приближается на три километра.

Леа не без удовольствия принимала Гейдебрега, но скорее с радостью, чем с сожалением, рассталась с ним. Она надеялась, что сейчас, когда она осталась вдвоем с мальчиком, между ними установятся такие же дру-

жеские, сердечные отношения, как в начале их пребывания в Аркашоне. В это лето она очень любила Рауля и гордилась им. Вначале он, по-видимому, жестоко страдал от постигшего его разочарования, но теперь явно забыл о нем. У него замечательная внешность, его лицо трудно забыть; когда он идет по улице, все обращают на него внимание, женщины оглядываются на молодого человека с красивым, мрачным, значительным лицом.

Но Рауль теперь обращал мало внимания на женщин. Да и матери он не уделял много времени; разве что встретится с ней за ужином и за обедом или сыграет партию в шахматы, в теннис. Все остальное время он проводил почти всегда один, на пляже и на море. Не то чтобы он замыкался от матери, как последние месяцы в Париже, но он не был и так откровенен, как первое время в Аркашоне.

— Прости,— сказал он ей однажды обычным своим милым вежливым тоном,— что я иногда бываю несколько рассеян. Я теперь много работаю.

— Над чем ты работаешь, мой мальчик? — спросила она.

— Прости,— ответил он,— я пока уклонюсь от ответа. Но как только будет что показать, я тебе покажу.

В один из этих наполненных работой дней позднего августа Раулю позвонили с какого-то нормандского курорта. Говорил его бывший друг Клаус Федерсен. Рауль удивится, услышав его голос,— сказал Клаус на своем вычурном, книжном французском языке. Но он счел своим долгом сообщить Раулю первому, что слет молодежи всё же состоится и руководителем немецкой делегации назначен он, Клаус Федерсен.

Он сделал паузу, очевидно ожидая ответа. Но Рауль не отвечал. Он хорошо представлял себе своего бывшего приятеля, его красное лицо, голову, поросшую грязно-русой щетиной, толстый нос, маленькие глазки, широкую приземистую фигуру. Рауль сначала слушал в своей привычной спокойной позе, но его серо-зеленые глаза были далеко не спокойны, рука судорожно обхватила трубку. Он сдерживался, молчал и ждал.

Клаус Федерсен надеялся, что Рауль разразится гневной и проницательной тирадой; молчание Рауля сбило его с толку. К счастью, он заранее подготовил еще две фразы. Он сожалеет, продолжал Клаус, что, несмотря на все свое желание, не мог по хорошо известным причинам добиться назначения Рауля. Он, Клаус, был бы счастлив представить такого человека, как Рауль, рейхсгендфюреру Бальдуру фон Шираху. Рейхсгендфюрер парень классный, он сумел бы оценить такого юношу, как Рауль.

Когда же француз наконец что-нибудь скажет? Клаус наговорил по меньшей мере на тридцать франков, а эта обезьяна все еще не издала ни звука. Он считает своим долгом, продолжал, изворачиваясь и повторяясь, Клаус, выразить сожаление Раулю, впервые подавшему идею слета, что его назначение не состоялось. Сквозь это наигнанное сочувствие прорывались нотки грубой иронии.

Рауль наконец ответил своим обычным низким и тихим голосом.

— Очень мило, что ты мне сообщаем об этом,— сказал он по-немецки.— Тебя, может быть, заинтересует, что у нас на даче гостил господин Гейдебрег, член вашей партии, фюрер секции или как это там у вас называется,— продолжал он спокойно, зная, что этим бьет Клауса наповал.— И, знаешь, у меня теперь остается мало времени для политики, я весь ушел в литературу. Как у тебя обстоит дело со спортом, мой милый? — спросил он тоном дружеского снисхождения.— Как твои успехи в плавании?

Клаус ответил нечто безразличное, он тоже перешел на немецкий язык, хотя твердо решил говорить только по-французски. «Зелен виноград»,— подумал Клаус, но почувствовал себя униженным. Ему жаль было денег, истраченных на разговор по телефону, и, с трудом сдерживая гнев, он представил себе лицо Рауля, худощавое, суженное книзу в форме сердца, надменное лицо.

Если бы Клаус истратил на разговор еще несколько франков, он бы свое взял. Ибо голос уже не повиновался Раулю, горечь подступала к самому горлу, и

Клаус понял бы, что лицо ненавистного соперника далеко не надменно, что оно искажено гримасой ярости. Хотя Рауль в последнее время высоко поднялся над всем, что произошло с ним, он не мог достигнуть такой высоты, чтобы сообщение Клауса Федерсена не задело в нем чувствительных струн. Вновь ожили все, казалось бы, отжитые чувства — бессмысленная ярость при мысли об исковерканной политической карьере, ненависть к человеку, который все это уготовил ему, жажда возмездия. Рауля вновь сотрясала буря гнева и мстительных чувств.

Но этот приступ прошел так же мгновенно, как и завладел им. Он мысленно взгляделся в Клауса Федерсена и пожал плечами. Какое ему дело до того, что думает о нем это полуживотное? А что касается мосье Визенера, то он, Рауль, не станет обманывать себя и воображать, что Визенер ему безразличен. Но он твердо знает: детская жажда мести, которая только что вспыхнула в нем, больше не повторится. Впредь, если он и будет зол на Визенера, то лишь потому, что ему так адски трудно уложить этого человека в рамки произведения, над которым он работает.

Ибо, увы, это произведение, новелла «Волк», не удавалось Раулю. Его победная уверенность в успехе быстро исчезла, и он понял, сколько тяжкого труда требует задача, которую он себе поставил. Рауль перечитывал написанное, черкал, исправлял, снова черкал. Стискивал зубы, терял мужество, опять брал себя в руки, опять отчаивался. Понимал, что его писанина оставалась бездушной фотографией, мертвым оттиском действительности.

Он вновь и вновь, с каждым разом все глубже, вчитывался в «Сонет 66». Каким легким для понимания показалось ему это произведение, когда он в первый раз прочел его. А теперь он увидел, что оно полно коварных глубин. Простота Гарри Майзеля была кажущейся. Его произведение напоминало луковицу: под каждой оболочкой скрывается новая, а до самой середины и не доберешься. Люди, изображенные в книге, казались более одушевленными, более живыми, чем люди во плоти и крови; события, показанные автором,

были богаче содержанием, излучали больше света, чем факты действительности. Прозу Гарри Майзеля трудно было даже переводить, хотя она казалась прозрачно-ясной и скупой; коварный автор выбирал слова, на первый взгляд простые, но начинавшие переливаться сложной гаммой красок, как только к ним прикасались.

С горя Рауль однажды собрал все, что написал, и послал тому, чье предисловие, полное страстного восхищения, подготовило Рауля к восприятию «Сонета 66», — Оскару Чернигу. Написал ему горячее письмо, гордое, смиренное и полное доверия. Ответ он получил холодный, но не лишенный дружелюбия: на поставленные вопросы трудно ответить письменно; если они действительно интересуют господина де Шасефьера, Черниг готов встретиться с ним в Париже.

Рауль отпросился у изумленной матери на несколько дней в Париж и побывал у Чернига.

Прошло немало времени, пока он привык к мысли, что автор очерка — вот этот некрасивый, колючий, пожилой человек. Но затем они быстро нашли общий язык. Рауль скромно слушал Чернига, который с насмешливой вежливостью разбирал по косточкам все им сделанное. Жестоко и неопровержимо Черниг показал ему, как плачевно отстал он от своего идеала, и не желал слушать никаких доводов юноши. Раулю все же хотелось опровергнуть одно из возражений своего критика.

— Да, но ведь таков он в действительности, — горячо воскликнул Рауль, а Черниг еще вежливее и бесстрастнее объяснил ему:

— Против того, что вы работали по модели, возражать не приходится. Ни один писатель со времен Гомера и Библии не поступал иначе. Но когда же, — спросил он, и его высокий детский голос стал еще более кротким и подчеркнуто любезным, — когда же для писателя действительность служила чем-либо иным, чем скульптору камень, из которого он высекает статую? Только невежды, мой молодой друг, для оценки «Рейнеке Лиса» пользуются учебником зоологии, для оценки Гомера — результатами раскопок Германского археологического института. Каков уважаемый герой вашего драгоценного рассказа в действительности —

это может интересовать только репортера или историка литературы; меня и вас это касается не больше, чем расстройство пищеварения у кошки моего консьержа.

Уничтоженный Рауль понял, как мало пригодилось ему близкое знакомство с мосье Визенером. А с другой стороны, то, что Черниг так подробно изучил его рукопись, наполняло его гордостью и надеждой; он почувствовал, что понравился Чернигу, и был счастлив.

Да, Чернигу нравилось воодушевление, с которым этот молодой человек говорил о Гарри Майзеле. Он благоговейно смотрел в рот ему, Чернигу, и знал чуть ли не наизусть его очерк, как иеговисты знают Священное писание, и это приятно щекотало его самолюбие. Чем больше он говорил с Раулем, тем больше тот напоминал ему Гарри Майзеля; в Рауле был тот эстетский нигилизм, который привлекал Чернига в покойном Гарри.

Когда Рауль собрался уходить, Черниг предложил ему вместе пообедать. Рауль с радостью согласился. К его удивлению, Черниг проделал с ним довольно долгий путь по Парижу и наконец привел его в какой-то жалкий кабачок, где они пообедали, а затем во второй раз исколесил с ним чуть ли не весь город, чтобы выпить кофе в убогом баре. А дело было в том, что Чернигу хотелось побывать со своим новым другом в тех местах, где он когда-то сживал с Гарри Майзелем. И говорил он с Раулем тем же тоном, что и с покойным Гарри,— то насмешливым, то восхищенным.

Странное зрелище представляли собой двое, сидящие в убогом кабачке: статный юноша с красивым художавым лицом и безобразный, рыхлый, пожилой мужчина,— но их связывал Гарри Майзель. Черниг отметил про себя с горечью и радостью, что покойный Гарри как бы расщепился в них надвое. Нынешний Черниг испытывал то же стремление, которое роднило Гарри с Рембо,— жадно ловил блага жизни, а его новый юный друг жил мечтами другого Гарри — сноба, нигилиста, артиста.

Рауль использовал возможность чему-нибудь научиться у своего нового маэстро, и Черниг доставил себе удовольствие: он обдавал своего юного приятеля

то холодным, то горячим душем, гнал его от надежды к разочарованию, и снова к надежде, и снова к разочарованию. Он разъяснил ему, чего еще не хватает новелле «Волк», и огорченный Рауль решил, что ему придется работать над рассказом еще годы. Да, холодно согласился Черниг, совершенно верно. Гораций прав — для того чтобы произведение искусства созрело, надо вынашивать его девять лет. Но тут же он подбодрил растерявшегося юношу, в утешение ему сказав, что для публики «Волк» будет готов очень скоро. Честолюбивый Рауль действительно повеселел и, как ребенок, не скрывая своей радости, сказал по-немецки: — Будет классно, если «Волка» вскоре напечатают.

Черниг удивился слову «классно», так странно прозвучавшему в устах изысканного француза. А оно было для Рауля единственным пережитком времен, когда он носился с проектом юношеского слета, времен дружбы с Клаусом Федерсеном. Черниг доставил себе маленькое удовольствие — он позлорадствовал и не объяснил своему новому другу, что слово это отдает пошлостью.

Вернувшись в Аркашон, Рауль снова взялся за работу; она стала легче и в то же время труднее, и конца ей не предвиделось. Но утешением для него было презрение Чернига к публике. Отныне и он разделял это презрение.

Вскоре рукопись «Волка» достигла, по его мнению, такой степени зрелости, что ее уже можно было показать матери. Ведь и она — публика.

В новелле «Волк» говорилось об одном изящном, весьма цивилизованном человеке, который, однако, по существу был не человеком, а волком, диким, быстрым, жадным, хитрым и прожорливым; прожорливость, пожалуй, была его важнейшим свойством, и этот человек-волк как две капли воды походил на друга Леа и отца Рауля. Когда Леа читала рассказ, ее не раз неприятно поражали намеренно грубые и, как ей казалось, нарочито оригинальные выражения автора. Но от нее не ускользнуло, что характер и судьба героя описаны какими-то новыми приемами, с искусством, которое привлекало ее, но от которого ей становилось холодно и

страшно. Это был тот человек, которого она знала, и все же не тот; он и его переживания при всей их конкретности были отодвинуты в какую-то недоступную даль. В рассказе не чувствовалось одобрения или неодобрения Рауля, но от всего этого дерзкого повествования исходила глубокая, злая печаль. Наша жизнь — ничто, ничто, nihil; эта мудрость проповедника Соломона, по-новому, с пугающей яркостью освещенная, словно и была моралью новеллы. И Леа испугалась. Неужели это написал ее сын, ее Рауль? И разве он не видит, что возводит циничное самомнение отца в некую абстракцию? Ах, он сын Эриха, он не ее сын, хотя Эрих от него отрекся, а она его любит. И он занял такую позицию, куда ей дороги нет.

— Ты прочла мое творение? — спросил вечером Рауль и, когда она ответила утвердительно, продолжал: — Что же ты скажешь о нем?

Раулю хотелось, чтобы это прозвучало легко, он ведь, как учил его Черниг, презирал читателя, и тем не менее он с интересом ждал ответа.

— Мне очень жаль, мальчик, — не удержавшись, сказала Леа, — что вещи и люди представляются тебе такими гадкими и пустыми. Неужели мир, в котором ты живешь, действительно так ужасен?

— Он ужасен, darling¹, — дружелюбно ответил Рауль, — но не будем об этом говорить. Скажи мне лучше, хорошо ли я нарисовал этот мир.

— Нарисовал ты его хорошо, — убежденно ответила Леа и очень опечалилась.

Глава 8

БИТВА ХИЩНИКОВ

Когда Визенер получил первый номер «Парижской почты для немцев», он тотчас увидел, что эта новая газета — те же старые «Парижские новости». «Этот листок, вероятно, будут называть «ПП» — думал он. — Как называются такие слова, которые образуются из

¹ Дорогая (англ.).

заглавных букв? Никак не вспомню этого специального выражения. Память уже не та. Старею.

«ПП» или «ПН» — все равно, что брито или стрижено. Для меня, к сожалению, брито. Меня отбреют. Раз и навсегда. Можно закрывать лавочку. Мой замечательный проект провалился. Восторжествует Шпицци. Бегемот был бы идиотом, если бы продолжал поддерживать меня.

«Пепе» — акроним. Акронимом называют слово, составленное из заглавных букв. Значит, я все-таки вспомнил, это уже кое-что. То, что накропал этот Траутвейн, пародия на речь фюрера, само по себе совсем не плохо. Эта свинья, надо сказать, попала в тон фюреру».

Он криво усмехнулся. То взлетаешь ввысь, то свергаешься в тартарары, на скуку жаловаться не приходится. В состав третейского суда входит один финн, один венгр — и вот ты уже наверху, и Гейдебрег обращается с тобой так, будто ты свой человек на Волшебной горе. А вышла «ПП» — и ты опять полетел кувырком. Эти писаки — настоящие угри. Я так крепко держал их в руках, а они от меня ускользнули. Ускользнули, улизнули, дали тягу, ищи ветра в поле, *evasit, egripit*¹.

Он уже не ухмылялся, его рот был крепко сжат и заострен. Как странно все перепуталось; Гейдебрег, вероятно, потому так дружески обращался с ним последнее время, что он его надолго оставил наедине с Леа в Аркашоне. Выходит, мой милый, что ты не только беспринципный негодяй и должен быть готов к тому, что какой-нибудь Жак Тюверлен не захочет сидеть с тобой за одним столом, но и нечто вроде сутенера, так называемый *maquereau*, как сказал бы Гейдебрег.

А не поехать ли ему сейчас в Аркашон? Что, если бы он вдруг появился там? Что тогда сказал бы Гейдебрег? В присутствии Леа он вряд ли решится окатить его холодным душем. А как хорошо было бы торжественно преподнести Леа законченную рукопись «Бомарше». Но, к сожалению, нельзя. Слишком риско-

¹ Ускользнул, убежал (лат.).

ванно, такой поездкой можно сразу испортить отношения и с Леа и с Гейдебрегом. Необходимо довести до конца свою подло-хитрую тактику, прикидываться мертвым: пусть Леа еще поголодает.

Была бы здесь по крайней мере Мария. Она бы поняла, что означает для него появление «ПП», рождение этого нового акронима. Каким было бы облегчением зло и цинично прокомментировать перед ней свой крах, умалить его значение пронией. Новенькая — та вообще ничего не понимает.

Надо же излиться перед кем-нибудь — и он заговорил с новенькой в более интимном, чем обычно, тоне; он назвал ее Лоттой, и Лотта была ошарашена.

Впрочем, появление «ПП» не имело тех ужасных последствий, каких он опасался. Его не предали бойкоту, как в тот раз, когда появилась вторая подстрекательская статья в «ПН». Из Аркашона, правда, ему не позвонили. Гейдебрег умолк. Но по поведению окружающих Визенер заключил, что Гейдебрег еще не принял окончательного решения.

Затем он узнал, что Гейдебрег покинул Аркашон и, не задержавшись в Париже, отбыл на неопределенное время в Германию. Надо ждать, ждать. От одной этой мысли он холодел, его одолевала какая-то болезненная щекотка. Видел ли Гейдебрег проездом через Париж Шпицци? Мысль о торжествующей физиономии этого заклятого врага приводила его в бешенство.

К тому же он как раз в эти дни узнал, что Жак Тюверлен проведет всю зиму в Париже. Тюверлен снял квартиру и пригласил секретаршу, рассказывали Визенеру, «и кого бы вы думали? Вашу блаженной памяти Марию Гегнер». Визенеру удалось выдавить из себя равнодушно-ироническое «вот как» и спокойно продолжать разговор.

Но, оставшись один, он пал духом. Живо представил себе, как Тюверлен рассказывает Марии о своей встрече с ним. Представил себе, как он — это было почти неизбежно — вторично встретится с Тюверленом и как тот вторично оскорбит его. Он почти не испытывал ярости — так пронизало его сознание собственного ничтожества.

Чтобы взвинтить себя, он донимал Лотту, опять ставшую для него «новенькой», вежливо-ироническими, незаслуженными замечаниями, донимал до тех пор, пока у нее не выступали на глазах слезы. Или же звонил лакею Арсену и давал ему какое-нибудь поручение: ему хотелось понаблюдать за выражением лица Арсена. Он знал, что Арсен честолюбив, мечтает, чтобы «мы» сделали карьеру, следит за событиями очень внимательно, хорошо разбираясь во всех подробностях. Но Арсен оставался образцово вышколенным лакеем, по его лицу ничего нельзя было прочесть.

Нервозность Визенера все возрастала. Он стоял перед портретом Леа. К чему, собственно, он мучает себя и не снимает со стены этот портрет? Злыми глазами разглядывал он лицо Леа. Лоб гладок, как яичная скорлупа, и слишком высок; за этим лбом таится далеко не так много значительного, как она старается показать. А рот Леа? Ее знаменитая улыбка? Ничего в ней особенного нет. Улыбка, которой прикрывают пустоту, профессиональная улыбка светской дамы. Глупая улыбка — как начитанный человек, он быстро заменил неуклюжее слово более изысканным — эгине-тическая.

Он слишком много увидел в этой Леа: то, что его привлекало в ней, исходило от него, не от нее. Он снимет портрет. Не желает он вечно иметь перед глазами лицо, которое уже ничего не говорит ему. И вообще ему повезло, что до сих пор никого не возмутил этот портрет еврейки.

Однажды, проезжая по улице Ферм, Визенер увидел, что дом Леа снова обитаем, и понял, что теперь в жизни его произойдет перемена. Срываю в его карьере всегда сопутствовало счастье в личной жизни. А с карьерой его никогда не обстояло так плохо, как сейчас, значит, он снова завоюет Леа.

Все говорило за это. «Бомарше» готов, уже получены первые листы корректуры. Что, если посвятить книгу Леа? Это даже не особенно рискованно. Перед партией он все равно должен изобразить «Бомарше»

как сатиру на французский характер, легкую по форме, но серьезную по содержанию, и, значит, посвящение француженке можно более или менее правдоподобно объяснить как иронический жест.

Он снова стоял перед портретом. Неужели он подумывал снять его? Какой ясный умный лоб. А улыбка? Как она могла напоминать ему глупую, лишенную выражения улыбку ранних греческих статуй? Это пленительная, невыразимо манящая улыбка.

Но в известных ситуациях твое лицо, моя дорогая, еще пленительнее, и я позабочусь о том, чтобы у тебя пропала охота улыбаться. Я пожну плоды своей тактики, упорной и умной, но сколько терпения и мучений она мне стоит. Я заставлю тебя расплатиться за все то, что ты причинила мне своим долгим молчанием. Ты не будешь улыбаться, моя дорогая.

Лакей Арсен доложил, что мосье просят к телефону. Лицо Арсена оставалось бесстрастным, но в глубине души он был возмущен, что снова застал своего боса перед портретом, да еще в таком упоении. С карьерой нашей последнее время неблагополучно; по крайней мере хорошо было, что мосье бош вроде бы дал отставку своей еврейке. Но уж таковы они, эти немцы. Стоит только женщине улыбнуться, и они растаяли. По существу, все они сентиментальны, нацисты не меньше других, и поэтому ничего путного у них не выйдет, никакой Гитлер им не поможет.

Визенер, как только закончил разговор, быстро принял решение и позвонил на улицу Ферм. Ни на мгновение не опасался он, что для него мадам не окажется дома.

Леа ждала его звонка и решила не подходить к телефону. Она не хотела говорить с ним в минуту волнения, ей нужно было время, чтобы овладеть собой. Но когда ей доложили, что звонит мосье Визенер, мысли ее смешались, она полетела к телефону, сердце у нее отчаянно билось, она с трудом проговорила «алло». Визенер несколько не сомневался, что Леа тотчас же подойдет к телефону, но теперь и он был взволнован; он — тоже. Однако сумел скрыть свое волнение. Говорил, как всегда, его спокойные ласковые слова попросту

стерли горечь долгой разлуки, самой горькой в их жизни.

И вот наконец он стоит перед ней. Да, это его сильное мужественное лицо, его необыкновенно умный, почти без морщин лоб, милые серые глаза, большой, любимый, красиво очерченный рот, широкие плечи, густые белокурые волосы, и ей приходится сделать над собой усилие, чтобы не погладить, не взъерошить их тотчас же. Не появилось ли у него хоть несколько седых волос? Было бы позором, если бы после такой долгой разлуки у него не оказалось хотя бы двух-трех сединок. О, как она любит его, любит все в нем, даже наметившиеся мешки под глазами, даже не очень сильный подбородок, и как она могла так долго выдержать без него, почему не телеграфировала, не позвонила по телефону, приди же, приди, все во мне жаждет тебя. Море не было прекрасным потому, что Эриха не было с ней, пляж не был отдыхом, а светлое небо — радостью. Но теперь он здесь, и все хорошо, они, два глупых упрямых ребенка, причинили друг другу ненужные муки, возможно, только из смутного желания пережить это сладостное воссоединение. Теперь тысячи мрачных сомнений, которыми она терзалась в Аркашоне, рассеялись как дым, канули в прошлое.

И вот он заговорил с ней. Но она лишь с трудом понимает, о чем он говорит, такой неукротимой радостью наполнил ее уже самый звук его голоса.

Что же это он подает ей? Рукопись, подарок, по-видимому? Что он сказал? Она возьмет себя в руки, постарается вникнуть в его слова. «Бомарше» готов, сказал Эрих; он потратил все лето на то, чтобы закончить свое произведение. Да, да, да, это объясняет его отсутствие, это более чем достаточный мотив, это веское оправдание. Разумеется, он не хотел показываться ей на глаза, пока не закончит наконец свое произведение. Ему, значит, просто было стыдно перед ней. Это великолепный мотив — мотив, показывающий, как он чтит ее. Ах, лучше бы он не читал ее так долго. Но вот он здесь, и все хорошо, все отлично и жизнь прекрасна.

Визенер видел волнение Леа. Как умна и правильна была его тактика. Женщин надо брать измором,

и тогда даже после жесточайшей размолвки они сами упадут в ваши объятия. Зря он посвятил ей «Бомарше», это уж было лишнее. Но теперь взять обратно свое посвящение невозможно. И он продолжал выказывать себя скромно и смиренно любящим. Она много способствовала тому, сказал он, что книга наконец завершена и удалась ему; без постоянных напоминаний Леа он остался бы журналистом и увяз бы в политике.

Горячее чувство любви и благодарности обожгло Леа. Все, что в ее душе когда-либо говорило против него, умолкло. Глупый мир хотел разлучить такие два слитых воедино существа, как она и Эрих.

Она читала «Бомарше». Как она могла думать, что в Эрихе есть нечто варварское, нечто от зверя и первобытного леса. Человек, написавший эту книгу, внутренне культурен, такому человеку можно простить каприз, тысячи капризов.

В последующие дни дружба между Визенером и Леа стала глубже и сердечнее, чем когда-либо.

Единственное, что смущало счастье Леа, это мысль о том, как примет Рауль возобновление ее дружбы с Эрихом. Она видела и понимала, что Рауль, развиваясь, уходит от нее все дальше. С тех пор как она прочла его странный рассказ о человеке-волке, так ужасно напоминавшем Эриха, она боялась суда своего сына; он всматривался в людей более молодым, свежим, острым, беспощадным взглядом. Она боялась встречи Рауля с Эрихом.

Но Леа с облегчением увидела, что Рауль встретил отца любезно, со спокойной вежливостью. И с ней не заговаривал о ее отношениях с Эрихом.

Она колебалась, рассказать ли Эриху о новелле. Но решила ничего не говорить; лучше не затрагивать этой темы.

В глубине души Рауль питал почти презрительное сострадание к матери, снова беспомощно отдавшейся любви к этому человеку. Рауль унаследовал от нее интерес к людям и способность объективно наблюдать их, даже в минуты аффекта. Так он наблюдал теперь мать. Мосье Визенер стал для него из предмета ненависти

простым «материалом» — материалом, который он по совету Чернига рассматривал, как скульптор рассматривает дерево, из которого он ваяет статую.

Сначала Визенер обрадовался безупречной любезности сына. Постепенно холодная любезность Рауля начала раздражать его, и наконец он почувствовал, что ему было бы приятнее, если бы Рауль его возненавидел.

Шпицци не обманывался, он понимал, что его положение пошатнулось. Гейдебрег явно принял решение в пользу его соперника, Визенера. Руководство подпольной пропагандой во Франции, до тех пор сосредоточенное в руках Шпицци, теперь все больше отходило к партии. Если к тому же еще и дело Бенямина кончится плохо, партия с радостью воспользуется предложением и будет настаивать на снятии Шпицци с занимаемого им поста.

Но тут на свет появилась «ПП», и оказалось, что обширный план Визенера, требующий таких больших затрат, провалился. Теперь Гейдебрег не может не увидеть, что он оплошал, сделав ставку на этого человека. После стольких неудач Бегемот дважды подумает, прежде чем решится поддержать Визенера. И Шпицци уже видел своего заклятого врага поверженным.

С нетерпением ждал он возвращения Гейдебрега из Аркашена. Но Бегемот прямо оттуда отправился в Берлин и, несмотря на длительное отсутствие, не счел нужным посоветоваться с ним, Шпицци. Это была жестокая обида. Быть может, позиция Визенера и ослаблена, но, по-видимому, и его, Шпицци, положение не улучшилось.

Ах, он начинает стареть. Куда девался его чудесный фатализм, его прибежище от вечных превратностей судьбы и капризов власть имущих? Шпицци старался заглушить свои страхи, усиленно предаваясь всякого рода удовольствиям. Он пытался серьезно увлечься Коринной Дидье. Его привлекала особая, присущая ей нотка, удивительная смесь цинизма, ума, житейского

опыта и мистики. Коринна обладала способностью по малейшему поводу впадать в транс, она слышала голоса, она чувствовала в себе «духовного повелителя». Пока что она отказывалась отдаться Шпицци, ссылаясь на своего «духовного повелителя».

Сегодня они с Коринной хорошо поужинали, посмотрели в небольшой компании запрещенный фильм, а теперь сидят в элегантной, несколько беспорядочной квартире Шпицци, и если он немного поднажмет, то сегодня ему удастся, вероятно, взять верх над «духовным повелителем». Но, к сожалению, именно в этот вечер мысли о Гейдебреге, о Визенере, о будущем мешали ему взяться за дело с обычным пылом. Он сидел в кресле и лениво курил, а красивая, сверкающая белизной кожи женщина с любопытством оглядывала комнату.

— Если вы действительно так хорошо чувствуете, что происходит с другими, Коринна, — вызывающе проговорил он, — скажите скоренько, почему я так плохо настроен, что даже ваше очаровательное присутствие не может меня развеселить.

— Вы думаете о конце вашего ужасного режима, друг мой, — коротко ответила Коринна.

— Плохо же вы угадали, — отозвался Шпицци. — О конце режима мы думаем все, с тех пор, как он начался. Что же, быть нам из-за этого всегда в плохом настроении? Ах, Коринна, я вижу, что с внутренним голосом дело у вас обстоит не лучше, чем в Берхтесгадене.

Коринна заранее радовалась сегодняшнему вечеру и, согласившись переступить порог квартиры дипломата-боша, решила не обращать внимания на своего «духовного повелителя». «Жаль, — думала она, — что этот Шпицци вдруг оказался не в настроении».

«Теперь, — думал Шпицци, — надо бы набрести на какую-нибудь хорошую идею. Если бы мне пришла в голову хорошая идея — раз уже Визенер провалился со своим планом, — Бегемот заключил бы со мной мир, хотя он меня терпеть не может».

Мир. Вот она, желанная идея. Мир, перемирие. Перемирие в печати. Шпицци с молниеносной быстро-

той нашел путь, верный путь к желанному «перемирию в печати», о котором так часто писали.

Разумеется, это перемирие в печати сводилось к тому, чтобы заткнуть рот критикам и бунтарям. Разве смутьяны эмигранты, злоупотребляя гостеприимством Франции, поднимая против нас травлю, не составляют наихудшее препятствие к франко-германскому соглашению? Франция обязана отказать в гостеприимстве этим подонкам, выслать таких людей, как Гейльбрун и Траутвейн, если они не прекратят своей преступной деятельности. Мы со своей стороны проявим готовность взять более умеренный тон. Такое перемирие — и это было бы одним из его отрадных побочных результатов — заставило бы и дражайшего Визенера временно писать свои статьи под сурдинку.

Коринна с приятным удивлением увидела, что Шпицци вдруг расцвел улыбкой. Он знает, как добиться так горячо желанного, так часто проектируемого и ни разу не достигнутого «перемирия в печати». Наконец-то он изобрел маневр, трюк, «коронную идею», как выражались во времена его юности, и теперь он будет законным претендентом на корону. На сей раз — и в этом сущность плана — мы не сами окажемся инициаторами «перемирия в печати». Мы позаботимся, чтобы кто-нибудь третий объяснил французскому правительству, какой это важный шаг к соглашению; пусть этот третий будет сторона нейтральная, беспристрастный, хороший посредник — Англия. Да, уважаемый Бегемот, в Лондоне есть несколько весьма влиятельных лиц, заинтересованных в торгово-промышленных переговорах. К этим господам вы подступиться не можете, но мы можем. Они, например, очень симпатизируют Вальтеру фон Герке, они называют его Шпицци и хорошо чувствуют себя в его обществе. И Шпицци нетрудно будет объяснить этим господам, что подобное соглашение — в интересах мирового хозяйства и всеобщего мира. И этим же господам мы затем спокойно сможем доверить все дальнейшее.

Шпицци пришел в достаточно хорошее настроение. Он обнял красивую бело-розовую Коринну, мобилизовал всю свою натренированную любезность, и у

Коринны не было оснований жаловаться, что он чем-то отвлечен. А Шпицци думал: «Бегемот не нарадуется на своего любимца, что же, испортим ему эту радость. И на этот раз не буду откладывать дела в долгий ящик. Начну завтра же». Но принятое решение не помешало ему всецело посвятить себя Коринне, напротив, и Коринне не пришлось раскаяться, что она выпросила разрешение у своего «духовного повелителя».

Шпицци действительно взялся за выполнение своей идеи уже на следующий день. Он представил свой проект послу. Тот горячо за него ухватился. Вот когда посольство покажет господам на улице Пантьевр, что оно еще тоже существует. Волей-неволей придется увенчать лаврами улицу Лилль. Тут уже им нас не обойти. Нет, Шпицци — молодец.

Господин фон Герке получил необходимые полномочия и, сопровождаемый благословениями посла, уехал в Лондон.

Возвратившись, он застал и Гейдебрега.

Гейдебрег вернулся в Париж с богатым урожаем. В Берлине его встретили с большими почестями, он был принят даже в Берхтесгадене, на Волшебной горе. Его не только похвалили за достигнутое, не только одобрили его дальнейшие планы, он получил точную информацию о том, как относятся влиятельные в правительстве и в партии лица к делу Бенъямина, к проектируемому соглашению с Францией, к вопросу об эмигрантах, и, что особенно важно, он теперь точно знал, как относились в Мюнхене и Берхтесгадене к его парижским подчиненным и, следовательно, до какой черты он сам может идти. Дни посла были сочтены, его превосходительство — это «покойник в отпуску», он отдан в его, Гейдебрега, руки. Когда заходила речь о члене партии Вальтере фон Герке, Медведь, надо сказать, все еще благожелательно ухмылялся, но он довольствовался тем, что Герке предоставляли возможность блистать в Париже своим титулом. Влиянием, а тем более властью его облекать незачем, ну, а что касается Визенера, то он в большей чести у тех, от кого все за-

висело. Берлинские господа на основании его статей с удовольствием убеждались, что, по существу, они высококультурны, культурнее, чем сами предполагали, и обнаруживали склонность спускать многое автору этих приятных статей.

Шпицци явился к Гейдебрегу, как только тот согласился принять его. Он изложил свой проект «перемирия в печати». Гейдебрег слушал молча, полуприкрыв глаза веками, почти лишенными ресниц. Но про себя он сосредоточенно размышлял. Сначала, как и предполагал Шпицци, он подумал: «Старые сказки, мы их уже двадцать раз слышали», — но затем, когда Шпицци рассказал о своей идее, действовать окольным путем через Англию, Гейдебрег не мог не признать, что вопрос решен хитро и с размахом. Колумбово яйцо. Этот Герке не дурак.

Пока Гейдебрег разумом объективно оценивал качества господина фон Герке, в сердце его зашевелилось все то, что говорило против этого фон Герке. Если допустить его к ответственной работе, если дать ему власть, что же будет, например, с нашим Визенером? Господин фон Герке не пожелает обуздать свою ненависть. Нет, нельзя выдать ему Визенера, человека способного и симпатичного, которому попросту не повезло. Его прямой долг — принять меры, чтобы Шпицци не натворил бед, когда он, Гейдебрег, уедет из Парижа и будет вне пределов досягаемости. Распределять полномочия надо с осторожностью. Нельзя забывать, что Герке своим планом доказал наличие у него способностей государственного значения; но вместе с тем нельзя выдавать ему с головой Визенера.

Пока сердце и рассудок Гейдебрега спорили между собой, Шпицци продолжал говорить. Он докладывал теперь о шагах, предпринятых в Лондоне, разумеется с разрешения посла.

Но тут он просчитался, и чаша весов, так долго колебавшаяся, окончательно опустилась в сторону Визенера. Шпицци не помогло даже то, что он старался умалить значение слов «с разрешения посла» и дал понять, что обратился к послу, а не к Гейдебрегу исключительно потому, что последний отсутствовал.

Не помогло ему и то, что в Лондоне он, бесспорно, достиг успеха. Если бы он одержал его с согласия Гейдебрега, он, быть может, выбил бы из седла Визенера, но раз он не ждал, раз он предпринял столь важные шаги без разрешения национал-социалистской партии, то тут уже налицо так называемая провокация и господин фон Герке — человек конченный.

Гейдебрег, пока все это разыгрывалось в его черепной коробке, все так же неподвижно сидел в хрупком кресле отеля «Ватто», обитом голубым бархатом, у ног фюрера, положив огромные руки на колени, в позе, напоминающей статуи египетских фараонов. Когда Шпицци кончил, Гейдебрег медленно поднял веки и, уставившись белесыми глазами на своего гостя, сказал:

— Благодарю за доклад. В вашем проекте есть много хорошего. Похвальна и боевая готовность, с которой вы немедленно взялись за его выполнение.

Голос Гейдебрега звучал, как всегда, бесцветно. Даже наивысшее одобрение Бегемот вряд ли выразил бы другими словами. Однако Шпицци с присущим ему крайне обостренным чутьем понял, что Гейдебрег, говоря «боевая готовность», подразумевает «провокация». Но на его сияющей физиономии так же трудно было бы прочесть злобу, вызванную предубеждением Бегемота, как на застывшей физиономии Гейдебрега — окончательный приговор Вальтеру Герке.

Как только Гейдебрег остался один, на его каменном лице появилась улыбка. Для него деятельность, развернутая Герке в его отсутствие, была весьма кстати. Партия будет довольна тем, что этот субъект сделал в Лондоне, да и для самого Гейдебрега это не плохо. Он знал теперь, на кого возложить интересное задание, привезенное им из Берлина.

Там намеревались повести лобовую атаку на иностранную прессу. В связи с предстоящим съездом национал-социалистской партии в высоких сферах было решено заклеить перед всем миром лживость этой прессы и в первую очередь разоблачить многочисленные сообщения о варварстве и внутренней слабости режима как гнусную ложь, страшные сказки, небы-

лицы. Но, к прискорбию, эти сообщения, если не смотреть на них глазами национал-социалиста, в большинстве случаев соответствовали действительности. Поэтому нужно было, чтобы в так называемых солидных органах появились такие сообщения, которые можно было бы потом опровергнуть с доказательствами в руках, показать, что они насквозь лживы; а затем уже, исходя из этого, с возмущением разоблачать лживость всей заграничной прессы. Изобрести сообщения о событиях, которые казались бы правдоподобными, но на самом деле не имели места, и подсунуть их крупнейшим западноевропейским газетам было одним из поручений, возложенных на Гейдебрега в Берлине.

Задача, что и говорить, деликатная. Чтобы поместить в прессе подобного рода сообщения, нужны связи, личные знакомства и большой такт. С другой стороны, это и благодарная задача, и того, кто ее разрешит, ждут лавры. После того как Визенеру не повезло с «ПН», Гейдебрег подумывал доверить это дело господину фон Герке. Но Герке самовольно взял в свои руки другую благодарную миссию. Поэтому для равновесия следовало, пожалуй, возложить на беднягу Визенера, которого он, Гейдебрег, своим продолжительным молчанием достаточно покарал за провал дела с «ПН», новое, сулящее успех задание.

Он позвонил Визенеру.

Глава 9

ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ

Господин Перейро с сожалением узнал, что мадам де Шасефьер возобновила свои отношения с Визенером и тем самым дала новую пищу для злословия людям, прозвавшим ее «нацистской богоматерью». Он слышал о событиях в «ПН», смерть Анны его потрясла и ожесточила. Он рассказал о ней Леа и намекнул, что за всеми этими событиями кроются происки нацистов. Человек тактичный, он воздержался от всяких комментариев, от всякого намека на Визенера.

Леа вежливо слушала, стараясь не проявлять большого интереса; и все же ее матовое лицо чуть покраснело под слоем румян и пудры. «Никаких новостей из Африки,— думала она,— большая охота, ягненок бедняка». И тут же решила: «Это у меня навязчивая идея, он, разумеется, ни о чем понятия не имел». А потом: «Конечно, он все знал, этот низкий лжец, негодяй, нацист, с головы до ног нацист». А потом: «Я люблю его, и что мне до всего этого». А потом: «Теперь конец, теперь я с ним покончу, раз навсегда, теперь я сожгу все мосты».

— Приведите ко мне как-нибудь вашего Зеппа Траутвейна, мой милый Перейро,— любезно сказала она вскользь.— Мне хотелось бы ему помочь. У меня есть идея: устроить нечто вроде концерта. Надо бы пригласить несколько влиятельных людей, критиков, сотрудников радио. Это будет большой поддержкой для эмигрантов.

— Замечательно,— с искренней радостью ответил Перейро. Он, разумеется, знал, что означает предложение Леа: в доме, где выступает Зепп Траутвейн, должностные лица третьей империи бывать не могут.— Господин Траутвейн,— продолжал он,— человек с причудами, но если его уговорить, он согласится участвовать в концерте. Для него это была бы поддержка и для нас всех — радость и выигрыш.

Радость и выигрыш, подумала Леа, когда Перейро ушел. Вероятно, не только для Зеппа Траутвейна, Перейро несомненно имел в виду, что и для нее самой будет счастьем, если она прекратит это неприятное общение с нацистами, закроет для них двери своего дома. «Радость и выигрыш». Выигрыш? Возможно. Радость? Нет, только не радость. Она с беспощадной ясностью предвидит, что до конца дней своих будет жестоко тосковать по Эриху. Уже сейчас она чувствует великий холод, который обступит ее, когда за Эрихом в последний раз захлопнется дверь.

Но разве она уже сожгла мосты? Нет, у нее еще есть время, она может пойти на попятный. Она может заболеть, внезапно уехать, отложить на неопределенный срок приглашение господина Траутвейна, и потом

еще раз отложить, пока Перейро не откажется от этого плана. И если даже она порвет с Эрихом, пристало ли ей, словно какой-нибудь кинозвезде, демонстрировать разрыв с ним перед всем миром? Разве нельзя объяснить с ним с глазу на глаз? Если она решила дать ему отставку, разве нельзя сделать это без свидетелей? Втайне она подумала, не выражая этой мысли словами: «И оставить за собой право вернуться к изменившемуся Эриху?» И где-то, еще глубже возникло чувство: о, как чудесно было бы такое примирение.

Но нет. Это не жизнь — вечно метаться между тем, что ты делаешь, и тем, что должна сделать. Не хочет она чинить полусожженные мосты. Она страстно жаждет порядочной, чистой жизни. Прогнать его прочь, раз навсегда покончить с ним, и тогда будет так, как бывает после долгого и трудного бега на лыжах, когда срываешь с себя пропотевшее платье и садишься в ванну.

Но ванна будет очень холодная.

Леа собирает все свои силы. Она ясно скажет ему все, что есть, без мелочного злопамятства, но недвусмысленно и раз навсегда. Эрих часто имел основания потешаться над ее слабостью, презирать ее за то, что она не в силах освободиться от него. Ну, а теперь она даст ему почувствовать свое презрение. Она не будет мелочной, не станет донимать его смешными, злыми, бабьими уколами; но насладится тем, что и его наконец увидит смешным и жалким.

С тех пор как Леа переехала в Париж и помирилась с Визенером, он почти ежедневно приезжал к ней обедать или ужинать. В эти солнечные сентябрьские дни Визенер был в прекрасном настроении. Он прямо-таки как мальчишка радовался, что Бегемот возложил столь деликатное задание на него, а не на Шпицци. Несмотря на многочисленные трудности, победу одержал он, и на этот раз окончательно. Визенер, разумеется, еще не знал, какого рода сообщение сфабрикует, но это его не беспокоило, уж он придумает что-нибудь подходящее, дельное.

И сегодня, в тот день, когда Леа решила дать ему отставку, он пришел в самом лучшем настроении, сия-

ющий. Но и Леа с радостью почувствовала, что на этот раз она в хорошей форме и что вся его любезность на нее не действует. Сердце бьется ровно, она может смотреть на него без ненависти и любви, с тем беспристрастием, в котором она нуждается, чтобы выполнить свое решение. Она признает все то хорошее, что есть в нем, живость, остроумие, приятные манеры, мужественный и широкий лоб, но она видит и мысли, мелькающие за этим лбом, бессовестные, низкие, подсказанные жадной дешевых успехов; видит мешки под глазами, слабый подбородок, короткую шею. Нет, господин нацист, господин карьерист, на этот раз вы меня не одурачите.

Подали, как всегда, хороший, легкий обед, на светлых стенах радуют глаз яркие картины немецких мастеров «дегенеративного направления», бесшумно снуют по комнате Эмиль. Визенер разговорчив. Леа отвечает ему односложно. «Трапеза обреченных», — думает она. Леа все еще спокойна, даже весела. Эрих, безусловно, не чувствует, что ему предстоит.

Кофе они пьют в библиотеке. Леа сидит в желтом кресле, так хорошо ее обрамляющем. «Как он уверен в себе. Я сказала А и Б, я уже дошла до К и Л, и ты, конечно, думаешь, мой милый, что так оно и пойдет через весь алфавит, но ты заблуждаешься. М я уже не скажу, мое ослепление прошло, как ни странно, как раз перед М. Ты, без сомнения, натворил худших бед, чем история с «ПН», это самая незначительная статья на твоём счету, но это тот знаменитый последний колос, который сломал хребет верблюду».

— Боюсь, Эрих, — сказала она, и ее звучный голос был особенно спокоен, — что сегодня вы последний раз у меня пообедали. — Он удивленно взглянул на нее. Она прибавила: — Если вы человек слова, вам придется признать, что партию вы проиграли.

Визенер тотчас же понял. Не предал ли его коварный Герке какими-нибудь полунамеками? Или она сама угадала, узнав историю выпуска «ПП»? Он смотрел на ее высокий лоб, чертовски своевольный лоб: говорит она так спокойно, быть может, все это и в самом деле серьезно.

— Не надо, Леа, начинать все сызнова, возвращаться к этой глупой истории,— сказал он тоже очень спокойно и даже не отставил свою чашку кофе.

— Ошибаетесь, Эрих,— ответила Леа.— Это не начало, это конец.— И так как он все же слегка покраснел и отставил свою чашку, она продолжала: — Нет смысла отпираться, Эрих. Я знаю, вы не украли ягненка бедняка, он в последнюю минуту от вас ускользнул. К тому же ягненок, видимо, оказался не таким смирным, как я думала. Но вы хотели украсть ягненка и все-таки натворили много зла. Не старайтесь,— остановила она его, когда он хотел возразить ей,— оправдываться бесполезно. Это сцена прощания, Эрих. Поймите. И не надо портить себе уход плохой игрой.

Многое рухнуло в душе у Визенера. Он знал, что человеку ничто не дается даром и за новую милость Гейдебрега придется заплатить дань судьбе. Поэтому он не сделал трудной попытки переубедить Леа. Больше всего его задело, что она дала ему отставку с таким издевательским спокойствием. Визенер не хотел уходить из этого дома, как лакей, которого уличили в краже и прогнали. Он выведет ее из этого состояния невозмутимости; пусть лучше кричит, пусть несет какую-нибудь несусветную дичь, бессмыслицу. Если уходить, так уж лучше со словами ненависти в ушах, а не спокойной иронии.

— Я не знаю, кто меня оклеветал перед вами, Леа,— ответил он,— и какие нелепые сплетни вам преподнесли. Может быть, вы ждете, что я впаду в ярость. Простите, этого удовольствия я вам не доставлю, я перязьрен. Последнее время вы слишком часто делали мне сцены, слишком часто бросали в лицо обвинения, не имея на то никаких доказательств. Вы не кричите, это так, вы делаете это со вкусом, как все, что вы делаете, и, однако, каждый ваш жест и каждое слово выдают ваше волнение. Очевидно, вы чувствуете потребность время от времени переживать душевные бури; но, извините, Леа, я больше в этом не участвую. Отказываюсь быть вашим партнером в подобных сценах. Говоря откровенно, меня они мало пугают. Уверен, что ваш гнев так же быстро погаснет, как он вспыхнул.

— Что ж, я дала вам повод для таких предположений,— ответила она все тем же равнодушно-вежливым тоном.— Ведь я всегда поддавалась на ваши льстивые уговоры, хотя и видела вас насквозь. Я сказала А и Б, дошла даже до К и Л, но М я уже не скажу. Будьте уверены, Эрих, не скажу. Последний раз я сдалась, потому что попросту не имела сил сказать вам: уходите. Теперь я в силах, теперь я говорю: уходите, Эрих, и не возвращайтесь.— И так как он ответил лишь чуть заметной иронической улыбкой, она выбросила свой последний козырь: — Впрочем, мне незачем просить вас об этом. Вы и сами сюда больше не придете. На днях Зепп Траутвейн даст концерт в моем доме.

У Визенера, обычно такого красноречивого, все же отнялся язык. Он пристально смотрел на Леа, в лице его уже не было ни следа равнодушия или иронии.

— И ты хочешь, чтобы я поверил этому? — ответил он после паузы, его голос звучал злобно и вульгарно, как голоса нацистских ораторов по радио.— Это же вздор, ты разыгрываешь меня. Еще вчера ты ни словом об этом не обмолвилась. Еще вчера ты была сама нежность и небеса казались безоблачными. А сегодня, не предупредив меня ни единым словом, берешь на себя роль патронессы продажных писак? Людей, которые оскорбили тебя не меньше, чем меня? Такие сказки рассказывай кому-нибудь другому.

Только теперь Леа вспомнила, что Зепп Траутвейн действительно принадлежал к числу тех, кто написал статью, направленную против нее. Но она тут же сказала себе: Перейро отлично знает, что она может сделать и чего не может. Ее опасения сразу рассеялись, и осталось лишь удовлетворение оттого, что она так глубоко задела Эриха.

— Видите ли, мосье Визенер, это удивляет вас,— сказала она все еще вежливо и сдержанно.— Это не подходит к представлению, которое вы себе составили обо мне. Следовало бы вам освободиться и от других иллюзий; а не то вас ждут еще и не такие сюрпризы. Я сожгла за собой мосты, я стала патронессой «продажных писак», как вы изволили выразиться, и вам

остается теперь принять к сведению, что в будущем Траутвейн станет здесь своим человеком.

Визенер все еще не верил, что Леа действительно сделала решающий шаг, он думал, что она хочет лишь пригрозить ему, испугать.

— Простите, прелестная Леа,— сказал он, вдруг обернувшись прежним, любезным, ироническим Эрихом,— я, очевидно, плохо соображаю, я все еще не понял, что, собственно, так разгневало вас. Допустим, действительно предприняты шаги против вашего знаменитого ягненка бедняка, против господ Гейльбрупа и Зеппа Траутвейна и вашей «Парижской почты», так ведь я в лучшем случае могу здесь играть лишь скромную роль подручного. Почему же вы весь свой гнев изливаете на меня, журналиста и писателя, а не на тех господ, которые здесь командуют, на Гейдебрега и Герке? Ведь вы прекрасно во всем разбираетесь. Насчет Бегемота, например, вы знали, что он приехал в Париж с целью растоптать ваших протеже. И все-таки вы нашли с ним общий язык и вам ничуть не было неприятно, что он несколько недель был в Аркашоне вашим гостем.

Леа, не глядя на него, тихо, как бы про себя сказала:

— Есть граница, совершенно определенная, черта, за которой кончается порядочный человек и начинается негодяй.

Визенер побледнел. Он все еще надеялся, что все это только разговоры, но теперь и эта слабая надежда исчезла. Почти физическую боль причинили ему полные презрения слова Леа. «Разгадан и отвергнут»,— звучало в нем, как в тот раз, когда его оскорбил Тюверлен.

— Быть может,— ответил он наконец,— ваша замечательная сентенция верна, а быть может, она принадлежит к тем афоризмам, которые так же верны, как и противоположные им по смыслу. Но это чисто моральное изречение и ни в коем случае не ответ на мой вопрос. Что говорит за Гейдебрега и что против меня?

— Сейчас я вам скажу, Эрих,— ответила она, и уже по звуку ее голоса он понял, что наконец-то ему уда-

лось вывести ее из себя. С некоторым страхом и вместе с тем с жадным нетерпением ожидал он, что она выложит ему все, даст волю накопившемуся гневу. И взрыв действительно последовал.

— Гейдебрег,— сказала она,— есть то, что он есть. Он вылит из одного куска, он отвечает за то, что делает, и не отрекается от своих деяний. Гейдебрег с головы до пят нацист, гунн, он находит в этом радость, и были минуты, когда и мне доставляло удовольствие его варварство. Ты же, Эрих,— теперь ее голос звучал страстно, резко, некрасиво,— ты, Эрих, кокетничаешь своим варварством. Ты хотел бы и варваром быть, и цивилизованным человеком, и все у тебя наполовину, наполовину, наполовину, ни то ни се, ни рыба ни мясо, ты стремишься оболгать и себя и других. Гейдебрег — нацист всей душой; а ты со своей изворотливостью мог бы с таким же успехом быть коммунистом, как и нацистом. Если бы ты хоть признавался в своих подлостях. Но когда ты совершаешь подлость ради карьеры, ты стараешься ее не замечать. На некоторое время тебе удалось втереть мне очки, убедить, что твое поведение — в духе Ренессанса; но теперь я поняла, что оно просто низко. Теперь я знаю, что ты растлен до мозга костей. Я разглядела все твое комедиантство, твое кокетливое честолюбие, твои вечные колебания, твою трусость.

— Если желаете, Леа,— ответил Визенер,— я принесу вам в следующий раз словарь синонимов, чтобы вы могли обдать меня еще целым потоком подобных любезностей.— Но ирония, видно, далась ему не так легко, как обычно. «Она говорит то же самое, что Мария,— злобно думал он.— Они могли бы составить коллегия экспертов, эти трое — она, Мария и Тюверлен. Я кажусь себе «человеком, который получает пощечины». Но как бы то ни было, этот гнев лучше прежнего спокойствия. Так оскорблять может только любящая женщина».— Если говорить серьезно, Леа,— продолжал он,— и если вы назовете все эти качества иными, не столь резкими словами, если вы скажете вместо комедиантский — бьющий на эффект, вместо колеблющийся — гибкий, вместо трусливый — осторожный, то

это и будут те качества, без которых на практике не обходится ни один политический деятель. Я занимаюсь политикой, чтобы дать простор своей индивидуальности, политикой ради политики, а за что ратовать, мне безразлично. Думаю, что и вы до сих пор брали меня таким, каков я есть, вы понимали меня. Вы понимали, что Париж стоит обедни и что можно с радостью изучать Ветхий завет, не будучи евреем, что можно с радостью читать Данте, не становясь католиком. Вот точно так я занимаюсь нацистской политикой и радуюсь своей работе.— Он встал.— Нет никакого смысла продолжать нашу дискуссию. Но не воображайте, что я капитулирую, предоставляя вас сейчас вашим размышлениям. Вы еще пересмотрите свое решение, в этом я уверен, и наступит день, когда мы поговорим спокойно и в более умеренных тонах о ваших сомнениях.

— Думайте, что хотите, Эрих,— сказала Леа, снова спокойно и вежливо,— принимайте мои слова, как хотите. Но когда профессор Траутвейн даст здесь концерт, здесь, Эрих, в этой самой комнате, тогда вы убедитесь, что между нами действительно все кончено. А месяца через три вы, может быть, даже наедине с самим собой начнете сомневаться, отец ли вы Раулю.

Значит, она знала и об этом его непостижимом отречении и никогда о нем не упоминала.

Придя домой — он и сам не знал, как дошел,— Визенер заставил себя подавить свои чувства, быть только политиком, трезво взвесить, полезно или вредно для него поведение Леа. Этот концерт, если он действительно состоится, поставит его в ужасное положение. Позора не оберешься. Что скажет Гейдебрег, что скажет Шпицци? Но, с другой стороны, именно громогласность разрыва с Леа навсегда оправдывает его перед партией.

Вскоре, однако, печаль и гнев отогнали практические соображения, и он думал только о Леа. В голове у него не укладывалось, что он так внезапно и навсегда потерял ее. Все, что он сделал: нелепость, сказанная Раулю, меры, предпринятые против «ПН», — все это далекое прошлое, все это десять раз прощено.

Ни один суд в мире не признает законным развода, если женщина после поступка, выставленного как мотив этого развода, снова спала с мужем. Леа играла комедию перед ним и перед собой. Ей захотелось волнующих эмоций. На мгновение ей удалось его одурачить. Но он не даст себя провести. Лучше сделать вид, что ничего не случилось.

Он позвонил ей.

К телефону подошел Эмиль. Обычно он без колебаний говорил: «Мадам дома» или «Мадам ушла», — но на этот раз он сказал Визенеру, словно постороннему, что узнает, дома ли мадам. Мадам не оказалось дома. Визенер положил трубку, он выглядел стариком.

Леа писала письмо. Ее подруга Мари-Клод была в отъезде, ее ожидали в Париже на следующей неделе. В своем письме Леа сообщала, что она пригласила немецкого композитора и писателя эмигранта Зеппа Траутвейна дать у нее концерт. И больше об этом ни словом не упомянула.

Однажды, после какого-то заболевания, ей пришлось остричься наголо. Сейчас она чувствовала себя, как тогда, пустой, голой, опрятной.

Глава 10

ТЕРПЕНИЕ. ТЕРПЕНИЕ

В эти дни от Ганса требовалось много терпения. Он осуществил свое намерение: отказался от сдачи экзамена на бакалавра и поступил в строительно-техническую контору, где работал первую половину дня. Но это был временный выход, вся жизнь его теперь была сплошным ожиданием поездки в Советский Союз. Долгим, трудным ожиданием. Горький опыт с иностранцами научил советских людей тщательно рассматривать кандидатуру каждого, кто выражал желание отправиться в Союз, и понадобилось много всякой писанины, пока Гансу наконец разрешили приехать в СССР для поступления в одно из высших учебных заведений Москвы.

Лучше всего он чувствовал себя у дядюшки Меркле. Правда, от попыток нарисовать его портрет Ганс оказался, поняв, что в данном случае желание не вполне совпадает с возможностями. Оба были скупы на слова, и нередко случалось, что они минут по пятнадцать молчали, ни один, ни другой не произносил ни звука. Но Ганса это не волновало.

Как ни тяжело было, что уходят драгоценные дни, недели, месяцы, а он все не может вырваться из этого мира полуживых людей, но он не жаловался. А старому Меркле он рассказывал, как трудно теперь с отцом, вечно хмурым и недовольным. Отец, правда, по-прежнему много работает в своей редакции, но даже слепому видно, что работа его не удовлетворяет. Быть может, он понял, что формальная демократия, к которой он так привержен, не что иное, как пошлый фарс, что цель, во имя которой он борется, не стоит борьбы. Поэтому отец затосковал по своей музыке и жаждет вернуться к ней. Но он не может расстаться со своими пустыми, обветшалыми идеалами.

— А Зепп ведь совсем не глуп, — возмущается Ганс. — О многом он умеет писать сильно и умно. И каждый раз, когда я говорю с ним, мне кажется, что у него вот-вот раскроются глаза и он поймет наконец то, что здравомыслящему человеку ясно без доказательств. Но оказывается, что его нельзя переубедить. Это безнадежно. Кто не хочет видеть, тому не помогут ни свет, ни очки, — с горечью заключил он.

Дядюшка Меркле ходил по просторной комнате из угла в угол. Когда юноша умолк, он остановился перед ним, посмотрел ему прямо в лицо своими маленькими, светлыми глазами, и под густыми белыми усами мелькнула добродушная улыбка.

— Многое твой Зепп не то что не хочет видеть, он не может этого видеть. На то есть свои основания. Он не может отречься от своей демократии, для него это значит отречься от самого себя.

Старик опять принялся ходить по комнате, он говорил медленно, с паузами.

— Твой Зепп душой и телом человек девятнадцатого века, — рассуждал он. — В девятнадцатом веке

удалось в известных пределах осуществить те свободы, от которых нынче осталось разве что одно название. Свобода науки, свобода мысли, свобода печати, короче говоря, все, что здесь, на Западе, понимается под словом демократия. В то время восходящему классу буржуазии для экономической победы над феодализмом нужен был принцип свободной конкуренции, нужен был либеральный капитализм и как необходимый привесок — так называемые демократические свободы. Но это был лишь неповторимый исторический этап, и долго он не мог длиться. В тот момент, когда тресты, когда монополистический капитал пришел на смену либеральному капитализму, так называемые демократические свободы потеряли под собой почву. Они повисли в воздухе и оказались тем, чем, по существу, были всегда, — втиранием очков. Смекнул? — спросил он.

— То, что Зепп понимает под демократией, возможно, и существовало в девятнадцатом веке, но именно в девятнадцатом, и только. Это вы хотели сказать? — проверил себя Ганс.

— Совершенно верно, — с радостью подтвердил дядюшка Меркле, — это ты неплохо сформулировал. Нынче в фашистских государствах монополистический капитал без всякой оглядки, по-деловому выбросил на свалку «демократические завоевания», а у нас их так выпотрошили, что только одно название и осталось. Этого, конечно, мосье Траутвейн не желает понять. Да и как ему желать? Ведь эта демократия — весь его идейный багаж. Он ее никому не отдаст.

Ганс сидел погруженный в себя, помрачневший, с застывшим взглядом; такой взгляд бывал иногда у Зеппа.

— Всего три-четыре года назад, — продолжал дядюшка Меркле, — в Германии было еще множество мелких буржуа, которые боялись выпустить из рук, берегли и стерегли свои обесцененные тысячемарковые бумажки периода инфляции. Они основывали всякие ферейны, воображали себя богачами и тайными владыками страны. А когда их последний процесс и их деньги были бесповоротно проиграны, многие из них пустили себе пулю в лоб. Точно так же множество мелких бур-

жуа до сих пор еще верят в свои мнимые свободы. Они упрямо не хотят признать, что эти свободы — не больше чем клочок бумаги, пока за ними нет экономической независимости. Они закрывают глаза, не желая увидеть новую, подлинную свободу. Она кажется им слишком емкой, слишком обнаженной, слишком неудобной. Они хотят оставаться слепыми, они не желают расстаться со своей одряхлевшей идеологией, это их частная собственность.

— Но что же делать с такими людьми? — спросил Ганс.

Переплетчик подошел к Гансу вплотную и с необычной для него нежностью мягко положил ему на плечи свои костлявые, хорошей формы руки.

— Терпение. Терпение, — сказал он.

Слова эти он, видимо, отнес не только к Гансу, а ко всем нам, людям переходного времени, сложного и беспокойного.

Насколько трудно было Гансу понять людей старшего поколения, настолько же легко он находил общий язык со своими сверстниками. В Союзе антифашистской молодежи у него было немало друзей, очень привязанных к нему. Молодежь создала единый фронт, чего старшему поколению добиться не удалось.

Разумеется, были там у Ганса и недруги. И больше всех враждовал с ним, нападал на него, как только находился повод, некий Игнац Хаузедек, земляк, старый хороший знакомый.

В Мюнхене они учились в одной школе, и Ганс, уже тогда умевший находить путь к сердцам людей, не раз пытался сблизиться с трудным по характеру Хаузедеком. Ему было интересно говорить с Хаузедеком: тот много читал, имел на все свою точку зрения и, кроме того, так же, как Ганс, любил спорт. И Хаузедек, вне всяких сомнений, влекло к Гансу. Но его задиристый, властный тон раздражал Ганса: неожиданные проявления дружеских чувств перемежались у Хаузедекера с такой же неожиданной высокомерной замкнутостью. Нередко уже в ту пору между ними возникали ссоры. Однажды, катаясь на парусной лодке

Ганса, они поспорили о том, что такое свобода воли, и вошли в такой раж, что Ганс бросил в воду Игнаца, позволившего себе какое-то возмутительное замечание личного характера.

— Чтоб духу твоего не было в моей лодке, негодяй,— крикнул он тогда Хаузеру. А нынче, вспоминая эту выходку, Ганс больше всего стыдился своих слов «в моей лодке», изобличающих в нем постыдный собственнический инстинкт. Он, разумеется, тут же помог Хаузеру взобраться в лодку, и они хоть и с трудом, но помирились.

Гансу и не снилось, что здесь, в Париже, он встретит своего старого товарища. Когда он потерял Игнаца из виду, тот входил в группу так называемых «национал-революционеров», провозглашавшую своим лозунгом некую помесь из империалистических принципов и ублюдочных «социалистических» идей и стоявшую близко к гитлеровцам. Но практика третьей империи вскоре толкнула часть этой группы к оппозиции, она ушла в подполье, а когда в июне 1934 года нацисты перебили лидеров социалистического крыла группы, Игнац счел за благо смыться.

Как некогда в «Гимнастическом обществе 1879 года», так и теперь в Союзе антифашистской молодежи Ганс регулярно встречался с Игнацем. Игнац был наборщиком, в Париже немецких наборщиков не хватало, он без лишней волокиты получил разрешение на работу, и жилось ему неплохо. Между ним и Гансом очень скоро установились такие же отношения, как в Мюнхене. Спорили они на каждом шагу, пожалуй даже еще ожесточеннее, чем раньше. Именно здесь, на чужбине, Игнац с пеной у рта утверждал свой немецкий национализм, он остался пангерманистом, с нацистами у него было больше точек соприкосновения, чем разногласий. В Союзе молодежи Игнац оказался самым серьезным противником Ганса. Он много читал, посещал всякие диспуты, во многих науках пахтался верхов и щеголял своими знаниями. Игнац был статен, речь его лилась легко и непринужденно, нередко Гансу бывало трудно простыми и ясными доводами разума противостоять его пустозвонной болтовне.

Однако он считал своим долгом не уклоняться от споров с Игнацем. Правда, от них часто оставался неприятный осадок. Лучшим средством смыть его были любимые книги Ганса о Советском Союзе.

Вот, скажем, роман Эренбурга «День второй». Книга захватила его с первых страниц. Сначала Ганс поставил себе задачу с ее помощью укрепить свои познания в русском языке. И надо сказать, что Ганс, в котором так удивительно сочетались энтузиазм и практичность, ни на минуту не упускал из виду своей цели. Прочитав главу, он возвращался назад, снова читал, заглядывая в словарь, аккуратно выписывал незнакомые слова, заучивал их, методически и твердо запоминал. А затем прочитывал главу в третий раз, уже «по-настоящему», не ставя перед собой никаких задач и восторгаясь.

Однажды, сидя над романом, этот разумный, сдержанный юноша, так обстоятельно и педантически мысливший и говоривший, стал поэтом. На язык вдруг пришли слова, которых ему давно не хватало, слова, открывшие ему, приверженцу порядка и классификации, кого и что он ищет в Советском Союзе. Его охватила глубокая радость; вот такую же радость он испытал, когда неся на своей парусной лодке по Аммерскому озеру, а еще в тот памятный раз, в Лувре, когда стоял перед Никой Самофракийской. Громко и медленно, упиваясь каждым звуком, произносил он драгоценные слова, которые он нашел и которые, казалось ему, раз навсегда определили то новое, существенное, что отличает советских людей: «Первые люди третьего тысячелетия».

От сочного баварского юмора Зеппа Траутвейна остались жалкие крохи. Раздраженный сидел он за дешевым письменным столом, которых делают по двенадцать на дюжину, без лица и без истории. Зепп Траутвейн проклинал задачу, пленником которой стал. Все реже, все слабее слышал он звуки «Зала ожидания», ему казалось, что энергия, растрачиваемая им на работу в редакции, украдена у его музыкального твор-

чества, он боялся, что постепенно талант его заглохнет. Он тосковал по своей музыке и не мог отделаться от писания статей, от этой несчастной пачкотни. Одна тоска, да и только.

Материально теперь жилось лучше, чем можно было ждать. Немного денег осталось еще от гонорара, полученного за исполнение «Персов» на радио. Доктор Вольгемут прислал после смерти Анны солидную сумму, — якобы не выплаченное ей жалованье. Ганс тоже зарабатывал в строительно-технической конторе и вносил кое-какие деньги в хозяйство. Концы с концами сводить было можно. А Зепп, прежде, бывало, всегда всем довольный, теперь всегда всем возмущался — и затхлым «Аранхуэсом» и скаредным Мерсье, и своим соседом, «сапожником», который так тарабанил на пианино, что хоть святых вон выноси.

Терпение у Зеппа ежеминутно лопалось. Его приводили в бешенство козни старой, разбитой пишущей машинки, а когда Ганс, искренне стремившийся облегчить отцу повседневное существование, предлагал купить новую, он возражал. Если же мальчуган в ответ на поток яростных проклятий, которыми отец осыпал постылый «Аранхуэс», предлагал, как неоднократно настаивала и Анна, подыскать другое жилье, он сердито отмахивался. При этом он действительно не выносил «Аранхуэса» и очень сожалел, что в свое время не послушал Анну. Но теперь, без нее, Зепп из смешного атавистического чувства, как он про себя называл его, не хотел переезжать: ему казалось, что переездом он нанесет обиду покойной. Об этой истинной причине он, однако, Гансу никогда не говорил, а сочинял всякие нелепые предлоги.

Он понимал, что его раздражительность вызывается не внешними обстоятельствами, а душевной неудовлетворенностью. И все же без конца ворчал и изводил Ганса своей нетерпимостью, тем более что сдержанность и выдержка никогда не были его добродетелями. Плохо настроенный, он на каждом шагу придирался к мальчугану и давал волю своему недовольству миром и самим собой.

Все сильнее томила его тоска по родине. Вечер за вечером он отыскивал на шкале радиоприемника Мюнхен и, счастливый, слушал мюнхенский говор. Он грезил Изаром и мюнхенскими окрестностями, верхнебаварскими озерами. Один бы часок подышать воздухом родины.

Однажды он услышал по радио знаменитого мюнхенского комика Бальтазара Хирля. Хирль рассказывал глупый, пресный анекдот: гитлеровский режим обломал этому актеру зубы, ему приходилось ограничиваться дешевым мелкобуржуазным юмором. На этот раз он рассказывал анекдот о зонтике.

«Некий унтерлейтнер собрался в город: небо пока ясное, но на западе собираются тучи.

— Как думаешь, старушка, взять мне зонтик? — спрашивает он. — Все-таки дождь будет.

— Что ж, возьми на всякий случай зонтик, — говорит жена.

— Но мне нужно заехать в банк, а потом к нотариусу, и я легко могу где-нибудь оставить зонтик, — колеблется он.

— Что ж, не бери, пожалуй, зонтик, — говорит она.

— Но, — возражает он, — если пойдет дождь, то черному костюму крышка.

— Что ж, возьми, пожалуй, зонтик, — советует она.

— Но, — сомневается он, — в городе все сплошь воры, если я его, зонтик то есть, где-нибудь оставлю, я никогда не получу его назад.

— Что ж, тогда, пожалуй, не бери, — говорит она.

Унтерлейтнер выходит наконец из себя.

— От вас, женщин, никогда прямого ответа не добьешься! — сердито кричит он».

Зепп слушает этот голос, любимый мюнхенский голос Бальтазара Хирля. Он по-детски радуется, он счастлив, как самый обыкновенный мюнхенский обыватель, и даже не замечает, что в юмористических зарисовках великого юмориста нет той соли, которая некогда придавала им остроту. Больше того, Зепп ищет философский смысл в услышанном им жалком анекдоте. «Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée»¹ —

¹ «Дверь должна быть либо закрыта, либо открыта» (франц.).

так Мюссе выразил суть того, что рассказал Бальтазар Хирль. Он, Зепп, сам этот унтерлейтнер. Его самого бросает из стороны в сторону, и, так же как этому анекдотическому персонажу, ему одинаково ненавистны и утверждение и отрицание.

С этой минуты Зепп вновь научился подтрунивать над собой и сделался заметно стоворчивее. Он не был так словоохотлив, как раньше, но ладить с ним стало легче.

Он решил не носиться более одному со своей большой проблемой, жуя ее и пережевывая, а откровенно обсудить ее с мальчуганом.

Мальчуган — человек разумный. Это не та разумность, которая нравится Зеппу, а та, что его раздражает. Но нельзя все на свете мерить на свою мерку. И если все на свете не в ладу с тобой, то не всегда виноват весь свет. Изгнание кое-чему научило его. Хотя бы ты и был уверен, скажем, что образ мыслей других людей не во всем правилен, все же бессмысленно огульно отрицать его, надо стараться принять то, что мало-мальски удобоваримо. Так или иначе, но он попытается поговорить с мальчуганом.

В один из ближайших вечеров, после ужина, когда Ганс, как повелось, принялся за мытье посуды, Зепп, впервые после смерти Анны, пошел к нему в ванную и в своей обычной манере, запальчиво, даже вызывающе, спросил, хотя чувствовалось, что это стоило ему усилий:

— Скажи-ка, Ганс, но с полной откровенностью, что ты думаешь о моей газетной писанине? По-прежнему считаешь, что все это нужно как собаке пятая нога?

Вопрос был щекотливый. Ганс невольно вспомнил, как мать, бывало, пользовалась минутами, пока они вместе мыли посуду, чтобы по душам поговорить с ним, но, к сожалению, они не находили общего языка. Надо воспользоваться более мягким настроением Зеппа, нельзя неловким ответом оттолкнуть его. Он, Ганс, ценит страстность, с которой отец бросился в политику, осторожно начал он. Но если говорить прямо, то он остается при своем мнении, что Зепп, будь у него хоть самые лучшие намерения, все же не тот человек, который нужен для политической боевой газеты.

Зепп, сидя в небрежной позе на краю ванны, время от времени ударял ногой по ее жестяной стенке. Раздавался дребезжащий протяжный звук. Правильно, с горечью ответил он, от его писаний мало толку, в этом он сам убедился. А с музыкой, продолжал он мрачно, у него сейчас кое-что получается. И Зепп постарался объяснить Гансу задуманную им симфонию «Зал ожидания».

Он впервые говорил о своей большой симфонии и очень воодушевился. Ганс внимательно слушал. Слава богу, в этой симфонии заложены, несомненно, идеи, да еще не какие-нибудь, а политические. Тут Ганс кое-что смыслит. Он видел, что Зеппом полностью завладела мысль написать свой «Зал ожидания», и поэтому убежденно ответил: на этот раз он, кажется, понимает, что имеет в виду Зепп, и, несомненно, «Зал ожидания» — именно то, что ему непременно удастся. Говоря, он оживился, ему даже пришла в голову идея, которую он мог подсказать отцу.

— «Зал ожидания», — сказал он. — Симфония «Зал ожидания» — это как-то не звучит. А что, если назвать симфонию по-французски? Ведь как будто принято давать музыкальным произведениям французские названия? Не лучше ли назвать ее «La salle des pas perdus»?

Зепп подумал: «La salle des pas perdus», «Зал потерянных шагов» — звучит неплохо, французы в самом деле нашли красивое, значительное, горькое и печальное обозначение для такой будничной вещи, как зал ожидания. Но для его замысла это слишком красивое, слишком сентиментальное название. Он хочет, чтобы в его творении звучали непримиримость, четкость, суровость, горечь.

Но мальчугану он своих возражений не выскажет. Наоборот, он рад, что Ганс так живо и искренне заинтересовался его темой. Если Зеппу удастся дать ему представление, хотя бы и самое отдаленное, о «Зале ожидания», о том, какой он себе мыслит свою будущую симфонию, мальчуган, несомненно, поймет, что значит для отца отойти от музыки, какая это огромная жертва. Поговорить о ней с человеком, мнение которого ему дорого, было Зеппу очень важно.

И он не только нарочито умолчал о своих возражениях против «Зала потерянных шагов», но поблагодарил мальчугана за совет, сказал, что серьезно подумает на этот счет, и перешел к тому, что камнем лежало у него на душе. К сожалению, продолжал он, немало еще воды утечет, пока дело дойдет до выбора названия: как и следовало ожидать, его работа в газете не оставляет времени для музыкального творчества. Машинально и смущенно постукивая ногой по стенке ванны, он в простых, неловких, стыдливых выражениях поведал Гансу, как ужасно, как тяжело ему жить без музыки.

Ганс вдумчиво кивал. Да, он понимает. Самые многословные речи не могли бы успокоить Зеппа так, как эти вдумчивые кивки.

И все-таки, доверительно говорил Зепп, он обязан продолжать эту идиотскую работу в редакции. Не до бесконечности, разумеется, сохрани бог. Он поставил перед собой определенную цель, срок. И он просит Ганса честно сказать, правильно ли он рассудил.

— Итак,— Зепп понизил голос, точно раскрывал великую тайну.— Итак: я обязан заниматься политикой до тех пор, пока дело Бенъямина не будет разрешено. Эту задачу я перед собой поставил и не имею права останавливаться на полпути. Только когда дело Бенъямина так или иначе разрешится, я смогу вернуться к музыке.

Он сам пугается вырвавшегося у него расчетливого, жестокого, предательского «так или иначе». Может ли он победить, если ему безразличен исход дела Бенъямина, если он хочет лишь, чтобы оно разрешилось «так или иначе»? Не дезертир ли он?

Ганс не замечает ни дурного смысла в словах отца, ни его самобичевания. Он видит лишь, что Зепп выработал себе генеральную линию. Это хорошо. И она отнюдь не плоха. Зепп поставил перед собой, конечно, небольшую цель, но ведь у него, индивидуалиста, нет организации, которая, исходя из великого целого, поручила бы ему значительную задачу, поэтому ему приходится самому задавать себе урок. И он задал себе довольно разумный урок, а выполнив его, может со

спокойной совестью посвятить себя делу, для которого рожден,— своей музыке.

Все это Ганс сказал отцу свойственным ему вдумчивым, несколько педантичным тоном.

— Если так,— ответил Зепп,— тогда я очень рад. Ты, следовательно, полагаешь, что я рассудил правильно.

Высказав наконец то, что его угнетало, поставив себе определенный срок, он облегченно вздохнул, больше того, он повеселел, ему было хорошо, и, как истинный баварец, он почувствовал желание сцепиться с кем-нибудь и начал задира́ть мальчугана.

— Весьма отрадно,— сказал он запальчиво,— что по крайней мере в этом пункте ты меня понял.

Но его надежда на аппетитный спор не осуществилась. Правда, и в Гансе проснулась унаследованная черточка — в ответ на реплику отца ему захотелось до хрипоты поспорить. Но он тотчас же одернул себя, подумал: «Нет, старик, не выйдет, сейчас как раз не выйдет», — и не откликнулся на тон, взятый отцом, а только молча улыбнулся.

Зепп еще и еще раз пытался вывести Ганса из равновесия. Но мальчуган не отвечал ударом на удар, он ни разу не клюнул. В конце концов Зепп утомился, хваля себя за терпимость.

Глава 11

«ПОЛЗАЛ БЫ ВАЛЬТЕР НА БРЮХЕ...»

Когда мосье Перейро передал Зеппу приглашение мадам де Шасефьер, он ответил довольно-таки нелюбезно. «Дама из общества» приглашает его? Знает он эти концерты еще по Германии. Собираются этакие спесивые господа, несут всякий чванливый вздор и мнят себя высокообразованными людьми. У Зеппа нет никакого желания изображать придворного шута мадам де Шасефьер и ее гостей. Мосье Перейро доказывал ему, что в данном случае речь идет не просто о званом вечере, а о демонстрации в пользу дела

эмигрантов. Приглашены влиятельные люди, и успех его, Траутвейна, будет успехом всей немецкой оппозиции.

Хотя Зеппа и возмущало такое поверхностное суждение искусства и политики, все же мысль выступить прельщала его. Ему захотелось опять увидеть собственными глазами, услышать собственными ушами, как действует его музыка на живую аудиторию. Подумал он и об Анне, вспомнил, как в подобных случаях, если он склонялся к тому, чтобы отказаться, она настолько сердито, сколько грустно говорила: «Неужели хотя бы в виде исключения ты не можешь не напортить себе?» Зепп поколебался и принял приглашение.

В редакции удивленно пожимали плечами, узнав, что Зепп собирается дать концерт у приятельницы Эриха Визенера, и прошло немало времени, пока наконец все поняли, что интерес именно этой дамы к делу эмигрантов означает политический успех.

Зепп переработал несколько «Од Горация», из тех, которые ему хотелось услышать на вечере в исполнении певцов. Он выписал также из «Персов» отрывок для голоса с роялем. Перейро прислал ему певцов. Сидя над своими нотами, Зепп вновь чувствовал, что весь растворяется в музыке. Как человек, вернувшийся из длительного путешествия на милую сердцу родину, он вновь отдавался своей музыке.

На репетициях он познакомился с певцом Дональдом Перси. Лицо его показалось Зеппу знакомым, и он напрямик спросил:

— Вы не Нат Курлянд — оперный певец?

— Нет, — ответил маленький экспансивный господин. — Я был когда-то Натом Курляндом. Я расстался с этим именем, расстался окончательно. Вместе с ним я перечеркнул все мое немецкое прошлое.

— Что ж это вы так, соседushка, — добродушно воскликнул Зепп. — Нат Курлянд совсем не такое уж провокационно немецкое имя.

— Нет, именно так, — упорствовал Дональд Перси. И еще не раз после этого разговора Зепп убеждался, что в речах певца Дональда Перси очень часто больше темперамента, чем логики.

Не прошло и часа с момента их знакомства, а Зепп знал уже всю биографию певца. Он происходил из бедной еврейской семьи, работал одно время продавцом, потом кто-то открыл у него голос, и родители Ната голодали, только бы предоставить сыну возможность обучаться пению. Вопреки материальной нужде и множеству других трудностей — Нат был мал ростом, суматошен в жестикуляции, ему нелегко было совладать со своим еврейским произношением, — голос его взял верх над всем, и Ната пригласили в оперный театр в Шарлоттенбурге. Но сразу же после его первого шумного успеха на сцене этого театра к власти пришли нацисты и попросту аннулировали договор с ним.

— Вы только представьте себе, — горячился он, — в стране не оказалось ни одного суда, куда можно было бы обратиться, ни один союз работников сцены не встал на мою защиту. Чего ради, спрашиваю я вас, делались взносы? Все, что было хорошо вчера, сегодня оказалось плохо. Можете вы себе представить нечто подобное? Такой музыкальный народ, как немцы, с таким музыкальным наследием, запрещает петь человеку с моим голосом.

Он был вне себя, он жестикулировал; он все еще не мог понять, и сейчас еще не мог понять, что с ним произошло, хотя, вероятно, рассказывал все это в сотый раз. Он описывал свое невероятное изумление, испуг родителей, вскипевший в нем отчаянный гнев; описывал, как он не мог успокоиться, носился по всем инстанциям, кричал, ругался, пока его не заперли в концентрационный лагерь. И сейчас еще лицо у него наливалось кровью от ярости, когда он говорил о своих преследователях. Но он с не меньшим возмущением говорил о немцах, которые могли допустить, чтобы Германия так низко пала, и по сей день все еще молчат.

— У меня были друзья, — рассказывал он, — сионисты, еврейские националисты, никогда не доверявшие немцам. Я высмеивал их, я уши им прожужжал, славя немецкую культуру. А теперь при мысли о Германии у меня невольно сжимаются кулаки. Порой я начинаю ненавидеть и немцев-ненацистов. Я не могу

простить им, ни одному, что они все это допустили. Даже вам, профессор Траутвейн, мне стоит усилий подать руку. Простите меня за откровенность, но если уж однажды возникло такое чувство, и не без основания, профессор Траутвейн, не без основания, то освободиться от него невозможно.

Певец Дональд Перси не знал, что пережитые им мытарства покажутся детской игрой по сравнению с ужасами, которые через короткое время стали повседневностью в третьей империи.

В сущности, надо было бы приступить к работе, начать репетировать, но Зепп все с большим и большим сочувствием слушал этого одержимого. Рассказывая, Дональд Перси наступал на собеседника, развязно хватал его за плечи, за пуговицу пиджака. У него было странное произношение, например в слове Гитлер он очень протягивал звук «и», что подчеркивало еврейское звучание этой фамилии. Зепп не обращал внимания на такие детали, его трогала не знающая границ откровенность Дональда. Его взволновало, что Перси не хотел подать ему руки, точно так же как он, Траутвейн, во время ссоры с Гингольдом называл его про себя «грязный еврей». Неужели, как только культурному человеку наступят на мозоль, он не может подавить в себе проявление массового психоза?

Тем временем Дональд Перси далеко ушел от этой темы. Господа нацисты, господа немцы просчитались, говорил он. Им не сокрушить Дональда Перси. Разумеется, это удар, что, едва достигнув славы, он по такой возмутительной причине ее лишился. Но он не беспочинится, он пробьется. Он сейчас изучает английский и французский языки, он так их изучит, что непременно завоеует успех на английских и французских сценах. Главное — это голос, а голос у него есть.

— Правильно, — перебил его Зепп, — давайте же начнем и посмотрим.

И они наконец приступили к делу.

Впечатлительный, непосредственный Дональд Перси пришел в восторг от «Од Горация».

— А в Германии я ничего о них не слышал, — наивно признался он.

С ним оказалось приятно работать, и для Зеппа было радостным событием после такого перерыва услышать оды, исполненные настоящим певцом.

Восторг Дональда Перси так вскружил голову Зеппу, что он сыграл ему и «Песни Вальтера». По просьбе Перси, он играл песню за песней. Они еще были сыроваты, но певец просил и молил позволить ему спеть их. «Ползал бы Вальтер на брюхе», — пел он. Мелодию он сразу усвоил, увлек его и текст песни. Он обнимал Зеппа, он хлопал его по плечу.

— Превосходно. Превосходно, — кричал он. — Здорово же вы всыпали этим свиньям. Вы словно подслушали наши тайные мысли. Повторите, — просил он, — сейчас же еще раз повторите.

Он был очень разочарован, когда Зепп заявил, что эта вещь еще не готова и он сомневается, включать ли ее в программу.

Собираясь на концерт, Зепп тщательно оделся. Он качал головой, удивляясь самому себе. Все, что он делал, было до комического сентиментально, было смешной и запоздалой данью уважения к Анне. Он вообще вел себя по-детски: с Гансом и близкими друзьями потешался над «светским событием», а в глубине души признавал, что этот дурацкий концерт, который он исполнит перед горсткой снобов парижан, волнует его больше, чем когда-либо волновали премьеры в Германии.

Первая вещь, рассказ о сновидении из «Персов», исполненная французской певицей, была встречена вежливыми, но довольно прохладными аплодисментами; публика слушала дружелюбно, однако не зажглась. Зепп сказал себе, что чувство его не обмануло: бессмысленно было выступать перед такой аудиторией.

Вторым номером исполнялись «Оды Горация». Взволнованный Дональд Перси испортил вступление. Но тут же взял себя в руки, и в дальнейшем у него все «вышло». Аудитория затихла, внимательно слушала, выжидала. «Трудные люди», — думал Дональд Перси, обливаясь потом.

Леа тоже почувствовала, что ее публику трудно расшевелить. Она рассматривала этот вечер как свое личное дело, ей по многим соображениям хотелось, чтобы для мосье Траутвейна он увенчался успехом. Сделать рекламу этому немецкому музыканту было нелегко. И гости ее создали вокруг музыканта нелегкую атмосферу. Неожиданностью это для нее не было. Сначала она выступала в роли «нацистской богоматери», а теперь преподносит свету эмигрировавшего немецкого музыканта. Правда, все пришли послушать и посмотреть, но никто не склонен был ради удовлетворения каприза мадам де Шасефьер наперед признать гением ее протеже. Все зависит от того, что еще покажет профессор Траутвейн.

А Траутвейн показал еще «Песни Вальтера». До последней минуты противился он их исполнению на вечере; Дональду Перси пришлось предъявить ему чуть ли не ультиматум. Оказалось, что инстинкт не обманул певца. Песни победили сразу же, после первых же тактов. В них не было ничего от эстетизма «Персов» и од. Их свежесть и грубоватый юмор при всей их ювелирной отточенности, их народность разогрели слушателей. Нельзя было не видеть, что эти песни не только дышат весельем, а что их дерзость и задор насыщены боевым, революционным духом. Кто вслушивался поглубже, тот приходил к выводу: именно воинственная свежесть, отличавшая «Песни Вальтера», перекидывала мост от Вальтера фон дер Фогельвайде к музыканту Зеппу Траутвейну, которых разделяли более шести столетий.

Гости мадам де Шасефьер восторженились. В руках у них был сухой французский перевод, но даже знавшие немецкий язык плохо понимали старинные стихи. Однако все почувствовали в этой музыке мощь, неудержимую волю к справедливому, к человечному. От холодной почтительности к значительному произведению искусства, с которой они слушали музыку до этой минуты, ничего не осталось. Их охватил восторг; жизнелюбие, отвага, все, что несли им звуки рояля и голос певца, казалось, выражало их самих, их сокровеннейшие чувства.

«Ползал бы Вальтер на брюхе...» Леа смотрела на удивительного человека, которого она хотела сделать

своим орудием против Эриха, смотрела на его костлявое лицо с глубоко сидящими глазами под густыми, седеющими дугами бровей, смотрела, как он поджимает губы, обрушиваясь на клавиатуру, она видела, сколько в нем жизненной энергии, видела на его лице быструю смену выражений — от гнева до детской радости. Он угловат, полон силы, весел и, несомненно, крайне непрактичен. Немец с головы до ног. А Эрих — нацист. Вот она и добилась своего, ее вечер уже никто не назовет холодным и пустым, мосье Траутвейн одержал победу, его будут поздравлять, это и ее успех. Горький успех. Триумф Траутвейна означает поражение Эриха. Она осуществила свою угрозу, все кончено, мосты сожжены. А что она выиграла?

«Ползал бы Вальтер на брюхе...» Петер Дюлькен сидел среди гостей и слушал. «Мы очень верили в большой талант Зеппа, но в его музыке всегда чувствовался какой-то остаток академичности, отвлеченности, — думал он. — И вдруг эта могучая жизненная сила, эта стихийная непосредственность». Петер Дюлькен исполнен восхищения и дружеских чувств к Зеппу. Прав ли он, Дюлькен, убедив его остаться в редакции? Трудно себе представить, каких усилий стоит этому человеку изо дня в день приходить в редакцию «ПП», вместо того чтобы сидеть за пианино и за своими нотами. «И все же, Пит, ты правильно поступил», — сказал он себе. «Ползал бы Вальтер на брюхе...» Не уйди Зепп от своей музыки, ползал бы и он. А своей работой в «ПП» он купил себе свободу, раз и навсегда.

«Ползал бы Вальтер на брюхе...» Это доходит и до Ганса, это проняло и его. Когда передавали по радио «Персов», Ганс, глядя на поглупевшие лица захваченных музыкой слушателей, чувствовал к ним презрение, он говорил себе, что в наше время, великое переходное время, не музыку творить надо, а мир изменять. С тех пор он стал терпимее и в своей невосприимчивости к музыке видел уже не превосходство над другими, а собственную неполноценность. Зепп утверждает, что и музыкой можно бороться, и в этом есть, несомненно, зерно правды. Ганс смотрел на энергично бегающие по клавиатуре руки отца, на его задорное, сердитое,

светлое лицо и очень любил своего Зеппа. Отец, это слышалось в его музыке, дает бой и бьется мужественно. Жаль только, что он не очень четко представляет себе, за что именно он борется. И пусть «рифмуются они, как задница с луной, а Вальтер все поет, и песнь его вольна».

Теперь Ганс спокойно может оставить отца одного.

«Ползал бы Вальтер на брюхе...» Рауль никак не мог определить свое отношение к мосье Траутвейну. С самого начала он скептически распенил новую «прихоть» матери. Он, разумеется, понял, что этот концерт означает окончательную отставку Визенера, предельно резкий вид разрыва, ничего более резкого и вообразить себе нельзя; он приветствовал поступок матери и уважал ее за то мужество, с которым она перед всем светом отреклась от Визенера и дезавуировала его. Но не слишком ли крикливо она это сделала? Прямо говоря, даже несколько безвкусно. А сам этот Траутвейн, — что за удивительный чудак. Черниг рассказывал Раулю, как много сделал Траутвейн для Гарри Майзеля, а это значит, что он кое-что смыслит в литературе. Он писал строгую музыку — «Персы», «Оды Горация». И он же писал острые, пожалуй, даже вульгарные политические статьи и сочинял нечто примитивно-передовое, вроде «Песен Вальтера». Что-то тревожное было в том, что один человек может так многогранно проявлять себя. «Придется, видно, пересмотреть многие выводы, до которых я наконец благополучно добрался, — думал Рауль. — «Песни Вальтера», несмотря на свою популярность, все же хорошая музыка». Рауль перевел глаза с человека, сидевшего у рояля, на Чернига, своего нового друга, сидевшего рядом с ним.

— Нравится вам эта музыка? — спросил он шепотом.

Черниг повернул к нему голову, ухмыльнулся и сказал:

— Классно.

На этот раз Рауль понял, что Черниг высмеивает его любимое словечко, а заодно и его самого.

«Ползал бы Вальтер на брюхе...» Все слушали с живейшим интересом. Почти для всех присутствующих

Зепп Траутвейн — это было всего лишь имя, не больше; некоторые, быть может, смутно припоминали, что обладатель этого имени играл какую-то роль в борьбе за освобождение насильно увезенного в Германию немецкого журналиста, как бишь его звали? И вдруг оказывается, что Зепп Траутвейн не только политический борец, но и подлинный музыкант. Не странно ли? Занимайся этот человек своей музыкой, он был бы мировой знаменитостью. А он тратит время на писание статей для какой-то газетки немецких эмигрантов. Удивительные люди эти эмигранты. Они гонятся за своей родиной, которая знать их не хочет, и, бессильные, немножко смешные, ведут борьбу против огромного государства со всем его аппаратом насилия, вместо того чтобы заниматься музыкой или чем-нибудь другим, что они умеют делать. А делать они, видно, многое умеют.

В глазах присутствующих Зепп Траутвейн предстал совсем в другом свете после «Песен Вальтера». Его обступили, каждый хотел ему что-то сказать. Он не отвечал своим слушателям любезностями, не поддакивал им, был сдержан. Именно потому, что он явно без восторга принимал их восторги, они, коллеги, критики, журналисты, наперебой выражали ему свое восхищение. Представители радио пытались тут же вырвать у него согласие на исполнение «Песен Вальтера» перед микрофоном.

Зепп вообще никогда не страдал нелюдимостью, но в тот вечер, несмотря на шумный успех, он был неприступен и скуп на слова. «Как радовалась бы Анна этому концерту, — с горечью думал он. — И на этот раз подтвердилась ее правда: все решают знакомства, связи, случай, все — сплошная комедия».

Ему еще не хотелось спать, и он предложил Чернигу посидеть с ним где-нибудь часок. Черниг с радостью согласился.

Музыка Зеппа его взбудоражила. В «Песнях Вальтера» было мало от того кристального «классического и математического», что всегда нравилось ему в музыке друга. Они показали нового, отважного, протестующего Зеппа Траутвейна.

Черниг нередко вышучивал Зеппа, честил его мещанином. А мятеж, звучавший в «Песнях», как он ни прост, ни примитивен, как ни мало в нем артистичности, однако мещанским его не назовешь. Мятежный дух, правда, всегда был в Зеппе, но понадобились благоприятные условия, для того чтобы он обрел голос. Благоприятные условия появились, они оттеснили все плохое и открыли простор для хорошего.

Да, Зепп Траутвейн переменялся. Сорок пять лет он питался хлебом и мясом баварской земли, а два последних года он восполняет то, что расходует его организм, хлебом и мясом, вином и плодами французской земли. И точно так же, как тело его, впитывая все это, менялось, оставаясь все-таки неизменным, так и его крепкий, но медлительный мюнхенский ум поддался и впитал в себя кое-что чужое, мятежное.

Произошла перемена и в нем, Черниге, но перемена печальная. Да, в «Песнях Вальтера» Черниг узнавал самого себя, свою молодость, свою дерзкую, ужасную, гордую, достойную сожаления, лучезарную молодость. Под этой молодостью раз и навсегда подведена черта с той минуты, как он сбежал из эмигрантского барака и укрылся в обеспеченном мирке французского издательства. Переход удался, бесспорно. Он пользовался чем-то вроде успеха, его считали знатоком поэзии, и его знания хорошо оплачивали, зяблику опять подбросили зерен. Но перемена была чисто внешняя, грустная перемена. В душе он остался прежним индивидуалистом, анархистом, его уверенность в гнилости того мира, в который он бежал, и в предрешенном, вполне заслуженном закате этого мира не поколебалась.

Оскар Черниг жалел, что впервые услышал «Песни Вальтера» в этом изысканном обществе, что Зепп не сыграл их ему первому с глазу на глаз. Обрадованный приглашением Траутвейна, трусил он рядом с ним: шли пешком, как в минувшие дни. И, не сговариваясь, они бросили якорь в одном из тех дешевых бистро, в которые часто захаживали до того, как оба переменялись и между ними наступило охлаждение.

И вот они сидят, как некогда часто сиживали, в резко освещенном, шумном кабаке. Черниг с щемя-

щим чувством вспомнил то время, когда он читал Зеппу свои стихи в унылом кафе «Добрая надежда», внешне сохраняя полное равнодушие, а в душе сгорая от ожидания — что скажет Зепп. Он, Оскар Черниг, писал тогда крикливые стихи, и Гарри Майзель был прав, не оставляя от них камня на камне, громя их беспощадно. Еще в последнюю ночь он пшвырял в лицо Чернигу уничижающие слова. И все же эти дерзкие, спорные стихи были лучшими из всего, что он написал. К сожалению, он не пишет больше таких стихов, он вообще не пишет стихов, с этим покончено. Он не способен более писать стихи, он не может постичь, что писал их когда-то. Ему страшно вспомнить о них, они чужды ему, как срезанные волосы, он не понимает их так же, как все свое тогдашнее «я». Но как раз эти стихи и были тем, что привлекало к нему Зеппа, быть может, они и теперь явятся мостом, который снова сблизит его с Зеппом. Очень жаль, что они так отдалились друг от друга.

Было бы хорошо, если бы Зепп написал музыку на несколько его стихотворений. Это связало бы их опять. И он, возможно, вернулся бы тогда к своим стихам.

— А что, профессор, не открыть ли вам миру Оскара Чернига, как в свое время вы открыли Гарри Майзеля? — сказал он. — Сам я не имею теперь никакого отношения к своим стихам, а для вас ведь они еще кое-что значат. Нет ли у вас желания посмотреть, что в них еще живет? Если бы у вас хватило смелости, профессор, вы забросили бы примитивные песни старика Вальтера и взялись за молодого Чернига.

Зепп почувствовал в этих словах боль и понял, как важно Чернигу вернуть себе его расположение, ему даже стало жалко этого человека. Когда он приглашал Чернига побыть еще немного вместе, в нем говорило желание излить душу, горько поплакать ему в жилетку. Ну, не идиотское ли проклятие тяготеет над ним в самом деле: человек, пишущий такую музыку, как он, сам себя приговорил к прозябанию в малейшей газетке, к писанию посредственных статей. Когда же наконец он получит право сбросить с себя грим политического деятеля?

Но теперь, сидя в жалком кабачке против Чернига, Зепп понял, как бессмысленно было бы жаловаться ему. В лучшем случае Черниг высмеял бы его, и цепь, к которой он по собственной милости прикован, еще сильнее впиалась бы в него. Лучше уж самому без стонов и жалоб мучиться в своей «ПП», умнее, пожалуй, не подогревать остывшей дружбы с Чернигом.

Почувствовал и Черниг, что прежней близости между ним и Зеппом уже не восстановить. Огонек, на мигу вспыхнувший в Зеппе, быстро отгорал; по-видимому, он не так уж рад успеху, как и Черниг не рад своему. Изредка роняя слово-другое, сидели они друг против друга, угрюмо насупившись, погруженные каждый в свои думы.

Глава 12

УПЛЫВАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ

Старый Рингсейс был очень плох. Он лежал в больнице, в большой палате, где, кроме него, было еще десятка два больных. Он так исхудал, что у Зеппа при виде его сжалось сердце. Но приход Зеппа явно оживил его. Он совершенно забыл французский, рассказывал Рингсейс Зеппу, и лишь окольным путем, через латынь, отыскивает в памяти французские слова. А некоторые забыл окончательно.

— Когда вы вернетесь в Германию, сын мой, — сказал он позднее, и было видно, что эта мысль давно его угнетала, — не забудьте, пожалуйста, что в моей аудитории, в шкафу под номером шесть, лежит вместе с другими папками материал к слову «Ксантиппа». Вы в Германию, несомненно, вернетесь, и, если вы передадите специалисту материал о Ксантиппе, тень афинянки Ксантиппы и тень гиперборейца Рингсейса будут вам благодарны. Мне, к сожалению, уж не придется закончить статью о Ксантиппе. Я надеялся, что удастся написать эту работу в Париже, несмотря на недостаток материалов. А сейчас это уже более чем сомнительно. Сомнительно также, сохранился ли материал в шестом шкафу. И сомнительно, наконец, совпа-

дет ли моя концепция о Ксантиппе с конценцией привлеченного к этой работе нового специалиста. Поэтому,— с горечью заключил он,— весьма вероятно, что пройдет еще несколько столетий, прежде чем Ксантиппа будет спасена.

Не дожидаясь ответа Зеппа, он продолжал:

— Когда вы вернетесь в Германию, вы, быть может, встретите там моего племянника, некоего Гюнтера Рингсейса, причинившего мне, как вам известно, немало неприятностей; так вот, если вы его встретите, прошу вас, позаботьтесь о нем. Это субъект не из приятных, и я понимаю, что, вернувшись, вы все захотите карать. Одиссей, вернувшись, не пощадил женихов. И все же, если вы его встретите, знайте, что я не помню причиненного мне зла.

Он пристально и беспомощно посмотрел на Зеппа бледными выпуклыми глазами, его крупная голова с изможденным старческим лицом, обрамленным запущенной шкиперской бородкой, покоилась на довольно грязной подушке.

— Вам, вероятно, кажется, что я сегодня чересчур нервно настроен? — сказал он, с трудом улыбаясь виноватой улыбкой. — Вы правы, сын мой. Жизнь показала, что я недостаточно проникся учением, которое всегда проповедовал вам. Мне бы следовало научиться ждать, и не пристало мне жалеть, что Ксантиппе придется ждать еще несколько веков. А я жалею. К несчастью, я наделен беспокойным темпераментом. Да, я виноват, нервы совсем сдали.

Он и в самом деле был полон глубокой тревоги. Несколько раз переспрашивал, хорошо ли Зепп усвоил, где хранится материал о Ксантиппе, и Зеппу пришлось описывать местоположение шестого шкафа. Он обещал старику все, что тот просил, и, как полагается в таких случаях, убежденным тоном возражал против всех его опасений. Разумеется, твердо говорил он, Рингсейс и статью свою напишет, и в Германию вернется, и сам достанет свою рукопись из шестого шкафа, и о племяннике позаботится. Но слова утешения не утешали больного, и Зепп ушел с тяжелым сердцем.

Стало быть, и этот спокойный старик, чье терпение

доходило до смешного, и он также не мог дожидаться. Учение об ожидании — такая чепуха, не стоит жить, если жизнь надо провести в ожидании.

Если уж у старика Рингсейса «сдали нервы», нужно ли тогда удивляться нетерпению, терзающему Зеппа. Поставленный им себе срок издевается над ним. Проклятые нацисты будут оттягивать арбитраж до второго пришествия. Никогда не напишет он своей симфонии «Зал ожидания». Ты словно стремишься добраться до черты, где море сливается с небом, но, чем дальше идешь, тем дальше отодвигается горизонт; так, вовек недостижимый, уплывает он в беспредельность. Пусть бы дело Бенямина кончилось наконец так или иначе.

Все чаще, все ожесточеннее произносил он мысленно это ужасное «так или иначе», и, сколько он ни упрекал себя, ничего не помогало. Желание, чтобы дело Бенямина так или иначе разрешилось, овладело им целиком.

Когда Ганс узнал в консульстве, что ему разрешен въезд в Советский Союз и что в ближайшие недели можно ехать, радость его была велика, но не так велика, как он себе представлял. Слишком часто он переживал эту минуту в своем воображении. Поднимаясь по узкой, извилистой улице Гренель, на которой помещалось консульство, он не столько радовался новой жизни, сколько беспокоился о том, чтобы чисто и честно завершить старую.

Вот, например, отношения с Жерменой, она же мадам Шэ. И даже этого он не знал твердо, кто она для него теперь — Жермена или, как прежде, мадам Шэ. Ему давно следовало бы извиниться перед ней за сорванную им встречу в «Африканском охотнике» и подробно объяснить, почему он тогда сбежал. Это его долг перед ней и перед самим собой. Но он все не знал, как начать этот разговор. Завидев его, Жермена улыбалась, и эта улыбка была такая добродушная, покровительственная, лукавая, что у него язык отнимался. Уж лучше бы она отругала его как следует. А то его

отношения с ней носят какой-то неприятно неопределенный характер; нельзя уехать, не поставив все точки над «и». Было бы трусостью по-прежнему уваливать, по-прежнему оттягивать объяснение с Жерменой.

На следующий день, увидев ее, он взял разбег и, как можно непринужденнее, начал:

— Послушайте, Жермена, я хотел бы поговорить с вами. Не возражаете?

Мадам Шэ, собиравшаяся приняться за уборку, быстро повернулась к нему. Он невольно покраснел, что очень шло к его золотисто-смуглому широкому лицу с нежным пушком на щеках и на верхней губе. Мадам Шэ открыто посмотрела на него, медленно, зазорно улыбнулась и так же медленно застегнула пуговицу на глубоко вырезанной блузке.

— Ах, так вам, значит, заблагорассудилось наконец заговорить со мной? — Она провела языком по губам, от уголка до уголка. — Нескладный вы народ, немцы, — она снова улыбнулась, — но настойчивый. Так что же вы хотели мне сказать?

Ганс искал, с чего бы начать, он стоял перед ней юный, свежий, красный до ушей. Она в упор смотрела на него, не переставая улыбаться. Наконец спросила напрямик:

— Почему ты не пришел тогда, глупый?

— Я пришел, — ответил он и сбивчиво, горячо стал объяснять, почему он убежал. Он понял, что не любит ее так, как она того заслуживает, а для простого удовольствия... это он считает обидным для нее, он ее слишком уважает.

Она слушает, насмешливо глядя на него. Все, что он тут наплел, конечно, чепуха, но он очень милый сейчас, ей нравится, что он так горячо ей объясняет свой поступок, и вполне возможно, что сам-то он верит вздору, который несет. У кого есть деньги и нет настоящих забот, тот не прочь затруднить себе жизнь заботами надуманными. Но ужасно досадно будет, если они с Гансом так ни с чем и разойдутся, и только оттого, что у парня ум за разум заходит. А у нее ум за разум не заходит, Ганс ей нравится, и ей очень хочется убедить его, что им нужно любить друг друга.

— Что это значит — «для простого удовольствия» и «я вас слишком уважаю»? — цитирует она его слова. — Я не так себя уважаю, чтобы отказаться от простого удовольствия. Зачем отказываться от удовольствия?

Он чувствует приятный аромат ее очень белой кожи, он любит рыжеватую-золотистую копную ее волос, он жалеет, что она застегнула блузку. Мысли у него разбегаются.

— Не знаю... — говорит он нерешительно, забывает кончить фразу и только смотрит на Жермену.

— Я вижу, что не знаешь, — говорит она. — Да что ты все выкаешь, говори мне по крайней мере «ты».

В ушах у него еще звучит ее вопрос: «Зачем отказываться от удовольствия?» Звучит убедительно, но он хорошо знает, что можно многое возразить против этого. Нельзя без любви обниматься, нельзя растрачивать себя, как Антоний; но эти мысли и другие в таком же роде, владевшие им в кафе «Африканский охотник», — все это абстракция, а теплая Жермена, живая Жермена — в двух шагах от него, он видит ее, обоняет, она здесь, совсем близко, до ужаса близко.

— Ты невозможно глупый, — говорит она. — И как только такой милый мальчик может быть таким глупеньким? — Она подходит к нему вплотную. — А знаешь, мне надоела твоя глупость, — заявляет она, и голос ее звучит сердито, а лицо смеется. И раньше чем он успевает решить, в самом ли деле она рассердилась, она уже в его объятиях, и кто начал — он или она? Он чувствует ее губы, ее язык, и они целуются так, что он слепнет и глохнет, и, значит, он ни на йоту не продвинулся вперед и его бегство из «Африканского охотника» было ни к чему.

Она выпустила его из объятий, и он стоит перед ней, тяжело дыша. Она смотрит на него все с той же проклятой насмешливой улыбкой.

— Я скажу тебе, почему ты тогда от меня убежал, — властно говорит она. — Ты гордец, ты вообразил, что ты слишком хорош для меня. Будь ты рабочий, шофер, вообще наш брат, все было бы просто, ты бы тогда ждал меня как миленький.

— Ты несправедлива ко мне, Жермена,— говорит он, искренне обиженный. Ведь все как раз наоборот: он примкнул к пролетариату, стал пролетарием, и если у кого нет пролетарского сознания, так это у нее.

— Почему это я несправедлива к тебе? — переспрашивает она.— Ты хозяин, а я прислуга. На этот счет спорить не приходится, не правда ли?

— Еще как приходится,— разгорячился он.— Я-то ведь то же, что и ты, я имею в виду — в политическом смысле.

— В политическом смысле? — издевается она.— Я плюю на политику,— заявляет Жермена.— Как прошлогодний снег интересует меня твоя политика,— решительно повторяет она, возмущенная таким безмерным неразумием.— Ты меня интересуешь, ты, дурень ты этакий.

Но он, видно, все еще ничего не понимает, и поэтому она в простых житейских словах излагает ему свое мировоззрение. Богатые — богаты, тут ничего не поделаешь, бедняку же надо подумать, как ему быть. Бунтовать — смысла нет, погубишь и ту малость хорошего, что может тебе дать жизнь. Пирог испечен, и ты его не сделаешь ни лучше, ни хуже, надо лишь не упустить своего куска.

— Разве я не права? — говорит она в заключение.

Ганс считает, что она не только не права, а наоборот, она легкомысленна, делает скороспелые выводы, и он собирается осторожно объяснить ей, в чем суть дела. Но она тотчас же его перебивает и рассказывает об одном коммунисте, которого она любила. Но из этого ничего не вышло; у него для нее никогда не было времени, а если выдавался свободный часок, он замучивал ее своими теориями. Его отовсюду выгоняли, хотя он был отличным рабочим, гнали его за коммунизм, а напоследок посадили даже под замок.

— Вот тебе и все, и пусть это послужит тебе уроком,— наставительно сказала она.

От такого ползучего оппортунизма у него пропала охота объясняться — гиблое дело. Ганс протрезвел. Волосы Жермены утратили свой рыжевато-золотистый блеск, тело уже не пленяло его своей необычайной

близкой, он вдруг увидел, что мать была права: Жермена действительно неряха, блузка у нее вся в пятнах.

Но дело сейчас не в привлекательности Жермены и не в ее политических убеждениях. Вопрос в том, выполнил ли он поставленную перед собой задачу, выяснил ли свои отношения с Жерменой.

— Но вы хоть поняли наконец, почему я тогда в «Африканском охотнике» не дождался вас? — настойчиво спросил он.

— Нет, не поняла, дурень ты, — ответила она и, посмотрев на него долгим взглядом, не то с насмешкой, не то с сожалением — он так и не определил, — принялась за уборку.

Если уж Гансу не вполне удалось добиться ясности в вопросе с Жерменой, то надо хотя бы по возможности лучше устроить отца перед своим отъездом. Материальных затруднений они сейчас не испытывали; после концерта на улице Ферм перспективы улучшились настолько, что, пожалуй, год-другой Зепп не будет знать пужды. Но отец непрактичен, как малое дитя, и крайне инертен; если его не подтолкнуть, он так и будет жить в неудобной, отвратительной берлоге. До отъезда в Москву необходимо вытащить его из дрянной гостиницы «Аранхуэс».

Не откладывая, принялся он искать для отца квартиру и все дни напролет носился по городу Парижу. Задача нелегкая: вкусы у него и у Зеппа такие же разные, как и потребности. Но в конце концов он нашел на набережной Вольтера две большие, по-старинному обставленные уютные комнаты с чудесным видом на реку. Квартирка такая, что, будь Зепп в несколько лучшем настроении, она могла бы напоминать ему Мюнхен. Ганс попросил хозяина квартиры условно оставить комнаты за ним, но тот высокомерно заявил, что их у него с руками оторвут, и не согласился ждать.

Гансу не хотелось упустить эту квартиру, и он решил сегодня же поговорить с Зеппом, а заодно и сказать ему, что недели через две-три он уезжает. Приятным этот разговор, конечно, не будет.

Он направился к станции метро, шел не глядя, думая о предстоящем разговоре с отцом. У самого входа он остановился как вкопанный. В нескольких шагах от него стояли юноша и девушка и по-парижски, совершенно не стесняясь, прощались друг с другом. Они долго целовались, словно были здесь одни, затем девушка взяла юношу за плечи, еще раз заглянула ему в глаза, и они опять принялись целоваться; наконец разошлись. Такого рода интимные сцены на людях всегда были противны Гансу, но он привык к ним. Однако прощание этой парочки его взволновало, и не без основания: юношу он хорошо знал. Это был его старый школьный товарищ, а позднее — противник, выступавший против него в Союзе молодежи, Игнац Хаузедек. Девушку он знал еще лучше. Ее звали Жермена, вернее, мадам Шэ.

Ганса эта картина — Хаузедек и Жермена, милующиеся на людях, — прямо-таки потрясла. Он знал, что Жермена легкомысленна, но ему было досадно, что она избрала именно Игнаца Хаузедека, хвастуна и пустозвона. «Моя Жермена», — произнес он мысленно. Что это, ревность? Значит, то, что он чувствовал к Жермене, было все же любовью? Одно несомненно: его больно задело, что он застал ее с другим.

Он стиснул зубы, когда представил себе, чего только Хаузедек не наговорил о нем Жермене. Но его ведь несколько не интересует их мнение, ему наплевать, что они о нем думают. Нет, ему совсем не наплевать. Наоборот, стоит ему представить себе, как они, сидя или, может быть, лежа вдвоем, смеются над ним, и его всего переворачивает.

Он с трудом успокоился. Теперь по крайней мере между ним и Жерменой все кончено безвозвратно и незачем больше ломать себе голову над этой проблемой. Хорошо, что Ганс Траутвейн не связался с женщиной, способной путаться с таким субъектом, как Игнац Хаузедек.

В этот вечер Зепп был снова очень молчалив и рассеян. Ганс нетерпеливо ждал подходящей минуты, чтобы сообщить отцу неприятную новость о предстоя-

щем отъезде, но ужин прошел, Ганс уже и посуду помыл, а Зепп все еще ничего не сказал такого, за что Ганс мог бы зацепиться. Он сидел в своем клеенчатом кресле, опять уж изрядно продавленном, и так ушел в свои думы, что у Ганса не хватало духу огорчить отца грустной для него новостью.

Зепп думал о старике Рингсейсе. Говорили, что дни его сочтены, и мысль Зеппа упорно возвращалась к тому, что у старика перед самым концом все-таки «сдали нервы». Он вспоминал, что Рингсейс часто бывал педантичен и по-профессорски рассеян, но бывал он и мудрым, ясным, а порой все-таки смешным. Он думал о прямоте этого человека, о его честности, его большой доброте, об истинной гуманности, которую он излучал. И вдруг Зепп понял, что мысленно пишет некролог.

Как же глубоко отравила его журналистика: думая об угасающем друге, он не мог не видеть мысленно полосы «ПП» с напечатанным некрологом. Как же крепко завладела им профессия, которую он сам себе навязал, — близкий человек и тот становился материалом для ротационной машины. Зепп вскочил, стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Кончено. Надоело. До тошноты. J'en ai marre, — и повторил: — J'en ai marre¹.

— В таких случаях лучше было бы ça m'emmerde², — добродушно поправил его Ганс; он знал по опыту, что на отца как-то успокоительно действует, когда он исправляет его французский язык.

— Ну, ладно, — несколько тише продолжал Зепп. — Надоело мне, по горло сыт, до тошноты. Ça m'emmerde или как там тебе угодно.

Ганс решил, что нужно брать быка за рога, ибо, если он сию минуту не заговорит, он уж никогда не сможет это сделать. И, набравшись храбрости, объявил:

— К слову сказать, отец, тебе скоро придется подыскать себе нового учителя французского языка. Не

¹ Осточертело мне это (франц.).

² Мне это наскучило (франц.).

позже как через месяц, возможно, что и раньше, я скажу тебе — прощай.

Зепп знал, что эта минута когда-нибудь наступит, и все-таки сердце у него сжалось. Не позже как через месяц. Именно теперь, когда выяснилось, что мальчуган — единственный человек, с которым можно поговорить, он собирается уезжать. С Эрной все кончено, с Чернигом тоже ничего путного не выходит. Кто остается? Да. Изрядно одинок он в прекрасном городе Париже.

И вдруг его ошеломила мысль — вина и возмездие. То, что мальчуган уезжает, — это наказание за «так или иначе», наказание за то, что он отступил перед трудностями, что он внутренне дезертировал.

— Да, да, так ты, значит, уезжаешь, — медленно говорит он с сильным мюнхенским акцентом.

Ганс словно не слышит слов отца, ему не хочется допустить сентиментальности в их разговоре, он рассказывает о двух комнатах на набережной Вольтера. Комнаты не дешевые, пятьсот франков в месяц, но теперь ведь они с отцом хорошо зарабатывают. Набережная, красивый район, из окон чудесный вид на реку, Зепп, бесспорно, будет себя там хорошо чувствовать. Ни за что на свете не оставит он Зеппа в «Аранхуэсе». Ганс воодушевляется, расписывает преимущества новой квартиры, старается отвлечь мысли отца от предстоящей разлуки. Но это ему не очень удастся. Зепп слушает его в пол-уха.

— Очень мило с твоей стороны, что ты присмотрел для меня квартиру, — говорит он рассеянно. — При случае заеду, погляжу.

Но Ганс не отстает.

— Никаких «при случае». Завтра же поезжай и посмотри, Зепп, иначе комнаты уплывут.

Зепп, занятый своими мыслями, отвечает, что не такой это важный вопрос, он здесь в «Аранхуэсе» уже притерпелся, не на набережной Вольтера, так где-нибудь еще найдется квартира. Но Ганс все же продолжал настаивать, и отец резко крикнул фальцетом:

— Я и не подумаю принимать сейчас решение. Не желаю.

Боль и гнев, вызванные предстоящей разлукой с сыном, сделали его несговорчивым, это был прежний Зепп.

— Будь благоразумен, отец,— ласково сказал Ганс, и Зепп, на которого звук голоса часто действовал сильнее слов, произнесенных этим голосом, тотчас же сдержался; те же слова и тем же тоном говорила в подобных случаях Анна.

— Ну, ладно,— уступил он,— сними, если тебе так хочется, только меня оставь в покое. Я не поеду смотреть эти комнаты.

Про себя он, однако, думает: снять комнаты, чтобы сделать одолжение мальчугану, можно, однако это совсем не значит, что он туда переседет.

Найдя такой выход, Зепп обрадовался. Но на одно мгновение. В следующее мгновение он почувствовал почти физическую боль, он представил себе, как, проводив мальчугана, будет сидеть здесь, в гостинице «Аранхуэс», один, в черном отчаянии ожидая, когда же наконец разрешится злосчастное, проклятое дело Бенъямина. Ах, оно никогда не разрешится. Он, Зепп, будет сидеть здесь и тосковать по своей музыке, он будет тащить свою треклятую тачку по дороге, которой нет конца, как бывало на фронте, и человек опускается, тупеет, а конца все не видно, и пешим ходом — не самолетом, ты идешь и идешь к горизонту, а он тебя обманывает, и, чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается, и небо, приникшее к морю, уплывает и уплывает. И ты мрачнееешь от вечного ожидания; некогда ты обладал юмором и был добродушен, а теперь становишься нытиком и брюзгой, ни в ком не видишь ничего хорошего, никто тебе не друг, и ты никому не друг, все тебя раздражает, Петер Дюлькен, и Оскар Черниг, и Эрн Редлих, к черту их всех вместе, а Ганс уезжает, и ты остаешься, один, один.

Мальчугана ни в чем винить нельзя. Остаться ему, что ли, и превратиться в то, во что превратился он, Зепп? Мальчуган вел себя в высшей степени порядочно, он уже несколько месяцев назад предупредил о своем отъезде, и у него, Зеппа, было достаточно времени привыкнуть к этой мысли.

Нет никакого смысла отравлять себе последние дни горестными слезливыми размышлениями.

— Чему быть, того не миновать,— говорит он и прибавляет, пытаясь шутливо поддеть Ганса: — Тебя ведь все равно не переделаешь.

Ответить на эти грустные, полные покорности слова не так просто. Ганс, пожалуй, предпочел бы, чтобы отец шумел и ругался.

— Да,— говорит он и тоже пытается пошутить: — К сожалению, ни меня, ни тебя не переделаешь.

Зеппу крайне не понравился этот тон. Он не хотел ссориться, но смутно чувствовал, что ему, быть может, было бы легче, если бы он еще разок четко, ясно сказал Гансу свое мнение о его несносной Москве.

— Нас, пожалуй, можно было бы переделать,— начал он пока еще, с его точки зрения, мирно, но на самом деле достаточно вызывающе.— Для этого одному из нас следовало бы иметь голову на плечах.

Ганс, разумеется, соответствующим образом ответил, и хотя оба решили проявить большую терпимость, но уже через две минуты между ними разгорелся жаркий спор.

— Что такое этот ваш социализм? — визжал Зепп.— Это же карикатура на социализм. На кой черт мне социализм, в котором нет гуманности? Как бесспорно, что быть человеческим — это социализм отдельной личности, так же бесспорно, что социализм — это гуманность всего общества. А социализм, который пренебрегает благом отдельной личности, социализм, который то и дело пренебрегает отдельной личностью, который не является стопроцентным гуманизмом,— такой социализм мне и даром не нужен.

А Ганс был твердо убежден, что с подобными прекрасноречивыми теориями бороться против лютого и насквозь бесчеловечного врага нельзя. Он ответил:

— Тот, кто всерьез борется за осуществление принципа «не убий», вправе не разрешать кому бы то ни было проповедовать принцип «убий». И больше того, если необходимо, он должен быть готов убить того, кто осуществляет принцип «убий». Церковь была права, когда огнем и мечом насаждала принципы нагорной

проповеди. Однажды я сказал тебе и сейчас повторяю: привить гуманность человеческому роду можно только пушками.— Ганс говорил раздраженнее, чем ему бы хотелось.

И Зепп отвечал воинственнее, чем собирался. Ему не нужна, сказал он, победа социализма, если она не завоевана абсолютно демократическими средствами. И когда Ганс, отстаивая свои позиции, сказал, что средствами формальной демократии никогда не одолеть нацистов с их варварством, Зепп, запальчиво визжа, швырнул сыну:

— Не цель оправдывает средства, а средства позорят цель.

Но как ни бурно возражал Зепп, Ганс с радостью увидел, что за фасадом патетических фраз скрывается неуверенность. Зепп и сам чувствовал, что не всем сердцем верит в то, что так страстно отстаивает. Иногда ему казалось, что доводы Ганса подслушаны у него, Зеппа, в его сокровенных мыслях.

Чем больше они спорили, тем Ганс становился спокойнее, а Зепп, наоборот, все воинственнее, грубее. Но Ганс не обижался на отца. Он понимал, что в Зеппе говорит его мюнхенский горячий задор, который давно уже не на чем было проявить. Ганс с удовольствием отметил: жив еще старый Зепп.

После столь основательного объяснения обоим дышалось легче. Когда укладывались спать, и сын и отец были полны глубокого презрения к политическим теориям и глубокой симпатии к человеческой сущности друг друга.

Глава 13

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОГО ДЕЛА

«Парижская почта для немцев» преуспевала. Ее десятью внушительными полосами могла бы гордиться любая газета. Для нее писали лучшие немецкие писатели; даже Жак Тьюверлен прислал изысканную злую статью о нацистах.

Но читатель, отдавший киоскеру за экземпляр «ПП»

медную монетку в пятьдесят сантимов, и не подозревал, сколько пота, сколько невероятных усилий стоило наполнить эти десять страниц содержательным материалом: редакторам приходилось непрерывно воевать, непрерывно отражать нападки, которыми их преследовали взбешенный Гингольд и его пройдоха адвокат. Как и предсказывал Царнке, на газету сыпался град судебных решений, исков, конфискаций. За судебными курьерами не закрывалась дверь.

Вечной проблемой была финансовая сторона дела. Фонды, созданные усилиями юрисконсульта Царнке и Петера Дюлькена, были исчерпаны, приходилось изодня в день правдами и неправдами сколачивать небольшие суммы, чтобы кое-как продержаться. На долю каждого редактора выпадало не только больше работы, чем раньше, но и все они вынуждены были идти на более скудное вознаграждение. Чтобы не возроптать на столь суровую действительность, приходилось все время твердить себе, что они мужественно и благородно делают нужное дело. Борьба за существование газеты требовала много энергии, изворотливости и оптимизма.

Старый Гейльбрун не обманул возложенных на него надежд. С большим организаторским талантом он совмещал опыт долголетней журналистской деятельности. По-прежнему представительный, Гейльбрун вел гордые, уверенные речи. Но от сколько-нибудь внимательного взгляда не могло ускользнуть, что душевные силы этого человека подорваны. При встрече с Зеппом Гейльбрун отводил глаза, в них появлялось выражение робости и подавленности. Случалось, что он и в присутствии других вдруг сдавал. В такие минуты вряд ли кто узнал бы в этом старом опустошенном человеке гордого господина с портрета работы художника Макса Либермана.

Вдобавок ко всему оказалось, что «Парижские новости» вовсе не капитулировали, как можно было надеяться. Больше того, Гингольд и его Герман Фиш придумали маневр, выручавший их и в дальнейшем. Они приглашали видных английских, американских, французских журналистов писать для «ПН». Журналисты эти ничего не знали о взаимоотношениях внутри

немецкой эмиграции и не видели основания отказываться от сотрудничества в «Парижских новостях», тем более что Гингольд хоть и скрепя сердце, но предлагал жирные гонорары. Круг читателей в эмиграции вообще был ограничен, а обостренная конкуренция двух газет снижала тираж обеих.

Редакторы «Парижской почты» продолжали, стиснув зубы, работать, гневно, ожесточенно. Они неустанно повторяли себе: мы должны продержаться, и мы продержимся. Но мало-помалу их уверенность превращалась в маску, за которой таились сомнения и серое отчаяние.

И неожиданно в один прекрасный сентябрьский день официальное немецкое телеграфное агентство оповестило о том, что германское правительство передает швейцарским властям журналиста Фридриха Бенямина.

В редакции «ПП» все вдруг почувствовали, что их самоотверженная работа не пропала даром. Никто понастоящему не верил в победу, а она пришла, и так неожиданно, что всех выбила из колеи и окрылила. Даже Гейльбрун преобразился, это уже не был старик — в кресле главного редактора сидел представительный мужчина в расцвете сил, оживший портрет художника Либермана.

Зепп Траутвейн, узнав о событии, некоторое время сидел как пригвожденный.

— Свободен, он свободен, — произнес он, ни к кому не обращаясь. — Свободен, свободен, — повторял он снова и снова. И вдруг просиял, улыбка озарила все его костлявое лицо, глаза под густыми поседевшими бровями заблестели, он был почти красив. Он бегал по редакции, он прищелкивал языком, угловатым дурацким движением потряс одного коллегу за плечи, другим говорил:

— Свободен, свободен.

Он обнял Эрну Редлих, он крепко стиснул длинного тощего Петера Дюлькена, который сам совершенно обезумел от радости, и сказал явную чепуху:

— А, что, Пит, кто был прав? Не говорил я, что так будет?

Зепп забыл, что он в обпде на Гейльбруна, он отчаянно тряс ему руку и спрашивал в восторге:

— Ну, что вы теперь скажете? И почему вы не называете меня Зепп, идиот вы эдакий?

Он пел: «Слабый — умирает, сильный — сражается», — и повторял снова и снова: «Свободен, свободен». Он словно опьянел.

Пит и Гейльбрун не давали ему покоя.

— Вы должны немедленно написать приветственную статью к приезду Фридриха Бенямина, это ваш праздник, ваша победа. — Но он отказывался.

— Нет уж, увольте, пишите вы, — отвечал он, — сегодня я писать не могу, я пьян.

— Да ведь все мы пьяны, — смеясь, сказал Петер Дюлькен и откинул со лба прядь каштановых волос.

— Свободен, свободен, — повторил Зепп и выбежал из редакции.

Счастливым, сияющим, он шел как во сне по улицам города Парижа в этот мягкий сентябрьский день. Присел за столик на террасе какого-то кафе. Приятно было сидеть среди множества оживленных деловых людей. Хотели они этого или не хотели, но они служили радостным фоном для его ликующего настроения. Он выпил кружку пива, потом вторую, третью и купил газету, потом вторую, третью, и во всех газетах было напечатано, что правительство Германии передало швейцарским властям журналиста Фридриха Бенямина. Зепп Траутвейн умел наслаждаться хорошим, в жизни у него паряду с тяжелым было немало и хорошего, но никогда, никогда не был он так счастлив, как сегодня. И если бы вся его жизнь была сплошь серой и постылой и только один этот час подарила бы ему судьба, один этот час на террасе парижского кафе, с ворохом газет и с радостной вестью, с тремя кружками пива и с огромным, распирающим грудь чувством — свободен, свободен, — он считал бы себя счастливым человеком.

Его твердая вера не обманула его. Справедливость, разум — не пустые слова, они, справедливость и

разум, действительно существуют на земле, и старый Рингсейс прав: надо только уметь ждать. Но Анна поставила точку, бедная Анна, ах, почему он не научил ее ждать и не терять надежды. Хорошо, что он хотя бы старику Рингсейсу может рассказать, что Фридрих Беньямин свободен.

А пока он сообщил новость кельнеру.

— Он свободен,— сказал кельнеру Зепп.— Вы читали, уважаемый? Он свободен, и я всегда знал, что так оно и будет.

Кельнер с удивлением посмотрел на него, и Зепп щедро дал ему на чай.

Потом он опять носился по улицам под ласковым сентябрьским солнцем, и, хотя он выпил всего три кружки пива, он чувствовал себя, как в ту ночь, когда возвращался домой по пустынным улицам и площадям города Парижа после первого дружеского разговора с Эрной Редлих. Он оказался прав, и в остальном он будет прав.

— Желанный день придет,— взвизгивал он, говоря сам с собой, как тогда. Он, Зепп, пройдет по набережным Изара, увидит башни Фрауэнкирхе, будет есть мюнхенские сосиски и запивать их мартовским пивом, хлопнет Рихарда Штрауса по плечу. «Ну вот, соседка,— скажет он.— Могли бы вы поступить и умнее».

А если Риман смущенно ухмыльнется, увидев Зеппа, Зепп попросту ухмыльнется ему в ответ и благородно промолчит. День избавления. Да, он придет, мы получили еще одно подтверждение тому, а по-простецки говоря, трещать, господин Гитлер, далеко еще не значит с... Хотя нам и немало досталось, но мы не напрасно прошли через все невзгоды, и теперь мы это увидим. А главное, мы увидим, что «Зал ожидания» ждал не напрасно.

Только сейчас, и так ослепительно ярко, что он испугался, до сознания его дошло, что для него значит освобождение Фридриха Беньямина. Вместе со свободой Беньямина он завоевал и собственную свободу. Он может вернуться к своей музыке. И насколько же другим он возвращается к ней — более зрелым, более

мудрым и все же еще молодым. Он не выдохся, вино его выстоялось, и теперь оно гораздо крепче, да и сосуд хорош. Чего только не познал и не постиг он, Зепп, за эти два года.

Однажды, взрослым человеком, он пришел в Вильгельмскую гимназию, в класс, где сидел десятилетним мальчонкой. В классе стояли те же парты, но, боже, какими маленькими, какими крохотными они показались ему. И теми же глазами, которыми тогдашний взрослый Зепп смотрел на эти парты и на маленького Зеппа, когда-то сидевшего на них, нынешний Зепп смотрел на доэмиграционного Зеппа с его надеждами, его страхами, его планами.

Он стоял на набережной, повернувшись лицом к воде, он стеснялся показывать людям радость и огромный свет, которые, несомненно, излучало сейчас его лицо, ибо тот, кто увидел бы его в эту минуту, непременно почувствовал бы зависть. Он смотрел на реку Сену, на течение ее свежих, ласковых зеленых вод, и если бы даже это была река Изар, счастливее он бы не мог быть. Он вернется к своей музыке. Он может с чистой совестью творить, ему не нужно больше ломать себе голову над делами других людей. Он свое сделал.

Свободен, свободен. Он чувствовал, почти физически, как с него спадает тяжесть, как плечам, груди, всему телу становится легче. Призрак Фрицхена рассыпался, замерла тихая нездешняя музыка, всегда сопровождавшая его и слышная только Зеппу. Он свободен, свободен. Зепп глубоко вздохнул, потянулся, выдохнул отравленный воздух и вдохнул новый, чистый, свежий.

Глава 14

ОН РЕШИЛ СТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫМ НЕГОДЕЕМ

— Если вы не возражаете, Коринна, тогда пойдемте, — сказал Шпицци.

Они ужинали в саду загородного ресторана. Было приятно сидеть здесь и под звуки не требующей внимания музыки лениво болтать о том о сем.

Мадам Дидье, удивленная столь внезапным, можно сказать, невежливым предложением Шпицци, в свою очередь спросила:

— Почему вы уже хотите ехать?

— Только потому, что становится прохладно, а у нас открытая машина,— отлично понимая неубедительность своего ответа, сказал Шпицци.— Но главным образом,— он сделал над собой усилие,— меня привлекает перспектива побыть с вами дома.— И он взглянул на нее галантно и дерзко.

Они вышли. Весь вечер Шпицци был рассеян, таким же оставался и на обратном пути.

«Уж эти мне берлинские слюнтяи,— думал он.— Даже с несчастным Фрицхеном не могли справиться. Ни на грош не разбираются они в психологии, они до сих пор понятия не имеют, что такое демократия. Иначе они давно поставили бы мир перед *fait accompli*. Надо будет при случае как следует разъяснить все Медведю. Но к чему? Со мной покончено, я вышел из игры».

На узкой оживленной улице образовалась пробка, Шпицци пришлось остановить машину и ждать, пока пробка рассосется.

— Вы сегодня очень молчаливы, друг мой,— недовольно сказала мадам Дидье.

«Не повезло мне с ним,— думала она.— Надо было прислушаться к внутреннему голосу, к моему повелителю. В первое время Шпицци был таким бодрым, живым, влюбленным, а с тех пор как я себя и его довела до финиша, он никогда не отдает себя полностью».

«Что со мной сегодня, в самом деле,— думал Шпицци.— Опыт, тренировка и те мне изменяют, даже женщины видят, что я чем-то поглощен. Чего доброго, Коринна выскользнет у меня из рук, и как раз теперь, когда я больше, чем когда-либо, нуждаюсь в маломальски содержательной женщине». Он овладел собой и пожал ей руку.

— Быстренько скажи, о чем я сейчас думаю? — попросил он.

Она устремила взгляд в пространство, стараясь сосредоточиться.

— Не получается,— объявила она,— я недостаточно

чувствую тебя — ты чем-то отвлечен. — Но все же она опять сосредоточилась. — Ты думаешь о какой-то реке, — продолжала она, точно бредя оцупью. — На набережных большие светло-серые здания, это, возможно, Лондон. Однако если верно, что Лондон, то это скорее угадано, чем ясно прочитано.

Шпицци с некоторым злорадством улыбнулся и сказал:

— Нет, неверно.

Наконец можно было двинуться дальше. «Моя тогдашняя «заслуга» не потребовала от меня серьезных усилий. Было немножко неаппетитно, но нисколько не трудно, и все быстро кончилось. А потом, все эти годы, я мог спокойно, ни о чем не тревожась, почивать на лаврах, и все шло прекрасно. Больше того, пока я предоставлял события их собственному течению, все я был в порядке, а с тех пор, как стал что-то придумывать, с тех пор, как действительно стараюсь быть полезным, все идет вкривь и вкось. За мою лучшую, «коронную» идею — перемирие в печати — мне не только спасибо не сказали, но чуть со света не сжили. А потом, когда эта «нацистская богоматерь» вдруг пресытилась нашим Визенером и стала демонстративно высказывать симпатии Зеппу Траутвейну, ветер как будто опять подул в мою сторону. Но свежий бриз продержался недолго. Идиоты. Надо же было им выпустить Бенямина. Под шквалом таких идиотств никакое везение, никакие способности не устоят».

В Лондоне, проводя в жизнь свою идею перемирия в печати, он терпел неудачу за неудачей. Партия поставила его в ужасное положение, она его дезавуировала, все, чего он добивался, срывала подчеркнутым саботажем. А между тем он знал, что Гейдебрег отлично видел преимущества его проекта. Не подлость ли, что свое пристрастие к Визенеру Гейдебрег ставил выше интересов империи и партии? Не подлость ли, что Гейдебрег не желал замечать, насколько измена мадам де Шасефьер скомпрометировала его фаворита? Но насколько скандальный исход дела Бенямина скомпрометировал Шпицци, Гейдебрег очень даже заметит и отметит.

Что же, таковы дела, и тут ничего не изменишь, хоть лопни от злости. А что, если взять да полететь в Лондон и, наперекор партии, используя личные связи, оживить дело с перемирием в печати? Зачем ему оглядываться на Бегемота и на улицу Пантьевр, ведь после истории с Беньямином ему все равно терять нечего. Его положение настолько скверно, что хуже стать не может. «У медали всегда две стороны, — думал Шпицци. — Нет худа без добра. Как ни глупо кончилось дело Беньямина, но даже в этом банкротстве есть свое преимущество. До сих пор, что бы я ни делал, я всегда боялся кого-нибудь задеть или кому-нибудь не потрафить, а сейчас я от этого тормоза избавился. Мне больше незачем оглядываться на Бегемота. Если уж взлететь на воздух, так с шумом и треском. Так я и сделаю. Разрешу себе такое удовольствие. Полечу в Лондон».

Придя к такому решению, Шпицци повеселел. Дерзко и любезно сказал он недовольной мадам Дидье:

— Хочу вам признаться, Коринна, почему я сегодня так несъедобен. Угадали вы мои мысли или прочли их, но, по сути дела, вы были правы: я действительно еду в Лондон. Впрочем, только на несколько дней. И знаете, я не думал, что я еще так молод, — мне трудно расстаться с вами даже на несколько дней.

Коринна, не поверив ни слову, искоса посмотрела на него. Шпицци уже снова обрел свое обычное легкомыслие и самоуверенность. Он как следует взялся за дело, сомнения ее рассеялись, она была горда, что угадала насчет Лондона, и с радостью узнавала своего прежнего Шпицци.

Визенера так ошеломила весть об освобождении Фридриха Беньямина, что на минуту-другую лицо у него прямо-таки поглупело. Он никогда не думал, что дело это может так позорно кончиться. Во имя чего, скажите на милость, национал-социалисты открыто признают себя приверженцами варварства, если не отваживаются даже перед маленькой Швейцарией показать свою независимость?

Он вспомнил, как он света божьего невзвидел от бешенства, услышав по радио музыку Зеппа Траутвейна. «Ползал бы Вальтер на брюхе...» Специально для него Леа и этот музыкантиншка выбрали эту песенку, специально для него добились исполнения ее по радио. Это был вызов, вызов именно ему, ему одному, перед таким вызовом бледнело даже оскорбление, написанное Жаком Тюверленом.

А как он, Визенер, потешался над этим убогим профессором музыки. Не довольствуется, мол, своим шестком, своей музыкой, издевался он. Пишет статьи, этот скоморох, этот Дон-Кихот. Заболел навязчивой идеей выпцарапать из тюрьмы Фрицхена. Он, одиночка, изгнанный профессор музыки, хочет взять верх над семидесятимиллионным пародом с его самолетами, с его танками, с его фюрером. «Ползал бы Вальтер на брюхе», — хвастливо поет он. Грошовое утешение. Все те, кто ничего не достигли, утешаются на такой манер. Когда пасуешь в реальной жизни, где от тебя требуется действие, ищешь убежища на моральных высотах.

Но, к сожалению, этот Зепп Траутвейн совсем не банкрот. Он не ползал на брюхе, и все же он не банкрот. Как раз наоборот, он взял верх, он, отставной профессор музыки, а с ним и Леа. Весь аппарат насилия семидесятимиллионного народа в конечном счете оказался не в силах отнять ягненка у бедняка. Семидесятимиллионный народ, несмотря на свои самолеты и своего фюрера, принужден выдать своего узника. Смешно. Противоречит разуму. И так легко удалось Траутвейну этого добиться. Он писал свою музыку, а левой рукой, мимоходом, вытащил из тюрьмы Фрицхена Бенямина, узника семидесятимиллионного народа. Зепп Траутвейн — Давид, а он, Визенер, — хвастливый Голиаф. Разгадан и отвергнут.

Визенер безостановочно ходит по своей прекрасной квартире, из комнаты в комнату, из кабинета в библиотеку, оттуда — в столовую. В библиотеке он против воли останавливается перед портретом Леа. Глупая улыбка? Никаких мыслей за этим гладким высоким лбом? О, еще какие мысли за ним, наглые, злопамятные. А улыбка? И как только он до сих пор не

видел, что эта едва заметная улыбка певобразимо высокомерна. И как вообще он столько времени терпел, чтобы этот наглый портрет вечно взирает на него сверху вниз? Леа вышвырнула его, а он по-прежнему терпит ее пахально улыбающийся портрет? С ума он сошел? Мазохист он?

— Нет, моя милая, я совсем не мазохист. Я велю спать ваш уважаемый портрет.

Арсен будет очень доволен: Арсену очень нравится все, что произошло у нас в последнее время. Арсен гордится нами и никогда не одобрял наши отношения с еврейкой.

Я не обманываю себя и не собираюсь обратить все в водевиль. Я сегодня потерпел поражение, самое настоящее поражение. Но партия еще не окончена, мы в силах выдержать поражение. Вспомните, пожалуйста, сколько побед мы занесли в свой актив за это время. Как желток в яйце защищен от невзгод внешнего мира, так и мы защищены благоволением Конрада Гейдсбрега от каких бы то ни было нападков. Мы необыкновенно искусно разрешили весьма щекотливую задачу — с величайшим успехом пустили в обращение сфабрикованные сведения. В тот день, когда руководство сочтет пужным публично заклеить лживость антифашистской прессы, нашу особу увенчает сияние славы. И «Бомарше» уже печатается, в самое ближайшее время книга выйдет в свет, а это — успех, в котором сомневаться не приходится.

Быть может, мы чрезмерно возомнили о себе? В школе, на уроках древней истории, нам рассказывали о «гибрис» и о том, какую кару придумали боги за эту «гибрис». Ниобея, Ксеркс, Наполеон. Нет, не будем чрезмерно возноситься, нельзя много позволять себе. Даже фюрер не может себе все позволить — вот пришлось же ему выдать Фридриха Бенямина.

А разве я чрезмерно высокого мнения о себе? Разве я и в самом деле не в лучшем положении? Разве не верно, что, расставшись со мной, Леа причинила себе большее зло, чем мне? Мне куда легче, я могу утешиться, в утешительницах недостатка нет, вокруг меня сколько угодно аппетитных женщин.

На письменном столе Визенера лежала полученная с последней почтой корректура «Бомарше». Визенер просмотрел титульные листы. На одном из них красивым четким шрифтом было напечатано посвящение мадам де Муссефьер. Он взял автоматическое перо, с усилием глотнул слюну и жирной, уверенной чертой все перечеркнул. Как ни больно было, но он почувствовал облегчение. Эпизод «Леа» перечеркнут, ликвидирован.

Он опять остановился перед портретом. Теперь, когда поставлена точка, зачем, в сущности, снимать портрет? Немало ведь у него вещей, сохранившихся на память о пережитом. А портрет Леа — произведение искусства, доставляющее эстетическое удовольствие. И разве милейшие враги не будут язвительно улыбаться именно оттого, что он снимет портрет и на его месте они увидят оголенное пятно или другую картину?

Он всматривается в портрет, внимательно, испытующе, точно видит его в первый раз, и начинает вслух разговаривать с нарисованной Леа.

— Я знаю тебя другой, моя милая, — говорит он ей вкрадчиво, сладко, коварно. — Я видел твое лицо другим, совсем другим, каким ни одна душа его больше не видела. — Он вспоминает лицо Леа, когда она, бывало, лежит в сладостном изнеможении после его ласк. — И я опять увижу тебя такой, моя милая, — объявляет он ей.

Все это он говорит нарисованной Леа потому, что живая Леа лишила его возможности говорить с ней. Он ругает ее, он молит ее, прощает, грозит, высмеивает. Поговорив с портретом, он чувствует облегчение.

Нет, он не может доставить удовольствие Арсену: портрет останется висеть там, где висит. У портрета есть уши, портрет все слышит, все, что Визенер хочет сказать Леа. Если он уберет портрет, связь с Леа порвется, и навсегда. Пока портрет здесь, Леа не свободна, так же как и он, Визенер. Портрет останется на месте. Лучшего места для него не придумаешь.

Кроме всего, он — постоянное напоминание.

— Вы бросили мне упрек, мадам, что я варвар только наполовину, не до конца. Благодарю за дружеское указание. And therefore I am determined to prove a villain¹.

Глава 15

КОСТЮМ НА НЕМ БОЛТАЕТСЯ, КАК НА ВЕШАЛКЕ

Ильза Бенъямин с удовольствием встретила бы своего мужа одна. Раньше ей страшно было мысленно произносить слова «мой муж»; он был Фрицхен или Бенъямин. Теперь он стал ее мужем, и она имела право встретить его одна. Но сотрудники «Парижской почты» заявили, что никак нельзя, чтобы приезд Фридриха Бенъямина в Париж прошел незаметно, — возвращение его надо превратить в праздник, и Ильзе пришлось волей-неволей согласиться с ними. Таким образом, в то утро, когда он должен был прибыть, на Восточном вокзале собралось много народу — репортеры, представители левых французских партий, кинооператоры, просто любопытные и люди, без которых ни одно событие не обходится.

Фридрих Бенъямин стоял у окна вагона в знакомом котелке на голове, с знакомой сигарой во рту. Но едва ли, кроме этих двух неотъемлемых принадлежностей, еще что-нибудь осталось от прежнего Бенъямина. Лицо его совсем не походило на грустную клоунскую маску, оно сильно похудело, приобрело какой-то беловато-желтый оттенок, и на этом изборожденном глубокими складками лице, на котором и слепой мог бы увидеть печать фанатизма и страданий, пугающе горели карие круглые глаза.

Он стоял у окна, в том же костюме, в котором уехал, но теперь костюм болтался на нем, как на вешалке. Хотя у него давно уже не было такой удоб-

¹ Теперь-то я уж постараюсь доказать, что я законченный негодяй (англ.).

ной постели, как диван спального вагона, он почти поспал. Освобождение пришло слишком внезапно. Тюремщики без конца твердили ему, что он вряд ли выйдет из тюрьмы живым, адвокатов к нему не допускали, слухи об усилиях, предпринимаемых цивилизованным миром для его спасения, до него не доходили, он был в полной изоляции и готовился лишь к одному — держаться на суде мужественно и умереть с высоко поднятой головой, оставив по себе достойную память.

Когда его вывели из тюрьмы и куда-то повезли, он опасался самого худшего — что его без суда, выстрелом в спину, прикончат. Услышав от конвоиров, что он находится на территории Швейцарии и что он свободен, Бенъямин сначала принял это за злую шутку, не почувствовал никакой радости, в голове у него все смешалось, а когда наконец он поверил, ему стало дурно от внезапно свалившегося на него счастья.

Всю ночь, лежа в спальном вагоне, он не мог прийти в себя от глубокого изумления. Бенъямин знал, как редко торжествуют свобода и справедливость, за которые он всю жизнь боролся, и не мог себе представить, чтобы свобода и справедливость победили именно в его деле.

Семь месяцев назад он уехал с этого же вокзала. Ильза махала ему рукой и говорила, чтобы он не звонил ей по телефону. И тот же котелок был у него на голове, и так же держал он в зубах сигару и думал, что не больше чем через пять дней он вернется в Париж обладателем драгоценного паспорта и драгоценных сведений. И вот пять дней превратились в семь месяцев, и он вернулся такой же беспаспортный, каким уезжал, но, разумеется, гораздо более осведомленный, чем до отъезда.

А вот и Ильза, первый человек, которого он искал глазами, собственно говоря, уже с той минуты, как тронулся этот поезд. Вот она стоит: она не машет ему рукой, только смотрит на него, и этот взгляд говорит больше, чем если бы она бросилась к нему и прильнула всем телом.

Он идет по коридору, слегка пошатываясь, он крепко держится за медные поручни вагонной лесенки. К нему

обращено множество лиц, он улыбается, робко, глубокой улыбкой, у него одно желание — домой. То есть куда? Где его дом? По-прежнему гостиница «Атлантик»? Его дом — это там, где Ильза, это там, где он сможет спокойно лечь и заснуть и спать крепко и долго.

Из множества ртов вырываются какие-то приветствия, множество рук протянуты к нему, но вот наконец лицо Ильзы рядом, Ильза его обняла или он ее? Он пожимает множество рук, он, вероятно, и говорит что-то, он точно не знает, кому и что, свежий воздух опьянил его, он ошеломлен. Потом все двинулись к выходу, на тебя нацелены фотоаппараты, кинооператоры работают, тысячи глаз смотрят на тебя. Но наконец-то он в машине, Ильза называет адрес, его как будто очень занимал вопрос, — какой? — но он все пропустил мимо ушей, он так утомлен и взволнован, что и не спрашивает. Ему важно одно: куда-нибудь они приедут, и скоро он сможет лечь и заснуть.

И вот они с Ильзой одни. Он сегодня еще не завтракал, поэтому он послушно пьет кофе и что-то ест, но что, он сказать не мог бы. И без умолку болтает. Описывает лицо своего первого тюремщика, второго, третьего и рассказывает, на каком диалекте они говорили. И каким разочарованием для него было, что его не послали ни на какие работы; вместе с остальными заключенными его поднимали в пять утра, но всех угоняли на работы, а для него день тянулся без конца. Но не об этом вовсе хотелось ему рассказать. Как томило его желание поделиться с кем-нибудь своими мыслями в те невыносимо долгие часы, когда он ждал смерти в своей одиночной камере. Было много такого, о чем стоило рассказать, несмотря на убийственную монотонность тюремного существования, и его сжигала невозможность поговорить с живым человеком. И вот перед ним слушатель, которого ему так мучительно не хватало, лучший, любимейший слушатель, Ильза, а он болтает о самом маловажном, а о существенном, о том, чем он полон до краев, не говорит ни слова. Но постепенно поток его слов мелеет, и наконец Бенъямин умолкает.

Ильза сидит против него и курит, а он, не отрываясь, смотрит на нее круглыми, скорбными, беспокойными глазами. Сколько раз в нескончаемо длинные часы пытался он вызвать в своем воображении ее образ, но образ Ильзы не давался ему. С присущей ему подозрительностью он всегда думал, что та Ильза, которую он создал себе в одиночестве своей камеры, несколько идеализирована. А теперь он видит, что в реальной Ильзе есть что-то от той Ильзы, но эта Ильза ведь живая, *эта* не снится ему. Она ему очень нравится, он любит ее, через край переливается в нем огромная благодарность к этой женщине, которая так много сделала для него, так заботится о нем. Но ему мучительно, болезненно хочется, чтобы она, как бывало, сказала ему какую-нибудь резкость, высмеяла его. Как ни любит он Ильзу, сидящую перед ним, такую преданную, ему не хватает прежней Ильзы, той, что всегда подтрунивала над ним и плохо с ним обращалась, он тоскует по Ильзе, которую оставил, уезжая.

Она задумчиво смотрит на него, и, когда он умоляет, она даже довольна, что может, не отвлекаясь, разглядывать его. Нет, инстинкт не обманул ее — с первого взгляда она угадала в нем незаурядного человека. А теперь и судьба его показала, что все и в нем и вокруг него незаурядно. Если бы он не был так фанатически убежден в деле, за которое боролся, судьба не определила бы ему вынести такие страдания во имя этого дела. Она любит его, и любит сильнее прежнего.

Но к ее чувству примешивается некоторая отчужденность. Бесспорно, счастье, что такой человек, как он, — ее муж, но к этой мысли надо сначала привыкнуть. Ее пугают его странная робость и болтливость, отсутствующий взгляд, беспокойная рассеянность, внезапное молчание.

— Ах, голубчики мои, — не может удержаться она, чтобы не воскликнуть с очень саксонским акцентом.

И вот эта знакомая интонация ее голоса, которую он так долго не слышал, сразу восстановила между ними прежнюю близость, показала ему заслоненный теперешней Ильзой ее прежний облик, и он почувствовал себя дома. Он улыбнулся ей благодарно, нежно.

Но опять на него наваливается усталость. Ильяз видит, что глаза у него слипаются, и укладывает его в постель. Как часто ее сжигало желание спать с ним. А теперь ее не очень разочаровывает, что он лежит смертельно усталый, ничего так не желающий, как покоя. Она сидит возле, смотрит на него и ждет, пока он, держа ее руку в своей, не засыпает.

Через два дня Фридрих Беньямин кое-как пришел в себя. Разумеется, он все еще не мог освободиться от представления, что он в концентрационном лагере и всецело во власти разнузданного сброда. Ему то и дело приходилось внушать себе, что он может, если захочет, ходить по улицам города Парижа и чувствовать себя независимым человеком. Но он не выходил из дому. Ему было странно, что можно встретить кого-либо из знакомых, что придется поддерживать разговор.

Постепенно рассеивалось чувство отчужденности между ним и Ильзой; за живым, решительным лицом много познавшей женщины, которая жила теперь рядом с ним, он видел нежное, дерзкое белое лицо прежней дамы, и мало-помалу облик капризной, колкой Ильзы слился воедино с обликом теперешней.

Под влиянием домашнего тепла и тесной привязанности к Ильзе исчезла нервная болтливость первого дня, он рассказывал теперь так, как рисовал себе в мечтах, о существенном и несущественном, обо всем подряд.

Беньямин рассказывал, как он лежал в одиночной камере и прислушивался к шумам лагеря. Когда его сажали в темную камеру и тьма немедленно оживала, населенная страшными образами, — он тосковал по свету, а когда его переводили в камеру, где всю ночь над ним горела сильная лампа, он тосковал по темноте. Он слышал стуки в стенку, но не умел расшифровать их. Он слышал шаги надзирателей, ждал, что они остановятся у дверей его камеры; шаги приближались и затем медленно удалялись. Он слышал хлопанье дверей, плач, отдаленные крики.

В одиночке он погибал от тоски по людям. А когда его сажали в общую камеру, он тосковал по одиночке.

ству; было страшно видеть вокруг себя замученных, истерзанных людей, вдыхать испарения их тел, сопереживать их муки и ждать, что и тебя постигнет то же самое.

Беньямин рассказывал, как он готовился достойно встретить последний решающий час, который каждое мгновение мог наступить, и какого труда стоила ему эта внутренняя подготовка. Его мучители считали его, вероятно, мужественным; что знали они о той цене, о тех судорожных усилиях, какими это мужество достигалось, о страхе, который постоянно подстерегал его. Это было мужество того же рода, что и храбрость, которой он в свое время славился на фронте, храбрость, нелегко ему достававшаяся. Он рассказывал о разговорах, которые вел сам с собой, о тренировке остроумия и логического мышления, которую устраивал себе, о трудных задачах, которые задавал своей памяти, чтобы не сойти с ума в нескончаемом одиночестве заключения. Среди рассказа Беньямин вдруг оборвал себя и стал листать Библию, он хотел непременно найти точный текст одной цитаты, которая не выходила у него из головы: «Утром ты будешь говорить: ах, был бы теперь вечер, а вечером ты будешь говорить: ах, было бы теперь утро; это от страха в сердце твоём, который будет угнетать тебя».

Но об одном он не рассказывал, о выводе, определенном выводе, к которому он пришел в долгие месяцы, когда готовил себя к смерти. Исповедовать идею бескомпромиссного мира, кричать и писать: «Мир, мир, долой войну навсегда», — до сих пор, как он понял, он не имел права. Привилегию бороться за мир, не становясь смешным, необходимо завоевать. С успехом бороться за мир может тот, кто доказал, что он борется не из трусости, не из страха за собственную шкуру, что он готов, если понадобится, умереть за дело мира. Вечный мир достижим, и надо, чтобы всегда были люди, которые бы неустанно провозглашали эту великую цель. Но призваны провозглашать ее только те, кто на деле показал, что готов жизнь отдать за провозглашение этой цели. Если ратовать за мир будут трусы, какой прок от того? Только подлинно смелые не боятся, что их примут за трусов.

Все это позволительно чувствовать, но нельзя высказать вслух. Он, во всяком случае, не решается высказать. Если он действительно призван быть одним из мириадов последователей Исайи, он не смеет поднимать шума вокруг себя. Истинный глашатай мира обязан постоянно помнить, что он лишь смиренный сосуд, что ему надлежит быть скромным. Разве человек гордится тем, что он дышит? Вот точно так же и тому, кто работает на пользу мира, нельзя гордиться своей работой, — ему следует оставаться неизвестным в высшем смысле слова. Необходимо обрести скромность, молчаливое смиренное мужество — вот что познал Фридрих Бенъямин в своей одиночной камере, познал перед лицом смерти.

Об этом своем открытии он, как сказано, никому не говорил. Но сознание, что он призван быть глашатаем мира, незримо присутствовало в его повествовании, устранив все мелочное и придавая всему значительность. Ильза слушала Бенъямина как зачарованная. Она любила его за серьезность, за скромность, за желание остаться в тени. Она поднялась в собственных глазах, оттого что ей дозволено было бороться за этого человека. Она любила не только его самого, но и те усилия, которых ей стоила борьба за него.

Когда он кончил, она сказала задумчиво, с нежностью, с гордостью:

— Теперь все увидят, кто ты.

— Почему? — спросил он, искренне удивившись.

— Потому что ты пострадал за дело мира, — пояснила она.

Но он никак не мог взять в толк, что она имеет в виду, и она повторила с некоторым нетерпением:

— Теперь все непременно должны увидеть, кто ты.

Он рассердился и заговорил как прежде резко, насмешливо.

— Где это сказано, — горячился он, — что человек становится значительным, если его участь, помимо его воли, незаурядна? Мученичество никому не придает значительности. Оттого что дурак попадет в автомобильную катастрофу, он не станет выдающейся личностью, и если человека сослали на остров Святой Елены, то это еще не значит, что он Наполеон. — Участь, постигшая

его, Фридриха Беньямина, кое-чему его научила, но это касается его одного, и только будущее покажет, сумеет ли он разумно использовать то, чему он научился, а вообще он категорически запрещает рядить его героем. Если его начнут мерить по его судьбе, ему окажут плохую услугу, ибо эта судьба будет болтаться на нем, как его костюм, который стал ему широк.

Ильза не согласилась с ним. Не случайность, упорствовала она, что именно он попал к нацистам в лапы.

— Есть несчастья, — убежденно сказала она, — такие огромные, что человек вправе ими гордиться.

Фридрих Беньямин настолько оправился, что мог уже подумать, чем заняться. Ему предложили раньше всего поехать ненадолго куда-нибудь на чистый воздух, набраться сил и окрепнуть. Деньги есть. Организации по оказанию помощи эмигрантам предоставляют ему нужные средства. Но Беньямин энергично отверг такого рода предложения; он не желал зваться мучеником и в этом качестве получать вспомоществование, хотел окунуться в повседневность, исполнять свои обязанности, как и прежде.

Он отправился в редакцию «ПП» с двойственным чувством. По природе своей он был человеком благодарным, и его угнетало, что товарищи по работе, объявив ради него забастовку, ставили на карту свой кусок хлеба. Опасался он и того, что в редакции с ним будут обращаться исключительно бережно, а его боязнь как-то выделиться превратилась в болезнь. На долю многих и многих немцев выпали куда более страшные муки, он не единственный, кого силой увезли назад в Германию. Он муравей, наполовину растоптанный, как растоптаны десятки тысяч таких же муравьев; почему же именно вокруг него, одного из многих муравьев, поднимать шум? Он не желает, чтобы с ним обращались не так, как со всеми. Это только помешает ему выполнить свою задачу, которую он понимает теперь по-новому, глубже.

С наигранным равнодушием, скрывая смущение, явился он в редакцию. По дороге он представлял себе, как тотчас же направится к своему обшарпанному пись-

менному столу. Он так часто тосковал по нему. Но в новом помещении редакции он плохо ориентировался; он искал глазами свой старый стол, нигде не нашел его и уже хотел спросить о нем у товарищей. И вдруг вспомнил, что стол, по всей вероятности, остался у Гингольда, в старой редакции. Бенъямин покачал головой, удивляясь затмению, которое на него нашло.

По крайней мере, встретили-то его в редакции без излишних восторгов и бума. По молчаливому уговору все решили не делать из его прихода события. Разыгрывать простоту и безразличие редакторам, однако, плохо удавалось. Они присматривались к нему с затаенным любопытством, обращались с ним как с выздоравливающим, в его присутствии ходили, что называется, на дыпочках. Товарищи Бенъямина были приятно удивлены переменой, происшедшей в этом человеке, прежде таком высокомерном и властном, а теперь необычайно скромном и предупредительном. В первый день его пребывания в редакции казалось, что он гораздо больше подходит к новой обстановке, созданной в «ПП», чем к той, которая в свое время была в «ПН».

Однако вскоре обнаружилось, что даже при наличии доброй воли с обеих сторон работать вместе легче не стало. При всем своем дружелюбии, покладистости и даже застенчивости Фридрих Бенъямин иной раз, именно в тех случаях, когда этого меньше всего можно было ждать, раздражался и проявлял крайнюю нетерпимость.

Как-то редактор Вейсенбрун между прочим рассказывал, что его друг, известный писатель Жан Вевнелъ, задумал роман об участии немецкого журналиста-эмигранта, увезенного немцами в Германию. Бенъямин пришел в неописуемое волнение. Резко и решительно, как едва ли разговаривал когда-либо раньше, он заявил, что категорически протестует; он не желает, чтобы его участь служила материалом для какого-то романа. Судя по другим книгам Вевнеля, продолжал он, этот господин, несомненно, разукрасит героя всякими психологическими завитушками.

— Передайте вашему другу, — крикнул он срывающимся голосом, — что я запрещаю ему писать такой

роман. Тот, кого постигла моя участь, будь то я или кто-нибудь другой на моем месте, сам по себе совершенно неинтересен. Жаль, что нет законов, дающих по рукам подобным романописцам, которые бесцеремонно вторгаются в личную жизнь того или иного человека. Я не представляю собой ничего исключительного, я такой же человек, как все, и я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Несколько озадаченный этой вспышкой, редактор Вейсенбрун попытался обратить все в шутку.

— Если Вевнелъ накрутит что-нибудь очень уж не-сусветное, вы можете подать на него в суд и получить с него деньги, — сказал он.

— Ах, бросьте, пожалуйста, — раздраженно буркнул Бенъямин и отвернулся; он никак не мог успокоиться. — Я не настолько страдаю отсутствием вкуса, чтобы мне хотелось обратить на себя внимание. Возможно, что в прошлом я был тщеславен, даже наверно. Но теперь я не тщеславен, и это то хорошее, что я вывез из Германии.

Этот эпизод совершенно выбил его из колеи, несколько дней с ним ни о чем нельзя было разговаривать.

И вообще оказалось, что у Фридриха Бенъямина появились странности и что поэтому с ним следует обращаться осторожно. Вскоре, однако, дело дошло до серьезных трений.

Фридрих Бенъямин был умен. Он знал, что идея бескомпромиссного мира решающему большинству людей именно в данный момент представляется чистой утопией. Поэтому он решил проповедовать ее не в лоб, а обиняками, прибегать к хитрости. Но Бенъямин был настолько одержим своей идеей, что, невзирая на всю его осторожность, она пропитывала все, что он писал, и многие формулировки в его статьях настораживали его коллег и читателей.

Больше всех поведение Бенъямина огорчало практичного, здравомыслящего Петера Дюлькена. Идеалы завтрашнего дня, говорил он, следует пока отложить и все силы бросить на достижение ближайшей цели, на свержение фашизма. Он, Петер Дюлькен, человек терпимый. По нем, пусть Фридрих Бенъямин строит себе столько

иллюзий о возможности абсолютного мира, сколько ему заблагорассудится, пусть даже, если хочет, рассылает всем хоть сколько-нибудь влиятельным политическим деятелям кантовский «Вечный мир» или раз в неделю в зоологическом саду уговаривает волка пастись рядом с ягненком. Но провозглашением своей заоблачной морали Бенъямин подрывает ударную силу «Парижской почты», и вот против этого он решительно возражает. Если такой умный человек, как Бенъямин, преследует расплывчатые мессианские цели, если он видит только лес и до крови расшибается о каждое дерево в отдельности, то это его личное дело. Но тем, что он, упорно придерживаясь своего идеала, сбивает с толку читателей «ПП» в их оценке злободневных вопросов, он приносит вред, и с этим уж необходимо бороться.

В один прекрасный день конфликт между ними провалился наружу. Спор разгорелся по поводу санкций, которые Англия требовала применить к агрессору, напавшему на Абиссинию. Бенъямин в тщательно продуманной и хорошо отработанной статье указал на опасности, которыми чревато применение санкций для стран с демократическим режимом. Пит, критикуя статью, заметил, что именно в этом вопросе одержимость, с которой Бенъямин ничего другого, кроме своей конечной цели, не желает видеть, уводит его от правильного представления о вещах. Бенъямин возразил и привел свои доводы. Дюлькен — свои. Бенъямин говорил спокойно и вежливо, но от своей «навязчивой идеи», как называл ее про себя Пит, не отступался. В конце концов Пит рассвирепел, что вообще-то случалось с ним редко. И виновата была главным образом улыбка Бенъямина, она-то и вывела Дюлькена из себя. Тот, кто любил Фридриха Бенъямина, считал, что эту улыбку рождает глубокое, непоколебимое внутреннее прозрение, что она тиха, смиренна, мудра. А Пит, наоборот, увидел в ней улыбку безумца; обычная уравновешенность изменила ему, он забылся. Он отбросил со лба длинные пряди каштановых волос.

— Знаете ли, Фрицхен,— сказал он довольно-таки жестким голосом, в котором и следа не осталось от обычной флегмы,— то, что вы сидели в концентрацион-

ном лагере, еще далеко не доказывает, что вы что-либо понимаете в практической политике.

Еще не закончив фразы, он уже пожалел, что слова эти вырвались у него, и тотчас же попросил извинения. Бенъямин мгновенно ответил, что он не в обиде на Пита за его необдуманные слова. Но улыбка на лице Бенъямина превратилась в гримасу, он побледнел и, несмотря на живейшие возражения Пита, забрал у него свою статью.

С этого дня он и Пит разговаривали друг с другом с необычайной осторожностью. Но их взаимная подспудная неприязнь затрудняла редакционную работу. В особенности сожалел о разладе между ними Царнке. Он решил положить этому конец путем доброжелательных переговоров.

Царнке сумел все так хитро устроить, что однажды Пит и Бенъямин якобы случайно встретились у него дома. Сидели за кофе, вишневым ликером и пирожными, и юстиции советник осторожно навел разговор на те принципы, которые являлись объектом спора между его гостями. Фридрих Бенъямин соглашался почти со всеми тезисами своего противника, но выводы его считал неправильными. Он был убежден, что любое унижение, любая капитуляция лучше, чем страшное повторение ада, именуемого войной. Война — корень всех зол; никакая насмешка, скрытая или открытая, не могла заставить Бенъямина изменить свое мнение, что мир, хотя бы и самый недостойный, лучше открытой войны. А Петер Дюлькен утверждал, что несвоевременная правда хуже самой худшей лжи и люди иной раз руками и ногами цепляются за мечту о невозможном только затем, чтобы не видеть возможного. А возможная цель в настоящий момент, единственно необходимая цель — это разгром национал-социализма. Если же кое-кто ничего другого перед собой не видит, кроме недостижимого еще сегодня вечного мира, то он от достигаемой цели — уничтожения фашизма — уходит все дальше и дальше.

Царнке старался примирить обе точки зрения, но тут его искусство талантливого адвоката спасовало. Петер Дюлькен настаивал на своем, а Фридрих Бенъямин — на своем. Лучше жить на коленях, чем умереть стоя, говорил Бенъямин. Сначала надо попробовать,

нельзя ли жить стоя, говорил Дюлькен. Оба приводили множество убедительных доводов в защиту своего взгляда, а такие доводы всегда к услугам того, кто искренне верит в свою правоту и желает ее доказать.

Царнке внимательно слушал. Он слушал доводы Бенямина и соглашался с ними. Он слушал доводы Дюлькена, и они казались ему правильными. И он не мог удержаться, чтобы не поделиться этим со спорящими. А в заключение Царнке не без удовольствия рассказал о раввине и споре насчет телянка.

«К раввину пришли члены общины, реб Мендель и реб Лейзер, и попросили рассудить их. Реб Мендель говорит, что телянок принадлежит ему, а реб Лейзер говорит — ему. Раввин велит реб Менделю обстоятельно изложить дело и, выслушав его, решает: ты прав, реб Мендель. Потом приходит черед реб Лейзера; и его выслушав, раввин также решает: ты прав, реб Лейзер. В разговор вмешивается Менухим, ученик раввина, и говорит: «Рабби, если прав реб Мендель, так не может же быть прав реб Лейзер». И раввин заключает: «И ты тоже прав, Менухим».

Однако удовольствие, которое юстиции советник Царнке сам же получил от рассказанной им притчи, было единственным результатом столь хитро задуманной им попытки примирения противников. Хотя те и простились внешне в полном согласии, но славный Царнке прекрасно понимал, что убеждения одного и убеждения другого — не просто убеждения, а часть их существа и что, сталкиваясь, они подобны огню и воде. Значит, ни к чему были его кофе, вишневый ликер, терпение и заряд уговоров.

Фридрих Бенямин рассказал Ильзе о встрече у Царнке. Ильза знала убеждения мужа и разделяла их. И все же, вдруг — возможно, что и ее раздражала его улыбка, — она взбунтовалась против его кроткой непоколебимости.

— Голубчики мои, задал же он тебе перцу, — воскликнула она, и голос ее прозвучал звонче, протяжнее, певучее, чем обычно.

Фридрих Беньямин удивленно вскинул глаза. Что это? Опять перед ним «саксонская леди»? Как ни тосковал он по прежней Ильзе, его тяжело поразили столь знакомые интонации.

А она, неожиданно переменив предмет разговора, спросила, когда же наконец он думает зайти к Зеппу Траутвейну.

Беньямин и в этих словах жены уловил раздраженные нотки. Он знал, с какой прямо-таки иступленной горячностью Зепп отдавался делу его спасения, знал и о жертвах, принесенных Зеппом. Само собой, он пойдет к Зеппу и выразит ему свою благодарность. Но если он оттягивал встречу, так именно из благодарности к Зеппу и из чувства такта. Беньямин знал, как увлеченно работает теперь Зепп, и не хотел навязывать ему свое общество. Но не только в этом было дело. Он, кроме того, понимал, что человек столь запальчивого темперамента, как Зепп, еще резче, чем Петер Дюлькен, отвергнет и осудит его идею безоговорочного мира, а ему не хотелось излишне волновать и раздражать Зеппа, которому он так обязан.

Он подыскивал слова, чтобы все это объяснить Ильзе. А она между тем, неправильно истолковав его молчание, продолжала:

— Не забудь, что Зепп Траутвейн взялся заменить тебя на пять дней, а не на семь месяцев.

Теперь уж говорила только прежняя Ильза, привыкшая каждую его слабость безжалостно называть своим именем и поднимать его на смех. Она ясно дала понять, в чем пзобличает его: он, мол, оттягивает свой визит к Зеппу только потому, что Зепп никогда не был ему симпатичен.

Беньямин взглянул на нее. Он не собирается оправдываться перед «саксонской леди». Он промолчал.

На следующий день он отправился к Зеппу, в «Аранхуэс».

Он пришел как раз в момент, когда Зепп, забыв обо всем на свете, работал. С тех пор как Беньямина освободили, он едва вспоминал о нем. Призрачный Фрицхен, постоянно сопровождаемый тихой нездешней музыкой, лопнул, как мыльный пузырь, и развеялся. Беньямин

во плоти, тот, кто вошел к нему с сигарой в зубах и в знаменитом котелке на голове, был просто один из безразличных знакомых, который своим приходом помешал ему работать.

На лице Зеппа отразилась досада. Фридрих Бенъямин остро почувствовал его реакцию, тем более что заранее предвидел, какое неприятное впечатление произведет его приход, и быстро сказал:

— Я хотел только поблагодарить вас за все и посмотреть, что вы подделываете.

— Я делаю то, что я съел,— грубо, по-баварски, ответил Зепп.

Фридрих Бенъямин попытался поддержать шутку:

— Полагаю, что это делаем все мы,— сказал он.

Зепп уже пожалел, что так неприязненно встретил Бенъямина. В конце концов Бенъямин достаточно настрадался, и не его вина, что он пришел некстати.

— Не сердитесь,— извинился он.— Но, как видите, я в горячке работы.

— Я не задержу вас,— ответил Фридрих Бенъямин.

— Что вы, что вы,— перебил его Зепп, стараясь загладить свою грубость.— Раз вы уже пришли, оставайтесь и садитесь,— продолжал он несколько растерянно.

Он видел беловато-желтое лицо Бенъямина, видел его горящие лихорадочные глаза и искренне пожалел, что так колюче его встретил.

— Послушайте, Фрицхен,— сказал он добродушно,— мы должны отпраздновать ваше возвращение. Вы уж извините меня за грубость. Я всегда рычу, когда меня отрывают от работы. Но это не от неприязни, поймите меня.— И, не давая Бенъямину ответить, продолжал: — Я ваш должник, а долг платежом красен. Пообедаем сегодня вместе. Но при одном обязательном условии: на этот раз никто никого не просит его заменить.

Он так настойчиво приглашал, что Бенъямин согласился.

— Куда же мы пойдем? — спросил Зепп, и сам же ответил: — К нашему старому «Серебряному петуху».

И вот они сидят в том же зале ресторана, где семь месяцев назад заключили соглашение. Бенъямин незаметно разглядывает угощающего его Траутвейна. Это

костлявое лицо никогда ему не нравилось; глубоко сидящие глаза, щетинки небритой бороды, шумливость — все в Зеппе чуждо ему. И как ни странно, именно перед этим чужим человеком ему всегда хотелось излить душу.

Он отлично помнит отсутствующее выражение, появившееся на лице Зеппа, когда тот слушал его излияния в их последнюю, ставшую роковой встречу. Хотя Зепп потом так много сделал для него, они изрядно неприятны друг другу. Странно, но и сегодня ему хочется рассказать чужому Зеппу о том, что он никому другому не может доверить, даже Ильзе. Не потому ли именно, что Зепп так чужд ему?

Он, однако, сдержится и не сделает этого. Незачем раскрываться и показывать свой внутренний мир человеку, которому ты неприятен. Но хотя Фридрих Бенъямин и не желает ставить себя в центр внимания окружающих, ему с каждым днем становится все труднее носить в себе сделанное им и ни с кем не разделенное открытие — что он принадлежит к числу призванных и почему он к ним принадлежит.

И вот он уже говорит.

— Мне хотелось вам кое-что сказать, Зепп,— начинает он,— поведать, если угодно. Но предварительно должен вам напомнить, что у меня есть черта, о которой я вообще говорю неохотно. Но теперь я *не могу* не сказать о ней, иначе вы, чего доброго, неправильно истолкуете все, что я потом скажу, приняв это за проявление мягкого, а точнее, трусливого характера. Итак, прежде всего: по натуре я не трус. Наоборот. Никогда бы я, еврей, рядовой солдат, не получил уже в шестнадцатом году Железный крест первой степени, если бы не проявил храбрости. Это не было прирожденное мужество — мне пришлось воспитать его в себе. Я был храбр из отвращения к войне, я был храбр потому, что хотел получить право бороться против всего того, что воплощает в себе война. Когда меня бросили за решетку, я тоже держался мужественно. Говорю это не из тщеславия.

Бенъямин покраснел, и Траутвейн, несомненно, заметил, как ему трудно было произнести эти несколько фраз. И все же Траутвейн не мог отделаться от чувства

неловкости. На него всегда производила впечатление непреклонность Бенъямина в преследовании одной цели, которой он посвятил всю свою жизнь,— самому неослабно питать и внушать другим ненависть и отвращение к войне, принесенные им с фронта. А он, Зепп, вернувшись с фронта, энергично отбросил от себя все ужасы войны, загнал их внутрь, в сокровенные глубины своего существа, пусть, мол, лежат там погребенные, он не желает, чтоб ему напоминали о них.

Но Фридрих Бенъямин не отступал:

— Я, разумеется, знаю, каким дураком почитают каждого, кто видит источник всех зол в воинственном, разрушительном инстинкте человека и кто убежден, что надо прежде всего изменить человеческую природу. Я досконально изучил и теорию, которая доказывает, что сознание человека определяется экономическим и социальным бытием. Я же остаюсь при своем убеждении, что пужно изменить обитателей дома, нас самих, а не дом. А мне на это неизменно твердят: тем, дескать, что я говорю о конечной цели, о вечном мире, который пока якобы бесспорно является утопией, я ослабляю борьбу за ближайшую цель, борьбу за изменение экономических и социальных основ. Но я глух на это ухо. Мое сердце глухо к этим аргументам. Никогда не поверю, что вредно и, следовательно, недопустимо выставлять мое идеальное требование вечного мира, хотя бы оно в настоящий момент и не имело никаких шансов на осуществление.

Бенъямин не отложил ножа и вилки, он старался говорить как можно проще. Но его круглые глаза на беловато-желтом лице иступленно горели, он смотрел куда-то мимо Зеппа, и вот эти глаза фанатика, невзирая на все усилия Бенъямина, делали его речь патетической.

— В каждую эпоху непременно появляются люди,— продолжал он,— которые берут на себя маниакальную, блаженную, неблагодарную и опасную задачу провозглашать утопическую цель — вечный мир. Все мы знаем, что по нагорной проповеди нельзя жить. Требование — полюби врагов своих — сверхчеловечно, а значит, бесчеловечно. И все же нагорную проповедь нужно было всегда и нужно впредь неустанно возглашать с амво-

нов, для того чтобы человек не оскотинился. Точно так же необходимо постоянно вновь и вновь ставить требование вечного мира, хотя бы того, кто это делает, поднимали на смех и ненавидели, называли дураком, чудачком и вредителем. Не поймите меня превратно,— заключил он, слегка покраснев и улыбаясь.— Я не вижу ничего великого в том, что принадлежу к этим людям, к этим чудачкам. Это очень трудное призвание. Что ж делать, если у меня в жизни нет ничего, кроме моего чудачества.

Все, что изложил Бенъямин, было крайне чуждо Зеппу. Здоровый баварец, он видел за речами Бенъямина сентиментальное, истерическое мессианство, действовавшее Зеппу на нервы. Но Зепп был художник, и его не могла не взволновать атмосфера, в которой жил и дышал его собеседник. Художник Зепп обладал даром, отвлекаясь от частностей в облике человека, видеть его всего целиком. Как фары автомобиля вырывают из ночного мрака кусок пейзажа, так же отчетливо перед внутренним взором Зеппа предстал на миг из серой повседневности весь человек по имени Фридрих Бенъямин, сочетающий в себе героическое со смешным.

Зепп, задумавшись, откинулся на спинку стула и небрежно вытянул ноги. Была минута, когда он собирался было возразить Бенъямину. Но он понял, что это бесполезно, и промолчал.

А пока он молчал, он выбросил из души своей последние остатки ненависти и любви к Фридриху Бенъямину: «Заплатив за обед,— подумал он с легким удивлением и с большим удовольствием,— я раз навсегда расквитаясь с ним. Он и не подозревает, что, в сущности, я ему обязан больше, чем он мне. Если бы я не замечал его, если бы передо мной, когда я сидел за его редакционным столом, не прошло все то, что прошло, никогда бы я не написал свой «Зал ожидания». Я тугодум, и, если бы не он, я так и не узнал бы, что такое искусство, открывшееся мне только в ту пору, пору ожидания. Да, я чертовски многим обязан ему. Но, во-первых, ему это и в голову не приходит, а во-вторых, он человек по натуре благодарный, а я этим качеством не грешу. Пройдут годы, и воспоминание о Фридрихе

Беньямине со всем его мученичеством и со всей его миссией не вызовет у меня ни приятных, ни неприятных чувств, он будет мне просто безразличен».

— Ну, стало быть, за ваше здоровье, соседushка, — сказал Зепп и чокнулся с Беньямином.

Глава 16

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, XXI, 26

Вернувшись из «Серебряного петуха», Зепп снова взялся за свой «Зал ожидания». Он работал с ожесточением, медленно, упиваясь и чертыхаясь, обстоятельно и вдохновенно. Никогда еще он не испытывал такого счастья и такой муки, как теперь, создавая свою симфонию.

Он порывисто бросался от пианино к письменному столу, насвистывал сквозь зубы, играл, бегал из угла в угол, записывал. Он слушал тиканье любимых часов, оно становилось музыкой. Из соседней квартиры доносилось бречание «сапожника», Зепп ругался, стискивал зубы и работал. Мысленно он спорил с Анной о деталях: такое-то место не вполне чисто и свободно звучит, а тут слишком гладко, а здесь еще «не высохла краска».

Зепп сделал перерыв, сварил себе кофе, опустился в клеенчатое кресло, сидел, думал, напевал сквозь зубы, пыхтел. С дружелюбным презрением равнодушного наблюдателя думал он о Фридрихе Беньямине, об этом проповеднике в котелке на голове и с сигарой в зубах. Проповеднику уже виделось, что пророчества евангелистов близки к осуществлению, ему уже виделся сын человеческий, грядущий во облаке, — в силе и славе своей. Зепп еще не дошел до этого. Он лишь видел, что осуществляется то, что давно было предсказано для нынешних времен: «И люди будут издыхать от страха и от ожидания бедствий, грядущих на вселенную...» Ему не терпелось передать в музыке это невыносимое ожидание, чтобы люди всем существом своим почувствовали, как оно невыносимо, и не захотели более ждать, а всеми силами стремились положить конец этому невыносимому ожиданию.

Все, о чем хлопочет, что говорит и делает проповедник Бенъямин с его Железным крестом, с его котелком и его мечтами в духе Берты фон Зуттнер,— это при самых лучших намерениях всего лишь героическая, ничемная суэта. Нет никакого смысла мечтать о том, как бы должно было и как бы могло быть хорошо.

И те заботы и страхи, которые мучили Анну,— они тоже не имели смысла. Какое горе, что она поставила точку, что она не дожидла до его, Зеппа, сегодняшнего дня, до его «Песен Вальтера», до концерта у мадам де Шасефьер, до возвращения Фридриха Бенъямина и до этой работы над «Залом ожидания». Она поняла бы, какой большой путь он прошел. Его прежнее искусство — это «искусство для искусства», бесцельное, беспочвенное и, следовательно, болезненное. Но он выздоровел. «Он не пишет, а вышивает золотыми нитками по шелку»,— сказал Готфрид Келлер о Конраде Фердинанде Майере. Теперь Зепп не вышивает более золотыми нитками по шелку.

Опять уже занесся? Опять так быстро успокоился на достигнутом? Анна пробрала бы его. Анна с ее хорошо подвешенным языком уши прожужжала бы ему, перечисляя, чего только в его симфонии не хватает. Финала, например, еще, можно сказать, нет совсем. А для того чтобы написать финал к его симфонии, нужно верить. Поезд, которого давно ожидают, непременно придет — это ему ясно. Если он не придет, все рухнет и симфония его действительно будет «Залом потерянных шагов», мостом, ведущим в Никуда.

«Сделать» финал он мог бы. Он отлично владел техникой компонирования, он смог бы втиснуть нечто приблизительное в проклятые пять линейек потной бумаги, и это было бы даже неплохо, и за один вечер публика, пожалуй, не раскрыла бы обмана. Но что он выиграл бы?

Зепп стряхнул с себя раздумье, вернулся к письменному столу и принялся отрабатывать сырые места. Однако работа не спорилась, воодушевление исчезло. Пришел Ганс, и Зепп обрадовался предлогу прервать ее.

— Как подвигается твой «Зал ожидания»? — спросил Ганс.

— Еще поработаю над ним,— ответил Зепп.

— А к середине октября кончишь? Как ты полагаешь? — допытывался Ганс.

Зепп, несколько удивленный, пожал плечами.

— Жаль,— громче обычного, несколько угловато сказал мальчуган,— в таком случае я, пожалуй, уж не услышу симфонии.

— Ты, значит, в середине октября собираешься ехать? — проверяя свою догадку, спросил Зепп. Голос его прозвучал устало; в комнате было уже темно, но он не включил света.

— Да,— ответил Ганс.— Разрешение получено, все оформлено.

— Что ж, надо мне привыкать к этой мысли,— сказал Зепп,— надо приспособливаться.— Он произносил какие-то слова, он явно говорил только затем, чтобы не наступило молчание.

Со времени последнего разговора с отцом Ганс чувствовал, что между ними установилась гораздо большая близость, чем раньше; ему чертовски тяжело оставлять отца в одиночестве.

— Сегодня на твой текущий счет опять поступило восемь тысяч франков,— поспешно сказал он. Говорить, говорить, и только о практических вещах, ни в коем случае не допустить взрыва чувств.— Если так дальше пойдет, ты скоро сможешь жить на проценты с твоих капиталов. В «Пари Миди» напечатана сегодня статья о тебе — дай бог всякому.

Это прозвучало очень дружелюбно и очень беспомощно, Ганс как будто хотел напоминанием о славе и успехе утешить отца, удрученного предстоящей разлукой.

Зепп улыбнулся.

— Я несколько не упрекаю тебя, Ганс,— ответил он на то, чего мальчуган не сказал, и дружески, серьезно поглядел на него глубоко сидящими глазами.— Не думай,— продолжал он,— что я настроен против Москвы, как тебе могло показаться, оттого что я недавно так ополчился на нее. С тех пор я переменял мнение. И вообще в последнее время я стал много терпимее.

— Когда ты заговариваешь о своей терпимости,—

ответил Ганс и тоже улыбнулся, — я начинаю бояться. В таких случаях с тобой бывает особенно трудно.

— На этот раз это не так, — пообещал Зепп. — С тех пор как я получил возможность вернуться к музыке, я стал умнее. Жалко, что я не закончу «Зал ожидания» до твоего отъезда. Думаю, что эта музыка и тебе многое скажет. Но симфонию, несомненно, будут передавать по радио, я предупрежу тебя телеграммой. Надо надеяться, что, по крайней мере, приличные приемники в Москве найдутся.

— Надеюсь, — терпеливо ответил Ганс.

— Серьезно, мальчуган, мне кажется, что в смысле политических взглядов мы подошли ближе друг к другу. Раньше, например, я бы из успеха дела Бенъямина сделал вывод о наличии каких-то больших сдвигов. Теперь же я хорошо понимаю, что это отдельный, ничтожный случай, который ровно ничего не доказывает. Журналиста Фридриха Бенъямина мы вырвали из рук насильников. А страну Абиссинию мы не сможем спасти. — Зепп собрался с духом и, едва видя в ступающих сумерках лицо сына, сделал признание: — Я убедился, Ганс, что твой главный принцип верен: к сожалению, прав ты, а не я. К сожалению, те, кто утверждает, что идея может пробить себе путь без насилия, — фантазеры. Справедливый порядок на земле не установишь без насилия. Группы людей, заинтересованные в несправедливом порядке, не сдадутся, пока их не сломят силой. Это-то я уже понял.

Ганс напряженно слушал, взволнованный и обрадованный: значит, Зепп сорвал пелену с собственных глаз и он, Ганс, помог ему в этом.

— Не могу сказать, — помолчав, продолжал Зепп, — чтобы мое новое видение мира сделало мою жизнь приятней. Вам-то хорошо. Ваше мировоззрение стало частью вас самих, вы, точно сантиметром, мерите мир вашими принципами, вам все на свете ясно как дважды два — четыре, и вы чувствуете себя превосходно. Я же совсем не хорошо себя чувствую. Я понял, что ваши основные принципы верны, но в том-то и дело, что я их только понял, мозг мой признает их, а чувство с ними в разладе, сердце не говорит «да». Холодно мне

в твоём мире, где все построено на разуме и математике. Не хотел бы я жить в этом мире. Мне представляется, что в нём слишком много внимания уделяют массам и слишком мало отдельной личности. Я люблю свою старомодную свободу. Борозды в моем мозгу проведены так глубоко, что мне из них не выкарабкаться. В теории я ещё могу научиться чему-нибудь новому, а на практике — нет.

— Прости, но, мне кажется, ты себя недооцениваешь,— осторожно возразил Ганс.— Ты разве не говорил, что для «Зала ожидания» тебе пришлось сочинять абсолютно новую музыку? И разве твоя новая музыка не даёт тебе тепла?

Но Зепп отверг эти доводы.

— В твоём мире,— нетерпеливо сказал он,— я чувствовал бы себя ужасно неуютно, в этом я уверен. Мне пришлось бы отказаться от всех милых сердцу привычек, а без них я не мыслю себе свою жизнь. Все это беспомощные слова,— вдруг сердито прервал он себя,— а то, что я хочу сказать, в слова не укладывается. Старое не умерло, а в новом ещё нет дыхания, мы живём в мерзкое переходное время, это действительно жалкий зал ожидания. Все, что я говорю тебе, я вложил в свою музыку. А выраженные словами, мысли мои звучат мелко и мелодраматично, и я, конечно, по-твоему, ужасно сентиментален. Нет разве? Но, быть может, ты понимаешь меня? — запальчиво спросил он тоном прежнего, взрывчатого Зеппа.

— Надеюсь, что понимаю,— скромно сказал Ганс. Его спокойный голос умиротворяюще подействовал на Зеппа.

— Я счастлив, что у меня хватило выдержки оставаться в газете, пока не разрешилось дело Бенямина, и только тогда вернуться к музыке,— признался он мальчугану.— Нельзя сказать, чтоб я многого достиг. И ты, вероятно, думаешь про себя, что мои претензии жалки. Я и сам себе представляюсь плешивой и общипанной птицей, как политик, конечно. В особенности когда говорю об этих вещах, как почти законченный рантье, сытый и самодовольный. Но с меня хватит того, что я сделал, это было трудно, дорогой мой, и совесть моя

чиста. А теперь скажи честно, Ганс: ты смотришь на меня сверху вниз?

— Я ведь не свинья, — просто сказал Ганс. — Смотрю на тебя сверху вниз? Да я счастлив, Зепп. Теперь я уеду гораздо спокойнее.

Зепп немножко стыдился своих признаний.

— Однако хватит выворачивать себя наизнашку, — сказал он. — Я, право, чувствую себя неким персонажем с картинки одной из тех ужасных старых книг, которые выставлены под колоннадой Дворцового парка, — этаким баварским герцогом, который отрекается от престола и величественно передает сыну корону и скипетр. В школе нас заставляли учить одно стихотворение — не знаю, вбивали ли его и вам в головы, — так там были такие строчки:

Сын, вот мое копьё,
Возьми его, оно мне тяжело.

Вот я тебе и передаю мое копьё, Ганс. Я уйду в отставку по старости.

— Знаешь, Зепп, — сказал Ганс, — это очень хорошо, что ты решил ограничить свою деятельность музыкой. Так ты натворишь меньше бед здесь, в Париже, а я смогу спокойно спать там, в Москве.

На следующий день поздно вечером Зепп, работая над симфонией, вдруг услышал то, чего давно ему до боли не хватало. Он услышал, как пришел долгожданный поезд, наперекор всему, *quand même*, и как невидимая стена зала ожидания рухнула и ожидавшие наконец уехали в страну свободы.

Он глубоко вслушался в себя. Наконец-то поток прорвался, чистый и ясный, не бледный и путано-идеалистический, каким в свое время был финал «Ада», когда появляется Беатриче. Но в нем нет и патетики, нет и той дешевой уверенности, того грошового опьянения, которое он испытал в 1914 году; в нем звучит вера, купленная жертвами, вера с примесью печали о тех, кто брошен на произвол судьбы. Счастье, от которого не легче становится на сердце, а тяжелее.

Зепп робко, смиренно заиграл, вслушиваясь в мелодию. Он играл Анне, ей первой играл он финал своей новой симфонии.

Смутно помня обещание, данное господину Мерсье и другим соседям, позднее десяти часов не играть, он сначала играл очень тихо. Но вскоре забыл о соседях, ничего больше, кроме «Зала ожидания», не существовало для него, он изо всех сил ударял по клавишам. Извлекаемые им звуки не были мелодичны, со всех сторон стучали соседи, но для Зеппа эта музыка звучала прекрасно, и для грядущих поколений она тоже будет звучать прекрасно.

Глава 17 НЮРНБЕРГ

В эти сентябрьские дни в Нюрнберге состоялся ежегодный съезд национал-социалистской партии. С тех пор как нацисты взяли власть в стране, они каждый раз превращали съезд своей партии в шумный ярмарочный балаган, в грандиозный парад солдатских ляжек, мундиров, знамен, глупости, духовых оркестров и воплей. Мания величия ораторов расцветала буйным цветом, они сочиняли самые нелепые сказки для восхваления собственных добродетелей и силы и для высмеивания слабости и пороков противника. Следуя принципу своего фюрера, провозгласившего, что, «чем несуразнее ложь, тем скорее ей поверят», нацистские ораторы не гнушались никакой лжи, как бы глупа она ни была, и никакой клеветы, как бы нагла она ни была. Они взбирались на трибуну и выплевывали всю эту мерзость на головы черни, собиравшейся в Нюрнберге.

Вершиной деятельности этого съезда национал-социалистской партии 1935 года, названного «Имперский съезд свободы», был принятый им закон «Об охране чистоты немецкой крови и немецкой чести». По этому закону евреям под страхом тюремного заключения запрещалось вступать в половую связь с «подданными германского государства, в жилах которых течет немецкая кровь или кровь, родственная ей».

Лишь немногие понимали, большинство же только смутно представляло себе, какой шквал горя и бед несет с собой этот закон бесчисленному количеству немцев, и отнюдь не только еврейского происхождения. Практически от него было мало проку его вдохновителям и десяткам тысяч душегубов; его отцом был мрак ненависти, а мать — глупость.

Вечером того дня, когда закон был опубликован, у Юлиана Царнке собрались около радиоприемника несколько друзей. Пришли Петер Дюлькен и певец Дональд Перси, был здесь и немецкий рабочий, некий Каспар Тудихум, которому удалось бежать из концентрационного лагеря и перебраться через границу. Спокойный, суровый, задумчивый человек обратился по какому-то делу к советнику юстиции Царнке. И Юлиану Царнке, с жадным интересом присматривавшемуся к людям, он очень понравился.

Все сидели и слушали рев и тывканье, которыми наводняли эфир нацистские руководители. Среди рюмок с вишневым ликером, кофейных чашек, тарелок и блюд со сладостями лежал последний номер газеты «Фелькишер беобахтер». Через всю первую страницу ухмылялась голова нюрнбергского гаулейтера с большими ушами, маленькими глазками, с впадиной на месте мозжечка.

Царнке бегал по комнате, рассыпая по ковру пепел сигары.

— Множество немецких женщин, вышедших замуж за евреев, — говорил он, — станут в очередь, торопясь поклясться, что их дети — плод измены мужу. Я не могу понять, — продолжал Царнке, задумчиво качая мясистой головой, — как взрослые, солидные люди, судьи, присяжные выносят на основании таких законов приговоры и разыгрывают перед всем народом дурашливых простачков. Даже в узком семейном кругу они, вероятно, подрывают свой авторитет, когда говорят, что принимают всерьез подобные законы. Авторитет. Семья. — Под густыми черными усами Царнке появилась кривая, ироническая и грустная улыбка; он думал о своем сыне Роберте, о тех трескучих фразеях, которые

тот теперь, наверно, произносит, чтобы окончательно провести черту между собой, на три четверти арийцем, и отцом-метисом.

— Почему, собственно,— спросил певец Нат Курлянд, ныне Дональд Перси,— они питают такую идиотскую, бешеную ненависть к евреям?

Он говорил, ни к кому не обращаясь, подперев голову короткопалой широкой рукой; в горячих карих глазах его, задумчиво устремленных в пространство, было страдание.

— Я понимаю,— размышлял он вслух,— им нужен еврейский капитал, еврейские предприятия, чтобы насытить своих людей и отвести от себя вину за тяжкие условия существования. Но они могли бы это сделать гораздо проще. Зачем им издавать законы, которые им не приносят никакой выгоды,— ведь это только глумление, только доказательство их безграничной, звериной ненависти?

— Напрасно вы ломаете себе голову над подобными вопросами,— сказал Петер Дюлькен и отбросил со лба прядь волос.— Причин для их ненависти много. Одна из них, например, заключается в том, что примитив видит в разуме своего самого страшного врага. Безмозглая чернь, которую война и ее последствия подняли на поверхность и сделали властительницей Германии, сама в себя не верит. Чернь ненавидит разум, а в евреях, справедливо или несправедливо, она видит его представителей.

— Верно,— подтвердил Царнке,— эти люди ненавидят евреев не за неполноценность, а за высокую полноценность. Как-то на границе с Литвой я встретил одного крестьянина, который вел тяжбу со своим еврейским конкурентом. «Не мудрено быть умным, если ты еврей»,— сказал он мне с возмущением.

— Когда я слушаю разбойничьи речи, которыми этот сброд загрязняет эфир,— начал опять певец Дональд Перси,— я развожу руками: неужели ему восторженно аплодируют те самые люди, которые два года назад так же восторженно аплодировали в оперном театре мне?

— Это не те самые люди,— мягко сказал Царнке и наполнил пустую рюмку певца.

— Нет, те самые, — настаивал Дональд Перси. — Не говорите мне, пожалуйста, что есть немцы и есть боши. Все немцы — боши. Они-то ведь не делают разницы между евреем и евреем, хотя мне как-то сказал один знакомый, что есть евреи и есть израелиты. Я не израелит, я еврей.

— Выпейте еще рюмку ликера, — старался успокоить его Царнке, — и оставьте вы эту тему. Видите ли, человеку свойственно стремление утвердить себя, каждому хочется представлять собой нечто большее, чем окружающие. В бразильских лесах живет примитивное племя бакайри. По-бакайрски «кура» значит «мы», а также «хороший, благородный», а «курапа» значит «не мы», а также — «плохой, безобразный, отвратительный». Вот вам причина, почему нацисты и бакайри против евреев.

— Все очень просто, — сказал рабочий Тудихум. — Нацисты не признают прав человека. Эксплуататоры всегда против прав человека.

Дональд Перси довольно много выпил и был настроен воинственно.

— Все, что вы здесь говорите, — воскликнул он, — может быть, и очень верно, но ровно ничего не объясняет. Вот скажите, ведь вы семи пядей во лбу, — налетел он на Петера Дюлькена, — что мы сделаем с этими радиоглашатаями, когда Германия опять будет наша? Эта сволочь, которая изо дня в день всю грязь, изготовляемую министерством пропаганды, изрыгает в эфир на саксонском, швабском, кельнском, восточнопрусском диалектах, она уж и впрямь разъедена проказой. О боже, если б мне в руки попался такой молодчик. — Перси вскочил, истуканно потрясая кулаками в сладострастном предвкушении такой возможности.

Эти люди часто предавались надеждам и мыслям о том, что будет, когда они вернутся на родину, в каком состоянии они застанут ее и что надо будет там сделать. В этот вечер, после небольшого возлияния, да поскольку еще Дональд Перси разбередил раны, излюбленная картина встала перед ними особенно волнующая.

— Да, — сказал Царнке, — навести порядок в Германии, когда мы вернемся туда, это одна из самых труд-

ных проблем. Нелегко будет отличить среди бесчисленных нацистов по необходимости, кто из них ростбиф — сверху коричневый, а внутри — красный, а кто пасквозь коричневый.

— Долго мы не станем разбираться,— вмешался в разговор рабочий Тудихум, и в его медлительном, густом голосе прозвучали зловещие нотки.— Долго не будем канителиться. Мы не забыли ошибок восемнадцатого года. Второй раз не повторим. Теперь уж мы не побоимся отрезать гнилой палец, хотя бы пришлось отхватить ненароком и здоровый.

— Такого радиопачкуна я бы даже с бóльшим удовольствием задушил собственными руками, чем Кантшустера.

— Кто это Кантшустер? — деловито осведомился Царнке.

— Кантшустер три недели был моим надзирателем в концлагере,— ответил Дональд Перси.

Рабочий Тудихум заинтересовался.

— Значит, Кантшустер и у вас был? — спросил он.

— Да,— сказал Перси и с горечью установил: — Мир так тесен, что всегда находятся общие знакомые. Когда-то у многих поколений бывали общие учителя, а теперь у нас общие тюремщики. Ох, и садист же был этот Кантшустер,— предался он воспоминаниям.— Некому заключенному он в мороз приказал прыгнуть в реку, одежда у заключенного примерзла к телу, Кантшустер заставил его прыгнуть вторично, и в третий раз, и в четвертый, пока человек, весь синий, не упал без чувств. Понять, что это такое, сидя в сухом платье в теплой комнате, нельзя,— чуть не с упреком, чуть не с вызовом сказал он своим собеседникам.

— Кантшустер был еще не самый лютый,— заметил своим медлительным голосом рабочий Тудихум, умеряя пыл Дональда Перси.

— Нет, самый лютый,— запальчиво настаивал Перси.

— Вот видели бы вы Амана, зверь был, а не человек,— с таким же упорством, но по-прежнему спокойно настаивал Каспар Тудихум.— За всякую безделицу приказывал связать человека и спускал на него собак или

избивал кнутом. У всех, кому пришлось иметь дело с Аманом, до сих пор не зажили рубцы от собачьих укусов. Аман — это был сам сатана.

— Хуже Кантшустера нет никого, — горячился Дональд Перси.

— Аман хуже, — настаивал Тудихум. — Смотрите, — и он обнажил голень и ляжку; на них были рубцы от укусов.

Дональд Перси, огорченный тем, что он не мог продемонстрировать рубцов, рассказал еще о каких-то зверствах своего Кантшустера.

Тудихум, в свою очередь, добавил кое-что к списку подлостей Амана, и оба с холодной, даже жестокой деловитостью наперегонки пустились перечислять леденящие душу деяния своих надзирателей. Рассказы и того и другого изобиловали страшными подробностями и причудливыми сухими терминами.

— Но не станете же вы отрицать, — привел еще один довод Каспар Тудихум, — что Аман насмерть затравил Штенцера.

На мгновение Дональд Перси умолк, а потом как-то странно, мрачно сказал:

— Многих затравили насмерть. — И оба замолчали.

Да, погибли многие; между певцом Дональдом Перси и рабочим Тудихумом возникло что-то общее, выделившее их из числа присутствующих, потому что они страдали вместе с погибшими заключенными. Обоим стало вдруг стыдно за этот дурацкий спор.

Царнке и Дюлькена неприятно поразило драчливое упорство спорщиков, которые старались переплонуть друг друга, доказывая, чей надзиратель был большим негодяем.

От последнего довода Каспара Тудихума, положившего конец чудовищному спору, — что Аман насмерть затравил Штенцера, у них мороз пробежал по коже. Они переводили взгляд с Дональда Перси на Тудихума и с Тудихума на Дональда Перси. Оба были невысокого роста, в остальном же резко отличались друг от друга и своим внутренним обликом и внешне. Но, кроме роста, пожалуй, еще две черты были у них общими — стой-

кость, без которой они не выдержали бы ужасов концлагеря, и неослабевающая ярость, которую они принесли оттуда.

— Самое большое зло от господства этих полузверей,— помолчав, сказал Царнке, все еще под впечатлением нелепого спора Перси с Тудихумом,— самое большое зло в том, что они любыми средствами стараются обесчеловечить человека. Одного они достигли — все мы кое-что утратили от своей человечности, что-то привилось нам всем. И мне в том числе,— признался он, словно извиняясь, и даже как будто улыбнулся; он подумал о своей тоске по Берлину, по Моабиту, по своему глупому сыну.— Когда Германия опять будет наша,— размышлял он вслух,— нам будет чертовски трудно вновь обратить в людей двуногие существа, из которых долгие годы вытраивалось все человеческое.

— Боюсь,— сказал рабочий Тудихум,— что еще очень рано ломать себе голову над такими вопросами. Нам еще чертовски долго ждать, пока Германия вновь станет нашей.

— Нельзя терять терпения,— мягко сказал Царнке.— Об очень высоком человеке евреи в шутку говорят: долог, как изгнание. А под изгнанием они имеют в виду время, прошедшее со дня разрушения храма в Иерусалиме, это приблизительно тысяча восемьсот шестьдесят пять лет. Что же нам говорить, если нашему изгнанию еще и трех лет нет?

— Мне думается, что мы быстро вправим мозги нашим немцам,— ответил на прежнюю мысль Царнке Дональд Перси.— Всю войну, четыре года подряд, день и ночь нам вколачивали в головы, что нет ничего величественнее стальной бани и железной дисциплины. И понадобились не годы, а часы — да вы это знаете лучше меня, вы на себе это испытали,— не годы, а часы, чтобы вернуть себе человеческий разум. Почему же теперь это не удастся?

Они опять включили радиоприемник и настроили его на волну немецких станций. Передачи со съезда в Нюрнберге и сообщения о нем кончились. Вместо них передавался вечерний концерт, симфония Гайдна в мастерском исполнении.

— Неужели вы серьезно думаете, — приглушенным, глубоко растроганным голосом спросил Петер Дюлькен в перерыве между первой и второй частью, — неужели вы думаете, что этот народ мы не сделаем вновь человечным?

Но не успел Царнке ответить, как перед началом третьей части раздался один из знакомых гнусных голосов, который в знакомых гнусных выражениях прокричал о величии третьей империи и о ничтожестве всего остального мира. Ночь за ночью третья империя загрязняла эфир такого рода саморекламой, упакованной в очень хорошие концерты; только таким путем нацисты добивались того, что миллионы радиослушателей, которые иначе заткнули бы себе уши, лишь бы не слышать этой рекламы, вместе с музыкой невольно глотали ее.

Через несколько минут лай нациста прекратился, и в эфире звучала лишь одна немецкая музыка.

Зепп работал над «Залом ожидания». Было объявлено об исполнении его произведений в Париже и впервые — в Лондоне. Его это мало трогало; он работал.

И все, что происходило в Нюрнберге, тоже превращалось в материал для «Зала ожидания». Зеппу теперь ясна его задача в общей борьбе против насаждения варварства в Германии. Он должен писать свою симфонию и ничем другим не заниматься. И если ему удастся написать ее так, чтобы другие услышали музыку, которую слышит он внутренним слухом, тогда он сможет сказать себе, что свою долю в борьбу за победу над варварами он внес.

Его задача — дать людям почувствовать всю горечь ожидания. А Нюрнберг — это тоже одна из фаз великого ожидания. Нюрнберг означал, что опять упущен случай, опять поезд прошел мимо, опять напрасно ожидали его. Так называемая немецкая культура, на которую столь многие возлагали столь много надежд, была разбита наголову и не смогла помочь людям улучшить условия своего существования.

Нюрнберг — это воистину символ. Нюрнберг — Готфрид Келлер верил в этот город и изобразил его как средоточие гармоничного сочетания науки, искусства, цивилизации. Нюрнберг — Рихард Вагнер верил в него и чарами своей музыки представил на сцене в праздничном ореоле великолетия и славы. Нюрнберг времен «Зала ожидания» — Гитлер и его проходимцы сделали этот город местом сборища черни, местом демонстрации глупости и насилия. Немецкий Нюрнберг приобрел теперь два лица. В сердцах и мыслях многих и многих это все еще Нюрнберг Альбрехта Дюрера, но отныне никто не сможет услышать название этого города, чтобы не подумать о Нюрнберге Гитлера. Отныне при упоминании этого города наряду с представлением о величии и силе искусства неизбежно возникнет представление о варварстве и насилии, теперь уж вписанных в его историю. Возможно, что для грядущих поколений ни имя Альбрехта Дюрера, ни имя Адольфа Гитлера не будет воплощением облика этого города, а вот имя большого нюрнбергского мастера Фейта Штосса воплотит его: днем Фейт Штосс творил искусство ради искусства, а ночью пользовался своим искусством, чтобы подделывать ценные бумаги.

Все, что Зепп в эти дни думал, чувствовал, все, чем он жил, он переливал в свою музыку. Это была счастливая работа. Все «приходило». О «Зале ожидания» уже никакой Черниг не скажет, что это опиум, и никакая Анна не станет уверять, что от этой вещи еще «пахнет потом». В его новой симфонии — ни намек на академическое, тяжелое великолепие «Ада», эта музыка живет. «Кричи, искусство, кричи и горюй»; да, его искусство кричало, горевало, оно обвиняло, и эти обвинения нельзя будет не услышать.

Зепп ликовал, он ощущал в себе великую силу уверенности.

В эти дни он где-то прочитал, что один из нацистских бонз отдал приказ Филармонии организовать для него застольную музыку. И вот, когда филармонический оркестр под управлением Леонарда Римана играл для бонзы и его гостей, сидевших за столом, бонза послал одного из своих адъютантов сказать Риману, чтобы по-

тише играли, громкая музыка мешает, мол, застольным разговорам. Зепп Траутвейн не имел возможности убедиться в достоверности этого эпизода, но он представил себе лицо Римана в ту минуту, когда ему передали приказ хозяина дома, представил себе, как Риман после некоторых колебаний все-таки подчинился, как возмутил его приказ хамов играть потише и как он страдал от сознания своего бессилия. Зеппу было жалко Римана. Но кто заставлял Римана оставаться у хамов?

Он, Зепп, во всяком случае, сидит здесь, в Париже, и пишет «Зал ожидания». Он работает, он проигрывает себе собственную музыку, он потеет, он прищелкивает языком, он смеется от счастья.

Думал Зепп и о Петере Дюлькене. Как бешеный работает Петер в редакции «ПП», вместо того чтобы заниматься музыкой. Зепп и его жалел, жалел чуть ли не свысока, жалел жалостью богача к нищему. «Зал ожидания» не посрамит вас», — подумал он. Под этим «вас» он имел в виду всех эмигрантов. Улыбаясь, решил он подарить Петеру Дюлькену партитуру своей новой симфонии.

Глава 18

ГЕЙЛЬБРУН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ

В редакции «Парижской почты» всегда рассматривали приход национал-социалистов к власти как победу звериной глупости над человеческим разумом. И все же редакторы «ПП» не меньше других были потрясены наглостью нюрнбергского сброда; его господству не исполнилось еще и трех лет, а уж он возомнил себя настолько могущественным, что во имя своей маниакальной идеи открыто объявил войну цивилизованному миру.

Вся редакция гудела от разговоров. Поймет ли когда-нибудь мир, почему имела место такая беспримерно наглая демонстрация, как нюрнбергская? Чернь, взявшая в Германии власть, могла удержать ее при одном условии — если она окончательно ослепит и оглушит народ, как в свое время соколам зашивали веки, чтобы научить

их доставлять добычу охотникам. Немецкий народ терпел не только тяжелые материальные лишения, но еще более страшные моральные муки ради того, чтобы кучка черни упивалась властью и успехом. Но поймет ли это когда-нибудь мир? Захочет ли понять?

Как ни велико было возмущение сотрудников «ПП» тем, что нацисты в своей войне с разумом главной мишенью избрали евреев, в которых видели, следовательно, наиболее сильных представителей разума, все же факт этот наполнял гордостью сердца редакторов-«неарийцев». На каждом из них лежал отблеск мученичества. Никто из этих «неарийцев» не выделялся особыми талантами, это были средние люди еврейского происхождения, немецкие евреи, и в своем качестве немецких евреев они страдали, терпели гонения и преследования. Но где еще в новой истории человечества существовала группа людей численно столь незначительная, едва достигающая полумиллиона человек, которая на протяжении одного столетия подарила бы миру такие духовные ценности, как эта группа немецких евреев, жившая в девятнадцатом веке? Гейне и Шницлер, Мендельсон, Оффенбах и Малер, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн, Вассерман и Эрлих, Герц и Габер — можно ли представить себе нацию цивилизацию без вкладов, которые сделали эти люди в ее сокровищницу?

Ясно было одно: задача газеты, ее ответственность возросли. Необходимо было работать энергичнее, чем до сих пор, воинственнее, злее. Одно из двух — либо погибнуть, либо бороться с врагом его же примитивным, грубым оружием.

Острее других все это чувствовал Франц Гейльбрун. Мог ли он, такой терпимый, такой уравновешенный резонер, человек, которому не так легко втереть очки и который сам не способен на глупые или хамские поступки, — мог ли такой человек в такие времена быть главным редактором боевой газеты? Либеральной тактикой довоенного времени сейчас, после издания нюрнбергских законов, ничего не сделаешь. Не в том дело, что оптимизм изменил Гейльбруну. Он не был малодушным человеком, он попросту чувствовал, что для такого времени он стар.

Из этих фактов и чувств следовал вывод — надо выходить в отставку. Это было нелегко и означало не только отказ от влияния, которым он пользовался как главный редактор, но и от множества привычек, скрашивающих жизнь; это означало также значительное сокращение доходов.

Он шел на все. От жизни он уже много не требовал, он разъяснил и своей строптивой дочери Грете, что и ей не следует быть слишком требовательной. Затем сообщил Бергеру и Пфейферу, что не чувствует себя более на месте в кресле главного редактора. Советом он всегда готов помочь, но от практической работы в «ПП» решил устраниваться. Он хочет посвятить себя прошлому, рассказать о нем, писать мемуары. Пусть поищут себе более молодого главного редактора. Его отставку не приняли. Он настаивал.

Редакторы не знали, что делать. Кого предложить в преемники Гейльбруну? Самая подходящая кандидатура — Фридрих Бенъямин. Но всех одолевали сомнения. Бенъямин человек трудный и, кроме того, одержим навязчивой идеей. В конце концов все же перевесили соображения, говорившие за него: его имя, его судьба, его фанатизм, его незаурядные способности, его неукротимая страстность в работе. Единственный, кто настаивал на своих возражениях, был по-прежнему Петер Дюлькен.

Фридриху Бенъямину предложили пост главного редактора.

Вечером этого дня Бенъямин сидел в кафе и работал. Он решил написать серию статей о съезде в Нюрнберге. Три статьи уже были опубликованы, они удались, их много цитировали.

Он сидел, посасывая сигару, и писал. Он любил работать в кафе. Круглые глаза его задумчиво, словно не видя, смотрели на людей, он делал заметки на мраморном столике, потом быстрым, изящным почерком начинал писать, вычеркивал, писал снова. На лице у него отражалось все, о чем он писал. И эта статья ему удастся. Каждый аргумент выходит из-под его пера отто-

ченным, как в лучшие годы, его противопоставления убедительны.

Но так продолжалось недолго; вскоре ему стало трудно сосредоточиться, и с каждой минутой все труднее и труднее. Ему не давало покоя предложение коллег. Как оно ни радовало его, он все же мучился сомнениями. Было ясно, что пост главного редактора ему предложен не потому, что он — это он, а потому, что он человек особенной судьбы. Его судьба поставила под вопрос все его отношения с людьми.

Да, он стал невероятно подозрителен, даже в Ильзе он не уверен. Как же обстоит у него с Ильзой? Чувство Ильзы как будто во много раз глубже, чем раньше, но не вызывается ли ее глубокая привязанность теперь все той же его судьбой?

Он принялся анализировать свои отношения с Ильзой под новым углом зрения. Что с самого начала толкнуло Ильзу в его объятия, как не каприз, случай? Она, что называется, упала к нему с неба. «Эпизод» этот был азартной игрой, и развязку его можно объяснить только везением. Переменой в Ильзе, ее, пожалуй, даже настоящей любовью он опять-таки обязан, по всей вероятности, случаю, тому случаю, который ему подарила его исключительная судьба. А если ее теперешняя привязанность относится, по сути дела, не к нему лично, а к его так называемому мученичеству, прочна ли эта привязанность? Не держится ли она на зыбкой почве? Недоверие, которое он все время чувствовал к происшедшей в Ильзе перемене, вполне законно. У него все основания неустанно быть начеку, ловить малейший признак возрождения прежней, высокомерной Ильзы, выказывавшей ему презрение. Угрюмо признался он себе, что ему почти доставило удовольствие, когда она недавно отчитала его за отношение к Зелпу.

Он заставил себя вернуться к статье и работать.

Проработал он недолго. Очень скоро мысли его опять закружились вокруг Ильзы. Обычно он умел тонко и умно рассказать о человеке. Но на практике, когда необходимо чутьем понять другого человека, приноровить свои действия к его характеру,— тут он часто пасует.

Вот и теперь он не знает, как ему быть с Ильзой. Вполне возможно, что ее теперешнее отношение к нему лишь чисто поверхностное, о чем она сама, быть может, не подозревает, а в душе она осталась такой же, какой была. Если это верно, то что сделать, чтобы сохранить ее нынешнюю привязанность, сохранить надолго, навсегда?

У него возник авантюристический план. Разве предложение его коллег не доказывает, что имя его, заслуженно или незаслуженно, имеет ныне бóльшую, чем когда-либо, рыночную стоимость? Так не воспользоваться ли ему конъюнктурой и не раздобыть ли денег для осуществления его старой идеи, для его «Платформы»? А что, если вновь выпустить «Платформу», ограничиться только ею, расширить ее? В этом журнале он мог бы провозглашать свои идеи в чистом виде, и не окольными путями, как сейчас, а открыто, не оглядываясь ни на кого. И тогда он не только показал бы Ильзе, кто он на самом деле, но у него были бы деньги и возможность удовлетворить ее стремление к внешнему блеску.

И вдруг он почувствовал, что новая, теперешняя Ильза растаяла, обратилась в тень, в сновидение; он был убежден, что как прежде, так и теперь реальна только одна Ильза, насмешница, любящая роскошь, требующая исполнения всех ее прихотей.

Глубоко задумавшись, замкнувшись в себе, сидел он за мраморным столиком. Не было больше ни людей вокруг, ни статьи его, существовали, жили только он и Ильза.

Между ним и ею встало много недоговоренного. Он, например, странным образом боялся рассказать ей о встрече с Зеппом. Она не спросила, и он отмолчался. И о том, что ему открылось в немецкой тюрьме, он тоже не мог ей поведать. Но если он добьется своей «Платформы», тогда он уж сможет не только Ильзе, но и всем ясно и четко сказать обо всем, что он понял в немецкой тюрьме. По отношению к «Парижской почте» он совершил бы предательство. Но разве великое дело не извиняет маленького предательства? Он отдает себе отчет, что мотивы у него не совсем чистые, но разве благород-

ное дело утрачивает свое благородство оттого, что у его пророка помыслы не совсем чисты?

Он поговорит с Ильзой. На этот раз он заставит себя. Обнаженно и бесстыдно предложит ей содержать ее богаче. Откровенно, ничего не утаивая, скажет, почему предлагает; приведет все внутренние и все внешние мотивы. Он не полубог, он человек, головой упирающийся в небо, а ногами стоящий в луже.

Беньямин уговорился с Ильзой встретиться вечером в одном недорогом ресторане. В зале было накурено и шумно, рыба подгорела, вино было плохое, но Ильза слова не сказала на этот счет. Он все время спрашивал себя, говорить ли. Для такого разговора обстановка здесь была неподходящей. Беньямин отложил разговор. Ильза казалась утомленной. Он предложил взять такси. Она отказалась. Спустились в метро.

Вернувшись в «Атлантик», молча посидели еще немного друг против друга. Она не сняла ни шляпки, ни жакета, была, видно, очень утомлена.

— Пора, пожалуй, ложиться, — сказала Ильза.

Нет, нет, раньше чем лечь, он непременно должен поговорить с ней; если до того, как она уснет, он не скажет, какую жизнь хочет предложить ей, она ускользнет навсегда. А этого нельзя допустить. Он не может потерять ее, всем своим существом он жаждет этой женщины, которая сидит против него, усталая и сонная, он жить без нее не может, надо удержать ее, все остальное несущественно. И неожиданно с несколько судорожным лукавством он говорит:

— А что, Ильза, ты никогда не мечтаешь вернуться в отель «Рояль»? Может быть, нам опять переехать туда и жить немножко шире, хотя бы так, как раньше? Как ты на это смотришь?

Ильза уставилась на него, по-детски приоткрыв широкий рот. Она не понимала, куда он клонит. К чему он все это говорит? И вдруг, вероятно под влиянием бесконечных разговоров о нюрнбергских законах, ей пришло в голову: «Может, он считает меня дурой и думает, я теперь раскаиваюсь, что поехала с ним и не осталась у Гитлера. Он все еще очень наивен».

— Голубчики мои,— сказала она певуче, с отчеть саксонской интонацией и звонко расхохоталась.— Ты, верно, спятил или разыгрываешь меня.

Это «голубчики мои» и «ты, верно, спятил» в одно мгновение начисто смыли все его бредовые фантазии, все, что он наплел, сидя за мраморным столиком кафе; он ясно понял, что прежней Ильзы нет больше, раз и навсегда. И, осознав это, он и с прежним Фридрихом Бенямином навсегда простился. Он примет предложение своих коллег и забудет о мечте, именуемой «Платформа». Он и дальше будет работать, как работал, не гордясь своей новой мудростью, очень скромно, дипломатично, хитро, не во имя своего тщеславия, а только во имя своей идеи. Чувство уверенности в Ильзе будет ему опорой.

Улыбка медленно озарила его лицо, и на этот раз она показалась Ильзе прекрасной, светлой улыбкой. Фрицхен опять неправильно понял ее, сущий ребенок. Ильза смотрела на него, на этого большого, значительного человека с его необыкновенной судьбой, снизу вверх, и в то же самое время — сверху вниз, с высоты своего женского существа, смотрела почти материнским взглядом, как на малое дитя.

— Знаешь, я был у Зеппа Траутвейна,— сказал Бенъямин, и это прозвучало как исповедь.— Я немножко разболтался у него, дал себе волю, а он говорил мало. Мы люди разные, но мне кажется, что мы друг друга поняли, по крайней мере на то время, что были вместе,— прибавил он для вящей точности. Ильза ничего на это не сказала, и он торопливо продолжал: — Кстати, мне предлагают место главного редактора «Парижской почты». Оттого-то я и спросил, не хочешь ли ты переехать в отель «Рояль». Разумеется, это была глупая шутка,— с раскаянием прибавил он.

— Да, это была глупая шутка,— откликнулась Ильза.— Но в одном ты прав,— решительно сказала она.— «Атлантик» мне изрядно надоел, отсюда надо выезжать. Пойщем где-нибудь маленькую квартирку. А что, если бы я попробовала вести хозяйство? Как ты думаешь?

Он широко открыл глаза. Ильза говорила совершенно его же тоном. Смеется она над ним? Передразнивает? Пародирует?

— Голубчики мои,— неуверенно протянул он наконец со слабой попыткой пошутить.

Ильза нервно курила. Что она натворила? Зажить скромно, ограничивая свои потребности,— такая мысль не раз приходила ей в голову, но была далеко еще не продумана. Ильза увлеклась, ее так удивило и тронуло его неожиданное предложение, что она шагнула дальше, чем хотела. Она любила Бенъямина, но значит ли это, что нужно стать его служанкой? А с другой стороны, она даже рада; внезапное решение отказаться от мира прежней Ильзы породило в ней теплое чувство защищенности, большого покоя. Так человек, набегавшись, насуетившись за день, ложится в постель и вытягивается; еще болит от усталости все тело, но он чувствует приближение сна и заранее сладостно превдк:ушает его.

Фридрих Бенъямин тем временем понял, что Ильза не шутит. Никогда, взволнованно сказал он, не примет он такой жертвы. Наоборот, необходимо чаще показываться в обществе, встречаться с людьми; положение главного редактора требует «представительства». Ильза даже обязана хорошо одеваться, ему просто с политической точки зрения необходимо показывать, какая у него красавица жена. В последнее время он уделял ей возмутительно мало внимания, но теперь он все возместит.

Так, горячо убеждая Ильзу, говорил Фридрих Бенъямин. Но в душе он был уверен, что они поступят так, как предложила Ильза, и что мишурный и утомительный блеск последних лет слетит с них раз и навсегда, и что все, что он говорит сейчас, не больше чем своего рода вежливость, желание иносказательно выразить ей свою глубокую, горячую благодарность.

Продолжая говорить, он вдруг заметил, что говорит в пустоту. Усталость, одолевшая Ильзу, когда они сидели в ресторане, с удвоенной силой навалилась на нее после нервного напряжения, которого ей стоил этот разговор. Глаза у нее закрылись, а рот слегка приоткрылся; она медленно и ровно дышала.

Беспомощно и очень влюбленно разглядывал муж свою мирно спящую жену.

ВВЕРХ СТУПЕНЬКА ЗА СТУПЕНЬКОЙ

Для Эриха Визенера не было ничего неожиданного в наглых и подыгрывающих массам речах нацистов о расовой теории, прозвучавших на «Имперском съезде свободы» в Нюрнберге. Но что съезд завершится провозглашением столь тупоумных, гнусных законов — этого он уже никак не мог предвидеть. Он был ошеломлен, он не знал, куда деваться от стыда.

Однако не прошло и нескольких минут, как Визенер успокоился. Ему лично такой поворот весьма на руку. Он означал, что берлинские и берхтесгаденские господа чувствуют себя настолько окрепшими, что могут позволить себе пренебречь мнением всего культурного мира. Это упрощало и облегчало задачу Визенера. Впредь ему незачем настойчиво сигнализировать в Берлин, что такой-то акт или такое-то высказывание могут произвести за границей неблагоприятное впечатление. Отныне задача его состоит лишь в том, чтобы звучными формулировками прикрывать дела национал-социалистской партии. Отныне на его обязанности лежит сколачивание идеологической надстройки для действительности, создаваемой национал-социалистами. Человеку, который в совершенстве владеет средствами родного языка, заниматься таким делом чрезвычайно интересно. Чем сомнительнее материал, из которого его партия создает свой фундамент, тем смелее и чище должны быть очертания надстройки. Чем непригляднее действительность, тем больше требуется искусства, чтобы облечь ее в изящные идеологические одежды. Для артиста слова подобного рода задача отнюдь не лишена прелести. Кто поистине владеет речью, тот, несомненно, сумеет даже нюрнбергские законы о евреях так подать, так разукрасить их хорошими, человечными словами, что благожелателям эти законы покажутся в конце концов цивилизаторским актом.

Визенер тотчас же садится к столу. Он пишет о Нюрнберге. Он набрасывает одну из тех двусветных статей, писать которые он большой мастер. Разве не прекрасно, что в нынешней Германии доступная массам

простота сменила сверхизысканность эпохи крупного капитала? И разве не слепота, не предрассудок клеймить такое явление, называть его варварством? В статье Визенера зверство нацистов перерастало в силу, неуклюжая паглотность их лжи — в красивое прямотушение, их грубые насильнические методы — в проявление особой жизненности. Визенер работал со страстностью виртуоза; временами он сам верил в то, что писал. А читателем, к которому он прежде всего обращался, была Леа. Все, что в их последнем разговоре Визенер не сказал ей, потому что в ту минуту ему это не пришло в голову, он говорил между строк своей статьи.

Статья «О культурных итогах Нюрнбергского съезда» имела самый большой успех, который когда-либо выпадал на долю Визенера. Все, что было фашистского в Англии, Франции, Италии, цитировало его, а искусные, благозвучные аргументы Визенера его партия тотчас включила в железный фонд своей идеологии. Эрих Визенер сразу стал апостолом фашизма.

Вдобавок ко всему семена, которые он посеял по заданию Гейдебрега, ловко распространив некое, сочиненное им самим сообщение, дали чудесные всходы. В свое время он сумел так мастерски все устроить, что многие весьма солидные зарубежные газеты напечатали сообщение об одном из лидеров левых партий во времена Веймарской республики, министре Кипнере, который-де погиб в концентрационном лагере. К своему съезду нацисты вытащили на свет божий это почти уже забытое сообщение. Вот, мол, видные газеты в Нью-Йорке, Лондоне и Париже в свое время с шумом и бумом сообщали, что жестокие нацисты якобы расправились с министром Кипнером. Но о чем же говорит сие сообщение? Это на наглядном примере может показать немецкому народу и всему миру глашатай третьей империи. Он покажет, какая цена правдолюбию зарубежной прессы, если речь идет о нацистах. Вы утверждаете, что мы злодейски убили министра Кипнера? Да вы посмотрите, пожалуйста, все, все, посмотрите на наше позорное деяние. Вот оно. Поднимитесь сюда, Кипнер. Взгляните на него, друзья. Вот он перед вами, покойник, замученный пытками. Нет, мы не убили его, а воспитали

в атмосфере суровой, благотельной дисциплины концентрационного лагеря, там мы сделали из него истинного немца, нашего соплеменника. Все это он сам вам расскажет. И министр Кипнер выступил и лично засвидетельствовал, сколь полезен здоровый, мужественный режим концентрационного лагеря, которому он обязан своим прозрением и счастьем.

Ухмыляясь, слушал Визенер у радиоприемника выступление своей жертвы, ухмыляясь, читал он это выступление в газетах.

А позднее он даже увидел ее, свою жертву, собственными глазами. Гейдебрег, участник Нюрнбергского съезда, привез куски фильма, заснятого в Нюрнберге. Вскоре после своего возвращения в Париж он пригласил Визенера посмотреть выступление министра Кипнера, показанное в фильме.

Фильм демонстрировали в «Немецком доме». Зал был небольшой, но он казался большим оттого, что Визенер и Гейдебрег были одни; жужжание аппарата подчеркивало тишину.

На Гейдебрега этот заснятый на киноленту съезд его партии произвел, пожалуй, большее впечатление, чем в натуре. Он смотрел на шествие знаменосцев, он смотрел на десятитысячные колонны по-солдатски марширующих молодых людей, он смотрел на фюрера, плотного и крепкого телом, на его энергично выброшенную вверх руку, на его любимое, грозное лицо — воплощение полярных свойств немецкого человека: дисциплинированность символически выражали подстриженные усы, артистичность — начесанная на лоб прядь волос. Конрад Гейдебрег смотрел на самого себя, стоящего на трибуне среди приближенных фюрера. Нюрнберг. Великие дни. Пусть в деле Бенямина над интересами Германии взяло верх так называемое абсолютное право, этот бесплотный призрак, но второй раз, после нюрнбергской демонстрации немецкой мощи нечто подобное не повторится. Ибо теперь Германия вооружена так, что она повсюду и везде, где только понадобится, заставит уважать свое истинно немецкое правосознание, свой принцип: «Право есть то, что немецкому полезно».

И вот наконец кадр — выступление Кипнера. Это триумф Визенера. Он смотрел, как человек, которого он объявил убитым, для того чтобы покойник воскрес ad maiorem gloriam tertii imperii¹, действительно воскрес. На мгновение Визенер почувствовал легкую дурноту, точно от качки на море. Не все, конечно, так уж ладно с этим Кипнером, лучше не думать, какими средствами принудили его там сделать свое признание в пользу нацистов. И хотя вид у него, когда он стоял на трибуне, был более или менее здоровый, все же, как только он сошел с нее, этому здоровью, надо думать, пришел конец. Но все эти неприятные туманные картины быстро погасли.

— Ну, что скажете, mon vieux? — раздался в темноте голос Гейдебрега, и Визенер уже ничего более не чувствовал, кроме глубокой радости: маневр удался.

Ночью, когда он делал записи в своей Historia aсsana, он не мог нахвалиться самим собой. «Хитроумный Одиссей», — подумал он и записал — по-гречески, разумеется. Ему только досадно было, что нет здесь Леа или, по крайней мере, Марии: уж очень ему хотелось покрасоваться, порисоваться перед ними.

Назавтра среди утренней корреспонденции он увидел письмо, подписанное каким-то Гингольдом. Да, комбинация с «ПН» так далеко отошла для него в прошлое, что имя господина Гингольда совершенно забылось, и какую-то долю секунды Визенер всерьез напрягал память, стараясь вспомнить, кто же это. Потом, разумеется, он вспомнил и самодовольно усмехнулся. Черт побери, теперь этим писакам крышка, теперь уж они действительно сброшены со счетов раз и навсегда. Их сокращенные названия, какие бы там ни были — «ПН» или «ПП», — никогда ни на минуту не лишат его больше сна. Он избавился от них, он высоко взлетел, так высоко, что им до него не дотянуться. Пусть они высмеивают Нюрнберг, пусть называют Нюрнбергский съезд, эту грандиозную демонстрацию сил возмужавшего народа, варварским, бредовым, пусть облаивают или вышучивают его, Визенера, статьи, — их писанина, эти

¹ К вящей славе третьей империи (лат.).

беспомощные, академические сочинения все равно никого не трогают.

А почему не разрешить Гингольду явиться? Даже забавно, пожалуй; будешь глядеть на него, слушать, словно сидя в театральной ложе.

Шах Магомет прекрасно пообедал,
И духом он повеселел.

Знать, что эти писаки у тебя в руках, словно куклы в руках у ярмарочного кукольника, и смотреть, как извивается господин Гингольд, — занятное будет зрелище.

Секретарь Лотта Битнер сообщила господину Гингольду, что мосье Визенер ждет его в четверг, в одиннадцать утра.

Гингольд стал еще чудаковатее, за ним замечалось теперь еще больше странностей. Вернувшиеся дети были глубоко встревожены его расстроенным, больным видом. Нахум Файнберг рассказал им, что произошло, и они решили не показывать отцу, что знают о его горе. В просторной квартире на авеню Великой Армии домашние его жили своей прежней шумной жизнью, кричали, ссорились, играли на рояле, канарейка Шальшелес пела. Для случайно зашедшего невнимательного человека дом был полон знакомых звуков давнишней бравурной симфонии. Гингольд только на короткие мгновения включался в эту жизнь, кричал так же, как все, сердился, но очень быстро умолкал и уходил в себя, в свои снедающие думы.

Из Берлина не было, можно сказать, никаких вестей. Его агенты и агенты Нахума Файнберга отделивались пустыми отписками. От Гинделе — ни строчки, и даже Бенедикт Перлес умолк, никто не знал, что с ним произошло. Молчание было мучительнее самой страшной вести. Гингольду казалось, будто его окружают толстые тюремные стены молчания, такого молчания, которого никакой шум, никакие крики в его доме не могли сломить.

Сообщение о передаче Фридриха Бенямина швейцарским властям озарило грозным светом тьму то ли-

хорадоочно-суетливого, то тупого отчаяния господина Гингольда. В газетных строках он услышал голос бога, обращающегося к нему. Бог подал ему знак, небесный владыка педвусмысленно показал ему, что правы были крикуны и наглецы, а он, Гингольд, не прав. Его убеждение, что нельзя в открытую идти на архизлодеев, а надо исподволь, хитростью перехитрить их хитрость, не оправдало себя, и прав оказался профессор Траутвейн с его грубыми, прямолинейными и нахальными статьями, с его вечным криком. Ах, лучше бы профессор не бросал своей музыки и не совал нос в дела господина Гингольда. Не везло Гингольду с музыкантами. В Париже — профессор Траутвейн, в Берлине — учитель пения Данеберг.

А тут еще обрушились на его голову нюрнбергские законы о евреях. Все, что до сих пор только практиковалось, нацисты подняли на высоту законоположения. Теперь репрессии против учителя пения Данеберга уже не произвол, они диктуются четкими параграфами закона. Какие же зверства ждут теперь его дитя, его Гинделе?

Были как раз «судные дни», дни больших еврейских праздников — Нового года и дня искупления грехов. Гингольд, раздираемый тревогой, с изболевшейся, разбитой душой, стоял в синагоге, как все, в талесе, наброшенном на плечи, и, холодея, слушал пронзительный зов шофара, ритуального рога. В день Нового года господь решает судьбы людей на весь наступающий год, вносит в большую книгу жизни ниспосылаемые им благодеяния и кары, кредит и дебет, а в день искупления грехов скрепляет эти судьбы печатью. Гингольд бил себя в грудь, каясь в грехах своих, склонял старые, негнувшиеся, затвердевшие колени при одной мысли о неизрекаемом страшном имени господнем и был раздавлен сознанием собственного ничтожества. Он никуда не годен, и не только сердце у него плохое, но и голова никуда не годится, иначе он не просчитался бы так страшно.

— Не ради нас, о господи,— молился он,— а ради наших отцов и дедов, ради их заслуг, смилуйся. Кончается день,— молился он, обессиленный постом, покая-

нием и горем, так как день искупления был на исходе, — кончается день, солнце повернулось на запад, ворота сейчас закроются, не запирай для нас ворота, смилуйся.

Нахум Файнберг уже не критиковал своего хозяина, он его жалел. Он разведal, что не фон Герке скрывается за Лейзегангом, как он полагал раньше, а часто упоминаемый в последнее время господин Визенер. Визенер, как узнал Нахум, человек настроения, иной раз на него вдруг находит даже стих великодушия. Среди его любовниц есть еврейки. Неплохо бы встретиться с ним — повредить это никак не может.

Со времени душераздирающего телефонного разговора с отелем «Кап-Мартен» Гингольд не искал соприкосновения с архизлодеями. Вот и теперь, последовав совету преданного Файнберга, он написал письмо Визенеру, но никаких надежд на успех у него не было, даже ответа он не ждал. Тем сильнее удивило его приглашение явиться к Визенеру.

Час, который ему назвали, был довольно ранний. Дрожа от холода и от страха, обливаясь потом, волнуясь, ехал он к Визенеру. Визенер был еще не одет; он считал, что тратить время на переодевание ради какого-то там Гингольда не стоит. В широком, черном, дорогом халате, являя собой нечто среднее между римским императором и самураем, сидел он перед своим посетителем.

Гингольд вглядывался в лицо Визенера. Роскошный халат подчеркивал мужественность этого лица, вместе с тем мягкого и веселого; это было лицо человека, проникнутого сознанием своего торжества. И Гингольд подумал: «Что это значит? Передо мной лицо не архизлодея, передо мной — человеческое лицо». И он вдруг решил отказаться от нечистого, недостойного дела с «ПН» и не вести с этим человеком долгой обходной тактики, а говорить честно, напрямик. Хуже, чем есть, не будет, и если он все же ничего не добьется, так, может, бог хоть сколько-нибудь смилуется над ним за отказ от «Парижских новостей».

Как честный коммерсант, начал Гингольд, он счел своим долгом открыто поговорить с господином Визене-

ром. От лиц, представителем которых является господин Лейзеганг, поступил в «ПН» крупный заказ на объявления на длительный срок, еще далеко не истекший, но в настоящее время он, Гингольд, не может выполнить всего того, что обещал, принимая заказ. Таким образом, для заказчиков, от имени которых действует Лейзеганг, в дальнейшем невыгодно помещать объявления в «ПН». Газета утратила свое значение, эмигрантский круг читателей очень мал для двух газет, столь сходных по характеру, как «Парижские новости» и «Парижская почта для немцев». Он, Гингольд, полагает, что издавать при создавшихся условиях «Парижские новости» — напрасная трата времени, сил и денег.

Визенер был поражен. А не скрывается ли какой-нибудь дьявольский подвох за этими столь неожиданными по своему благородству предложениями? Для нацистов «ПН» утратили свою ценность, Гингольд прав. Эта газета сейчас ни на что не годна. А кроме того, вряд ли удастся увильнуть от дальнейших субсидий «ПН» в форме заказов на объявления, не рискуя навязать себе на шею неприятнейшие осложнения. Визенер разглядывал костлявое сухое лицо господина Гингольда, его старомодный, подчеркнуто будничным костюм, фальшиво-любезную улыбку, видел его судорожные, отчаянные усилия произвести впечатление честного дельца. И Визенеру тоже смутно показалось, что Гингольд чем-то похож на Линкольна, что перед ним фигура такого прямолинейного, честного коммерсанта середины прошлого столетия. Но отчего, черт его трижды возьми, этот честный коммерсант пренебрегает своей прямой выгодой? Почему добровольно отказывается от несомненного барыша? Неужели причина в нюрнбергских законах? Неужели он считает ниже своего достоинства брать деньги у людей, издающих такие законы? Но где в мире, скажите на милость, можно найти капиталиста, интересующегося происхождением денег, которые ему предлагают? Непонятный случай.

Господин Гингольд между тем ломал себе голову, как перейти к цели своего прихода. Говорят, что этот человек — автор серьезных книг, у него человеческое

лицо, он не похож на настоящего архизлодея. А не попробовать ли поговорить с ним так, словно он не архизлодей, а человек? Само собой, надо, ох, как надо быть осторожным и не обнаружить связь между «ПН» и Гинделе: Визенер в мгновение ока может превратиться из человека в архизлодея.

И Гингольд говорит, что пришел к господину Визенеру не только как издатель «ПН», но и по личному делу. И он рассказывает об участии своей дочери Иды, ныне ффрау Перлес. В душе, правда, он почти уверен, что именно Визенер, главный виновник того, что его дитя, его Гинделе, бросили в концлагерь. Но сейчас он не желает об этом думать, он заставляет себя забыть все. Он только несчастный отец, у которого отняли его дитя. Он не знает, продолжает он, за что преследуют его дочь, и узнать не может, а сам поехать в Германию по многим причинам не имеет возможности. И вот, поскольку представился случай поговорить с господином профессором Визенером, он позволяет себе спросить, не согласится ли профессор, получивший благодаря своим книгам столь широкую известность, что в Германии к его слову прислушиваются — Гингольд искусно пересыпает свою речь лестными замечаниями, — замолвить словечко за него, Гингольда, и за его дитя.

Визенер молча слушает. Этот субъект, конечно, хитрит, но он искренен. Вот, значит, в чем тут дело. Да, он вспоминает, в свое время Лейзеганг собирался применить некоторые средства, чтобы оказать давление, и, помнится, он говорил о репрессиях именно в отношении членов семьи некоего Гингольда. Но более подробно Визенер об этих делах не знает, да он и не желает знать, человек со вкусом предоставляет гестапо разбираться в них, не интересуясь деталями. Достаточно нажать кнопку, и мандарин умирает; видеть мандарина вообще-то нет никакой охоты. Но теперь, правда, он все же его видит. Субъект, сидящий против него, этот самый мандарин, разумеется, знает, что нажал кнопку именно он, Визенер. Но мандарин слишком сообразителен или хитер и, конечно, прикидывается ничего не ведающим. Это говорит в его пользу. Кстати, он хорошо рассказывает, он в страшном волнении, и все-таки ничего гро-

тесного в нем пет. Именно так надо играть Шейлока, когда он оплакивает свою Джесику. Покойный Шильдкраут изрядно лереигрывал. Приятно, черт возьми, что даже этот простой коммерсант уже слышал об успехе «Бомарше». И разве его вера в то, что я пользуюсь влиянием, лишний раз не доказывает, что я добился многого? А обладаю я влиянием? Возможно. Интересно, пожалуй, испытать на деле, так ли это.

Сосредоточенным, пристальным взглядом серых глаз смотрит он на Гингольда. Он обдумывает. Он не торопится с ответом.

Минута эта для Гингольда ужасна. Он шел сюда со слабой надеждой, но, по мере того как он разговаривал с этим человеком, надежда его крепла. Она росла. Ведя дела со множеством людей, Гингольд научился буквально читать в душе собеседника и обычно мог с уверенностью предсказать ответ. Но на этот раз — не мог. Он не знал, удалось ли ему тронуть сердце этого человека. Лицо у него человеческое, но он один из архизлодеев. Он вполне может сказать «нет», но не исключено, что он скажет «да». Гингольд мысленно обращается к богу с горячей молитвой. Не раздумывая, не надеясь на вознаграждение, он прихлопнул, ликвидировал «ПН», он отказался от своей газеты. Господь должен, должен принять его жертву. Гингольд весь дрожит от муки ожидания.

Визенер наконец принял решение. Он что-то записывает на листке блокнота.

— Пришлите мне, пожалуйста, точные даты всех перипетий в деле вашей дочери, — говорит он сдержанно, но не без доброжелательства. — Попытаюсь узнать, нельзя ли направить дело на пересмотр. Я пока ничего не обещаю, — живо прибавляет он, видя, что Гингольд порывается что-то сказать. — Но одно все же обещаю: не буду вас томить долгим ожиданием, ответ, тот или иной, вы скоро получите.

В глазах у Гингольда посветлело. Господь, так долго отворачивавшийся от него, обратил к нему свой лик. Произошло чудо: перед ним сидел человек, заявляющий себя приверженцем свастики, а в груди у него бьется человеческое сердце. Даже еврей не мог бы сказать что-

либо более человеческое. Все чрезмерное смирение и вся бьющая через край признательность, присущие предкам Гингольда, обитателям гетто, проснулись в нем. Он не мог сдержать себя более, он взял руку Визенера и поцеловал.

Визенер, оставшись один, не узнавал себя. Не долго думая, он отказался от «ПН», своего главного оружия против ненавистных писак «Парижской почты». Без долгих слов он решил помочь субъекту по имени Гингольд. Столько благородства он от себя никак не ждал.

Он смотрел на портрет Леа с суеверным любопытством, за что не раз вышучивал себя, и вопрошал: ну, что она скажет на его великодушие? Леа улыбалась. «Сердитая улыбка», — решил он. Он открыл «Бомарше» на чистой странице после титульного листа и показал ей.

— Здесь могло бы стоять твое имя, — сказал он нарисованной Леа. — Ты сама виновата, что его нет.

Все хорошо, как оно есть, заверил он себя.

Он ходил по комнатам, из одной в другую, в своем черном, широком, дорогом халате; кисть от шнура волочилась по полу. Взгляд его с удовольствием скользил по серебристо-серым крышам города Парижа. Он упивался своим успехом, это было чудесное чувство. Какой взлет. Сначала — жалкая комната в Латинском квартале, потом долгие годы — небольшая квартирка в районе Монпарнаса, за ней — три комнаты вблизи площади Звезды и наконец — нынешняя великолепная квартира. А когда Гейдебрег уедет, он останется в Париже представителем рейха, гаулейтером во Франции, вельможей.

Однако можно ли сказать, что эта квартира достаточно роскошна для гаулейтера во Франции? Разве она не тесна? Наемная квартира вообще не то обрамление, которое ему требуется. Нужен собственный дом.

Дом у него будет.

А кстати, когда он переедет в собственный дом, тогда, само собой, исчезнет портрет улыбающейся дамы, и никто из друзей-врагов этого даже не заметит. В его новой жизни нет места для улыбающейся дамы.

Надевая пальто, которое подает ему слуга Арсен, Ви-
зенер небрежно бросает, хотя это совершенно неподоба-
ющая фамильярность:

— Да, Арсен, мы поднимаемся на следующую сту-
пеньку. В ближайшее время мы переезжаем в собствен-
ный дом.

Глава 20

ВЕКСЕЛЬ НА БУДУЩЕЕ

После освобождения Бенъямина и опубликования
нюрнбергских законов дела «Парижской почты» пошли
в гору. Однако расцвет длился недолго. Как-то разнесся
слух, что «Парижские новости» ликвидируются. Но
даже если слух оправдается, ликвидация «ПН» даст
себя почувствовать не раньше чем через три, четыре
недели. А пока надо перебиваться с хлеба на воду, от
номера к номеру.

Нет, на этом нищенском пайке далеко не уедешь.
И вот Царнке осенила идея. А не обратиться ли к мадам
де Шасефьер с просьбой ссудить газету значительной
суммой?

Когда он осторожно предложил это Дюлькену и
Пфейферу, те недоуменно уставились на него. Обра-
титься к мадам де Шасефьер? К «нацистской богомате-
ри»? К женщине, которую их газета не так давно облила
грязью? Но у Царнке на все был готовый ответ. Мадам
облили грязью «Парижские новости», а не «Парижская
почта». Первое. Второе: с тех пор как это произошло,
мадам де Шасефьер успела превратиться из «нацист-
ской богоматери» в «богоматерь эмигрантов», чему
служит доказательством концерт Зеппа Траутвейна,
который она устроила у себя. А новообращенные, как
известно, самые горячие приверженцы. И, наконец,
Гейльбрун, автор нападок на мадам де Шасефьер, вы-
шел из руководства «Парижской почты». Разве и это
обстоятельство не следует принять во внимание? Не-
большая доля иезуитства дозволена: ничего страшного
не было бы в том, если бы мы намекнули мадам де Ша-
сефьер, что изменения в составе руководства «ПП»
произведены главным образом по причине упомянутых

нападок. Идея Царнке — привлечь мадам де Шасефьер к финансированию «ПП» — казалась все менее и менее противоестественной.

Фридрих Беньямин, Юлиан Царнке и Петер Дюлькен через мосье Перейро попросили мадам де Шасефьер принять их.

Прочитав о передаче Фридриха Беньямина швейцарским властям, Леа почувствовала глубокое облегчение. Ягненок бедняка все-таки вырвался из рук своих врагов. Эрих переоценил себя, себя и «власть», которой он с такой угодливостью служит и которой он так привержен; он получил хороший урок. Но сколь ни велико было чувство удовлетворения у Леа, она все же не ликовала, как предполагал Визенер.

Радость от сознания, что Фридрих Беньямин на свободе, быстро улетучилась под впечатлением нюрнбергской демонстрации варварства. Это был удар и для Леа. Она достаточно разбиралась в политике, она прекрасно понимала, что освобождение Беньямина лишь единичный случай, а нюрнбергские законы — это звено большой цепи. Она читала статью Визенера о «съезде свободы». Именно потому, что ее с прежней силой волновало чарующее перо автора статьи, она видела всю ее подлость. Она знала Эриха. Он до мозга костей лжив, он настолько лжив, что, тримируя нивость под благородство, сам верит в свои доводы. Как могла она столько лет дружить с этим человеком? Она сама себе противна. Почему она не рассталась с ним, как только Гитлер пришел к власти? И все же чувство освобождения, ощущение чистоты всегда сопровождалось у нее легким ознобом, как в ту минуту, когда за ним в последний раз закрылась дверь. Она чувствовала себя как морфинист, который недавно излечился от наркомании.

Получив приставленного ей из книжного магазина «Бомарше», Леа и в самом деле открыла книгу на следующей странице после титульного листа, на той странице, где в рукописи было ее имя. Она улыбнулась, когда увидела пустую страницу, улыбнулась точно так, как представлял себе Визенер: улыбкой чуть заметной, как на портрете, но еще мудрее, грустнее, презрительнее.

А теперь у нее сидят сотрудники «ПП». Она видит круглые, скорбные глаза Фридриха Бенъямина, глаза фанатика. Так вот, значит, она выиграла, ягненок бедняка спасен. Это он без вины виноват в потрясениях, обрушившихся на нее. Она испытывала удовлетворение оттого, что в конце концов победила себя: не Эрих теперь сидит здесь, а Бенъямин.

Советник юстиции Царнке после нескольких обычных вступительных фраз перешел к основной теме. Он слышал, сказал Царнке, что мадам де Шасефьер хорошо говорит по-немецки. Поэтому ей, вероятно, интересно будет узнать, что во французский язык парижских евреев проникло из еврейского жаргона наряду с другими немецкими словами слово *gäste*¹, которое, кстати сказать, здесь произносят *gäschte*, и слово это означает здесь — нищие, попрошайки. К сожалению, гости чаще всего бывают такими *gäschte*. Вот и они пришли к мадам де Шасефьер в таком качестве. И Царнке изложил их просьбу.

Гости просили довольно-таки круглую, внушительную сумму. Просить субсидию в таком размере было, мягко говоря, бесцеремонностью. Может быть, господа или этот человек с горящими, немножко безумными глазами полагают, что она должна «искупить грех» своей связи с Эрихом?

Леа ответила, что подумает. Она говорила любезно и в то же время так сдержанно, что можно было на все надеяться и всего опасаться.

Оставшись одна, она предалась размышлениям. Ягненок бедняка, правда, спасен, но он далеко еще не может быть спокоен за свою жизнь, он гол и слаб, его подстерегают сотни опасностей. Не знак ли это свыше, что он пришел за помощью именно к ней? Так решительно выступив однажды за этого Бенъямина и его газету, не взяла ли она на себя известные обязательства?

Как раз теперь ей очень хотелось бы показать всему свету, что она на стороне Фридриха Бенъямина и его единомышленников, а не на стороне Эриха и нюрнбергцев.

¹ Гости (нем.).

Но они называли слишком уж высокую сумму. Если она ее даст им, несколько лет она будет это чувствовать. Она не сможет жить так широко, как жила до сих пор.

Так ли уж она жаждет этого? Разве удовольствие, которое она получает от широкой, светской жизни, пропорционально тем затратам, которых такая жизнь требует? А что, если продать, например, парижский дом и некоторое время путешествовать? Остаться сейчас в Париже ей, право же, мало радости. На лицах окружающих она читает лишь с трудом подавляемое любопытство, сочувствие, смешанное с одобрением и злорадством.

Жизнь в этом доме для нее отравлена. Здесь все напоминает ей об Эрихе. Стол, за которым он обедал, стулья, на которых он сидел, стаканы, из которых он пил, кровать, в которой он спал с ней. Лучше не видеть всего этого вокруг себя. Да, вот выход — дать «Парижской почте» деньги, потом продать дом и отправиться путешествовать.

Но следует ли снабдить «ПП» деньгами? Она прогнала Эриха, она не желает иметь с ним ничего общего, но значит ли это, что она хочет сразить его?

Она обсудила просьбу о займе с мосье Перейро. Он сказал, что поддержать «ПП» — задача весьма благородная, но и он нашел цифру, названную редакторами, очень высокой. Он посоветовал Леа деньги дать, но меньшую сумму. Однако торговаться с этими людьми Леа не хотелось. Она нашла предлог продать дом и не желала более упускать его.

Раньше чем прийти к окончательному решению, ей надо объясниться с Раулем. В последнее время мальчик ускользал от нее все больше и больше. Он с головой ушел в свою работу и встречался с людьми, с которыми у нее не было ничего общего ни внешне, ни внутренне, больше всего — с каким-то Чернигом. Рауль был вежлив и любезен, как всегда, но не позволял ей заглянуть к себе в душу. Леа немножко боялась предстоящего разговора.

Сидя в желтом кресле, хорошо обрамлявшем ее, она спокойно, но с легким сердцебиением рассказала ему

о просьбе «ПП» и о своем плане продать дом и отправиться путешествовать. Говоря с сыном, Леа все время чувствует, что она очень любит его. Для чего, в сущности, продавать дом? Даже переменив обстановку, она всегда будет видеть Эриха в своем сыне. А разве хочет она расстаться с Раулем? Ведь ей только одно и нужно — чтобы он поехал с ней. Она хочет удержать Рауля, это самое важное. И поспешно, едва закончив о «ПП» и своем плане, прибавляет: все, о чем она говорила, — это пока не больше чем туманный проект. Если Раулю не хочется расставаться с домом на улице Ферм, она заранее отказывается от своего проекта и ставит на нем крест.

Рауль слушал мать очень вежливо, но с таким видом, словно все это его очень мало касается. На самом же деле разговор очень взволновал его. Если хорошенько вдуматься, то план матери совпадает с его желаниями. Ему тоже опостылела вся его прошлая жизнь, он стыдился ее. Бредовые и жестокие нюрнбергские законы показали, что судьба была к нему чрезвычайно милостива, она уберегла его: он не связал себя с этой чернью. Он почти жалел мосье Визенера именно за то, что тот связал себя с этими полуживотными «на жизнь и смерть». Период, когда он, Рауль, маленький Макиавелли, из политического честолюбия завязал отношения с варварами, он воспринимал теперь, когда бросил якорь в надежной гавани, иными словами, когда осознал свое призвание, как нечто чуждое, отжившее, позорительное, неблагоприятное. Как первобытный человек прячет и засыпает землей срезанные или отделившиеся от тела части — волосы, ногти, кровь, экскременты, — точно так же не терпелось Раулю устранить все, что могло ему напоминать о его прошлом. Но его удерживало какое-то противоречивое чувство — любовь к традициям, писательский интерес к общему развитию событий, аристократическое, высокомерное неприятие всякого разрушения. В его комнате, например, все еще стоял домашний алтарь. А если дом будет продан, подобные вещи, конечно, исчезнут.

После того, что произошло в Нюрнберге, сколько ни показывай всему свету, что у тебя с мосье Визенером

нет ничего общего, все будет мало. Он, Рауль, читал статьи Визенера о Нюрнберге. В них чувствуется рука мастера слова, форма их блестяща, но содержание гнушно. Это предательство по отношению к духовным ценностям, подлая фальсификация: автор, мосье Визенер, выдает дешевое варварство нацистов за мощь, а их тупое обожествление собственной черни за новое мироощущение. Мосье Визенер выдает стекляшки за жемчуг, маргарин — за сливочное масло.

Однако, с тех пор как мать замолчала, прошла, вероятно, уже целая минута, надо ответить. И Рауль спокойным тоном убеждает мать осуществить задуманный ею план. Дать деньги «ПП», говорит он, много полезнее и оригинальнее всякой другой пошлой благотворительности. Понимает он и желание матери покинуть надоевший Париж. Он сам, как только закончит свою работу, с удовольствием на время присоединится к ней.

Когда мадам де Шасефьер сообщила советнику юстиции Царнке, что она готова предоставить «Парижской почте» просимую сумму, Царнке рассыпался в благодарностях. И далее сказал вежливо и лукаво, что господа редакторы «ПП» просят ее еще об одной услуге — лично приехать в редакцию для получения расписки. Леа, слегка удивленная, пообещала.

В редакции «ПП» Петер Дюлькен объяснил ей, почему ее побеспокоили и просили приехать. Они не хотят принять такую значительную сумму в качестве подарка. Они не хотят милостыни. Они будут очень признательны мадам де Шасефьер, если она отнесется к этому взносу как к займу и примет от них долговое обязательство, подлежащее оплате, как только они, редакторы «ПП», невредимыми вернутся в освобожденную Германию.

Леа не знала, что на это ответить. Наступило короткое напряженное молчание. Его прервал Фридрих Бенъямин. Не будь они, работники «Парижской почты», сказал он, и в глазах его горела вера, не будь они, как в собственной смерти, уверены в том, что вернутся в Германию, они давно отказались бы от борьбы, они не издавали бы «Парижской почты».

Царнке составил соглашение по всем правилам юридической науки. Леа подписала этот оригинальный документ и на какую-то долю секунды сама поверила, что когда-нибудь получит свои деньги обратно.

Долго еще после ее ухода все сидели в кабинете Фридриха Бенямина и строили грандиозные планы на счет блестящего будущего своей газеты. Прежде всего они могут исполнить свое давнишнее горячее желание выпускать газету ежедневно. Теперь они уверены, что голос эмигрантов не умолкнет до их возвращения на родину.

Никто не сомневался, что доживет до возвращения на родину.

— Надеюсь,— с ожесточением сказал Петер Дюлькен,— что мы найдем Германию совсем другой. Надеюсь, эта Германия будет такова, что многие из упитанных эмигрантов предпочтут эмиграцию.

Юстиции советник Царнке рассказал, конечно, по этому поводу одну из своих бесчисленных историй. В пасхальный вечер, когда евреи вспоминают исход из Египта, они в течение многих столетий непременно пьют бокал вина «за то, чтобы в будущем году мы встретили пасху в Иерусалиме». Несколько лет назад в Нью-Йорке он, Царнке, проводил этот вечер в одной американо-немецкой семье. Когда был произнесен этот тост, одна дама энергично заявила: «Только без меня».

Глава 21

МАДАМ ДЕ ШАСЕФЬЕР СНИМАЮТ СО СТЕНЫ

Официально это не был прощальный вечер, но все знали, что Конрад Гейдебрег в ближайшие дни покидает Париж и, значит, не скоро посетит снова «Немецкий дом»; поэтому многие пришли сюда, желая лишний раз напомнить о себе влиятельному лицу перед его возвращением в третью империю. Царила атмосфера приятельской сердечности, было шумно и весело.

«Знаю я вас,— думал Гейдебрег,— вы так веселы, потому что полагаете, что теперь уж навсегда избави-

тось от меня. Это так называемое заблуждение, милостивые государи. Я из Берлина учиню вам еще решающий смотр».

Национал-социалист Гейдебрег, сегодня в последний раз находившийся среди представителей немецкой колонии, был таким же, как в первый день своего появления в Париже. Легкий налет парижского лоска, приобретенный за несколько месяцев пребывания в Париже, с него точно ветром сдуло. Его корректные движения были размеренны и четки, как у заводной куклы, а когда он переходил на французский, он говорил с тем же восточнопрусским акцентом, что в первые дни пребывания в Париже, и его бесцветный голос слышался, как всегда, в самых отдаленных уголках зала. Гейдебрег надел даже свой огромный черный галстук, закрывавший весь вырез жилета. Вся его фигура напоминала громоздкий монумент; когда он приближался в своих поскрипывающих ботинках, голоса невольно понижались, а тот, на кого он обращал взгляд белесых, удивительно тусклых глаз, машинально подтягивался, точно собираясь отдать честь.

Но одип из присутствующих, а именно господин фон Герке, никак не желал поддаваться воздействию внушительной фигуры Гейдебрега. Шпицци незачем скрывать от чрезвычайного эмиссара свою подлинную природу и лизать ему зад, как делают другие. Во время своего вторичного пребывания в Лондоне он еще отчетливее, еще сильнее, чем в первый раз, чувствовал подспудное злостное противодействие национал-социалистской партии проведению в жизнь его проекта перемирия в печати. Тем самым его отстранение от дел было как бы скреплено печатью, в ближайшем будущем он спустится на ту ступеньку, на которой стоял до прихода Гитлера, а может, еще намного ниже, ибо его пребывание в рейхе, как человека, впавшего в опалу, далеко не безопасно. Ему, пожалуй, ничего другого не останется, как предложить свои услуги немецкой, а может быть, даже французской тайной полиции или стать тренером по теннису на каком-нибудь крупном французском курорте. Перспектива не из заманчивых.

Небольшое преимущество в его падении все-таки

было. Он один в этом высокопоставленном обществе мог позволить себе позабавиться. Терять ему нечего; раз он уже сброшен со счетов, почему же ему на смертном одре, так сказать, не доставить себе удовольствие и не выложить Гейдебрегу всю правду? Улыбаясь, Шпицци вспомнил, как однажды, еще в школе, он отомстил учителю. Почтенный педагог, по фамилии Вейсмеллер, наказал как-то Шпицци, оставив его у себя на квартире без обеда. Учителю, бедняге, это, что называется, боком вышло. Шпицци не растерялся. Пустив в дело бутерброд, принесенный с собой, он не только усеял жирными пятнами самые роскошные издания учителя-книголюба, а еще извлек том из какого-то великолепного собрания сочинений, видимо гордости учителя, и на двух страницах большими буквами написал чернилами, изменив почерк: «Кровавая месть свинье Вейсмеллеру». Он и сейчас еще ухмылялся, вспоминая, как выразительно высказал тогда свое мнение. Такого же цулю он сегодня отольет на прощание своему врагу Гейдебрегу.

Самоуверенно и нахально уселся он за стол Гейдебрега и вмешался в его беседу с Визенером. Вскоре он перевел разговор на мелкую злободневную политику и стал вышучивать недавно изданное в Берлине постановление о том, что приват-доцентам и более или менее молодым университетским профессорах надежит в обязательном порядке проходить военное обучение вместе со всем населением страны.

— Интересно, — сказал Шпицци, улыбаясь своей сияющей, молодящей его улыбкой, — когда это и нас, дипломатов, заставят совершать тренировочные походы? Директор цирка Ренц ангажировал как-то оперного певца, тенора, которому вменялось в обязанность петь, сидя верхом на лошади, скачущей по арене. Вскоре директор возбудил против тенора сложный судебный процесс, обвиняя его в том, что, исполняя «Рассказ Лозенгринна», он недостаточно быстро галопировал. Мне чрезвычайно любопытно, не собирается ли партия в ближайшее время потребовать от нас, дипломатов, чтобы мы занимались политикой, мчась верхом на лошади.

Тяжелая голова Гейдебрега производила впечатле-

ние сонной. Он так низко опустил лишенные ресниц веки, что неизвестно было, слышал ли он вообще вызывающие речи Шпицци. Национал-социалист Гейдебрег сохранял хладнокровие и был по-своему справедлив. Хотя этот фон Герке страдает отсутствием выдержки и настолько своеволен, что поручить ему серьезное дело рискованно, но он человек способный. Это доказывает уже его план добиться с помощью англичан «перемирия в печати». А кроме того, ему протезирует Медведь. Шпицци, следовательно, ошибся. Гейдебрег вовсе не сбросил его со счетов. Он лишь собирался принять компромиссное решение: дабы национал-социалист фон Герке не натворил бед, лишить его возможности что-либо предпринимать по собственному почину, но оставить на прежнем посту. А Шпицци, никак не предполагая, что еще не все потеряно, закусил удила.

— Мне кажется, что мы с вами еще не затрагивали тему о нашей мадам де Шасефьер, которая так неожиданно изменила курс? — сказал он, обращаясь к каменной фигуре неподвижно сидящего Гейдебрега. — Когда мы столь уверенно и с таким удовольствием пользовались ее благоволением, никому из нас и присниться не могло, что она вдруг обернется ангелом-хранителем наших эмигрантов.

Он сделал паузу после словечка «мы» и, сияя улыбкой, посмотрел в лицо Гейдебрегу.

— На этом примере видно, — продолжал Шпицци медленно и нагло, — что и наметанный глаз иной раз плохо видит. — И, все так же улыбаясь, Шпицци перевел взгляд с Гейдебрега на Визенера и с Визенера на Гейдебрега.

По-прежнему неподвижно держа голову, Гейдебрег думал: «Сопляк, я тебя научу, как задевать Конрада Гейдебрега. Ты меня запомнишь, баронская морда». Шпицци своим намеком попал в цель; это было уязвимое место. Завтра у голландского посланника званый завтрак, на который приглашен и Гейдебрег; очень возможно, что там он встретит мадам де Шасефьер. Поэтому он еще не принял решения, пойти ли. Но зато решено и подписано, что, несмотря на лондонское «перемирие в печати», несмотря на Медведя, он не только

лишит этого безмозглого сопляка всякой самостоятельности, но и окончательно выбьет из-под него стул, на котором он сидит. Вслух Конрад Гейдебрег сказал:

— Вы сегодня блистаете остроумием, господин фон Герке.— Он говорил особенно бесцветным голосом, он сказал «господин фон Герке», а не «коллега фон Герке», и Визенер возликовал. Шпицци сам вложил в эту страшную белую руку перо, которое подпишет ему приговор.

На следующее утро, еще лежа в кровати, Гейдебрег спросил себя, идти ли ему на завтрак к голландскому посланнику. В зарубежных странах часто бывало, что немецким дипломатам и видным деятелям национал-социалистской партии приходилось сидеть за одним столом с открытыми противниками нацистского режима. Отказаться от приглашения голландского посланника только потому, что бродяга Шпицци поддевал его, намекая на его знакомство с мадам де Шасефьер?

Разумеется, неприятно, что мадам де Шасефьер так демонстративно перешла на сторону противников. Уже тот концерт, который она устроила у себя, вызвал много шума, а когда недавно стало известно, что она поддержала крупной субсидией «Парижскую почту», так даже сам посол не мог себе отказать в удовольствии сказать Гейдебрегу несколько вежливых и злорадных слов удивления по поводу этой измепы. Но национал-социалист Гейдебрег за время пребывания во Франции усвоил то, что французы называют «философией», он не чувствовал зла против Леа. Он и не раскаивался, что был ее гостем в Аркашоне. Она, конечно, из каприза, из прихоти перешла на сторону противника. «Этакая плутовка,— дружелюбно подумал он старомодным словом.— Так сказать, *enfant terrible*». В глубине души он был убежден, что с ее стороны это выпад не столько против национал-социалистской партии, сколько против национал-социалиста Визенера.

Он вышел на балкон в одних коротких спортивных штанах. Грузный, плотный, загорелый, не очень волосатый, он дисциплинированно принялся выполнять утренние гимнастические упражнения: вертел руками,

сгибал их, вытягивал, сгибал корпус и колени, двигал животом. Потом сидел в ванне и, привычно загребая пригоршнями воду, поливал себя мелкими струйками. После ванны довольно долго героически стоял под холодным душем. Растерся, вытерся, накинул купальный халат. С удовольствием ощущал, как испаряется влага на коже, как приятное тепло разливается по телу, и чувствовал себя молодым, пожалуй, даже слишком молодым.

В халате шагал он по своим маленьким комнатам — из спальни в гостиную-кабинет. Этот отель «Ватто» — удобная штука. Все пребывание в Париже — приятный эпизод; оно очень пошло ему впрок. Служебная поездка и в то же время отдых; Париж по сравнению с Берлином, например, или с Берхтесгаденом — это, безусловно, своего рода курорт, и он, Гейдебрег, совместил здесь приятное с полезным. Он с успехом выполнил задачу, порученную ему высочайшей инстанцией, а Франция, и в особенности Аркашон, навсегда останутся приятным воспоминанием.

Так пойти ему все-таки на завтрак к голландскому посланнику? Он не скрывает от себя, что при мысли о некоей даме испытывает натиск чувств, недопустимых с точки зрения его партии. Но до сих пор он, как истинный национал-социалист, не уклонялся от таких чувств, а вызывал их на бой и справлялся с ними. Так неужели теперь, перед самым отъездом, он струсит и уклонится от встречи с некоей дамой и от натиска чувств?

Со стены, где прежде висела прелестная мисс О'Мерфи, на Гейдебрега, рассказывающего в купальном халате, смотрел фюрер; строг, властен, сосредоточен был взгляд этих глаз на лице с подстриженными крохотными усиками, символизирующими дисциплину. Конрад Гейдебрег вспомнил, как тепло пожал ему руку фюрер, прощаясь с ним в Нюрнберге. Он вспомнил маперу мадам де Шасефьер подавать руку на прощание. Он подумал о солидной цифре не оплаченного им счета за телефонные разговоры в Аркашоне, которые он там вел по делам своей партии. Были и другие счета, по которым он остался должен мадам де Шасефьер. Может быть, послать ей по почте следуемую сумму? Но напе-

сти ей такое оскорбление в ответ на ее выходку — ниже его достоинства. А с другой стороны, истинный национал-социалист ни от чего не уклоняется. Если по тем или иным условиям он не может уплатить по счету, он рвет счет на глазах у кредитора, как мы сделали с так называемыми репарациями.

К голландскому посланнику он поедет.

Вообще-то было бы неплохо, если бы мадам де Шассефьер решила провести несколько месяцев в Берлине: она собственными глазами убедилась бы в силе и добродетели национал-социализма. Уж тогда бы он сумел обратить ее в праведную веру.

Досужие фантазии. Цезарь — тот мог себе позволить привезти в Рим Клеопатру. А он, Гейдебрег, не страдаст манией величия, он знает, что он не могущественный диктатор, он не Цезарь. Для него рискованно поддерживать отношения с дамой, демонстративно перешедшей в неприятельский лагерь.

У голландского посланника собралось довольно многочисленное общество. Леа со свойственной ей неприужденностью, спокойно поздоровалась с Гейдебрегом, но за столом они сидели далеко друг от друга, и поговорить не представилось возможности. Позднее дамы покинули, как это принято в таких случаях, общество. Когда они вернулись, Гейдебрег умышленно или случайно, он и сам не знал, сидел в стороне, одинокий, грузный. Со страхом и надеждой ждал он, как поступит мадам де Шассефьер — подсядет ли к нему, как бывало не раз.

Она перекинулась несколькими фразами с одним, с другим. А потом направилась к нему своей плавной, красивой походкой.

— Давно мы с вами не виделись, мосье, — сказала она и присела рядом, словно ничего за это время не произошло. И опять они сидели вдвоем, изредка перебрасываясь двумя-тремя словами и в долгие, опасные минуты молчания прислушивались к соединявшему их тайному чувству зазорной близости, которое ему, национал-социалисту Гейдебрегу, было совсем уж не к лицу.

— Почему вы это сделали, мадам? — спросил наконец Гейдебрег. Он сказал это строго, он хотел, чтобы

Леа почувствовала в его вопросе отпор, осуждение, и все же то была скорее жалоба, чем осуждение.

— Это не направлено против вас, мосье,— дружелюбно, но отнюдь не в тоне извинения ответила Леа.

— Это демонстрация,— важно молвил Бегемот.

— Конечно,— сказала Леа.— А что ж еще? Но ведь для вас не ново, что мы с вами не по одну сторону баррикады.

— Завтра я навсегда покидаю Париж,— объявил своим бесцветным голосом Гейдебрег.

— О, я очень сожалею об этом, мосье,— сказала Леа.

Некоторое время они еще молча сидели рядом.

Леа до конца дней своих будет решительно и безоговорочно примыкать к лагерю антифашистов. Но Бегемота она никогда не помянет злым словом.

Наконец Гейдебрег встал и, прощаясь, отвесил глубокий церемонный поклон. Он ждал, чтобы она протянула ему руку. Она протянула. Он не скоро увидит мадам де Шасефьер, может быть, никогда. Медленно взял он в свои тяжелые, очень белые руки ее длинную, красивую руку, подержал ее и медленно выпустил.

В этот вечер он ужинал у Визенера. Они были одни. Сегодня Гейдебрег не казался таким строгим, таким истым немцем, как вчера. Он в последний раз дал себе волю и не прятал всего того, что воспринял от легкого, свободного духа города Парижа.

После ужина, за кофе, сидели в библиотеке.

— Даже если вы еще когда-нибудь приедете в Париж, сегодняшний вечер здесь — прощальный вечер,— сказал Визенер.— Ибо в этих комнатах мы сегодня встречаемся в последний раз. Дело в том, что я оставляю эту квартиру; она уже для меня тесна. Я собираюсь купить дом, а может быть, и построить.

— Рад за вас, мой друг,— сказал Гейдебрег.— Но иногда вы с сожалением будете вспоминать об этих комнатах, верно? Или я ошибаюсь?

Оба посмотрели на портрет мадам де Шасефьер. Гейдебрег сочувственно отметил про себя, что Визенер

не снял портрета мадам после разрыва. Национал-социалист Гейдебрег осуждал за это коллегу Визенера, мужчине Гейдебрегу это понравилось.

— В моем новом доме,— медленно ответил Визенер,— все будет по-другому. В нем будет мало вещей, напоминающих об этой квартире. Совсем неплохо,— продолжал он,— время от времени разорвать свое прошлое. Человек всегда волочит за собой слишком тяжелый груз прошлого. Если хочешь дышать свежим воздухом, нужно от многого освободиться. Вспомните о градостроительных планах фюрера. Но все же кое-чего из здешней обстановки мне будет не хватать.

— Да,— откликнулся Гейдебрег, откровенно глядя на портрет мадам де Шасефьер,— кое-чего вам будет не хватать.

Визенеру показалось, как будто гость ждет от него признаний. «Испорченность» Гейдебрега, его платоническая связь с Леа связала и его с Гейдебрегом, сделала их как бы сообщниками. «В моих интересах затянуть эту петлю потуже»,— думал Визенер.

— Мне ни на мгновение не приходило в голову,— начал он, и голос у него был такой, точно он собирался исповедаться в великой тайне,— убрать отсюда этот портрет.— Он лишь слегка повел головой в сторону портрета.— Я не отрекаюсь от своего прошлого, не отрицаю его. Но брать с собой портрет в свой новый дом после всего, что произошло,— это уж было бы вызовом.

Гейдебрег молчал, лицо его казалось безучастным, замкнутым, каменным; таким оно было вчера, когда Шпицци вел свои наглые речи. А не слишком ли далеко зашел он, Визенер?

— Разве я не прав? Каково ваше мнение? — прибавил он несколько неуверенно.

Гейдебрег медленно разомкнул губы.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он,— в Париже этот портрет нельзя у себя вешать. А жаль, ведь это произведение искусства.

— Да, это произведение искусства,— повторил Визенер так же медленно, что было ему несвойственно.— И продавать мне его не хотелось бы. Не на веки же вечные я останусь в Париже,— продолжал он с несколько

неестественной приподнятостью,— а когда вернусь в Берлин или перееду в Нью-Йорк или Лондон, я опять повешу у себя этот портрет.

— Как-то странно себе представить,— задумчиво произнес Гейдебрег, он сомкнул почти лишенные ресниц веки и теперь был похож на гигантскую черепаху,— как-то странно представить себе этот портрет в кладовой или где-нибудь еще,— так сказать, мертвым. В Ростоке, в семинаре по истории средневековой философии, профессор Корнелиус говорил нам об основном положении Беркли: «Быть — значит воспринимать». Корнелиус объяснил нам, как Беркли понимал это положение: то, мол, что не воспринимается, не существует. По Беркли, например, толковал нам наш профессор, картины городской картинной галереи ночью, когда галерея закрыта, не существуют.

Визенер посмотрел на портрет. Улыбалась Леа? Существовала улыбка Леа? Ему достаточно лишь не видеть ее, и она не существует. Существует улыбка Леа для национал-социалиста Гейдебрега? В голове у Визенера мелькнула смелая идея — или всего лишь дерзкая? Если удастся ее осуществить, то как бы там ни было, а Гейдебрег всегда и неизбежно будет вспоминать о нем, Визенере.

— У меня к вам большая просьба,— сказал он вкрадчиво.— А что, если бы вы взяли портрет с собой? Тогда он будет «существовать». Этот портрет, как вы сами сказали,— произведение искусства, и для меня было бы утешением знать, что часть моего прошлого находится в ваших руках, а не похоронена в какой-нибудь кладовой.

Опять Гейдебрег впал в свое леденящее каменное молчание; сердце у Визенера билось так громко, что он опасался, как бы Гейдебрег не услышал.

— Вы питаете ко мне большое доверие, друг мой,— сказал наконец Гейдебрег. Больше он ничего не сказал.

На следующее утро все чемоданы Гейдебрега были упакованы и с утра отправлены на вокзал. Поезд отходил только вечером, но аккуратный и обстоятельный

Гейдебрег любил заблаговременно завершать все приготовления.

Праздно сидел он в голубом салоне отеля «Ватто». Комната казалась пустынной, ибо все то личное, что было связано с пребыванием Гейдебрега, уже убрали. Он хотел было выйти в город, чтобы еще разок пройтись по улицам Парижа, но потом предпочел, усевшись в одно из маленьких хрупких кресел, ждать. Перебрал в уме разговор, который вел с Визенером перед портретом мадам де Шасефьер. Визенер мог истолковать его ответ и положительно, и отрицательно. А какого истолкования хотелось бы ему, Гейдебрегу?

Он сидел и ждал. Около полудня явился слуга Арсен. По поручению мосье Визенера он доставил футляр с портретом.

Прежде чем отправиться домой, Арсен разрешил себе выпить рюмку виски в баре отеля «Ватто». Он был очень доволен новым поворотом в жизни своего хозяина. Наконец-то мы поступили, как подобает истинному вельможе, каким мы и являемся. Наконец-то мы избавились от этой еврейки.

Гейдебрег между тем уставился своими белесыми тусклыми глазами на футляр. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не открыть футляр тотчас же. Он решил взять его с собой в купе.

Провожать себя Гейдебрег никому не разрешил, кроме Визенера. Оба рано приехали на вокзал. Носильщик внес вещи в купе спального вагона; сначала — футляр с портретом, затем — маленький саквояж. Визенер следил за тем, как носильщик укладывает футляр в сетке. Но ни он, ни Гейдебрег не сказали о портрете ни слова.

Простились сердечно.

— Надеюсь, мы с вами время от времени будем перезваниваться по телефону, — сказал Гейдебрег перед самым отходом поезда.

— А когда мы увидимся? — спросил Визенер.

— После войны, когда мы войдем в Париж, — ответил национал-социалист Гейдебрег, стоя у окна; поезд уже трогался.

Глава 22

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА

Время было раннее, Визенер мог еще направиться куда угодно, но он поехал домой. Ему хотелось в этот вечер поработать. Он задумал статью об Орлеанской Деве, эта мысль давно его занимала. И вот он ходит по кабинету и библиотеке, как делает всегда, когда хочет сосредоточиться. Сегодня, однако, ему не удастся собраться с мыслями. Леа, значит, едет в эти минуты в Берлин. Смешно, ведь он не мистик, а вместе с тем, пока портрет висел на стене его библиотеки, ему казалось, что он может с Леа разговаривать. Но он передоверил Леа Бегемоту. Вот теперь он уже настоящий сводник. Это дьявольская сделка. Он некоторым образом продал душу дьяволу.

Визенер представляет себе, как Гейдебрег достает портрет из футляра, как берет его в свои отвратительные, страшные, белые руки. Он видит, как Гейдебрег сидит перед портретом в позе статуи египетского фараона, уставив на Леа свои белесые глаза. Визенер видит эту сцену четко, до последнего штриха. Фу, до чего гадко. До чего грязно.

Невероятно глупо, но он не в силах отвести глаз от этого идиотского пятна на опустевшей стене.

Он звонит Арсену, велит принести свой излюбленный белый портвейн. Арсен тоже как будто покосился на пятно и удовлетворенно ухмыльнулся. Вздор. Арсен хорошо воспитан, он этого не позволит себе.

Визенер пил. В зеркальном стекле книжного шкафа он увидел свое лицо. Бог мой, до чего же он стар сегодня. Лицо старой бабы. Кто не лишен глаз, тот видит, что рот и нос у него истинного комедианта. Обычно он пил умеренно. Сегодня он опрокидывал в себя бокал за бокалом, быстро, машинально, без удовольствия. Омерзительно. Портрета нет, но Леа улыбается шире, чем тогда, когда портрет висел на стене: «Разгадан и отвергнут».

Визенер заставляет себя работать. Мало-помалу он втягивается в работу, и ему удастся сосредоточиться.

Не мудрено — тема захватывающая. Рационалистам так же никогда не понять Орлеанской Девы, ее сущности и воздействия на окружающих, как не понять им сущности фюрера и его силы воздействия на людей. Противник Орлеанской Девы фельдмаршал Тальбо считал ее попросту глупой.

Безумство, ты превозмогло; а я
Погибнуть осужден. И сами боги
Против тебя не в силах устоять...—

отчаивается Тальбо у Шиллера.

Будь проклят тот, кто в замыслах великих
Теряет жизнь, кто мудро выбирает
Себе стезю вернейшую. Безумству
Принадлежит земля,—

воскликает он и умирает. Тальбо, конечно, не совсем не прав, но он слишком прямолинейно рассматривает факты, он их искажает своей крайне субъективной оценкой. Сила экстаза, а не разум — вот что вознаграждается венцом, и в последнем счете мимолетный успех Жанны д'Арк не забыт; Жанна оправдана историей. История доказала, что разумный Тальбо — карлик, а Жанна — великий человек. Над этим бесспорным фактом следует призадуматься тем, кто слишком уж рационалистически толкует речи фюрера. Экстаз, демоническая вера в благо и святость твоего дела способны в конце концов сделать больше, чем вся материалистическая логика, вместе взятая.

Визенер пил. Делал заметки. О Жанне д'Арк можно думать что угодно, можно считать ее одержимой и подвиги ее объяснять подсознательной эротичностью, но в Жанне нельзя увидеть ни спекулянтку, ни карьеристку, ни человека, действующего из своекорыстных побуждений. Она скроена из цельного куска, и уже далекой Леа она пришлась бы по душе, как пришелся ей по душе Бегемот. Лед или пламень, но только не тепленькая водичка.

Он допил бутылку. С работой сегодня все-таки ничего путного не получилось. Проклятое пятно на стене не давало ему покоя. Он улегся в постель.

Наутро Визенер проснулся с отвратительным вкусом во рту. С наслаждением выполаскивал он противный осадок; ему казалось, что вместе с ним он выполаскивает все путаные, тяжелые мысли вчерашнего вечера. К приходу Лотты он был уже в отличной форме, ему хотелось поскорее приступить к работе, с подъемом начал он диктовать статью, слова текли свободно и плавно.

Но едва он продиктовал несколько первых фраз, как раздался телефонный звонок. Напрасно Лотта старалась отделаться от говорившего, тот настаивал, чтобы она попросила Визенера к телефону.

Говорил один из секретарей посольства. То, что он сообщил, было действительно срочно. На барона фон Герке совершено покушение. Он серьезно ранен, его везут в американский госпиталь. Покушался молодой человек, по-видимому эмигрант; он передан в руки полиции.

Визенер лихорадочно размышлял. Он обдумывал, что из этого происшествия сделают и что можно из него сделать. Если Берлину в данный момент будет кстати лишний раз показать, что эмигранты своей преступной деятельностью за границей ставят под угрозу дело мира, тогда факт покушения можно раздуть до гигантских размеров. В этом случае Шпицци автоматически возводятся в мученики. Визенер от души желает ему этой славы, он готов добавить от себя щедрую долю фими-ама, но при одном обязательном условии — если серьезно раненный Герке покинет американский госпиталь либо мертвым, либо неработоспособным. Если же ненавистный соперник выздоровеет и сможет продолжать работу, он в качестве прославленного мученика явится для Визенера острой костью, которой Визенер долго будет давиться.

Посольство со своей стороны выколотит по всем правилам искусства из мученичества Шпицци, своего представителя, все, что возможно. И Визенеру ничего не останется, как стоять в стороне и бессильно наблюдать. Был бы хоть Бегемот здесь. А так он, Визенер, обречен сидеть сложа руки и ждать.

Он поехал на улицу Лилль. В посольстве и впрямь царило плохо скрытое ликование. Опять посольство

попало в центр внимания, улица Лилль неожиданно побила улицу Пантьевр.

Что касается фактической стороны дела, то произошло следующее: молодой человек, некий Клеменс Пиркмайер, под каким-то предлогом попросил, чтобы господин фон Герке принял его, и, как только его впустили в кабинет, тотчас же выстрелил. Этот юноша — интересующийся политикой эмигрант, злостный враг, сын того самого Франца Пиркмайера, который еще во времена Веймарской республики был одним из самых опасных врагов фюрера. Посол, разумеется, тотчас связался с Берлином, там готовят сильный удар по всей эмиграции в целом. Уже сейчас, пока с Визенером здесь разговаривают, в Берлине выходят экстренные выпуски газет, а радио дает внеочередные сообщения о случившемся. Нет сомнений, что выстрел эмигрантского мальчишки вызовет негодование всего немецкого народа.

Визенер угрюмо слушал. Ловко все это посол обыграл, ничего не скажешь. Сразу же взял быка за рога — факт покушения обобщил, ответственной за него сделал всю эмиграцию и добился того, что в дело включился весь великолепный аппарат берлинского министерства пропаганды. И в выигрыше — посол, улица Лилль, а больше всего Шпицци, герой, мученик, теперь он может прибавить к своей уже забытой и померкшей «заслуге» вторую, гораздо более эффектную, чем первая.

— А Шпицци? — спросил Визенер. — А господин фон Герке? — быстро поправился он. — Как его состояние? Есть надежда? — Тревога, слышавшаяся в его голосе, была искренней.

Советник посольства сделал серьезное, озабоченное лицо.

— Мы пока ничего не знаем, — сказал он. — Точно еще ничего не известно.

Но в ответе его слышалась чуть заметная ироническая нотка, и Визенеру стало ясно, что рана Шпицци не серьезна и что только из конъюнктурных соображений эпизод этот елико возможно раздувают.

Визенер поехал в американский госпиталь. Настроение у него было мрачное. А он-то с высочайшей вершины взирал на бессильно злобствующего и повержен-

ного соперника. Да, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Никогда и никого, пока человек не умер, не следует считать уничтоженным. «Надо родиться под счастливой звездой, иначе даже хорошим жуликом не станешь». Это сказано у Лессинга и, точно в насмешку, в его пьесе «Евреи». Как бы там ни было, а он, Визенер, остался в дураках, счастье изменило ему, и на его мечте обратить посла в марионетку, а самому стать резидентом фюрера в Париже поставлен крест.

В американском госпитале врач подробнейшим образом ознакомил Визенера с состоянием больного. «Пришлось резать и зашивать, несколько дней у больного будут сильные боли,— сказал врач.— Лицо останется изуродованным, а поврежденные вследствие ранения в шею голосовые связки со временем залечатся, голос вернется, правда не полностью. Вообще-то барону повезло,— продолжал врач.— Золотой протез, который барон носит во рту, предотвратил самое страшное. Но челюсть, конечно, сильно изувечена. В относительно недалеком будущем здоровье барона будет восстановлено; надо полагать, что недели через две-три его можно будет выписать».

«Этакий счастливчик,— угрюмо думал Визенер.— Этакий *veinard*. Хорошее слово. *Veinard* — человек, нашедший золотую жилу. А может, немецкое «*Schwein haben*»¹ тоже от «*veine*»? Надо будет поглядеть. Но сначала собственными глазами поглядим на *veinard'a*, на счастливчика».

Голова Шпицци была вся перевязана, только один глаз оставался открытым. Шпицци подал Визенеру теплую, мягкую руку. Говорить он, конечно, не мог. Зато говорил Визенер. Говорил все, что полагается в таких случаях. Сочувствовал Шпицци, выражал радость, что он сравнительно легко отделался, рассказывал, что весь рейх кипит возмущением, там чрезвычайно взволнованы подлым деянием, и со всех сторон Шпицци выражают соболезнование.

Шпицци молча слушал. Из-под белой повязки поблескивала прядь светлых волос, нос торчал как-то

¹ Везение (идиома) (нем.).

вкось и очень надменно. Одним незабинтованным глазом Шпицци не отрываясь смотрел на Визенера. Про себя Шпицци, несомненно, ухмылялся.

Когда Визенер собрался уходить, Шпицци взял грифельную доску, которая лежала возле него. «Когда встречаются два авгура...» — написал он.

Через неделю Визенер навестил господина фон Герке во второй раз.

За это время события развернулись именно так, как предвидел Визенер. Посол, почувствовав свежий ветер в своих парусах, принял такое участие в судьбе Шпицци, как если б это была его собственная судьба, и мобилизовал Медведя, покровителя Шпицци. Имперское министерство пропаганды развернуло энергичную деятельность, и Шпицци был произведен в герои и мученики. Он при жизни был некоторым образом возведен в небожители, по соседству с Хорстом Весселем, сутенером, которого национал-социалисты объявили святым, как только пришли к власти.

Шпицци понимал, какую роль ему создали, и в тот день, когда пришел Визенер, был чрезвычайно возбужден. Тем не менее разговаривать им было не просто. Господину фон Герке все еще приходилось пользоваться для своих вопросов и ответов грифельной доской; говорить ему разрешали очень мало, а если он что-нибудь произносил, голос его звучал, как проржавленный. Невзирая на то, что Визенер отлично знал всю подноготную этого человека и его новорожденной славы, он не мог не почувствовать на себе действия ее лучей. Ему казалось, что ржавый голос, изредка звучащий, усиливает то таинственное, значительное, что витало теперь вокруг его противника.

Герке прочел статью Визенера об Орлеанской Деве.

— Неужели вы думаете, что сама Дева всегда принимала себя всерьез? — написал он на грифельной доске.

Визенер ходил по маленькой светлой палате и старался недавно состряпанными доводами, облеченными в пышные словеса, обосновать свою веру в силу экстаза. Но вид Шпицци сбивал его с патетического тона. На Шпицци была теперь совсем небольшая повязка, за-

хватывающая лишь полглаза, а оставшимися полутора глазами он провожал шагающего взад и вперед Визенера и подмигивал ему, и от этого Визенер путался и сбивался. А когда Визенер, декламируя, пышно заговорил о сходстве между Жанной д'Арк и фюрером, Шпицци прервал его отчаянной жестикуляцией и, гримасничая, торопливым, неразборчивым почерком написал на своей доске: «Перестаньте. Мне запрещено смеяться и больно...»

Позднее Визенер спросил:

— Что вы собираетесь делать по выздоровлении?

«Прежде всего,— объявил ему Шпицци в письменной форме,— я доведу до конца те самые планы, которые вы до сих пор саботировали. Прежде всего Я добьюсь своего Перемирия в печати». «Я» и «перемирие» он выделил жирной чертой.

Но после этой выходки Шпицци очень скоро вернулся к дружелюбному тону. Счастье сделало его обходительным, он стал намного сердечнее, и в конце концов они заговорили совсем по-приятельски, как в далекие дни; ненависть последних месяцев была забыта. А когда пришла еще мадам Дидье, воцарилось уж самое что ни на есть приятное настроение. Шпицци с удовлетворением отметил про себя, что бело-розовая красавица Коринна очень понравилась Визенеру.

— До моего отъезда нам непременно надо уютно провести вечерок втроем,— написал на своей доске Шпицци.

— Вы решили ехать, Шпицци? Почему так спешно? — спросил Визенер.

— Я не хочу упускать время,— по-прежнему письменно ответил Шпицци.— Едят, пока у корыта стоят.— И прибавил:— Думаете, благодать будет длиться вечно?

— Какая благодать? — спросил Визенер.

Тут Шпицци раскрыл рот и ломким голосом с трудом пояснил:

— Наша.

— Ему нельзя говорить,— в ужасе воскликнула Коринна.

Визенер обдумывал словечко «наша» и вдруг понял, что Шпицци явно имел в виду не только свое благоден-

ствие, но и его, и всего режима. И он задумчиво процитировал:

И пусть последники истратят
Целительный бальзам, завещанный
Покойною старухой,
На орла, павлина и овцу.

— Что это значит? — спросила Коринна.

— А вот что, — сказал Шпицци и попытался спеть своим ржавым голосом:

Мы нашей бабушки домик пропьем
По закладной, сначала по первой, потом
по второй.

— Пожалуйста, — Коринна повернулась к Визенеру, — скажите, что это значит? Переведите хоть вы мне, мосье Визенер.

— Это значит: *après nous le déluge*¹, — перевел Визенер.

Глава 23

СЧАСТЛИВЧИКИ

Едва поправившись, Шпицци поехал в Лондон продвигать свой проект перемирия в печати. Покушение на его жизнь, раздутое немецкими газетами, произвело повсюду сенсацию, высокопоставленные английские друзья Шпицци чествовали его, как героя, и пребывание Шпицци в Лондоне превратилось в сплошной триумф. Сопровождавшая его Коринна была свидетельницей его успеха. Шпицци вырос в ее глазах.

Он был рад этому. Связь с Коринной оказалась серьезнее, чем он думал. В глазах у нее все еще мелькало иногда мистическое выражение, и это удивительное сочетание одержимой с дамой света, какой вообще то держала себя Коринна, все еще пленяло его.

Но насколько успешно продвигалось дело с перемирием в печати, настолько же прискорбно обстояло со вторым делом, по которому Шпицци приехал в Лондон.

¹ После нас хоть потоп (*франц.*).

Выстрел глуного мальчишки, оказавшийся таким счастливым для карьеры Шпицци, оставил весьма тяжелый след: он жестоко изуродовал Шпицци. Его рот, тот самый рот, которому доктор Вольгемут с таким мастерством придал блеск и обаяние, был теперь отчаянно обезображен и перекошен. На этом еще недавно столь сияющем лице появилась кривая беззубая ухмылка; нет, лицо Шпицци уже не было более услудой очей. Правда, ухмыляющаяся загадочная гримаса придавала лицу фон Герке, по крайней мере в глазах тех, кому была известна его судьба, выражение высокомерной пренебрежительности, но, как бы то ни было, внешность его, бесспорно, приобрела нечто значительное; однако он предпочел бы совместить свою нынешнюю судьбу с внешностью прежнего Шпицци. Слава, успех, значительность — это все хорошие вещи, но для того, кто привык побеждать уж одной своей внешностью, они только заменители.

К доктору Вольгемуту барон фон Герке с первого взгляда проникся глубоким доверием. Только он, доктор Вольгемут, способен привести в порядок его челюсти, никто другой. И это была вторая, а быть может, и первая причина, почему Шпицци, едва встав на ноги, отправился в Лондон.

У доктора Вольгемута его встретила вместо знакомой фрау Траутвейн новая ассистентка. Ах да, он вспоминает, фрау Траутвейн отправилась к праотцам, поставила точку; ее смерть тоже как-то связана с делом Бенъямина, если он не ошибается. Просто удивительно, сколько людей на совести Вольгемута, а все — его непомерные счета. Так или иначе, но барона приняла другая дама.

Она поздоровалась с ним по-английски, но, как только он назвал себя, перешла на немецкий. Дама звалась миссис Эллинор Блэкет. Она производила впечатление несколько опустившейся, неряшливой женщины, но в общем на нее приятно было смотреть и у нее были хорошие манеры.

До того как она стала миссис Блэкет, ее звали Элли Френкель. Она вышла замуж за английского морского офицера, стала, таким образом, обладательницей же-

ланного английского паспорта. Так был сразу решен вопрос о получении права на жительство и разрешения на работу. Со стороны ее второго мужа ей также не грозило никаких осложнений в жизни. Мистер Блэкет, человек порядочный, женился на Элли только из желания показать свою ненависть к Гитлеру. Женидьба была его предпоследним добрым делом. А последнее доброе дело заключалось в том, что вскоре после женидьбы он не вернулся из плавания, оставив бывшей Элли Френкель, а пыне вдове Блэкет не только приятный паспорт, по и вполне приятную пенсию.

Да, п среди эмигрантов были счастливчики. Доктору Вольгемуту переезд в Лондон тоже послужил ко благу. В Париже, правда, повинаясь голосу своего доброго сердца, он поручил учреждению под названием МО — «Мосье обслужен» — упаковку и погрузку багажа, и это стоило ему нескольких вещей, дорогих по воспоминаниям: упомянутые вещи господа из МО сломали, но все остальное устроилось как нельзя лучше. Старый Симпсон, Симпсн, совершая приятное кругосветное путешествие, ограничивался тем, что изредка присылал откуда-нибудь открытку с видом. В остальном Симпсон положился на своего энергичного, необычайно дельного преемника, доктора Вольгемута. Доктор несколько не изменился. В Лондоне у него было даже больше дела, чем в Париже, а миссис Блэкет в роли английской вдовы была такой же растяпой, как и в роли немецкой, и не очень-то старалась облегчить ему работу. Если же Вольгемут изредка позволял себе одно из своих саркастических замечаний по поводу ее «усердия», она закусывала удила, и тогда было еще хуже. Он тотчас же просил у нее прощения за свои непристойные шутки. Но все это его не волновало. Он успел и в Лондоне сделать несколько потрясающих по мастерству протезных работ, он обращался со своими лондонскими пациентами, как раньше с парижскими и берлинскими, он пользовался в Лондоне такой же славой очаровательного доктора, как раньше в Париже и Берлине. У него было все, что душе угодно. Он мог, если хотел, работать до упаду, мог запрашивать у пациентов цены, какие вздумается, мог всласть натерпеться от несовершенств

миссис Блэкет и, следуя влечению ее и собственного доброго сердца, давать крупные суммы в фонд помощи нуждающимся эмигрантам.

Появление в его приемной мосье барона доставило ему истинное и злое удовлетворение. В свое время он поступил неправильно, избавив этого человека от страданий и мастерством своим улучшив его внешность. Вольгемут смутно догадывался, что между тогдашним врачеванием зубов Герке и похищением Фридриха Беньямина существует какая-то связь. Прямых доказательств у него не было, но неприятные догадки возникали. Недавно, прочитав в газетах о покушении на Герке и о характере ранения, он тотчас же подумал, что теперь вполне возможно вторичное появление у него господина барона. Так он думал, на это надеялся. Опять беда обернулась для этого Герке благословением, его возвели в героя, в мученика, пролившего кровь за идею, в своего рода преемника Хорста Весселя. «Ну, погоди же,— думал доктор Вольгемут,— попадись мне только в руки, уж я тебя попотчую». Доктор горел нетерпением. Он мечтал о том, что и как он скажет Герке. И когда мосье барон вошел в его кабинет, ему показалось, что Герке притянули его, Вольгемута, мечты, его желания.

Вот наконец-то в его зубо-врачебном кресле и в самом деле снова сидит этот безмерный наглец, представитель ненавистного режима, воплощение зла. Доктор Вольгемут велит мосье барону открыть рот. Так он и думал: золотым мостом, который он своими руками сделал, он спас жизнь этому чудовищу.

— Благодарю,— сухо сказал он.— Можете закрыть ваш драгоценный рот.

— Ну, как? — тревожно, но с наигранным хладнокровием спросил Герке.— Можно что-нибудь сделать?

— Вообще нельзя, но я, пожалуй, мог бы,— ответил доктор.— Челюсть надо в нескольких местах заменить платиновым протезом; дело это потребовало бы много терпения как от врача, так и от пациента. И после всех усилий гарантировать успех все же нельзя.

— Жаль,— ответил Герке,— жаль, что плод наших с вами усилий и терпения разрушен.

— Все же наш золотой мост спас вам жизнь, мосье барон,— сказал Вольгемут.

Шпицци, сидя в кресле, скосил на него глаза. Длинноногая кавалерийская фигура Вольгемута, его трескучий голос, его умное, резко очерченное лицо представлялось Герке в воспоминании симпатичнее, чем показалось ему в эту минуту.

— Да, во рту у вас большие разрушения, мосье барон,— задумчиво, сдержанно сказал доктор Вольгемут.— Но в Германии они повлекли за собой во много раз большие разрушения.

Это был намек на то, что нацисты воспользовались покушением на Герке как предлогом для новой волны жестоких преследований эмигрантов и их родственников, остававшихся в Германии, которых «в наказание» нещадно грабили, над которыми издевались и измывались.

— Многим ни в чем не повинным родственникам многих ни в чем не повинных эмигрантов разбили «в наказание» не только челюсти, милостивый государь,— продолжал доктор Вольгемут.

Шпицци только плечами передернул в ответ на этот намек, на этот безвкусный сентиментальный пафос.

— Пользуясь тем, что наши пути опять скрестились,— сказал далее все с тем же безвкусным пафосом доктор,— я разрешу себе задать вам вопрос: знаете ли вы историю Мардохая и рейхсканцлера Амана?

Господин фон Герке не знал этой истории.

— Рейхсканцлер Аман тоже задумал против Мардохая и его единоплеменников страшные злодеяния,— стал излагать неизвестную господину фон Герке историю доктор Вольгемут.— Среди прочих злодеяний он велел построить для Мардохая очень высокую виселицу. Но в конце концов он сам повис на ней.

— Возможно,— согласился Шпицци, и его ржавый голос прозвучал миролюбиво,— возможно, что наши концентрационные лагеря послужат когда-нибудь местом заключения для наших людей по приказу ваших. Но, откровенно говоря, мне не хотелось бы обсуждать с вами перспективы третьей империи, я предпочел бы по-

говорить об оздоровлении моей челюсти. Не будете ли вы любезны сказать, угодно вам вновь привести мой рот в порядок?

Этого вопроса Вольгемут только и ждал. Вот теперь он потешит свое сердце, он унизит ненавистного ему человека. Об этом он мечтал с той минуты, как прочел о покушении на Шпицци. Он помедлил с ответом, подыскивая острые и меткие формулировки, которые бы сразили врага, и господин фон Герке воспользовался случаем, чтобы, в свою очередь, дать щелчок этой свинье.

— О цене,— продолжал он,— нам долго говорить не придется. В свое время в Париже вы объяснили мне, что вам известно, насколько заинтересованы в вашем мастерстве те, кто в нем нуждается. Я готов и теперь заплатить столько же, сколько платил в Париже.

Но Вольгемут уже продумал свой ответ.

— Сама по себе эта цена была бы, пожалуй, достаточной,— сказал он.— Но я не делаю бесполезной работы. Если кто-либо живет и действует так, что ежеминутно рискует стать жертвой покушения на его жизнь со стороны какого-нибудь глубоко оскорбленного в своем правосознании человека, то я предпочитаю не браться за восстановление его челюсти.— Вольгемут говорил медленно, смакуя каждое слово, выговаривая его с едва скрытым торжеством.— Нет, милостивый государь,— зло сказал он в заключение,— нет, хотя бы вы положили передо мной за каждый франк моего парижского гонорара добрый английский фунт и я мог бы на эти деньги вырвать из рук вашего Гитлера сто или двести человек, я все равно палец о палец не ударил бы ради благообразия вашей драгоценной физиономии.

Шпицци медленно поднялся с кресла. Он сам не мог понять, как это он пришел сюда. Следовало знать заранее, что этот получеловек, воспользовавшись случаем, захочет вволю насладиться вульгарной местью.

— Вы чрезвычайно принципиальны,— сказал Герке своим ломким голосом.— Но боюсь, что если на вашей стороне все так же, как вы, лишены гибкости, то еще

долго вы будете заключенными, а мы — вашими сторожами в немецких концентрационных лагерях.— И он удалился.

Вольгемут рассказал вдове Блэкет о разговоре с Герке. Ну и отбрил же он этого барона. О «последнем слове» Шпицци доктор, конечно, умолчал. Вдове Блэкет, однако, не понравился подход доктора Вольгемута ко всему этому делу. Месть была бы благороднее и даже, может быть, чувствительнее, если бы доктор как раз на противнике показал свое мастерство.

— Ваши слова, миссис Блэкет,— поднял ее на смех Вольгемут,— обнаруживают глубокое понимание нравов наших достоуважаемых врагов.

Но в душе он не считал, что она так уж не права. У него остался весьма неприятный осадок от того, как мосье барон с поднятой головой, задрав нос над перекошенной челюстью, вышел из его кабинета.

А Шпицци рассказал мадам Дидье о своем посещении зубного врача. Этот субъект, сказал он, столько всякой всячины наговорил ему, что он потерял к нему доверие как к специалисту. Коринна успокаивала его: не Вольгемут, так другой специалист ему поможет. И если даже вообще ничего нельзя сделать, то и тогда не страшно. Шпицци нравится ей таким, пожалуй, еще больше. Он несет на себе знак того, что он пролил кровь за идею, его окружает атмосфера мученичества.

Шпицци и сам убеждал себя, что, покуда он жив, лицо его, такое, как сейчас, будет постоянным напоминанием национал-социалистской партии, что она у него в долгу. Но этот пластырь, положенный на рану, мало помогал. Шпицци заботило, какое впечатление он производит на женщин, а женщин он знал. Нынче Коринна ублажает его сладкими речами. А стоит возникнуть более или менее серьезной ссоре, и если не вслух, то про себя она упрекнет его: калека несчастный, уродина с разбитой физиономией. Но когда он представлял себе, как будет ходить от врача к врачу, не решаясь кому-либо из них довериться, ему становилось тошно. Этому еврею он доверился бы.

Так оказалось, что Вольгемут все же добился своего.

Господин Гингольд завтракает. Он ест много, макает сладкие коржики в кофе, вычерпывает ложечкой яйцо с такой быстротой, что желток застревает в его четырехугольной, теперь уже больше белой, чем черной, бороде. Но он ест почти без аппетита, он и свою обширную корреспонденцию читает почти без интереса, даже привычный шум, всегда окружающий его, и тот почти лишен для него тепла жизни.

Он берет в руки следующее письмо, пробегает глазами по строчкам. Нахум Файнберг выжидательно смотрит на своего патрона. Но господин Гингольд не дает никаких указаний, он не рассказывает своему секретарю и содержания письма, он молча откладывает его в сторону. Руки у него дрожат, и остальную корреспонденцию он дочитывает машинально, думая о чем-то другом.

А в таинственном письме сказано было вот что:

«Парижский представитель „Вестдейче цейтунг».

Многоуважаемый господин Гингольд, по поручению господина Визенера сообщаю вам, что дело, по поводу которого вы приезжали к нему, пересматривается. Господин Визенер не хотел бы вас преждевременно обнадеживать, но он полагает, что перспективы благоприятны. Секретарь Лотта...», — фамилию нельзя было разобрать. «Благодарю тебя, всевышний, да славится имя твое, — мысленно возликовал господин Гингольд. — Ах, благословенная Лотта Неразборчикова. Она полагает, что перспективы благоприятны. Но погоди, сердце, не ликуй до времени, не надейся до времени. Нет, нет, я никому ничего не скажу, ни с кем не стану обсуждать письма. Было бы слишком ужасно, если бы «перспективы» не оправдались. Я не вынес бы этого. Я буду ждать. И виду не подам».

Но это было выше его сил. Все вокруг видели, что произошло, несомненно, нечто в высшей степени радостное. Когда господин Гингольд прикрикнул на свою старшую дочь Мелани — ослепла она, что ли, не видит, что чашка его пуста, — чувствовалось, что ему действительно хочется выпить еще чашку кофе; остаток завтрака он доел с явным удовольствием. Он даже канарейке Шальшелес протянул хлебные крошки, а когда

птичка клюнула его в палец, громко хохотнул, и этот смешок прозвучал как-то вызывающе весело. Все домо-чадцы поддались ликующему настроению отца. Шум в доме сразу стал более жизнерадостным, большую, крикливую, суматошную квартиру на авеню Великой Армии нельзя было узнать. До сих пор обитатели ее только, как актеры, изображали свою прежнюю жизнь, теперь они жили не на сцене, а в реальной действительности.

Господин Гингольд взял себя в руки. Как он и решил, он ни с кем не поделился причиной своего счастья, боясь его вспугнуть. С непривычным мечтательным выражением лица, как будто чего-то ожидая, бродил он среди веселого шума, поднятого его домо-чадцами.

А ночью он увидел сон. Ему приснилось, что Гинделе, его дитя, цела и невредима вернулась к нему в Париж. Проснувшись, он сказал себе словами старинной поговорки: «Приснившиеся пышки не пышки, а сон». Но этот сон грезился ему и весь следующий день, и Луи Гингольд не утратил своего твердого упования, что сон сбудется, хотя уже прошел и первый, и второй, и третий день, не принеся с собой ничего нового.

На четвертый день, около двенадцати утра — в доме, как обычно, царил отчаянный шум, да еще господин Гингольд захотел послушать биржевые новости и включил радиоприемник, — в этот день, стало быть, около двенадцати утра в передней раздался звонок. Гингольд вздрогнул, и, гляди, — полминуты спустя во внезапно наступившую тишину вошла фрау Ида Перлес, урожденная Гингольд, Гинделе, его дитя.

— Мне следовало, может быть, телеграфировать, — сказала Гинделе среди глубочайшей тишины: она говорила неуверенно и слегка пошатывалась, судорожно зажав в руках маленький чемодан и сумку. — Но мне не разрешили писать из Германии. Я так страшно боялась. Я до сих пор не верю себе, что я здесь. Когда среди ночи мы переехали границу, я не поверила, что я уже не в Германии. А потом подумала: может, это ловушка и лучше не телеграфировать. — Она умолкла, огля-

нула направо, налево, зашаталась сильнее. Типина стала еще глубже.

В первое мгновение, увидев Гинделе, господин Гингольд почувствовал такой наплыв счастья и благодарности, что опасался, как бы его не хватил удар. В следующее мгновение он сказал себе, что голова у него все-таки неплохая и он великолепно провел это дело и вызволил Гинделе, свое дитя. И еще он сказал себе, что бог, должно быть, поддерживал его руку, иначе эта отчаянная история не кончилась бы так хорошо. Наконец, он сказал себе, что, возможно, все так и есть, как говорит Гинделе, его дитя, но телеграфировать она все же могла бы. Вслух он сказал:

— Стало быть, ты здесь, слава и благодарение богу. Садись, дитя мое. Помогите же ей, на ней лица нет. Знаешь, Гинделе, — продолжал он, — я не хочу тебя упрекать, ты и так в плачевном состоянии. Но одно не могу тебе не сказать: такого легкомыслия, бессердечия, бессовестности я в жизни своей не видел. Ты что, о своем бедном старом отце совсем не подумала? Совсем бога забыла среди этих безбожников?

Но Гинделе вопросов отца уже не слышала. Она упала навзничь, Мелани и Рут подхватили ее, глаза у нее закрылись, по лицу разлилась смертельная бледность. Гингольд закричал, заметался:

— Что вы стоите, дурачье? Уложите ее на кровать. Звоните же. Звоните врачу.

Сделали все, как он сказал. Пришел врач, что-то выпрыснул фрау Иде Перлес. Она проспала четырнадцать часов подряд. Время от времени тот или другой из членов семьи неслышно входил в комнату, где спала Гинделе, чаще всего сам Гингольд. Он входил на цыпочках, но все равно ботинки скрипели, и смотрел на дочь, смотрел сквозь очки, жадно, с нежностью. Иногда он снимал очки, совсем близко подходил к спящей, склонялся над ней, прислушивался к ее дыханию и бережно проводил твердыми пальцами по ее исхудалому лицу.

Если бы на следующее утро Гингольду сказали, что он вступал с архизлодеями в сомнительные сделки, он бы возмутился — когда, мол, это было? — убежденный

в своей правоте. Мог ли он, скажите на милость, упустить возможность совершить выгодную сделку с агентством Гельгауз и К^о? Он был бы плохим коммерсантом, если бы не воспользовался подвернувшимся случаем. Но люди, по своему обыкновению, превратно истолковали совершенно безобидные, далекие от всякой политики дела и тем совершили по отношению к нему, ни в чем не повинному человеку, страшнейшую несправедливость.

Через три дня приехал зять Бенедикт Перлес, и Гингольд еще прочнее забыл о совершенных им делах. А очень скоро он полностью забудет, в каких страшных грехах обвинял себя когда-то, разговаривая с господом богом с глазу на глаз. Зимой, в праздник Хануки, праздник в честь нового освящения оскверненного сирийцами храма, он вместе со своими домашними будет восемь дней подряд зажигать сальные свечи, каждый день на одну свечу больше, он вместе со всеми своими домочадцами будет петь гимн благодарности и освобождения. «О ты, оплот моего благоденствия...» Он делает всем своим детям подарки, как велит обычай, а Гинделе скажет: «Ты, собственно, не того заслужила», — и одарит ее щедрее, чем других. И все, что связано с «Парижскими новостями», переговоры с агентством Гельгауз и К^о и последующие события — все это будет для него словно приснившийся сон.

Во сне, однако, он еще не раз увидит господина Лейзганга, и во сне он еще не раз с разбитым сердцем, сознавая свое бессилие, будет говорить в телефонную трубку или в разговоре с богом будет чувствовать себя раздавленным чудовищной тяжестью своей вины. А наяву Луи Гингольд в крайнем случае согласится, что одно время имели место известные недоразумения, Но в итоге, умно действуя, он привел все к благополучному концу, и если «Парижская почта» процветает, то это, конечно, его заслуга. И он будет жить в полном согласии с самим собой, с богом, с людьми и со своей судьбой.

КОРОЛИ В ПОДШТАННИКАХ

Среди объектов, которые агент Визенера предлагал ему, оказался и дом на улице Ферм.

Визенер недоумевал. Ему было известно материальное положение Леа; совершенно невероятно, чтобы какие-либо обстоятельства вдруг вынудили ее продать дом. Визенеру, пожалуй, было бы даже приятно, если бы Леа неожиданно лишилась состояния. Его живое воображение уже рисовало картину, как она обращается к нему за помощью и он великодушно выступает в роли ее спасителя. Но, увы, все это мечты, подсказанные желанием. Во-первых, ему вряд ли придется узнать, что Леа попала в затруднительное положение, во-вторых, у нее на этот случай есть немало надежных друзей, таких, например, как Перейро; а в-третьих, и это хуже всего, если она и не нашла бы таких друзей, к нему она все равно бы ни за что не обратилась.

Визенер неподвижно смотрит на оголенную стену. Он продал Леа, он предал ее. Он до боли, всем существом своим тоскует по ней. Если бы ему сейчас предложили выбор — карьера или Леа, — он, не размышляя, ответил бы: Леа.

Почему она продает дом на улице Ферм? Инстинкт самоутверждения подсказывает ему лестные для него мотивы: и Леа тоскует по нем. Ей тяжело жить в доме, где все о нем напоминает. А голос рассудка осторожно вносит поправку: Леа тяжело жить в доме, где все ей опротивело, потому что он ко всему прикасался.

Ему прошлое не опротивело. Он жалеет, что отдал ее портрет. Но Гейдебрег попросту вынудил его. Не словами, нет, но это было вымогательство в подлинном смысле слова.

Интересно, продает ли Леа и меблировку дома? И знаменитые «дегенеративные» картины, которые он дарил ей? Если он понял ее правильно, если она продает дом потому, что ей противно все, что напоминает о нем, тогда она, наверное, продает и мебель и кар-

тины. А он понял ее правильно. Так, вероятно, и есть: она его любит, и в то же время он ей противен. Он и сам питает к себе такие же противоречивые чувства.

Он поручил агенту подробнее осведомить его относительно дома на улице Ферм.

В почте, полученной Визенером, был тоненький томик под названием «Le loup»¹, изданный солидным издательством; имя автора — Рауль де Шасефьер. По поручению автора издательство посылает эту книгу.

Визенер встрепнулся. Он увидел новую возможность перебросить мост от себя к Леа. Молодые авторы честолюбивы. Ему вспомнилось, как он был горд, когда взял в руки свою первую напечатанную книгу. Если он умно поведет дело, он завоюет Рауля, и это будет нитью, которая вновь свяжет его с Леа.

Лотта напомнила, что его ждет срочная работа, но он только раздраженно отмахнулся. Уселся в библиотеке. Открыл книгу. Сидя против оголенной стены, он читал новеллу «Волк», написанную его сыном.

То польщенный, то рассерженный, читал он эту книгу. Вот как, значит, мыслит его мальчик. Но неужели это он, Визенер? Неужели волк — это именно он? Неужели он никогда не мог насытить свой голод, набрасывался на все, что попадалось ему под руку, рвал и глотал свою добычу? К сожалению, Рауль многое нафантазировал, создавая этот образ. Представление, которое составила себе о Визенере Леа, было гораздо ближе к действительности.

Да, появившись такая книга раньше, она еще могла бы, вероятно, помочь ему. Если бы его раньше натолкнули на эту идею, он, быть может, стал бы подлинным волком, каким Леа хотелось его видеть. А теперь — поздно. Он не развивал в себе волчьих качеств, он излишне цивилизован, у него нет более той силы, которая позволила бы от всей души, со спокойной совестью жрать что попало. Он прожорлив лишь наполовину, моральные устои отбивают у него аппетит, и, сколько

¹ «Волк» (франц.).

бы он ни решал стать злодеем, он все равно не станет им.

Но так или иначе, а книга Рауля показывала, что его отношение к отцу, эта его вежливая холодность была наигранной. Визенер испытывал жгучую потребность объясниться с мальчиком. Было много такого, о чем стоило поговорить, книга давала пищу для размышлений. Тонкий знаток литературы, Визенер, разумеется, видел, какое влияние оказал на Рауля «Сонет 66», но видел и следы оригинального дарования. Он надеялся, что литература послужит ему средством вернуть сына.

Он написал Раулю и попросил его приехать. Он долго искал форму для этого письма, он не хотел, чтобы оно получилось излишне сердечным или излишне холодным, иначе письмо насторожит Рауля. Лишь переписав его в третий раз, Визенер наконец удовлетворился.

Рауль с нетерпением ждал ответа от отца.

Чернигу пришлось долго убеждать его подписать договор с издательством и опубликовать новеллу. Уже читая корректуру, Рауль все еще мучился сомнением, не предаст ли он себя и покойного Гарри Майзеля, если опубликует «Волка» в таком незаконченном виде. Ему казалось, что все, что он написал, еще очень сыро, он с болезненной четкостью видел, как велика дистанция между замыслом и его завершением. Все было так ярко, пока он писал, а теперь, когда написанное отделилось от него и с помощью типографской краски зажило независимой от него жизнью, оно показалось ему холодным и пустым. После первого чтения корректуры Рауль был глубоко подавлен, и Чернигу стоило большого труда то насмешками, то горячими уговорами побороть его подавленность.

И вот наконец Рауль держит в руках готовую книгу, и вдруг он обнаруживает, что потерял всякое мерило для ее оценки. Он то сравнивал свое творение с литературной продукцией, которую даже знаменитые авторы отваживались предлагать читателю, — и тогда находил свою новеллу превосходной. То сравнивал ее с «Сонетом 66», и тогда ему опять казалось, что новелла

никуда не годится. Ему все сильнее хотелось услышать отзыв посвященных. Он отдал распоряжение разослать свою книгу нескольким писателям, мнением которых дорожил, но ответов не было. Тогда, преодолев внутреннее сопротивление, он послал «Волка» и мосье Визенеру.

В таком настроении, измученный ожиданием, получил он письмо от мосье Визенера. Он с радостью тотчас же поехал бы к нему. Но следует ли? Вправе ли он? Разве не унизил он себя уже одним тем, что послал мосье Визенеру книгу?

Однако жажда поговорить о своей книге с тонким ценителем искусства была так велика, что в одно мгновение подсунула Раулю целый ворох доводов в пользу посещения мосье Визенера. Рауль доказал себе даже, что это его долг. Ведь мосье Визенер познакомил его с произведением Гарри Майзеля, а это определило место Рауля в жизни до конца дней его; главное же, мосье Визенер послужил поводом и материалом для «Волка». От того Рауля, который получил пощечину, и следа не осталось. Автор «Волка» видел лишь, что простая вежливость требует нанести визит мосье Визенеру, тем более что инициатива исходит не от него, Рауля, а от мосье Визенера.

Он поехал к Визенеру.

Арсен, не очень обрадованный появлением молодого господина де Шасефьера, попросил его подождать в библиотеке. Рауль увидел оголенную стену. Конечно, следовало быть готовым к тому, что мосье Визенер снимет портрет, это было вполне естественно, это само собой разумелось. И все же, увидев на месте портрета пятно, Рауль почувствовал легкий, но болезненный укол.

Визенер вошел. Радость и большие надежды всколыхнули его, когда Арсен доложил о приходе молодого господина де Шасефьера. Он вошел быстрой походкой, подобранный, подтянутый, поздоровался с юношей с привычной светской непринужденностью, предложил Раулю его любимый портвейн. Жадно, но незаметно всматривался Визенер в черты сына, общие с Леа, и они внушали ему страх; тогда он искал в его лице

то общее, что было у сына с ним, и пропикался надеждой.

Рауль учтиво отвечал на радужные, сердечные слова Визенера. Он так много нужного и полезного для себя почерпнул в разговорах с мосье Визенером на литературные темы, сказал Рауль, что считал своим долгом послать ему первому свою маленькую книжечку. Раулю крайне интересно мнение мосье Визенера.

Визенер долго и тщательно обдумывал, что он скажет сыну. Но при виде юноши все, что он надумал, в один миг улетучилось. Он судорожно рылся в складках своей памяти, но ничего не находил. Тема книги его слишком близко касается, чтобы объективно судить о ней, сказал он наконец, нехорошо улыбаясь. Разумеется, трудно себе представить эпическое художественное произведение, созданное без живого прототипа, и совершенно естественно, что самому прототипу нелегко судить об одной только художественной ценности такого произведения.

Боже мой, что он мелет? Ведь он придумал такие милые слова, ведь он хотел деликатно, не подчеркивая, польстить тщеславию Рауля. А теперь он словно читает из учебника по литературе для учащихся старших классов и отталкивает от себя мальчика, вместо того чтобы привлечь.

— К сожалению, трудно отрешиться от известной замкнутости в собственном «я», — продолжает он. — Читая твоего «Волка», я все время невольно задавал себе вопрос: так ли я в этом случае думал бы, действовал бы?

Что это? Ведь не то интересуется мальчика, он вовсе не то хотел сказать Раулю.

— Это не критерий, — действительно говорит Рауль, уже несколько остывший.

Но Визенер, раз сбившись, никак не может попасть в тон и против собственного желания продолжает поучать:

— Верно, мальчик, это не критерий. Но хочу я этого или не хочу, а рассказ твой навязывает такие мысли. Я невольно все время спрашиваю себя: есть ли и в самом деле во мне кое-что от волка, который здесь изо-

бражен? И тут извини, но должен тебе откровенно сказать: удар твой не угодил в цель, ты не уловил самой сути. Если уж тебе нужна зоология, то мое поведение, а пожалуй, и совесть больше соответствуют завету: будьте кротки, как голуби, и умны, как змеи.

Рауль тем временем сравнивал мосье Визенера со своим «Волком» и пришел к заключению, что он переоценил этого человека. Когда он писал, ему рисовался более энергичный, более мужественный человек. А в господине, который сидит против него, есть что-то от обиженной старой девы, что-то неприятно самовлюбленное, плаксивое.

Визенер между тем продолжает болтать. Он смотрит сыну в лицо все с той же судорожной улыбкой. Он в отчаянии, он хочет удержать мальчика, только поэтому не перестает говорить. Но ему, обычно такому речистому, попросту не приходит на ум то, что он собирался сказать. Он знает, что все вспомнит, когда это уже никому не нужно будет. Он хотел показать мальчику, что книга взволновала его, она и в самом деле его взволновала. Но все, что он говорит, звучит фальшиво, он нагромождает банальность на банальность. Почему, господи ты боже мой, он не находит ни одного слова, идущего от сердца к сердцу? Он не может отвести глаз от своего мальчика, он любит его, он любит Леа и самого себя в своем сыне. Он знает, что ему остались считанные мгновения для того, чтобы сказать нужные слова, а если он не скажет, если в последнее мгновение он их не найдет, тогда, значит, драгоценная возможность упущена и никогда больше не вернется.

Он их не находит. Он продолжает болтать, и все не то, не то, все фальшиво, плоско.

Рауль видит устремленный на него молящий, настойчивый взгляд мосье Визенера. Но что за равнодушный, никому не интересный вздор несет этот человек? Одно мгновение ему хотелось попросту попросить отца: «Не ходи ты вокруг да около. Если тебе моя книга не нравится, тогда скажи прямо. А если нравится, так укажи, где и в чем я дал маху и как сделать лучше. Ведь ты в этих вещах знаешь толк. Помогите мне». Но

что-то стоит между ним и отцом, не старая вражда, а нечто иное, трудно объяснимое. Быть может, это черты Леа, запечатленные в их сыне, сковывают отца, не дают ему говорить с ним так, как хотелось бы; а Раулю, возможно, мешают говорить с отцом нацистские черты Визенера. Как бы то ни было, но ни тот, ни другой не воспользовались последним драгоценным мгновением, оно ушло, кануло в вечность, и отныне Визенер для своего сына действительно не больше чем мосье Визенер, безразличный ему человек, живущий в чужом мире. Рауль почти физически ощущает, как отец удаляется от него, становится все меньше, и, раньше чем Рауль говорит «до свиданья», Визенер отодвинулся от него в бесконечную даль, навсегда ушел из его жизни.

Визенер остается один с новеллой «Волк» в руках. Он неподвижно смотрит на дверь, захлопнувшуюся за Раулем. Леа нет, Рауля нет, портрета нет. Новелла «Волк» — вот все, что Визенеру осталось от его близких.

Шпицци приехал к Визенеру с прощальным визитом. Он надолго уезжал в Берлин.

— Хочу на месте послушать и посмотреть, что там, собственно, делается, — пояснил он.

«Желает получить по счету», — подумал Визенер; он и сам поступил бы точно так же.

Шпицци сиял, как в свои лучшие времена, но теперь это было странное, мрачное, значительное сияние; лицо его по-прежнему оставалось обезображенным. Как он и предвидел, английские и французские специалисты, к которым он обращался, говорили, что челюсть восстановить, пожалуй, можно, но гарантировать полный успех трудно. И Шпицци, все взвесив, страдания и длительность лечения на одной чаше весов и сомнительность успеха — на другой, предпочел пока что остаться при мрачном сиянии. Что там ни говори, а доверие он питал только к этой свинье Вольгемуту.

Шпицци и сегодня приехал с мадам Дидье; в по-

следнее время их очень часто видели вместе. Оживленно болтая, Визенер разглядывал лицо врага. Оно по-настоящему ужасно. Неужели в глазах женщины это уродство компенсируется пикантным душком а-ля Хорст Вессель, овевающим Шпицци? Вряд ли. Хотя Корпина, как видно, крепко к нему привязалась. Она аппетитна, плутовка, ее вера в мистическое, потустороннее, по-видимому, неподдельна, и это сообщает ей особое очарование. Когда Шпицци уедет, Визенер сможет заполнить досуг свой заманчивым занятием. А то, что именно он отобьет ее у Шпицци, увеличивает прелесть этого занятия. И Визенер тотчас же, пуская в ход свои испытанные приемы, принимается флиртовать с мадам Дидье. Шпицци, конечно, насквозь видит его намерения, но спокойно на все реагирует, больше того, его, по-видимому, даже забавляет, что Визенер из кожи лезет вон.

А некоторое время спустя Шпицци говорит вскользь:

— Кстати, мадам Дидье едет со мной в Берлин.

Визенеру лишь с трудом удается скрыть свое изумление. Он никогда не осмелился бы и подумать о том, чтобы взять с собой в Германию Леа; сам Бегемот вряд ли позволил бы себе что-либо подобное. А Шпицци ничтоже сумняшеся делает дочь исконного врага подругой своей славы. Он берет ее с собой в свою триумфальную поездку, точно это самая естественная вещь в мире. Ему, мученику, Хорсту Весселю номер два, все дозволено.

Бегемот уехал с портретом Леа, Шпицци, ухмыляясь, тащит с собой в Берлин свою содержанку, а он, Визенер, сидит против оголенной стены, и с весны ему представится полная возможность княжить в доме, покинутом его возлюбленной.

«Вот теперь как раз самое время», — говорит он себе и еще усерднее ухаживает за Корпиной. Шпицци угадывает, что в нем происходит. «Старайся, старайся, mon vieux, все равно останешься в дураках», — мысленно говорит он и едва заметно улыбается; он все еще забывает, что малейшая улыбка превращается у него в гримасу.

— Какого вы мнения о костюме Шпицци, мосье Визенер? — спрашивает Коринна. — Вы не находите, что костюм слишком зимний?

— Для Берлина зимний костюм всегда кстати, — отвечает Шпицци, и Визенер поддерживает его.

Шпицци и Коринна начинают прощаться.

— Но галстук все-таки чересчур светлый, — настаивает Коринна.

— Что вы думаете о Шпицци, Лотта? — спросил Визенер по уходе гостей.

— Он изрядно обезображен, — ответила Лотта, — но зато приобрел нимб святого.

О чем бы ни спросить новенькую, в ответ всегда услышишь такие банальности. Когда он однажды спросил Марию, какого она мнения о Шпицци, она ответила: «Он пуст внутри, у него нет стержня». И это был ответ не в бровь, а в глаз, ответ, пад которым стоило подумать.

«Пуст внутри» — это можно сказать не только о Шпицци, но и о нем самом, и обо всей третьей империи.

Хотя у Визенера и было «пусто внутри», — с внешней стороны у него все обстояло блестяще. Деньги лились к нему рекой, известность его росла. Он все больше совершенствовал свой метод так писать статьи, чтобы они могли заинтересовать самого искушенного читателя и в то же время были настолько популярны, чтобы их понимали даже нацисты. Он писал для профессора и для кухарки, никого из немецких журналистов столько не цитировали, сколько его. И успех «Бомарше» все ширился. С тех пор как нацисты изгнали из пределов Германии лучших литераторов, ни одна написанная там строка не получила распространения за пределами страны. А «Бомарше» Визенера переведен на несколько языков, и нацисты, гордые тем, что и у них завелся писатель с международным именем, баловали его.

Шпицци оставался пока в Берлине. Его не волновала деятельность Визенера. Вместе с успехом к Шпицци вернулся его старый фатализм. Пусть Визенер на здоровье тешит себя иллюзией, будто он является

представителем рейха в Париже. Пусть себе в отсутствие господина фон Герке попользуется властью, которую так любит. У него есть все основания радоваться нынешнему октябрю месяцу.

Визенер сидел у себя в библиотеке. В доме топили, но ему было холодно. Каждую зиму он решал поставить в библиотеке камин и каждое лето забывал это сделать, а теперь и не стоило: следующей зимой он уже будет на улице Ферм.

Невесело ему нынче в его одинокой квартире. Почему, скажите на милость, не поехал он к виконту д'Ориаку, у которого сегодня вечером прием? Но там он, конечно, тосковал бы по уединению своей библиотеки. Да, постепенно превращаешься в пресыщенного, угрюмого брюзгу. Чего в молодости жаждешь, тем в старости пресыщен. Пока есть аппетит, нечего жрать, а когда есть что жрать, нет зубов.

Не выпить ли, чтобы согреться? Но тепло от алкоголя — обманчивое тепло. Он пристрастился к вину — подозрительный признак. Лет через пять у него будет лицо старого пропойцы. Он ясно видит перед собой это лицо. Он и так уж похож на старую бабу. Нет, он не будет пить.

Его знобило все сильнее. Он позвонил Арсену и велел закутать себе ноги.

«Мне холодно в моем одиноком величии». Это из какой-то пьесы. Бесконечно давно видел он эту пьесу: помнится, красочная, романтическая вещь, нечто вроде инсценированной сказки о короле в подштанниках. Какой-то обманщик надел однажды на короля несуществующее великолепное одеяние и сказал, что оно заколдовано и что видеть его могут только люди с чистым преданным сердцем. И значит, его видят все, даже те, кто его не может видеть. Король торжественно шествует в подштанниках, и сам он и весь народ восхищаются его чудесным платьем. Визенер забыл подробности пьесы, запомнилась ему только заключительная сцена. Разражается страшная гроза, народ разбегается, король в подштанниках одиноко стоит среди грохочущей бури, под проливным дождем. «Мне холодно в моем одиноком величии», — говорит он. Визенер вспом-

нил даже имя автора пьесы. Это был еврейский драматург, за пьесу его представили к Шиллеровской премии, но он не получил ее. Вильгельм Второй наложил вето; кайзеру Вильгельму пришлось не по нраву история о короле в подданных.

И теперь в Германии тоже вряд ли поставили бы такую пьесу, даже если бы написал ее не еврей.

«Долго ли еще будут верить в наше волшебное платье?» — подумал Визенер и почувствовал легкий укол в сердце, когда до сознания дошло, что именно так ему и подумалось: «наше» платье.

Он и впрямь чувствовал себя нехорошо, по телу разлилась какая-то слабость, ему было жарко и холодно в одно и то же время. Уже не грипп ли начинается?

Нет, холодно ему не только оттого, что в комнате холодно. Зло, неприязненно взглянул он на оголенную стену.

Да что же это с ним? Если уж кому следует благодарить судьбу, так прежде всего ему. Если уж кого причислять к сильным мира сего, мира 1935 года, так прежде всего его. Среди писателей третьей империи он наиболее независимый; он, безусловно, может себе позволить больше отклонений, чем любой писатель, который пишет и которого читают в нынешней Германии. Свобода. Визенер пожал плечами. Относительное понятие, вот уж действительно «буржуазный предрассудок». Он пользуется большей свободой, чем большинство обитателей земного шара. Зависит он, в сущности, только от своей потребности в комфорте. Да, комфорт он любит, без комфорта ему жизнь не в жизнь. Когда он вспоминает фронт, вши даже в воспоминании кажутся ему мучительнее, чем страх смерти. Но, пожалуй, ему нечего бояться, что он лишится комфорта, пока вообще комфорт существует на свете. Значит, зависит он только от самого себя. Свобода. Разве он не свободнее, чем, допустим, эмигранты, которые так носятся со своей свободой? А ведь у них нет даже полноценных паспортов, нет возможности передвигаться с места на место; они живут под надзором, словно каторжники на галерах. Он же волен ехать куда поже-

ляет, писать и думать что хочет. Некоторую осторожность ему, разумеется, соблюдать надо, а кому не надо? Разве господа Гейльбрун и Траутвейн могут писать все, что хотят? Пусть бы они попробовали хоть раз покритиковать политику Франции. Приютившая их страна живо шлепнула бы их по губам. А если бы они написали что-либо неугодное Австрии или Швейцарии, им запретили бы въезд в эти страны. Зачем же, собственно, эти господа покинули Германию? Свобода. Расплывчатое понятие. Свободным был тот классический бульварный журналист, который свои вымогательские письма, обращенные к влиятельным лицам его времени, подписывал: «Пьетро Аретино, божьей милостью свободный человек».

Не следовало ему оставаться сегодня вечером дома. Его «дом» портит ему настроение. Дома его успех, как бы он себя ни убеждал в нем, как две капли воды походит на поражение.

Визенер снимает с полки книгу, старается отвлечься. Это жизнеописание Жанны д'Арк, которое он недавно, когда писал свою статью, не раз перелистывал. Сначала он читает равнодушно, потом ему попадает глава, которая все сильнее и сильнее захватывает его. Речь в ней идет о Лже-Жанне, появившейся после смерти Орлеанской Девы. Удивительная история, она и в самом деле кажется неправдоподобной, но она вся подтверждена документами, до мельчайших подробностей.

Вскоре после сожжения Жанны д'Арк в городе Метце появилась девушка, называвшая себя Клод; она побывала у виднейших лиц города и объявила себя Орлеанской Девой. С тех пор прошло пятьсот лет; это было в мае 1436 года. Девушка сказала, что ей удалось бежать от англичан, а те, опасаясь паники, скрыли от народа ее бегство и вместо нее сожгли детоубийцу. Лже-Жанна мастерски владеет языком Орлеанской Девы, характерной для нее странной смесью библейских и местных лотарингских оборотов. Оба брата подлинной Жанны, Пьер и Жан дю Ли, свидетельствуют, что новоявленная Жанна действительно их сестра. Некто Николас Лов, камергер Карла VII, протоколирует, что

подлинность Жанны доказывает маленький красный рубец за ухом, примета, о которой знают лишь немногие. Вскоре Жанну признают Лотарингия, Бургундия, вся Франция. Герцогиня Елизавета Люксембургская устраивает ей великолепный прием, Ульрих Вюртембергский объявляет себя ее покровителем, а барон Робер дез Армуаз, богатый лотарингский аристократ, женится на ней. Она торжественно въезжает в Орлеан и Бурж, ее признает родная мать подлинной Жанны, Изабелла Ромэ, Жиль де Рэ называет себя ее рыцарем и передает под ее команду свое войско. Два года длится благоденствие.

Два года. Тяжкая задача — два года подряд играть роль простодушной верующей пророчицы. Никто так, как он, Эрих Визенер, не поймет, до чего это тяжело. Он проникается к Лже-Жанне братской симпатией. Два года. Он читает, он вбирает в себя прочитанное с чувством горькой удовлетворенности.

Быть может, вторая Жанна слышала голоса, так же как первая. Не подлежит сомнению, что первая безоговорочно верила в эти голоса. Они ведь ее не обманули. Правда, в конце концов ее сожгли.

Голоса. О них много писали и много философствовали. Все эпохи знали такие голоса, только каждый раз их называли по-иному. Сократ, например, называл свой голос «даймонион», это был добрый, предостерегающий голос. Ему тоже пришлось в конце концов выпить яд из-за своего даймониона. А я слышу голоса? Думается, да. И фюрер слышит голоса. Он говорит это, он верит в это, быть может, и я верю в это. Иной раз голоса и правы. Играющие в рулетку тоже в большинстве случаев слышат голоса, голоса подсказывают им, поставить на красное или на черное. Случается, что кто-нибудь из игроков, прислушивающихся к голосам, и выигрывает. Иногда два раза подряд. Три раза. Но в конце концов выигрывает все же банкومت.

Два года длилось благоденствие Лже-Жанны. Фюреру внутренний голос пророчит, что наше благоденствие продлится тысячу лет. Но в конце концов выиграет банкومت. В начале царствования «тысячелетнего рейха» Медведь сказал: «Социалисты продержались

десять лет, интересно знать, сколько вытянем мы». Знаменитые семь тучных лет.

Но в конце концов, за нами стоит международный монополистический капитал. Он посадил нас в седло и не даст нам так скоро свалиться в грязь. Быть может, капиталисты уже жалеют, что призвали нас к власти, и долго терпеть нашу безмерную наглость мир не будет. По сути дела, просто невероятно, что человеку, вроде меня, позволяют здесь, в Париже, играть такую значительную роль. В правящих кругах ведь знают, насколько внутренне слабо и непрочны то, что стоит за мной. Не понимаю, как они терпят.

Но пока мы живем. Пока мы говорим всякому, кто хочет и кто не хочет слышать, говорим, что мы на редкость жизнеспособны, мы говорим это и пишем, мы бахвалимся и кричим об этом в эфир. И скоро у нас будет самая мощная армия в мире и самый многочисленный воздушный флот. И вообще, мы парни хоть куда. Все это прекрасно, фантастично и невероятно гнило. Чудо, что наше белыми нитками шитое великолепие до сих пор держится, держится уже дольше, чем великолепие Лже-Жанны, и вечером я спрашиваю себя, продержится ли оно до утра, а утром — продержится ли до вечера.

Мальчишками мы любили пускать мыльные пузыри. Пузыри с каждым разом раздувались все больше, становились все радужнее, и еще больше, и еще радужнее. А напоследок было самое интересное: с замиранием сердца ждали мы, когда лопнут последние, самые большие и радужные пузыри.

Но еще чудеснее этой игры были лодки-качели. Влетаешь все выше, выше. Сначала под животом так сладостно щекочет, потом щекотка ползет вверх по животу. Пять лет назад мы с Леа ездили в Бельгию; в Генте на ярмарке мы катались на лодках-качелях. В последний раз сел я тогда в лодки-качели. Это было совсем не то ощущение, что когда-то. Меня слегка тошнило, и пришлось сделать большое усилие над собой, чтобы Леа ничего не заметила. Но когда я вспоминаю о качелях моей юности, у меня еще и теперь сильнее бьется сердце. Как ждали мы — вот сейчас взлетим еще

выше и еще, и, если взлетим еще только чуточку выше, нас выбросит вон, в пустоту, в пространство.

А чем же кончилась история с Лже-Жанной? На аудиенции у короля обман раскрылся. Король был великодушен, но все же конец Жанны — жалкий, убогий конец. Позорный столб, потом развод, второй брак с простолюдином, судебный процесс по какому-то ничтожному делу о мошенничестве, обвинительный приговор — и бесследное исчезновение.

Нет, уж лучше, взлетев на предельную высоту, сразу низвергнуться в пропасть.

Глава 25

ДОБРЫЙ ПЕТУХ ПОЕТ УЖЕ В ПОЛНОЧЬ

Ганс приводил в порядок свои вещи. Послезавтра он едет. С собой он берет платье, книги, чертежные принадлежности. Прочее свое имущество — цепочку для часов, глобус, гантели и тому подобное — он раздарил друзьям.

А когда те шутя спрашивали, что же остается ему, он отвечал, как Александр Великий перед походом в Персию: «Надежда!»

В последний вечер в Союзе молодежи друзья Ганса говорили главным образом о его будущем в Советской стране. Большинство товарищей завидовали ему. Некоторые же во главе с наборщиком Игнацем Хаузе-дером заявляли, что они ни за что не поехали бы в Россию.

Игнац Хаузе-дер, с такой ожесточенностью нападая на Ганса, был далеко не беспристрастен. Главную роль здесь играла Жермена. Когда между Игнацем и Жерменой заходила речь о Гансе, Жермена отнюдь не потешалась над ним, как думал Ганс. Больше того, если Игнац поносил Ганса, она брала его под защиту. Игнац никак не мог примириться с тем, что Жермена бывает в обществе Ганса, и все уговаривал ее уйти от Траутвейнов. А она, смеясь, возражала, что лучшего места ей не найти: где нет хозяйки, там работать нетрудно.

Игнац подозревал, что Жермену привлекает у Траутвейнов вовсе не отсутствие хозяйки, а весьма даже ощутимое присутствие Ганса. Он не унимался и настаивал, чтобы Жермена ушла. По этому поводу между ними часто возникали ссоры.

Еще и многое другое распаляло неприязнь Игнаца к Гансу. Несмотря на сомнительность их дружбы в прошлом, Игнац считал, что она дает ему право на внимание Ганса, и его обижало, что Ганс на прощание всех оделил подарками, а его обошел. Его обижало, что в Союзе молодежи Ганс, хотя и считался более слабым оратором, чем Игнац, пользовался большей любовью, чем он. Его обижало, что на Ганса, отправлявшегося в Советский Союз, смотрели как на героя и первооткрывателя, а он, Игнац, несмотря на свою энергию и предприимчивость, вынужден прозябать в Париже.

В этот вечер, вечер проводов Ганса, все мелкие обиды слились в одну большую обиду и жгли Игнаца больше, чем всегда. Накопленная ярость вдруг, без особого на то повода прорвалась наружу. Говорили о регулировании рабочего времени в Советском Союзе. Ганс сказал, что при пересчете русской шестидневной недели на европейскую получается, что русский рабочий работает сорок часов в неделю. Но тут Игнац перебил его.

— Сапоги всмятку получаются, вот что, — напустился он на Ганса. — Трехлетний ребенок и тот знает, что нигде нет такого рабского труда, как в твоём советском раю.

Ганс мгновенно покраснел и повернулся к нему лицом, а Игнац упрямо повторил:

— Да, да. Бабушкины сказки этот твой рай. Сплошная идиотская ложь все, что ты говоришь.

Ганс вспомнил старое, вспомнил их ссору на парусной лодке в Мюнхене.

— А ну-ка, повтори, — крикнул он Игнацу, заговорив вдруг с сильным баварским акцентом.

— Пожалуйста. Повторяю и утверждаю, — сказал Игнац, и тоже с сильным баварским акцентом. И твердо повторил: — Все это вздор, чепуха и идиотские росказни.

Но тут Ганс, возмущенный тем, что можно усомниться в таком неопровержимом факте, как шестидневная неделя в Советском Союзе, вдруг превратился в истинного сына Зешпа. Лицо его налилось кровью, он подскочил к Игнацу и, нацелившись, огрел его кулаком. Товарищи бросились между ними и розняли их.

Ответ Ганса, несмотря на свою примитивность, почти всем пришелся по душе, и Ганс отправился домой, окруженный всеобщей любовью. Напоследок даже Игнац волей-неволей снизошел почти до извинения.

На следующий день, когда Ганс прощался с Жерменой, она сказала:

— Говорят, вы, ты и мой Игнац, вчера здорово сценились? — Ганс хотел объяснить ей, почему так получилось, но Жермена прервала его: — Политикой я не интересуюсь, я уже говорила тебе. Я наперед уверена, что ты был прав.

Ганс попросил ее, когда он уедет, заботиться об отце. Отец, мол, непременно зарастет грязью, если Жермена за ним не присмотрит. Ганс надеется, что она не оставит отца и после переезда на набережную Вольтера. В Москве ему, Гансу, будет спокойнее, если он будет знать, что хозяйство отца в руках Жермены.

Мадам Шэ не заблуждалась насчет себя. Она знала, что незаменимой работницей назвать ее нельзя, и ее обрадовало, что Ганс поручал ей заботу о мосье, о своем старике. Конечно, она с удовольствием останется у него, ответила она. Мосье, старик Ганса, может, слегка и сумасшедший, но он приятный хозяин, он не сует нос во все углы, проверяя, чисто ли тут и здесь, как это делала покойная мадам. Если Ганс договорится с ней, чтобы она и впредь работала у мосье Траутвейна, он этим оказывает услугу ей, а не она ему.

— Ты, пожалуй, слишком много требуешь от меня, Анс, — сказала она улыбаясь. — Подумай сам: я охочусь за тобой и никак не заполучу тебя, а ты просишь, чтобы я ухаживала за твоим стариком. Ну, не жестоко ли? Но я это сделаю.

Ганс подарил ей на прощание колечко. Она, растроганная, с улыбкой рассматривала подарок. И вдруг обхватила руками голову Ганса и крепко, но не так страстно, как в первый раз, поцеловала его в губы.

— Прощай, Анс,— сказала она, посмотрела на него долгим взглядом, не то насмешливым, не то нежным, не то влюбленным — определить было трудно, и протянула ему руку.— *C'est dommage, quand même*¹.— Это были ее последние слова, сказанные ему.

Позднее Ганс не раз будет вспоминать певучую, трудно определимую интонацию этого «*C'est dommage, quand même*». Тут были и нежность, и презрение, и позднее сам он не раз будет думать с нежностью и презрением: «*C'est dommage, quand même*». Но эти ласковые и насмешливые слова он отнесет не только к Жермене, а ко всему, что он оставил на Западе. Он отнесет их к Мюнхену и к Верхнебаварскому краю, опоясанному горами, к урокам греческого и латинского языка в гимназии, ко всему своему уютно идеалистическому воспитанию с его лжегуманизмом, к своей парусной лодке на Аммерском озере, к крепким, свирепым объяснениям с отцом и к многим удивительно запутанным западноевропейским представлениям о внутреннем и внешнем комфорте, о жизненных правилах, о свободе и о демократии. *C'est dommage, quand même*.

Об индивидуализме, о свободе и демократии он говорил и с дядюшкой Меркле в тот вечер, когда пришел прощаться. На примере бессмысленного покушения, совершенного Клеменсом Пиркмайером на жалкого нацистского функционера и очень взволновавшего Ганса, Ганс лишний раз убедился, насколько опасен путь одиночки, особенно если он не обладает умом исключительной силы.

Гансу очень хотелось, чтобы дядюшка Меркле взял на себя заботу об одиоком Зеппе, но не знал, как старик воспримет его просьбу. Поэтому он очень осто-

¹ Жаль все же (франц.).

рожно изложил ее. И действительно, переплетчик прежде всего сказал:

— Ты же сам говоришь, что твой Зепп человек нетерпимый, что он мохом порос, что с ним нельзя вести разумный разговор. Чего же ты, собственно, хочешь? Вести мне с ним неразумные разговоры, что ли?

Но Ганс горячо заверил дядюшку Меркле, что в последнее время с Зеппом дело обстоит не так уж плохо. Ганс вдруг никак не мог нахвалиться отцом, не мог надивиться его внезапному превращению в разумно мыслящую личность.

— Это замечательно, что такой человек, как твой Зепп, прозрел наконец; ведь старому строю он обязан и душевным и материальным комфортом — по существу, это именно так. И если он увидел в новом строе общества хорошие стороны, а не только внешние неудобства, значит, у него есть мужество.

Правду говоря, дядюшке Меркле просьба Ганса пришлась по душе; не признаваясь себе в том, он радовался, что получит возможность иногда поговорить о далеком Гансе.

— Так, значит, я могу передать Зеппу, что вы были бы рады встретиться с ним? — тотчас же подхватил Ганс, довольный тем, что дядюшка Меркле похвалил отца.

И старик, вероятно оттого, что был слегка смущен, вдруг ответил по-французски:

— Хорошо, я зайду к нему.

И, торопясь оставить эту несколько сентиментальную тему, он вернулся к прежнему, словно ничем не прерванному разговору:

— Наши нынешние так называемые демократы постоянно смешивают средства и цель. Рассчитывать победить средствами формальной демократии значит опираться на демократию, которую только еще предстоит завоевать. Эти господа не желают взять в толк, что избирательное право и свобода печати без экономической демократии — пустой звук.

— Вы, значит, считаете, если я правильно вас понял, — медленно ответил Ганс, — что над западной

частью мира еще долго будет висеть тьма, а значит, и разлуке нашей не скоро придет конец?

— Такие мысли, и тем более высказанные вслух, не к лицу молодому человеку, — наставительно сказал дядюшка Меркле. — Добрый петух поет уже в полночь. Он знает, солнце взойдет, пусть даже еще и не скоро.

Гансу очень хотелось бы до своего отъезда перевести отца на набережную Вольтера. Но Зепп под всякими хитрыми предложениями уклонялся. Он поступился многими своими, казалось бы, неприкосновенными идеалами, например своим прекраснодушным гуманизмом и культом индивидуальности, и теперь с удвоенной силой цеплялся за вещи окружающего его внешнего мира. Он не был расточителен и неохотно платил за две квартиры — за каморки в «Аранхуэсе», и за дорогую квартиру на набережной Вольтера. Но с тех пор как переезд был решенным делом, ему все дороже становилась запущенная, грязная гостиница. Эта комната с прохудившимся полом, заставленная и заваленная до отказа, нравилась ему все больше и больше, она, говорил себе Зепп, связана с его симфонией, эти стены — свидетели тяжелейшей поры его жизни, жестокой поры ожидания, они видели смерть Анны и его душевные муки. «Аранхуэс» стал для него как бы второй родиной, новой кожей, сбросить которую было чертовски трудно. Даже сквалыга Мерсье казался ему теперь симпатичным, даже с ним будет трудно расстаться. Гансу пришлось удовольствоваться обещанием отца, что он переедет на набережную Вольтера, как только закончит симфонию. Большого добиться Ганс не мог.

Но «Зал ожидания» будет еще не так скоро завершен и не так скоро ему, Зеппу, придется покинуть эти комнаты, а после того как он проведет здесь, в «Аранхуэсе», последний вечер с Гансом, для него будет даже каким-то утешением мысль, что пока он еще остается здесь. Зепп обладал фантазией, а фантазия не ограничивает себя временем. Сидя в этих комнатах, — думал он, — он не раз вообразит, что вот сейчас или через

полчаса откроется дверь и войдет Анна или Ганс. Конечно, трезвое сознание действительности быстро призовет его к порядку и подсказжет, что все это — пустые мечты.

— Когда ты рассчитываешь закончить свой «Зал ожидания»? — спросил Ганс, вторгаясь в мечты отца. Зепп вернул себя к действительности.

— Еще не скоро, лисенок, — улыбаясь, ответил он. — Тебе не так легко удастся вытащить меня отсюда. Такой «Зал ожидания» — сложная штука. Но слово есть слово, и ты можешь быть спокоен: как только буду готов, я протелеграфирую тебе и послушно перееду на набережную Вольтера.

— А не сыграешь ли ты мне что-нибудь из «Зала ожидания»? — попросил Ганс.

Такая просьба была для Зеппа большим искушением, но он сказал себе, что играть Гансу нет смысла. Как он, Зепп, никогда не почувствует себя дома в новом мире Ганса, так же и мальчуган никогда не поймет его музыки. Странное дело: он и мальчуган говорят на одном и том же немецком языке, на одном и том же баварском диалекте, у них одна лексика, одни интонации. Но, к сожалению, мальчуган гораздо легче находит общий язык с теми, кто ни слова не знает по-немецки, а он, Зепп, умеет говорить своей музыкой с многими и многими, но только не со своим мальчуганом. Нет, он не испортит последний вечер с Гансом, попытается говорить на языке, чуждом ему.

Лучше он чем-нибудь порадует Ганса, покажет, что отлично знает, скольким обязан ему.

— Скажи, Ганс, ты точно представляешь себе, что такое аббат? — спросил Зепп.

— Нет, точно себе не представляю, — ответил Ганс.

— Я тоже, — улыбнувшись, сказал Зепп. — Но я думаю, что аббат — это тот, кто служит церкви по влечению сердца и все же не обладает достаточной смелостью, чтобы связать себя с ней обетом. Такой аббат очень симпатизирует церкви, но не хочет, а может быть, и не может сделать последний шаг. Видишь ли, таково примерно и мое отношение к вам, к марксизму. Если ты меня сегодня спросишь, как я отношусь к вам,

я скажу: я аббат марксизма. Или на вашем трезвом языке, лишенном сочности и красок, я симпатизирующий.

Ганс рассмеялся.

— Это, знаешь, уже страшно много, — сказал он. — И я доволен нами обоими, вот как далеко мы с тобой шагнули. На радостях я без боя принимаю твою пипильку насчет нашей прозаичности. Чего нам и тебе не хватает, ты и мы со временем восполним.

Долго еще сидели они в этот вечер за столом, уже сказано было все, что они хотели сказать друг другу, да и не было у них охоты много говорить, но расстаться они не могли. Оба вспоминали ту страшную ночь, когда они сидели, опустошенные, у кровати, на которой лежала мертвая Анна, вспоминали, какие бессмысленные, бессвязные, полные отчаяния речи вел тогда Зепп. С той ночи прошло всего несколько месяцев, но насколько лучше они теперь понимают друг друга. Быть может, многое еще их разделяет, но в главном они единоклубны. Зепп по крайней мере умом постиг мир, в котором живет Ганс, а Ганс понял, что для Зеппа музыка — единственное оружие в великой борьбе.

На следующий вечер Ганс уехал. С того самого вокзала, с которого недавно национал-социалист Гейдебрег возвращался в свои джунгли, Ганс уезжал в свое третье тысячелетие.

Он запретил друзьям провожать себя, и на вокзал поехал только Зепп. Проводы всегда тягостны, люди праздно топчутся вокруг отъезжающего и хотят одного — чтобы поезд наконец отошел. На этот раз отхода поезда не хотели ни провожающий, ни отъезжающий. Зепп изо всех сил храбрился, он говорил с более заметным, чем обычно, мюнхенским акцентом, переходил на фальцет, много хохотал. В последнюю минуту он уже ничего не говорил, только улыбался; Ганс, обычно не склонный к цветистым выражениям, про себя назвал улыбку отца «зимней».

Он думал о Зеппе, о матери, о Мюнхене, о Париже и немного о Жермене. «C'est dommage, quand même», — думал он в эту последнюю минуту, и те же слова звучали у него в ушах, когда поезд уже тронулся, и живое,

теперь чуть искаженное лицо Зеппа медленно уплывало из его поля зрения.

— Дай срок! — крикнул ему напоследок Зепп, и еще раз: «дай срок» крикнул он фальцетом, когда Ганс уже не мог его услышать.

Как только Ганс уехал, недостатки гостиницы «Аранхуэс», которые в последнее время представлялись Зеппу ее преимуществами, обратились по-прежнему в недостатки. По-прежнему повсюду были мерзость и запустение, «сапожника», бренчавшего за стеной на пианино, надо было бы отправить на самое дно преисподней или в третью империю, сквалыге Мерсье следовало пожелать, чтобы он сломал себе ногу, споткнувшись о половицу, так и оставшуюся непочиненной, его комнаты и весь дом казались Зеппу невыносимыми. Ему не терпелось закончить «Зал ожидания»; он яростно работал.

И настал день, когда ему позволено было сказать: «Готово».

И он слышал свое творение и слышал, что оно удалось ему. Но слышал только он, Анна не слышала, а Ганс услышит его в Москве, очень далеко. И неразделенная радость лишь тихо тлела.

Зепп сдержал слово. Он сообщил хозяину «Аранхуэса» Мерсье, что через три дня переедет на набережную Вольтера. Мерсье был огорчен. Мосье «Тротюен» был хотя и беспокойным квартирантом, со всякими странностями, по счету обычно не проверял; мосье Мерсье привык к нему, он даже решил в ближайшее время позвать плотника и починить подгнившую половицу. А теперь половица останется такой, какой и была, и следующий эмигрант, который поселится в этих комнатах, не раз выйдет из себя по тому же поводу.

Зепп нуждался в слушателе, которому он мог бы сыграть страницы из «Зала ожидания». Петеру Дюлькену? Пит кое-что понимал в музыке, но здесь нужен человек, который понимал бы больше его самого, Зеппа. Как ни думай, а кроме Оскара Чернига, все же никого не придумашь.

И вот в кресле, в котором однажды сидел Гарри Майзель, излагавший свои дерзкие теории о самодержавности искусства, сидит Черниг, разбухший младенец. Он сидит и слушает. Он думает о своей незадавшейся жизни, он думает о Гарри Майзеле и о Рауле де Шасефьере. Эта музыка — не та классическая, математическая музыка, которой он требовал от Зеппа, и с каждой минутой Чернигу все более неправдоподобной кажется мысль, что автор «Зала ожидания» возьмется когда-либо написать музыку на его стихи. Нет, он, Оскар Черниг, отвергает новое произведение Зеппа, и Черниг мысленно оттачивает горькие, злые формулировки, которыми он сейчас разгромит эту музыку. Но в нем самом было столько музыки, что «Зал ожидания» не мог не захватить его.

Зепп, сидя за фортепьяно, косился на Чернига: тот сплунął, полузакрыв глаза. И Зепп увидел на полусонном, умном лице друга-врага, как он потрясен, и понял, что победил. Он добродушно смеялся, слушая отточенно-насмешливые фразы Чернига, за которыми скрывалось невольное признание.

— Ладно уж, Черниг,— сказал он и был счастлив.— А теперь почитайте партитуру. И может быть, я когда-нибудь напишу музыку на ваши стихи.

Первое публичное исполнение «Зала ожидания» должно было состояться в Лондоне. Зепп поехал на репетиции. Он колебался, быть ли ему на концерте или нет. Услышав, что ему полагается явиться во фраке, он в первую минуту почувствовал искушение одеться как можно небрежнее. Но потом, подумав, что Анна за это рассердилась бы на него, вернулся в Париж. Он решил слушать симфонию, которая передавалась по радио, в одиночестве своей комнаты.

Мадам Шэ, ухаживавшая за ним с предельной для нее добросовестностью, удивилась, что он не дождался в Лондоне концерта. Да, странные люди эти ее немцы, и Анс, и его отец. По доброте сердечной она приготовила в этот вечер Зеппу одно из тех блюд, которые стряпала вместе с покойной мадам в особо торжественные дни. Ей это блюдо не совсем удалось. Но мосье ничего

не заметил. Он бы, вероятно, не заметил, если бы оно ей и очень удалось.

А потом, стало быть, он сидел у радиоприемника. Комната на набережной Вольтера была и в самом деле приветлива и приятна, а старое, отремонтированное и вновь продавленное кресло Зепп взял с собой. Он сидел, неряшливо одетый во что-то очень удобное, вытянув ноги в стоптанных ночных туфлях; любимые мюнхенские часы тикали, впззу катила свои воды река — увы, — не Изар, а Сена, и из приемника неслась музыка — симфония «Зал ожидания».

Опять он слышал, что творение его удалось. Он знал, что в эти минуты его симфонию слушают Рихард Штраус в Берлине, и, наверное, Ганс в Москве, и многие, многие десятки тысяч во всем мире. Ибо многие ждали исполнения его новой симфонии. «Ну, что вы теперь скажете, соседка», — подумал Зепп, а имел он в виду Леонарда Римана. На мгновение внимание Зеппа отвлеклось. Мысленно он увидел друга, которого заставили, стало быть, улаживать слух нацистов застольной музыкой. «Привыкай, кот», — угрюмо вспомнил Зепп педагогическое требование того персонажа из баварского анекдота, который имел обыкновение каждое утро выгребать золу из печки своим живым котом.

Но вот Зепп опять слушает симфонию «Зал ожидания». Долгий, трудный путь прошел он от передачи «Персов» до сегодняшнего исполнения «Зала ожидания». С болью, но со сладостной болью думает он о годах изгнания, о перенесенных муках и преодолении их. Это жестокие и это хорошие годы. Неподвижно сидя в своем кресле, Зепп думает, что они, эти годы, пошли ему на пользу, они подняли его на новую вершину. Раньше он только рассудком понимал, что невозможно, живя под гнетом гнусного общественного строя, творить хорошую музыку, теперь же он сердцем познал эту истину. Теперь он мог бы ее и Анне растолковать.

Они не плохо играют в своем Руинс-холле, но многое все же основательно сглаживают. Настоящие музыканты, глядишь, только на родине, только в Германии. Доживет ли он, Зепп, до того часа, когда его «Зал ожи-

дания» будет исполнен немецкими музыкантами перед немецкими слушателями? Доживет ли он до того часа, когда старина Риман будет дирижировать этой симфонией, а чувства, породившие ее, станут историей, отживут, канут в вечность. Доживет ли он до такой Германии, в которой он будет дома, он и Ганс.

Гремят последние мощные такты «Зала ожидания» — это рушатся невидимые стены и долгожданный поезд все-таки приходит и забирает всех, кто ждал. И вот музыка кончилась, а воздух еще сотрясают ликующие звуки труб, купленные столькими муками, и уже сливаются они с ликующей овацией слушателей.

Зепп выключает радиоприемник.

— Дай срок, — говорит он.

*Я пришла, чтобы утешить сла-
бых и угнетенных.*

Жанна д'Арк

ИМОНА

Р О М А Н

Перевод с немецкого

И. Горкиной

Часть первая

КАТАСТРОФА

1. БЕЖЕНЦЫ.
2. АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ.
3. ВИЛЛА МОНРЕПО.
4. КНИГИ.
5. МИССИЯ.

БЕЖЕНЦЫ

Еще несколько шагов, и узкая пешеходная тропа свернет в сторону, а впереди откроется проезжая дорога. Сердце у Симоны сильно бьется. Вчера она видела поток беженцев на главной магистрали. Сегодня он, наверное, докатился уже и сюда, до этой неширокой, обычно безлюдной дороги.

Последние три недели только и разговоров что о беженцах. Сначала это были голландцы и бельгийцы, потом, убегая на юг от вторгшегося врага, двинулось с места население Северной Франции. Лавина беженцев растет с каждым днем. Уже вся Бургундия наводнена ими. Вчера, когда Симона, как обычно, отправилась за покупками, она едва пробралась в город, а сегодня она уж и велосипеда не взяла.

У юной Симоны Планшар живое воображение: когда она впервые услышала о беженцах, она представила себе бегущих, напуганных людей, неудержимо бегущих, в неудержимом испуге. То, что она в последние дни перевидала, было проще и страшнее; это преследовало ее, не оставляло ни на минуту в покое, не давало спать по ночам. Каждый день, собираясь в город, она боится снова увидеть ту же горестную картину, и в то же время ее непреодолимо тянет еще и еще раз взглянуть, страстно, мучительно тянет.

Вот и поворот, отсюда дорога видна далеко. Это узкое заброшенное шоссе, обычно белое и мертвое, да оно, собственно, никуда и не ведет, только в Нуаре, крохотную горную деревушку в пять-шесть домиков. Но сегодня Симона увидела то, чего так боялась: на шоссе были люди. Брызги большого потока долетели и сюда.

Симона стоит и смотрит. Она стоит здесь рослая, топенькая, пятнадцатилетняя, в простеньком светло-зеленом полосатом платье, в котором всегда отправляется за покупками, и крепко прижимает к себе большую плетеную закрытую корзину. Оттого, что платье коротко, руки и ноги, голые и худые, кажутся особенно длинными,— за последнее время Симона сильно выросла. Худое загорелое лицо, с широким красивым лбом, обрамленное темно-русыми волосами, напряженно; глубоко сидящие темные глаза жадно вбирают в себя то, что происходит там, внизу, в облаках пыли.

Все, что она видит, ей уже знакомо: безнадежно плетущиеся вереницы людей и машин, беспорядочно наваленный на повозки, грузовики, телеги домашний скраб, тюфяки на кузовах машин для защиты от самолетов, расстреливающих толпу в упор; люди и животные в смертельной усталости бредут и бредут куда глаза глядят.

Симона Планшар стоит на повороте, плотно сжав тонкие изогнутые губы. Ее нельзя назвать красивой, но умное, серьезное лицо, с крупным подбородком и длинным бургундским носом с легкой горбинкой, привлекательно. Она стоит так с минуту, глядя на беженцев, и еще одна долгая минута проходит. Симона не замечает ни пыли, ни тяжелого слепополуденного зноя.

Но вот она берет себя в руки. У нее так много дела, мадам дала ей кучу поручений. Хотя Монрепо — вилла Планшаров — обеспечена всем в избытке, но если сейчас не пополнить запасов, то через два-три дня ничего не достанешь. Поэтому список, который мадам дала Симоне, очень велик, и сегодня, в этой суматохе и толчее, нелегко будет выполнить все поручения. Симоне нельзя стоять здесь и смотреть на беженцев, она поворачивается и быстрой стремительной походкой идет в город.

Вот она уже в самом низу, там, где узкая боковая тропа выводит на шоссе № 6, полукругом охватывающее город Сен-Мартен, расположенный на холме. Картина, открывшаяся здесь ее глазам, была тяжелее всего, что Симоне пришлось увидеть в последние дни. Поперек шоссе стояли машины, они, очевидно, собирались свернуть на боковую дорогу, но на них, зажав их в тиски, наехали другие машины, и весь необозримый поток беженцев — повозки, фуры, автомобили, велосипеды, мулы, пешеходы — остановился; все это безнадежно перепуталось, но никто не выражал нетерпения, никто не пытался распутать этот клубок. Отдав себя на произвол судьбы, понурые и сторбленные люди сидели, не трогаясь с места, старики и молодые, мужчины и женщины, солдаты и штатские, раненые и здоровые, — сидели, обливаясь потом, в безнадежной праздности.

Большими серьезными глазами, делавшими ее лицо не по летам взрослым, Симона долго смотрела на остановившийся в облаках пыли людской поток, неподвижный, точно цветная фотография, до странности безмолвный. Но опыт пятнадцатилетней жизни выработал в Симоне благоразумие, она вспомнила об ожидавших ее делах, усилием воли замкнула в себе свои чувства и устремила все внимание на то, чтобы перебраться через шоссе, наводненное беженцами. Плотно прижимая к себе большую корзину, она перелезала через помятые крылья автомашин и даже вскарабкалась на задок дилижанса, вежливо извинившись перед пассажирами, которые и не поглядели на нее, разморенные нестерпимой жарой.

Выбравшись наконец на противоположную сторону шоссе, она стала подниматься по незаметной для постороннего глаза осыпающей тропинке с вековыми ступенями. Тропинка, местами изрядно крутая, прихотливо извиваясь, вела на вершину горы, и с каждым поворотом неожиданно открывался новый вид на окружающие старинный город развалины древних укреплений и крепостных башен, а далеко внизу, — на долину в излучине реки Серен. Живописная, полная очарования долина широко раскинулась многоцветным ковром, вся в виноградниках, масличных и каштановых рощах; на каждом холме гнездились древнее поселение,

а с востока нависала гряда мрачных лесистых гор. Красота этих мест всегда привлекала множество туристов, да и Симона, как ни было ей все здесь знакомо, каждый раз вновь и вновь вбирала в себя их прелесть чутким, понимающим взором. Но сегодня все это для нее не существовало. Сегодня Симона старалась не думать о том, что видела на шоссе; и она была даже рада, что трудный подъем требует полного ее внимания. Местами ей приходилось карабкаться чуть не на четвереньках, а это было не так просто с большой корзиной в руках. В следующий раз, когда она пойдет в город, она наденет брюки. Кое-кто, правда, находит, что в военное время девушке неприлично ходить в брюках, и мадам это тоже не нравится.

Симона взобралась наверх и через ворота Сен-Лазар вошла в город. Пересекла церковную площадь, всегда такую сонную и мирную, где, бывало, тихие старички и старушки посиживали на скамьях под вязами, да изредка заходили туристы поглядеть на знаменитую статую над церковным порталом.

Сегодня площадь была полна народу, множество беженцев поднялось сюда. Но им было не до святого над порталом, они искали, где бы раздобыть бензин, продукты и другие предметы первой необходимости. Они обменивались опытом, приобретенным уже здесь, в Сен-Мартене, и в дороге. Горьким был этот опыт. Почти всем не хватало всего, да и в Сен-Мартене ничего нельзя было достать. Чуть ли не каждый испытал в пути смертельную опасность. Они стояли и сидели на площади, а вокруг толпились местные жители и слушали их рассказы; остановилась и Симона.

Немецкие летчики с бреющего полета обстреливали забитые беженцами дороги, и беззащитным людям некуда было податься; на перекрестках дорог, на мостах, перед закрытыми шлагбаумами не было никаких укрытий.

— Мы жалеем, что бежали, — с гневным отчаянием говорили люди. — Сидеть дома и в полной беспомощности ждать бомбежки и немцев — ужасно, но в пути такое ожидание во сто крат страшнее. Все в этом бегстве ужасно.

Симона слушала, она слышала это не в первый раз. Она пошла дальше. Миновала здание суда, красивый старинный дворец. Заглянула через ворота в крытую галерею. Там, на разостланной на полу соломе, в жестокой тесноте, вповалку лежали горемычные беженцы. Симона отвернулась и с легким чувством вины, стараясь держаться поближе к домам, пошла своей дорогой, на улицу де Совиньи.

Узкая, извилистая улица де Совиньи, с красивыми старинными домами, была главной торговой улицей Старого города. Беженцы переходили из магазина в магазин, но повсюду натыкались на надписи: «Хлеба нет», «Мяса нет», «Бензина нет», «Табаку нет». Большинство магазинов было закрыто, а там, где жалюзи не были спущены, в витрине скучал какой-нибудь одинокий манекен или другой такой же никому не нужный предмет, вроде расписного фарфорового бочонка, по-видимому предназначенного для хранения соли, или извозничьего фонаря, для которого не было свечи. В витрине мосье Армана, парикмахера, стоял, словно в насмешку, один-единственный огромный пустой флакон из-под духов.

Симона, однако, в тех случаях, когда магазины были закрыты, знала, как ей проникнуть в них с заднего входа, она знала условный стук, на который владельцы магазина откликались. Для кого-кого, а уж для старой мадам Планшар и ее помощницы Симоны хозьева были дома, для Планшаров у них всегда что-нибудь да находилось.

Так понемногу Симона собирала все то, что могло умножить богатые запасы виллы Монрепо в предвидении надвигающихся тощих времен. Вот, скажем, магазин «L'Agreable et l'Utile»¹. Он был абсолютно пуст, и даже «полезный» мосье Карпентье, по прозвищу мосье л'Ютиль, и тот бежал, и на месте остался лишь «приятный» мосье Лафлеш, по прозвищу мосье л'Агреабль. Но для Симоны у него нашелся планг и садовая лейка. А в закрытой парикмахерской мосье Армана для мосье Планшара была припасена мыльная паста. Про-

¹ «Приятное с полезным» (франц.).

ника Симона и в хорошо забаррикадированный пассаж Бургиньон, центральный универсальный магазин в городе. В огромном магазине оставалось всего трое служащих, но мадемуазель Жозефина, заведующая галатерейным отделом, отложила для мадам Планшар кое-какие ленты и материалы. Заверчивая покупку, она взволнованно по секрету сообщила Симоне, что и мосье Амно, владелец пассажа Бургиньон, тоже покинул город. Она назвала еще несколько имен тех, кто бежал. Среди них был мосье Ремю, владелец гастрономического магазина, мосье Ларош из Лионского Кредита и целый ряд коммерсантов, адвокатов, врачей.

В Старом городе Симона выполнила лишь небольшую часть поручений. Пройдя через ворота л'Орлож, она стала обходить магазины новой части города, расположенные главным образом на авеню де ла Гар.

Ей пришлось пересечь площадь генерала Грамона, самую большую во всем городе. Здесь ежегодно устраивалась ярмарка, а 14 июля на этой площади, украшенной транспарантами и сияющей иллюминацией, народ танцевал. Сегодня тут образовался форменный автомобильный парк, более обширный, чем во время ярмарки. То были, очевидно, беженцы, которые примирились с невозможностью двигаться дальше и на ближайшие дни и ночи расположились в своих автомобилях. Памятник генералу Грамону был еле виден среди множества машин. Кто-то, накинув на голову и вытянутую руку генерала веревку, протянул ее к своей машине и сушил белье.

Картина была ошеломляющая и гнетущая. Известно откуда затесались сюда две санитарные кареты. Дверца одной из карет была открыта. Симона заглянула внутрь, но тотчас же отвернулась: голова, которую она увидела среди простынь и бинтов, уже не походила более на человеческую голову. Санитары, сонные, сидели на ступеньках кареты. Рядом стояла доверху нагруженная телега, лошади не были выпряжены. На козлах сидела беременная женщина. На самом верху, на вещах, рискуя свалиться, примостился маленький мальчик, плачущий, невероятно грязный, с кошкой в руках. Между машинами и повозками сидели

и лежали солдаты; многие из них наполовину в штатском, в пальто, шляпах, кашне; некоторые, сняв башмаки, обнажили кровоточащие больные ноги, натруженные долгими переходами. Были тут и ручные тележки, и детские коляски с самыми неожиданными вещами. Симона обратила внимание на одну детскую коляску; какая-то девушка рассеянно и в то же время усердно мыла ее и скребла, пытаясь в этой толчее и тесноте очистить ее от присохшей грязи, и там, где корки грязи отпали, сиял ярко-синий лак. У большинства беженцев был больной и несчастный вид, все на них обтрепалось, всюду сквозила нужда в самом необходимом. Но платья, запыленные и грязные, висевшие на людях лохмотьями, были некогда несомненно нарядными, предназначенными отнюдь не для таких мытарств. И вещи, которые люди тащили с собой, поражали своей ненужностью, их захватили случайно, потому что в ту минуту они казались почему-либо ценными или особенно дорогими сердцу, какое-нибудь роскошное парчовое кресло или исполинский граммофон.

В своем светло-зеленом полосатом платице, с объемистой корзиной в руке, Симона долго смотрела на призрачный клубок, в котором перемешались машины, повозки, люди. Она не могла оторваться от тягостного зрелища. Опрятно и мило одетая, обеспеченная надежным кровом и обильной едой, она чувствовала, что ее отделяет глубокая пропасть от тех, кто был у нее перед глазами, и ощущение вины, испытанное ею раньше, усилилось.

Нерешительно продолжала она свой путь. Спустилась по авеню де ла Гар. Однако здесь, в повой части города, все магазины были закрыты, и даже Симона не могла проникнуть во многие из них, — владельцы их, очевидно, бежали.

Все же корзина ее и здесь кое-чем пополнилась. Но многого, главным образом из провизии, ей еще не хватало. Она решила вернуться в Старый город, зайти в отель де ла Пост, там наверно выручат. Там есть запасы, там она, конечно, что-нибудь еще достанет. Планшары ведут дела с отелем, в отеле им многим обязаны.

Повар из папье-маше, стоявший обычно у входа в знаменитый ресторан де ла Пост, как бы приглашая зайти, лежал на тротуаре в самом плачевном виде — то ли его переехали, то ли сшибли в суতোлке, — а сам мосье Бертье, владелец отеля, вел переговоры с группой беженцев, желавших, по-видимому, пообедать или переночевать в отеле.

Отель де ла Пост был овеян славой. Здесь, на обратном пути с острова Эльбы, останавливался Наполеон; спальня его сохранялась в том виде, в каком была, когда в цей почивал император, и мосье Бертье, прямой наследник того Бертье, которому в наполеоновские времена принадлежал отель, иногда сдавал знаменитый номер, удостоивая этим тех приезжих, к кому он особенно благоволил и у кого было много денег. Мосье Бертье, человек видный, осанистый, с прекрасными манерами, был представителем союза бургундских отелейладельцев и умел ладить с людьми. На этот раз, однако, ему пришлось туго, он потел, волновался, приходил в отчаяние. Но еще более приходили в отчаяние те, кто не хотел поверить, что у мосье Бертье ничего нет, они вновь и вновь спрашивали, нельзя ли все-таки изыскать какие-либо возможности их устроить.

Симона прошмыгнула мимо кучки взбудораженных людей и обогнула весь огромный дом, чтобы попасть в него с другого хода, расположенного в глубине небольшого, обнесенного каменной оградой сада на улице Малерб. То была незаметная калитка и, конечно, она была заперта. Но Симона знала, как быть в таких случаях: она подняла камень и несколько раз постучала, отрывисто, резко, с небольшими промежутками.

На садовой ограде сидели двое: мальчик лет четырнадцати и с ним средних лет мужчина, и оба смотрели на Симону — старший безучастно, мальчик же внимательно. Симона знала, что сейчас в домике консьержа приоткроется оконце, кто-нибудь осторожно выглянет из него и кивнет, и это не укроется от зорких светлых глаз мальчика. Так оно и случилось. Мальчик видел окно, он видел под окном Симону, видел ее корзину и видел, что калитку отворили. Симона решила не оглядываться на мальчика, но, переступая порог, невольно

повернула голову и увидела, что мальчик не спускает с нее зорких светлых глаз. Она поежилась.

На кухне отеля Симона и в самом деле достала еще кое-что из того, что было у нее в списке. Ей дали банку паштета, которым славился ресторан, кусок чудесной копченой ветчины и многое другое. Корзина ее оказалась набитой до отказа, и уж завернутый в бумагу сыр роблешон ей пришлось взять в руки. Так, с тяжелой корзиной, падетой на одну руку, и с маленьким паке-том сыра в другой, Симона выпила из садовой калитки. Оба беженца по-прежнему сидели на каменной ограде: они внимательно наблюдали за Симоной. Вдруг, быстрым застенчивым движением, Симона сунула в руку мальчика сыр. Мальчик зло посмотрел на нее, не сказал даже спасибо, и она, словно сделав что-то плохое, чуть не бегом пустилась прочь.

Пока она не свернула за угол, ей все казалось, что оба злыми глазами смотрят ей вслед. Ей стало чуть-чуть страшно. Если бы они знали, что у нее в корзине, они бросились бы вдогонку и вырвали бы у нее корзину из рук. Она испугалась, представив себе это, но подумала, что не могла бы осудить голодных людей, если бы они и сделали такое, и ей почти хотелось, чтобы кто-нибудь вырвал у нее корзину.

Симона выросла на вилле Монрепо в обстановке полного довольства. С тех пор как умер ее отец, вот уже десять лет, она живет там — бедная родственница, пригретая из милости. Она служанка в доме, она много работает, но ест за общим столом, и дядя Проспер, ее опекун, старается так обращаться с ней, чтобы она чувствовала себя членом семьи. То и другое, права и обязанности, Симона принимала как должное, взгляды и жизненный уклад, господствовавшие на вилле Монрепо, казались ей непреложными, как смена дня и ночи. Указаниям мадам, матери дяди Проспера, она подчинялась послушно и безропотно. Совершенно естественно, что в такие времена, как теперешние, хорошая, заботливая хозяйка делала запасы. И все же, не смея додумать свою мысль до конца, Симона чувствовала, что ощущение вины, которое угнетало ее все последние дни, связано с ее доверху нагруженной корзиной.

Ей бы так хотелось поговорить с кем-нибудь обо всем, что пришлось переживать за эти дни. Еще недавно, всего только на прошлой неделе, люди жили, абсолютно уверенные в завтрашнем дне, уверенные в надежности линии Мажино, в силе своей армии; повсюду, несмотря на войну, были спокойствие и порядок, ничто не нарушало привычного течения сытой, привольной жизни. И вдруг, как-то сразу, несмотря на линию Мажино, несмотря на сильную армию, враг очутился в сердце страны, и вся Франция превратилась в толпы жалких, полупомешанных от горя беженцев. Сердце разрывалось от жалости к ним и от тревоги. Ужасно, до чего глупо и беспечно жили люди весь этот год войны. Голова разбалчивалась от невозможности понять, как это все могло произойти. Надо было бы с кем-то поговорить, порасспросить кого-то, кто умнее, опытнее. Но Симона не знала никого, с кем она могла бы откровенно и по душам поговорить.

Дядя Проспер, сводный брат ее отца, очень любит ее. Она от всего сердца благодарна дяде, приютившему ее под своим кровом. Он добрый, отзывчивый человек, он истинный француз и большой патриот. Но он с головой ушел в дела своего транспортного предприятия, словно важнее их ничего нет, и как ни волнуют его ужасные события, Симоне все же кажется, что он относится к ним куда спокойнее, чем она. Во всяком случае, в его рассуждениях Симона не находит того, что ей хотелось бы знать, они ничего не объясняют ей, не рассеивают глубокой подавленности и растерянности.

Мадам, мать дяди, и вовсе ничего не хочет знать, события, не задевая, как бы скользят мимо нее. Она накрепко заперлась от всего, что происходит, тщательно заперла она свой дом, чтобы в него ничего не проникло, и все на свете мерила на одну мерку: полезно это или вредно для виллы Монрепо. Скажем, беженца, который вырвал бы у Симоны корзину, мадам непременно назвала бы разбойником или бандитом, никак не иначе, а если бы Симона попыталась оправдать его, мадам сказала бы, что это неслыханная наглость, форменный бунт, да и дядя Проспер, хотя у него и доброе сердце, наверняка не понял бы Симону.

Она, конечно, и не подумает рассказать мадам, что отдала мальчишке-беженцу с таким трудом раздобытый сыр. На вилле Монрепо ее сочли бы сумасшедшей. А мальчик только зло посмотрел на нее.

И все же, повторись такой случай, она поступила бы точно так же.

Обуреваемая тысячью мыслей, не замечая дороги и все-таки уверенно ступая длинными ногами, шла Симона по красочным, извилистым, гористым улочкам. С покупками покончено. Теперь ей надо еще на автобусную станцию дяди Проспера, где она отпускает бензин; это тоже входит в ее обязанности.

Дорога вела мимо дома, в котором жил Этьен. Был бы по крайней мере Этьен здесь, но его нет, он в Шатильоне, работает в механической мастерской.

С Этьеном они большие друзья. Этьен привязан к ней и очень ей предан. Но он, в сущности, еще ребенок, она чувствует себя намного взрослее, хотя он и на год старше; с ним она могла бы откровенно поговорить обо всем, что ее занимало и тревожило, но он, конечно, не в состоянии разобраться во всей этой путанице, объяснить, что в конце концов происходит. Все же ей очень хотелось бы его повидать, ведь он брат Генриетты.

Ее школьная подруга Генриетта была единственным по-настоящему близким ей человеком, но год назад она умерла, и теперь у Симоны нет никого, с кем она могла бы поделиться самым сокровенным. Проходя со своей тяжелой корзиной мимо дома, в котором жили когда-то Этьен и Генриетта, Симона чувствовала себя ужасно одинокой.

Была бы жива Генриетта, они поговорили бы о беженцах, и все стало бы на свои места. Возможно, они поспорили бы, возможно, что Генриетта поговорила бы ей кучу неприятных вещей, но они поняли бы друг друга. Генриетта была полной противоположностью Симоне. Порывистая, капризная, всегда склонная к новому, неожиданному, она любила спорить, ей доставляло удовольствие сделать другому больно. Один-единственный раз Симона отколотила ее; это было в школе, когда Генриетта позволила себе пренебрежительно

отозваться о ее отце. Обычно сдержанная, Симона на-кинулась тогда на Генриетту и, не помня себя, била и царапала слабую девочку. Но потом произошло самое неожиданное, — Генриетта попросила у нее прощения, и они подружились.

Все последние дни Симона не думала о Генриетте, хотя часто проходила мимо этого дома. Так бывало уже не раз. Днями, неделями Симона не вспоминала о ней, а потом ругала себя за неверность. И даже сейчас, когда ей так сильно не хватало Генриетты, она не могла себе ее представить. Вид умершей, ее кроткое восковое лицо в гробу глубоко запечатлелись в памяти Симоны, образ мертвой она в любую минуту могла вызвать в своем воображении. Но мысленно увидеть живую Генриетту, ее бледное нежное лицо, которое так легко преображалось, Симоне было трудно. В ее воспоминании лицо Генриетты менялось непрестанно: она видела его то насмешливым, то необычайно участливым, порой оно вызывало в ней ненависть, порой располагало к самым задушевным излияниям. Ах, если бы Генриетта была рядом, если бы можно было с ней поговорить.

Отца, отца, вот кого недостает Симоне. Прошло уже десять лет, как умер Пьер Планшар, но для нее он жив, он более живой, чем Генриетта. Пять лет всего было Симоне, когда отец умер. Толки о том, как он погиб, не умолкают по сей день. Пьер Планшар пропал без вести в Конго, куда отправился изучать условия труда туземцев; всю свою жизнь он страстно боролся за права угнетенных. По рассказам его друзей, он готовил книгу, в которой изобличал на основе обширного фактического материала бесчеловечную эксплуатацию черного населения. В отместку за это, когда он вновь отправился с экспедицией в глубь страны, концессионеры устроили так, что он оттуда не вернулся. Рукопись Пьера Планшара пропала бесследно, официальное расследование не привело ни к каким результатам. «Погиб, и памяти о нем не осталось», — сказала как-то про него старая мадам Планшар, мать дяди Проспера. В глазах же своих друзей Пьер Планшар остался героем, мучеником.

Разумеется, так уж ясно Симона не может помнить отца; ей и пяти лет не было, когда она видела его в последний раз. Но ей кажется, что она очень хорошо его помнит. Больше того, она утверждает, что в ее ушах звенит его голос, звучный, глубокий и в то же время очень молодой. И особенно хорошо ей помнится, как однажды отец взял ее с собой на башню собора Парижской богородицы. С ними была целая компания. Она, разумеется, не могла сама подняться по лестнице в триста семьдесят шесть ступенек. Друзья отца, смеясь, советовали ему отнести ребенка вниз. Но он, наперекор всем советам и подшучиваниям, донес ее все же до верху и показал все эти причудливые и страшные образы, чертей и химер, и рассеял ее страх перед чудищами, и она совсем перестала бояться, и ей было лишь любопытно.

Кроме этих воспоминаний, у Симоны есть только снимки отца, фотографии в журналах, пожелтевшие газетные вырезки. У него худое лицо, большие, глубоко сидящие глаза и густые волосы. Симона знает по рассказам, что глаза были серо-голубые, что они умели вспыхивать гневом и загораться весельем и что волосы у отца были золотисто-рыжие. На снимках у Пьера Планшара лицо немолодое, он кажется там старше своих лет. Но когда Симона вспоминает собор Парижской богородицы, перед ней возникает образ совсем молодого человека, звонко и часто смеющегося, и многомного мелких складочек вокруг глаз не старят его. Она часто вызывает в душе этот образ, и тогда видит отца так ясно, словно он живой стоит перед ней.

На вилле Монрепо о Пьере Планшаре говорят неохотно, хотя дядя Проспер, несмотря на все различие их воззрений, любил своего сводного брата и восхищался им. Зато мадам говорит о Пьере, своем пасынке, с удручающей холодностью, она всегда дает Симоне почувствовать, что отец не оставил ей, Симоне, ни гроша, а дядя Проспер молчит. Но высокомерные речи мадам лишь усиливают в Симоне чувство гордости за отца.

Да, отца ей страшно не хватает. Отец бы понял, почему корзина кажется сегодня Симоне особенно тяжелой и почему она отдала сыр тому мальчику-бежепцу.

Вот и дворец Нуаре, старинное красивое здание, дом господина супрефекта. Симону хорошо знали в супрефектуре; она оставила свою тяжелую корзину у консьержа, чтобы не таскать ее с собой на станцию, до которой было еще очень далеко.

Освободившись от корзины, Симона легким шагом направилась на авеню дю Парк, которое вело за город и на станцию. Но, не доходя до новой части города, она передумала. Она пойдет к папаше Бастиду. Ей просто необходимо поговорить с кем-нибудь из друзей обо всем, что она видела.

Старого переплетчика, папашу Бастида, не любили на вилле Монрепо. Там не одобряли дружбу Симоны с ним и его сыном, мосье Ксавье, секретарем супрефектуры. Дядя Проспер и мадам с гримасой пренебрежения говорили о политических взглядах обоих, а старика вдобавок попросту называли дураком. Он и был, по правде сказать, немножко смешной, папаша Бастид, чудак и упрямец. Он горячился по любому пустяку, не знал меры ни в похвале, ни в осуждении и часто смешивал прошлое с настоящим. Но он верил во Францию, верил еще и теперь, когда многие совсем в ней изверились. У Симоны светлеет на душе, когда он говорит о Франции. Но самое главное — он был другом ее отца, хорошо знал его и часто рассказывал о нем с гордостью и любовью. Да, Симона очень привязана к старику, и после всего того страшного и тяжелого, чему она сегодня была свидетельницей, ей просто необходимо повидать его.

Папаша Бастид жил у Малых ворот. Там, в самой верхней части города, на горе, прилепился его маленький домик, старый-престарый, латанный-перелатанный, и глядел вниз, по одну сторону — на причудливую россыпь светло-коричневых крыш Старого города, по другую — на широкую долину в излучине реки Серен.

Симона поднялась по истоптанным ступенькам и через стеклянную дверь заглянула в мастерскую. Папаша Бастид, давно уже не работавший, часто переплетал книги удовольствия ради и охотнее всего проводил время в мастерской. Он любил книги, и у него была большая библиотека.

В этой мастерской, набитой самым разнообразным хламом и старинной домашней утварью, Симона и сегодня застала старика. Он дремал в своем кресле с высокой спинкой. Над головой у него висел портрет Жапа Жореса, великого социалистического трибуна. Папаша Бастид высоко чтит его. Накануне прошлой войны Жорес пал от руки фанатика, которого науськивали газеты крайне правых. Для старого переплетчика Жорес был символом великого прошлого, символом Франции. На фотографии Жорес стоял на трибуне на фоне огромного знамени и держал речь. Неуклюже стоял он — грузный, мощный торс покоился на слегка подгибающихся ногах; голова, словно поднимавшаяся прямо из широких плеч, в твердой шляпе-котелке откинута назад, недлинная окладистая, почти квадратная борода торчит кверху: руки простерты вперед, словно он хочет поднять к себе незримую аудиторию. Могучим казался этот человек, колоссом, в нем было что-то патриархальное и вместе с тем пророческое, добродушное и в то же время неотразимое.

Симона стояла за стеклянной дверью и всматривалась в старого переплетчика, дремавшего в высоком кресле под портретом Жореса. Ей показалось, что старик изменился. Она привыкла видеть его живым, непоседливым, полным огня, а сейчас он сидел в своем большом кресле такой маленький, съезжившийся, дряхлый. Симона смотрела на него с грустью и нежностью.

Она подумала, что ему неприятно будет, если она застанет его врасплох. Она сошла вниз, громко хлопнула входной дверью, потом вторично поднялась по лестнице, ступая как можно громче.

И действительно, папаша Бастид стоял перед ней живчик живчиком, выжидательно подняв голову, сияющую белоснежной сединой, румяный, как всегда.

— Здравствуй, малютка,— весело сказал он, тотчас же подошел к шкафу, достал бутылку собственноручно настоящей ореховой водки и налил ей рюмочку. Она вежливо пригубила.

Потом все произошло так, как она себе рисовала.

— Садись и слушай,— сказал он, усадил ее на стул,

а сам, не переставая расхаживать из угла в угол, взволнованно заговорил о событиях.

— Вот до чего дошло,— начал он гневно, указывая на маленькое окошко, из которого открывался вид на долину реки Серен. Там, глубоко внизу, по пыльной дороге под жгучим солнцем медленно полз нескончаемый поток беженцев.

— Чистейшее безумие, что эти люди бежали,— продолжал он,— из одной опасности они угодили в другую, еще бóльшую. И вместо того чтобы удержать их, от них требовали, чтобы они снялись со своих мест. А теперь они запрудили все дороги и мешают продвижению наших войск. И кто знает, что тут — то ли правительство оказалось несостоятельным, то ли здесь действовала чья-то злая воля.

Старик был вне себя, он яростно жестикулировал. Симона смотрела на него и не могла себе представить, что всего несколько минут назад он дремал в своем кресле, такой маленький, сгорбленный.

— Премьер заявил по радио,— продолжал между тем папаша Бастид,— что целые армейские корпуса не могли занять предназначенных им позиций, что мосты, вопреки приказам, оставались невзорванными. Он отставил шестнадцать генералов. Он сам намекнул, что тут не без измены. Ходят слухи, вот и мой Ксавье тоже говорит, что весьма влиятельные лица в союзах предпринимателей, в Комитэ де Форж, во французском банке, с самого начала рассчитывали на победу бошей и что такая победа им только на руку. Но я не верю этому,— звонко крикнул он в бессильной ярости.— Моя старая голова отказывается этому верить. Я знаю, на что способны фашисты. С тех пор как они убили Жореса, я знаю, на что способны двести семейств. От них можно всего ждать, но уж такого — нет, не допускаю.

Он вдруг замолк, остановился перед Симоной и, показывая на портрет Жореса, процитировал боготворимого учителя:

«Францию родили века совместных страданий и совместных стремлений. Разумеется, существует классовая борьба, глубокие социальные противоречия, но

идея отечества незыблема». Неужели ты думаешь,— с какой-то даже угрозой в голосе спросил он Симону,— что есть французы, способные в минуту опасности предать Францию? Способные выгнать своих соотечественников на дороги и проселки? — И он показал вниз, на поток беженцев.— Я этого не думаю,— старался он убедить самого себя.— Я отказываюсь так думать,— бушевал он, стуча кулаком по столу.

Красивыми серьезными глазами Симона долго смотрела на старика. Он был частью старой Франции, он не желал мириться с мыслью, что этой Франции больше не существовало. Худенький, беспомощный, отважный и немного смешной, он горячо отстаивал свои отжившие идеалы.

— Во всем виноваты адвокаты,— продолжал он, вновь принимаясь рассказывать из угла в угол,— политики и адвокаты, управляющие Францией. Они спокойно смотрели, как боши вооружались и как наши финансисты давали им на это деньги, они спокойно смотрели, как наши двести семейств переводили свои капиталы в Америку и сбывали нашу сталь бошам, они только спорили и торговались, и снова спорили, и снова торговались, а результаты вот.— И он опять показал вниз на беженцев.

С особым удовольствием слушала Симона, как папаша Бастид разносит адвокатов. Кто, как не они, эти адвокаты, всячески мешали тому, чтобы память ее отца оставалась незапятнанной и читалась по заслугам? Сначала затянули следствие о гибели отца в лесах Конго, а затем и вовсе замяли дело.

Долго еще папаша Бастид громил адвокатов. Вдруг он, оборвав себя на полуслове, остановился перед Симоной и улыбнулся; да, как ни бушевали в нем горе и гнев, он сумел все же вызвать на своем лице ласковую, несколько натянутую улыбку.

— Но, надо думать, ты не для того пришла, малютка, чтобы слушать, как я отвожу душу,— сказал он.— И ты даже не отведала моей ореховой водки. Но, погоди, у меня для тебя кое-что припасено.— И напряженной, неестественно бодрой походкой он направился в соседнюю комнату.

Симоне нетрудно было угадать, что он ей принесет. Она очень любила читать, весь свой скудный досуг проводила за книгами. Папаша Бастид знал это, давал ей книги и руководил ее чтением.

Вот и он, с книгами под мышкой. Привычным движением он завернул их в бумагу и обвязал шпагатом. Симона поблагодарила и попрощалась. Она задержалась здесь дольше, чем хотела.

Папаша Бастид стоял в нише маленького окна и смотрел туда, вниз, на далекую дорогу, по которой гусеницей ползли беженцы.

— Позор, позор, — шумел он. — Впрочем, Франция бывала в гораздо худших переделках, — успокаивал он себя, — и все же выкарабкивалась. Неизменно происходило чудо. Франция восстанет.

Его вера передалась Симоне. Однако, думала она, откуда же явится чудо, если все будут только и делать, что ждать. Не он ли сам недавно процитировал ей восточное изречение: «Кто, если не ты? И когда, если не теперь?»

2

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ

Но, стремительно спускаясь легкими шагами по ступенчатой дороге, которая вела в центр Старого города, она вдруг почувствовала, что сомнения ее рассеялись. Хорошо, что она заглянула к папаше Бастиду. На сердце у нее полегчало. Франция выкарабкается.

Дорога, по которой шла Симона, вела к улице де л'Аркебюз, где стоял самый богатый и солидный дом Старого города. Это был дом номер 97, — 97 было выведено большими цифрами со старомодными завитушками. В школе Симона узнала, что этот красивый дворец принадлежал некогда знатному старинному роду Тремуй, а позднее перешел в собственность семейства Монморанси. А теперь большая сверкающая медная табличка оповещала, что здесь находится контора адвоката и нотариуса Шарля-Мари Левотура. Да, этот прекрасный особняк принадлежал теперь мэтру Левотуру.

Сегодня, когда Симона проходила мимо этого дома, ее сильнее обычного охватило чувство неприязни. Мэтр Левотур, сверстник и школьный товарищ ее отца, как раз и был одним из тех адвокатов, которые всячески мешали воздать должное памяти ее отца. Кампанию в печати, поднятую против Пьера Планшара, он неизменно питал все новыми и новыми измышлениями, подливая каждый раз свежего яду. Из-за адвоката Левотура община города Сен-Мартен отказалась от своего намерения установить мемориальную доску для увековечения памяти Пьера Планшара. Симона всем сердцем ненавидела Шарля-Мари Левотура. Он был одним из тех, против кого негодовал папаша Бастид. Он был одним из тех, кто, напялив на себя черную мантию, берет и белое жабо, пускался на тысячу уловок, чтобы дурачить народ и держать его под гнетом бесправия; одним из тех, кто виноват во всех бедах, что обрушились теперь на Францию.

Симона опять идет по авеню дю Парк, отсюда дорога сворачивает на станцию. Уже поздно, ее ждет еще куча дел в саду и на кухне. Надо бы пойти домой, на станцию можно сегодня не заходить. Она могла бы себе это позволить: сегодня покупки отняли как никогда много времени. А кроме того, ей сегодня особенно противно стоять у бензиновой колонки. А тут еще этот шофер Морис, у которого такие дерзкие глаза, а на языке всегда какая-нибудь гадкая шуточка.

Она в нерешительности остановилась на перекрестке двух дорог — одна вела домой, другая на станцию. Помедлив, стала спускаться по авеню дю Парк, — по улице, которая вела на станцию, хотя все, казалось бы, говорило против такого решения. Симона не желала быть трусихой. Если она не придет, шофер Морис подумает, что она не пришла из-за него, что она боится его злого языка. Нет, ничуть она не боится.

Хотя она шагала быстро и дорога шла под гору, ей понадобилось добрых четверть часа, чтобы добраться до станции. Автобусная станция Планшаров находилась на западной окраине Нового города, там, где главная магистраль, ведущая в Сен-Мартен, ответвляется от большого шоссе № 6, которое широким полукругом огибает

город. Транспортное предприятие Планшаров было расположено в стороне от этого шоссе, оно занимало большую территорию, и к нему вела специальная шоссе-ная ветка.

Дядя Проспер надежно застраховал себя от наплыва беженцев. Въезд на дорогу, ведущую к его предприятию, был загорожен цепью, а за ней, на огромном щите значилось: *«Тупик, ведет только к частному дому»*. У щита дежурили два упаковщика, работавших у дяди Проспера. На запертых воротах большими буквами было выведено: «Бензина нет. Запасных частей нет. Ремонт машин не производится. Дорожных карт нет».

И здесь тоже, чтобы попасть внутрь, Симоне пришлось прибегнуть к условному стуку. Прежде всего она зашла в контору. После отчаянной сутолоки на улицах и шоссе комнаты конторы казались пустыми и мирными. Яркие плакаты на стенах производили сегодня до странности нелепое впечатление: по опасным крутым склонам катились гигантские грузовики, мощные корабли прорезали пенящиеся морские волны, среди горных расселин змеились романтические дороги.

Симона вдруг представила себе, какое огромное предприятие создал дядя Проспер. Транспортная фирма Планшаров не только держала в своих руках сильно развитое грузовое движение всего департамента, в особенности по перевозкам леса и вина, и не только эксплуатировала многочисленные автобусные линии, но еще сама построила дороги в таинственно-романтические восточные горные районы, чем содействовала большому притоку туристов.

Симона удивилась, когда, войдя, не встретила прежде всего дядю Проспера. Не было, казалось, такого уголка в этом громадном предприятии, где нельзя было бы увидеть или услышать его неутомимого хозяина, он умудрялся поспевать во все места сразу — и в контору, и в обширный гараж, и во двор; всюду раздавался его звучный грудной голос. Дядя Проспер либо отдавал распоряжения, либо вел оживленный разговор, и Симоне казалось, что в такое тяжелое время, как теперь, энергия дяди должна удвоиться.

Бухгалтер, мосье Пейру, разъяснил ей: шеф заперся

наверху в своем кабинете и просил его не беспокоить. Он занят переговорами с владельцем соседнего замка, маркизом де Сен-Бриссоном.

— Телефон ведь не работает, поэтому господин маркиз, — почтительным шепотом рассказывал мосье Пейру, — сам потрудился приехать из своего замка к господину Планшару. — Заячья физиономия бухгалтера даже поглупела от почтительности.

Мосье Пейру охотно вел с мадемуазель Симоной откровенные, доверительные разговоры. Он был привязан к фирме, гордился своей службой у мосье Планшара, которым восхищался, и в мадемуазель Симоне видел родственницу своего шефа. Он был уверен, что она, разумеется, почтет за великую честь визит такого господина, как маркиз де Сен-Бриссон, вынужденного обратиться за помощью к мосье Планшару. Остальные служащие в конторе улыбались и подмигивали Симоне; уж конечно, они немало язвили по поводу сделок, которые маркиз, этот «фашист», предлагал дяде там, наверху, в его кабинете.

Симона попросила ключ от колонки и отправилась выполнять свои обязанности. Она вышла во двор. Обычно здесь кипела жизнь: машины туристов, автобусы, огромные грузовики прибывали и отъезжали, здесь их ремонтировали, загружали, разгружали. Сегодня широкий двор, залитый лучами жгучего солнца, был пуст. На скамье, в тени, отбрасываемой стеной, праздно сидели пожилой шофер Ришар, упаковщик Жорж и еще какие-то двое. Симона вздохнула с облегчением, когда увидела, что шофера Мориса среди них нет.

Положение Симоны здесь, на станции, было не из легких. Дядя Проспер умел ладить с людьми, в его обращении с ними сквозило благодушие и даже сердечность, во всем, что не касалось дела, он проявлял широту натуры. Его любили. Но там, где затрагивались интересы дела, дядя Проспер не признавал шуток, и сейчас, под предлогом военного времени, строго взыскивал со своих людей. Это вызывало нередко острое недовольство. Но рабочие находились в большой зависимости от хозяина: он решал, кого из упаковщиков и шоферов объявить незаменимыми и тем самым избавить от фронта.

Поэтому никто и пикнуть не смел. На Симоне же, на бедной родственнице, можно было без риска выместить затаенную злобу. В ней не видели товарища, считали, что она держит сторону хозяина, следит и шпионит за людьми, а с этим никто не хотел мириться. В ее присутствии рабочие с особым удовольствием отводили душу, ругали патрона.

В свою очередь, дядя Проспер охотно поручал ей дела, которые либо не хотел доверять другим, либо не мог требовать от других. Работа у колонки была как раз такого свойства.

Всякими правдами и неправдами фирма Планшар запаслась большим количеством бензина, отнюдь не предусмотренным нормами военного времени. Мосье Планшар никогда не упускал случая заработать, он не брезговал и мелкими делишками и продавал свой контрабандный бензин тем, кто желал и мог платить, не торгуясь. В последние дни бензин стоил дороже самых благородных вин, а мосье Планшар все взвинчивал и взвинчивал цену. Между тем опыт показал, что в тех случаях, когда бензин продавали взрослые служащие, дело зачастую доходило до скандалов. Покупатели бранились, шумели, и по городу пошли нехорошие толки. Мосье Планшар решил ограничить продажу бензина, отпускать его только один час в день, и приставил к колонке девочку-подростка, которая ничего не знала и лишь выполняла его приказ.

Храня замкнутое, упрямое выражение лица, Симона заняла свое место у колонки. Она стояла там, в своем хорошеньком светло-зеленом полосатом платье, а красный лак колонки ярко рдел под раскаленными лучами солнца.

Подошел покупатель, и когда Симона назвала цену, он отшатнулся, переспросил, плотно сжал губы, помедлил, решился и, тяжело вздохнув, уплатил. Подошел второй, возмутился и ушел. Третий скверно выругался и заплатил.

Симоне была очень противна эта колонка. Но она выросла па вилле Монрепо, и за десять лет жизни там прониклась сознанием, что дядя Проспер образцовый, безупречный делец, и все, что бы он ни делал, правильно.

Если он поставил ее к колонке, значит, так и надо. Эта работа самое меньшее, чем она может отблагодарить человека, которому стольким обязана.

Сегодня ей особенно тяжело стоять здесь. Вины в том картины, которые теснятся за ее лбом. Самые разные, они наплывают одна на другую. Вот застрявшие в сутолоке автомобили, с отупевшими, измученными людьми, и худое лицо отца с золотисто-рыжей шевелюрой, его серо-голубые глаза с собирающимися к углам морщинками, такие веселые, а порой страшно гневные, и мальчишка-беженец на ограде отеля де ла Пост, отчаянно злым взглядом проводивший ее, когда она сунула ему в руку сыр, и папаша Бастид, высохший, маленький, Симона видит, как он стоит в глубокой нише своего окна и смотрит вниз на дорогу, беспомощный, негодующий, трогательный и смешной.

По ее юному худенькому лицу не скажешь, что твоя работа за этим лбом. На нее все смотрят: кто недоброжелательно, а кто и просто с презрением, смотрят, как она усердствует, выполняя свое нехорошее дело, нищая принцесса, которой за это пикто и спасибо не скажет, недостойная дочь Пьера Планшара. А она стоит и выслушивает тех, с кого сдирают десять шкур, и старается не слушать их слов, старается не слушать разговоров рабочих и шоферов, и все-таки прислушивается к ним. Счастье еще, что нет среди них Мориса.

За ее спиной фасад обширного гаража. Из открытого окна, совсем близко от нее, доносится плеск воды; здесь душевая шоферов, в жаркие дни они усиленно пользуются ею. Симона слышит, как там кто-то пыхтит и фыркает. Очень может быть, что в душевой Морис. Если это так, то он в любую минуту может выйти, и тогда ей никуда не скрыться от его ехидных речей.

Так мучительно было ожидание, что она почти обрадовалась, когда он появился в дверях гаража.

Она смотрела прямо перед собой. Но, не глядя, она видела каждое его движение, видела его широкое, волевое лицо, его несколько приземистую фигуру, видела, как он вразвалку, ленивым шагом побрел к тем, что сидели на скамье, как кивнул им и как они потеснились, чтобы дать ему место.

Морис молод, дерзок, его политические взгляды неприятны дяде Просперу. Дядя говорит, что Морис подстрекатель. Вместо того чтобы чувствовать благодарность к хозяину, который избавил его от фронта, он еще злопыхательствует. Но Морис лучший шофер во всей округе. Еще совсем мальчишкой он работал у Ситроена, и дяде Просперу стоило не малых хлопот сманить его оттуда. Рабочие любят Мориса, уволить его значило бы нажать кучу неприятностей. Дядя Проспер сдерживается и молчит.

Широко распахнув ворот синей рубашки, Морис сидит с товарищами и слушает их разговоры. Тема разговоров, разумеется, беженцы и вести с фронта.

Никто не хотел верить, что фронта больше не существует, люди не мирились с мыслью о катастрофе. Говорили о линии Мажино, о том, что у генералов Петена и Вейгана есть какой-то план, и если сдан Париж, значит, они рассчитывают задержаться на Луаре. Немыслимо, чтобы Франция так, сразу, развалилась.

— Франция? — вмешался Морис. До сих пор он молчал. — Какая Франция? Не потрудитесь ли объяснить? Франция двухсот семейств? Или Франция двух миллионов рантье? Или ваша? Или моя? О Франции столько говорили, что от нее ничего не осталось. Что такое Франция? — потешался он. — Не та ли дама, что изображена на почтовых марках, дамочка в колпачке?

У Мориса пронзительный, насмешливый голос, но он не горячился, он говорил спокойно, даже как-то вызывающе вежливо.

Симона, стоя у красной колонки, как будто вовсе не слушает тех, на скамье. Но в душе она возмущена, что Морис так говорит и что другие терпят это. «Что такое Франция?» Почему они не отвечают ему? Ведь каждый знает, каждый чувствует, что такое Франция. Франция — это... это... Симона потрясена. Она увидела вдруг, что сама не могла бы сказать, что такое Франция. Но тотчас же нашла для себя оправдание. Конечно, так сразу не подыщешь нужных слов. Но ведь это чувствуешь. Ну, это попросту твое, ты часть этого. И если Морис так не чувствует, значит, он жалкий, убогий человек, человек без сердца.

А Морис тем временем разъяснял своим собеседникам, и уже не в первый раз, что то, что происходит, вовсе не настоящая война. И никогда не было войной. Разве дело обстояло так, что Франция воевала с бошами и была побеждена на поле боя? Разве она действительно воевала? Нисколько. Просто наши отечественные фашисты, все эти кагуляры, и фландены, и лавали, и бонне, выдали страну своим единомышленникам по ту сторону Рейна. Они давно готовили это, и Петен, этот старый пораженец еще времен Вердена, бессилен что-либо изменить. Французский монополистический капитал связан с германским, французские промышленники связаны с немецкими, — говорил Морис. Ворон ворону глаз не выклюет. Само собой, нашим фашистам, «этим господам», какой-нибудь Гитлер, который гарантирует им шестидесятичасовую рабочую неделю, гораздо больше по душе, чем Леон Блюм, навязывающий им сорокачасовую неделю. Не немецкие танки сразили Францию, а наш собственный стальной картель. Наши старые знакомцы, все те же двести семейств.

Когда Морис своим насмешливым, высоким, почти квакающим голосом говорил об «этих господах», это не было так туманно и расплывчато, как в устах папани Бастиды, у Мориса это звучало репнительно и резко.

Симона, стоя у колонки, отдавала должное Морису, — ведь слова его не лишены известной убедительности. Но как раз его самоуверенность и раздражала. Стоило кому-нибудь возразить, и Морис приводил цифры и факты и затыкал смельчаку рот. Не всегда этим цифрам верили, но всегда оказывалось, что Морис прав.

Однако Симоне и в голову не приходило поддаваться убедительности этих цифр и фактов. Всей душой отвергала она их. Он не прав, он во всем видит только одну сторону. Для него существует только белое или черное, левое или правое. Для него всякий, кто с ним в чем-либо не согласен, дурак или негодяй, фашист.

— Возможно, что в ту пору, когда мы были в коалиции с левобуржуазными партиями и представляли большинство, мы могли бы выкурить их, наши двести семейств, — донеслись до Симоны его слова. — Но когда дошло до дела, наши буржуазные друзья попрыгали в ку-

сты. И так всегда. Чуть только запахнет дракой, и наши союзники из других классов бросают нас на произвол судьбы, даже те из них, у кого самые лучшие намерения.

Все молчали. Морис показал наверх, на окна кабинета мосье Планшара.

— Наш пустобрех, — продолжает он, — всегда представлял себя страстным патриотом, противником маркиза, фашистов, — но вот вам — теперь он ведет с ним переговоры.

— Заноза ты, — добродушно сказал старик Ришар. — Хозяин, конечно, любит поговорить, это верно, но, когда нужно, он и расщедриться может. Очень порядочно было с его стороны подарить беженцам те две машины.

— О да, — насмешливо подхватил Морис, — еще бы, два старых негодных пежо. Эти счастливицы будут благодарить судьбу, если доберутся на них до Невера. А пустобрех между тем и благородный жест сделал, и обеспечил себе лазейку на случай, если от него потребуют большего.

— Ты не прав, — вступился за хозяина и упаковщик Жорж, — ты просто не можешь спокойно говорить о нем.

— Я говорю то, что есть, — отвечал Морис, — а вам он своей трепотней сумел втереть очки. Беженцам горючее нужнее хлеба. Его цистерны доверху полны контрабандным бензином. А я что-то не заметил, чтобы он хоть каплю уступил беженцам.

— У всех есть контрабандный бензин, — спокойно сказал старик Ришар и сплюнул.

Упаковщик Жорж прибавил:

— К обоим пежо он дал горючего.

— Я не пророк, — сказал Морис, — но помяните мое слово: чуть только здесь запахнет порохом, пустобрех уцепится за фалды наших двухсот семейств.

— Здесь уже сейчас здорово пахнет порохом, — сказал старик Ришар.

Морис взглянул на товарищей карими умными глазами и лукаво усмехнулся.

— Поэтому спорю на бутылку перно и десяток пачек голуа, что в конце концов машины достанутся не беженцам, а маркизу, для перевозки его вин.

Симона любила дядю Проспера. Он ее приютил, заменил ей отца. Она была членом семьи. Он привязан к ней, балует ее. Когда он ходит в кино, он берет ее с собой; когда уезжает, всегда привозит что-нибудь. В прошлом году он взял ее в Париж на две недели. Он со всеми приветлив, у него доброе сердце. Все любят его, хотя иногда и ругают. Только Морис его ненавидит. Морис ругает его из ненависти. Ее всю корежит, когда Морис называет дядю «пустобрехом».

Упаковщик Жорж совершенно прав: вот именно, Морис не может спокойно говорить о нем. Морис не может спокойно говорить ни о ком, у кого есть деньги. Он полон предрассудков, зловредный он человек.

«Пусть лучше он помалкивает, этот Морис, — думает она, — он позволяет себе поносить дядю Проспера за то, что тот ведет переговоры с маркизом, а сам прячется за спиной дяди Проспера, только бы не попасть на фронт. Другие сражаются и умирают под танками, а он плещется в душевой, а потом благодушно садится в холодильник, покуривает и вещает, как пифия. Не буду его больше слушать, не интересуется он меня».

Но она слушала и слышала, как со свойственной ему раздражающей самоуверенностью он подытожил:

— В результате, как всегда, счет оплачиваем мы, мелкота, нас всегда предавали и продавали.

И, против воли Симоны, слова эти западают ей в душу.

Она еще старательнее силится не замечать Мориса. Но хотя она застывшим взглядом смотрит прямо перед собой, она все время видит его, видит, как он курит, удобно развалившись и распахнув ворот синей рубахи, и как все остальные слушают его.

Симона не заметила, что он только один раз посмотрел в ее сторону. Однако она убеждена, — все, что он говорит, это камешки в ее огород. Он не причисляет ее к мелкоте, хотя за душой у нее нет ни гроша. Он считает, что не только дядя Проспер, но и она способна, когда здесь запахнет порохом, ползти за пресловутыми двумястами семействами. И она несколько не сомневается, что бесовестный Морис сейчас скажет в ее адрес какую-нибудь ужасную гадость.

Морис делает маленькую паузу. Он все еще не смотрит в ее сторону, но она знает — он подбоченился левой рукой, как всегда, когда собирается сказать что-нибудь особенно оскорбительное. Вот-вот прозвучит оно — обидное, грубое слово, которого она боится, которого ждет.

— Ну, конечно, — слышит она его пронзительный, насмешливый голос, — многоуважаемая племянница не замедлила опять выйти на промысел.

Симона не шевелится. Она ведет себя как глухая. Она никогда не слыхала выражения «выйти на промысел», но совершенно убеждена: то, что сказал Морис, — это худшее из всего, что можно сказать о человеке.

Что она сделала Морису? Отчего он ее так ненавидит? Слезы душат ее. Но она овладевает собой и по-прежнему застывшим взглядом смотрит в пространство. Правда, она вся красная, но это ничего не доказывает. Невыносимо жарко, она стоит на самом солнцепеке, поневоле будешь красной.

Морис слывет хорошим товарищем. Все обращаются к нему за советом, он никому в совете не отказывает, и совет его всегда дельный. Морис débrouillard¹, он всегда сумеет найти выход из любого, самого запутанного положения. Он только и думает о других, он многих выручил из беды. И всегда занят чужими делами.

Для всех Морис хороший товарищ, только не для нее.

А ведь он с уважением отзывается о ее отце. Он говорит, что хотя отец был идеалистом и романтиком в духе Жореса, но он был свойским парнем, а это величайшая похвала, на какую только способен Морис. А ее он при каждом удобном случае поднимает на смех и оскорбляет. В его глазах она не дочь Пьера Планшара, в его глазах она ничем не отличается от хозяев виллы Монрено, — такая же богачка, враг.

Что ей делать, по его мнению? Дядя Проспер требует, чтобы за все те благодеяния, которые он ей оказывает, она работала. Он вполне прав. И она выполняет свою работу, и какая же подлость со стороны Мориса издеваться над ней за это.

¹ Сметливый, находчивый человек (франц.).

И почему только она ему так противна? Обычно он с девушками ласков. Нахален, но ласков. Говорят, он любит девушек. Говорят, у него много девушек.

Иной раз ей очень хочется подойти к Морису и напрямик спросить, что, собственно, он имеет против нее. Но она всегда сдерживает себя и молчит. Вот и сейчас она и виду не подает, как глубоко он ее обидел.

Симона стоит у своей красной колонки, храня замкнутое выражение лица, и делает то, что ей поручено. «Промышляет». И завтра она опять «выйдет на промысел». И послезавтра тоже. Она знает, что делает. Когда-нибудь Морис, быть может, поймет, как он к ней несправедлив.

Она смотрит на большие часы над входом в контору. Если она хочет выдержать испытание до конца, нужно отстоять положенный ей час до последней минуты. И только тогда уйти. Осталось еще целых восемнадцать минут.

Восемнадцать минут тянутся бесконечно. Ее загорелое, раскрасневшееся, потное лицо спокойно, но за широким, упрямым лбом все неотвязнее роится мучительный вихрь образов и мыслей. Дядя Проспер и маркиз, этот «фашист», с которым дядя ведет переговоры у себя наверху. Кусок сыра, который она сунула мальчику на садовой ограде. Стальной картель, двести семейств и прибегающие к разным уловкам адвокаты в черных мантиях, беретах и белых жабо. Морис, который со всеми девушками хорош и только ее преследует язвительными словечками. Портрет Жана Жореса, романтика и идеалиста, такого громадного на фоне широкого знамени, а под портретом сгорбленный в своем высоком кресле, беспомощный, старенький папаша Бастид.

Еще семь минут.

Наконец большая стрелка совершила полный круг, и Симона может идти. Твердым, несколько напряженным шагом она проходит по двору.

— До свидания, мадемуазель, — пронзительно и нагло кричит ей Морис. Он сказал как будто самую обыкновенную вещь, а ее словно ударили.

— До свидания, — отвечает она. Она очень старается, чтобы ответ прозвучал безразлично, но у нее глубо-

кий и звучный голос, красивый голос Планшаров, и ее «до свидания» звучит как вызов.

Она отдает в конторе ключ и идет домой. Берет в супрефектуре свою корзину. Стало прохладнее. Но ей ужасно жарко, и дорога кажется бесконечно длинной, и корзина кажется очень тяжелой.

3

ВИЛЛА МОНРЕПО

Симона вошла в гостиную. Она тщательно умылась и переоделась к ужину. На ней коричневое платье и маленький передничек. Она ела за общим столом, но часто отлучалась на кухню, — в ее обязанности входит окопчательно приправлять кушанья и подавать их на стол.

Сегодня дядя Проспер придет позже обычного, возможно, очень поздно, он еще утром предупредил об этом. И мадам еще наверху в своей комнате. Так у Симоны оказалось несколько свободных минут, можно передохнуть. Она сидит, опустив плечи, сложив на коленях большие белые, огрубевшие от работы руки. Она всетаки изрядно устала от всех сегодняшних хлопот и волнений. Но теперь осталось только подать ужин и вымыть посуду.

Комната тонула в тихих сумерках. Большая комната — ее называли голубой — была богато обставлена дорогой бургундской мебелью. Раньше Планшары жили в Старом городе, но вот уже несколько лет, как дядя Проспер построил здесь, за восточной окраиной города, далеко от своей автопрокатной станции, этот удобный дом, виллу Монрепо. Вилла расположена на пригорке, откуда открывается чудесный вид, с одной стороны на долину в излучине реки Серен, с другой — на лесистые горы и деревушку Нуаре. Мосье Планшар ценил приятные стороны жизни.

Симона сидела на маленьком стуле. Она хорошо знала, что в этом доме ее приютили только из милости, ее только терпят. Высокая, задрапированная портьерой дверь в столовую была открыта. Симона машинально

обвела взглядом сервированный к ужину стол. В доме Планшаров семейные трапезы обставлялись торжественно. Много тарелок, много серебра, много бокалов, все тщательно расставлено, каждая вещь имеет свое постоянное место, меню обсуждается подробнейшим образом накануне. Симона еще раз мысленно проверила, все ли в порядке.

Сумрак в гостиной быстро сгущался. В других комнатах Симона уже закрыла ставни и опустила шторы, выполняя все правила затемнения. Здесь, в голубой гостиной и в столовой, она сделает это, когда мадам сойдет вниз. Симона предпочитала сумерки электрическому свету.

Но вот идет мадам.

Симона всегда удивлялась, до чего бесшумно ступала мадам, хотя она невероятно толста и грузна, ее дыхание громче ее шагов.

Мадам тщательно причесана и, как всегда, в черном шелковом платье. Волосы у нее не то что седые, они как-то странно выцвели. Ей, вероятно, лет шестьдесят с лишним, быть может, и все шестьдесят пять; Симона точно не знает, на вилле Монрепо не принято говорить о годах мадам.

Симона встала.

— Можно опустить жалюзи, — сказала мадам, она говорила спокойно и тихо. Мадам всегда была вежлива, никогда не раздражалась или не показывала, что раздражена, и редко делала замечания. Но любое распоряжение, которое она давала, звучало укором, и когда мадам была в поле зрения Симоны, Симоне всегда казалось, что за каждым ее движением надзирает строгое око.

Симона опустила жалюзи и включила свет, потом зажгла свет в столовой; в обеих комнатах горели большие, яркие люстры. Мадам любила очень яркий свет. Потом Симона вернулась на свое место, но она уже не сидела, опустив плечи, она не смела больше давать себе волю, служба ее началась.

Мадам опустилась в кресло с высокой спинкой, в котором неизменно каждый вечер ждала сына. Мадам была среднего роста, но огромных объемов, она сидела

в своем кресле неподвижно, расплывшейся тушей, необъятные телеса ее были втиснуты в корсет. Ее маленькие жесткие глазки не смотрели на Симону, но уж одно монументальное присутствие мадам заставляло Симону чувствовать себя маленькой и прижатой к стене.

Мадам не отличалась разговорчивостью. Она сидела в спокойном ожидании, затрудненно дыша, как все очень тучные люди.

Но Симона знала, что спокойствие это напускное. Дядя Проспер холостяк, но он не святой, и случалось, что по дороге он навещал кого-нибудь из знакомых дам. В последнее время на станции немало судачили насчет его отношений с женой доктора Мимрель, который был в армии. Мадам, несомненно, знала об этих сплетнях. Она мало с кем встречалась, но к ее услугам был телефон, газеты и две приятельницы в Сен-Мартене, старые дамы, время от времени навещавшие ее; она прямо с какой-то бесовской ловкостью комбинировала так или иначе попадавшие к ней сведения и почти всегда все знала наперед. Она любила своего сына, мысли ее кружили вокруг него, каждые четверть часа она спрашивала себя, где бы он мог теперь быть, чем в данную минуту занят. Симона знала, что мадам не одобряет образа жизни дяди Проспера.

За внешним спокойствием мадам Симона угадывала растущую нервозность. Правда, дядя Проспер заблаговременно предупредил, что вернется сегодня попозже. В такие времена, как нынешние, это было вполне естественно, и как раз сегодня трудно было предположить, что он заедет к своей приятельнице. Тем не менее подозрения мадам, что сын заставляет ее ждать ради этой распутной мадам Мимрель, с каждой минутой росли.

Мадам сидела в своем высоком кресле, черная, неподвижная, в ярком свете сильных ламп. Голову она втиснула в плечи, так что огромный двойной подбородок выпятился сильнее обычного, живот и бедра образовали сплошную массивную глыбу, руки тяжело покоились на подлокотниках кресла; кресло и человек слились воедино. Она сидела, толстая, огромная, тяжело дыша, неподвижная, как истукан.

Удивительно, до чего не похожи мадам Планшар и ее сын. Он, очевидно, и внешностью и характером походил больше на отца.

Его отец — старый Анри Планшар, покойный муж мадам, дедушка Симоны, — женившись на мадам, привел в дом сына от первого брака. Это и был Пьер Планшар, отец Симоны, и никто не понимал, как могла мадам, одна из самых богатых и завидных невест Сен-Мартена, выйти замуж за инженера, человека без средств, да еще вдовца с девятилетним сыном.

Симона мысленно снова припомнила все, что знала о своем дедушке Анри Планшаре. Рассказывали, что это был человек с живым воображением, обаятельный, но легкомысленный, увлекавшийся чем угодно, кроме своего прямого дела, склонный к мотовству. Мадам, с ее строгим, педантичным и настойчивым характером, жилось с ним, вероятно, нелегко, так же как и ему с ней. Очевидно, те черты, которые дядя Проспер унаследовал от своего отца, Анри Планшара, мадам и старалась искоренить в нем, Симона же именно эти черты и любила в дяде.

— Досадно, что сыра уже не было, — произнесла после долгого молчания мадам, — мой сын будет жалеть. — Дядю Проспера она всегда называла либо «мой сын», либо «мосье Планшар». Симона не ответила, она даже не покраснела. Упрямая черточка в ее лице выступила резче. В эту минуту она наверняка еще раз отдала бы роблешон мальчишке на садовой ограде.

— Что делается в городе? — спросила вдруг мадам. Обычно она никогда не обращалась к Симоне с вопросами подобного рода, она предпочитала узнавать все от своих приближенных. Но связь с городом была прервана, телефон не работал, а ее душевное напряжение было, очевидно, слишком велико.

Симона боялась поделиться с мадам, как глубоко потряс ее вид беженцев. Сухо, отрывисто, нескладно рассказала она, что беженцев стало еще больше и что все они голодны и оборваны. И из Сен-Мартена тоже бежали многие, мосье Амио, мосье Ларош, Ремю. Симона назвала еще несколько имен.

Лицо мадам оставалось неподвижным в ярком свете

люстры, огромный бюст ее все так же мерно вздымался и опускался.

— Дай мне сигарету, — приказала она. Симона поняла, что мадам взволнована, — она курила редко, только когда ее что-нибудь волновало.

— Так они, значит, бегут, — повторила она, помолчав, Симонины слова. — Удирают, дезертируют, — внятно, тихо, презрительно проговорила огромная толстощекая туша. — Никакой дисциплины. Нынешняя Франция не знает, что такое дисциплина. Я ошиблась в мосье Лароше, в мосье Ремю и особенно в мосье Амю. Хозяин, в минуту опасности бросающий свое дело на произвол судьбы, — это дезертир. Пусть не удивляется, если потом, когда все придет в норму, его клиентура покинет его. Глупость этих людей равна их трусости.

Мадам курила. Ее маленькие умные глазки непримимо поблескивали на рыхлом, мясистом лице. Симона остановившимся взглядом смотрела в пространство. Она боялась, как бы мадам не прочла в ее глазах возмущения. Она вспомнила ребенка, который тащил с собой кошку по знойным, залитым горем дорогам Франции, вспомнила измученных солдат, их до крови сбитые ноги, вспомнила девушку, старавшуюся в этой страшной сумятице отодрать грязь, присохшую к синему лаку детской коляски. «Они удирают, они дезертируют, глупцы и трусы», — других слов для этих людей у мадам не нашлось.

— Не умничай, — неожиданно сказала мадам. Она сказала это спокойно, но Симона вздрогнула, и вдруг густо покраснела. Просто страшно, как мадам угадывает каждую запретную мысль. Ослушание, «умничание» были в глазах мадам тягчайшим преступлением. Отец Симоны погиб оттого, что оп «умничал». «Не умничай» звучало в устах мадам величайшим порицанием.

Обе сидели и молчали. Сидеть так, в гнетущем обществе мадам, было невыносимо тягостно; с нетерпением ждала Симона дядю Проспера. Хотя с дядей тоже не всегда легко. Он очень несдержан, часто выходит из себя, и порой, всплыв, может наговорить массу несправедливых вещей, способных возмутить человека. Но он по-настоящему привязан к Симоне и вообще отно-

сится к ней с большой сердечностью. Он часто говорит с ней по-приятельски, как со взрослой, иногда даже настолько по-приятельски, что приводит ее в смущение, как, например, в тот раз, в кино, когда он стал делиться с ней впечатлениями насчет жемских качеств актрис. Как бы там ни было, в нем она почти всегда чувствует близкого человека. А мадам ей человек чужой, враждебный. Достаточно одного взгляда мадам, и Симону всю обдает холодом.

— Включи радио,— сказала, немного помолчав, мадам.

Симона включила. Послышались такты из «Марсельезы», та музыкальная фраза, которую теперь всегда играли в перерыве между передачами известий: «Aux armes, citoyens»¹. Стали ждать. Ждать мосье Планшара, ждать последних известий.

Мадам погасила сигарету.

— Дай мне газеты,— потребовала она.

— Это старые,— сказала Симона.

— Я знаю.— В голосе мадам не было нетерпения, был только холод.

Симона подала ей газеты: дижонскую — «Депеш» трехдневной давности и старую «Эко де Пари», которую принес вчера дядя Проспер. Мадам достала из сумочки лорнет и стала читать дижонскую хронику, которую уже изучила вдоль и поперек.

Через некоторое время она закрыла глаза. Она сидела, по-прежнему неподвижная и безмолвная, только лорнет и газета выпали у нее из рук. Она задремала, злая и спокойная.

Но Симона чувствовала себя по-прежнему скованной. Она даже не решилась выключить радио. Из репродуктора доносились через небольшие промежутки все те же несколько тактов из «Марсельезы», мешавшие на чем-нибудь сосредоточиться. Симона сидела на своем маленьком стуле в залитой ярким светом комнате, и это было невыносимо: так сидеть и ждать.

Шаги в саду. Наконец-то. Она бросилась к двери — помочь дяде выбраться из темноты.

¹ К оружию, граждане (*франц.*).

Как только она увидела его, от ее подавленности и следа не осталось. Весь дом преобразился, он уже не был как могила, он наполнился жизнью.

Дядя Проспер подошел к матери, сидевшей все так же неподвижно. Проспер Планшар за последние два года пополнил, но движения его по-прежнему отличались живостью и мужественностью, хотя временами эта живость стоила ему, вероятно, усилий. На нем был серый костюм, очень шедший к нему, он одевался хорошо и со вкусом, уделяя своей внешности много внимания; вид у него был представительный. Он обнял мадам. Симона видела, как мадам его обнюхивала, стараясь выведать, не возвращается ли он от женщины.

— Пришлось, разумеется, добираться пешком, — рассказывал он, — на машине проехать немислимо. Но прогулка пошла мне на пользу, — продолжал он, улыбаясь, — аппетит я нагулял зверский. Немедля сядем за стол. Я только руки помою. Вы, наверное, заждались меня. Зато поужинаем на славу.

Потом сели за стол, и дядя, ловко извлекая улиток из наполненных вином и маслом раковин и с наслаждением глотая их, рассказывал о происшедших за день событиях. Полагают, говорил он, что так называемые распоряжения французских властей об эвакуации все новых и новых районов исходят от немцев, которые стремятся увеличить сумятицу. Так или иначе, а паника распространяется, как зараза, пол-Франции снялось с насиженных мест, все дороги запружены. Беженцы мешают передвижению воинских частей, а правительство показало свою полную несостоятельность. Дядя Проспер видел душераздирающие сцены. Однако, по его мнению, было бы неправильно из чувства сострадания отказаться от решительных мероприятий. Если иначе никак нельзя, то, чтобы очистить дороги от беженцев, следует применить силу.

Он сидел за столом, представительный, красивый. Симона старалась не упустить момента, когда он и мадам покончат с улитками, чтобы переменить тарелки. В то же время она внимательно слушала дядю Проспера.

— Я, разумеется, рад, — услышала она его слова. — что не нам с вами надлежит применить эти жестокие

меры. Великое счастье, что нам по крайней мере позволено следовать велению сердца.

Он откинулся на спинку стула, на его выразительном мужественном лице показалась смущенная улыбка.

— Я должен кое в чем признаться вам, татап,— продолжал он.— Я предоставил в распоряжение супрефектуры две наши машины для беженцев. Безвозмездно. Я попросту подарил их. И поступить иначе не мог.

На душе у Симоны потеплело. В словах дяди Проспера звучала радость, ведь отдав машины, он спас этим несколько десятков беженцев.

Какой у него красивый, глубокий голос. У отца Симоны, наверное, был такой же. Вообще у дяди Проспера много сходства с ее отцом: такие же густые рыжевато-золотистые волосы, такие же живые серо-голубые глаза под густыми бровями, изогнутая линия рта.

Многие говорят, что он совершеннейшая копия своего брата, Пьера Планшара, и сейчас, видя, как он смущен собственным великодушием, Симона живо почувствовала это сходство.

Мадам посмотрела на сына своими маленькими испытующими глазками.

— Боюсь, что благодарности ты не дождешься. Ты слишком добр, мой мальчик. В такое время подарить две машины, не легкомысленно ли это?

Дядя Проспер рассмеялся.

— Позвольте мне быть легкомысленным, татап.

Симона вынесла тарелки и заправила соус для жаркого. Когда она вернулась с жарким в столовую, дядя Проспер как раз говорил о том, что люди делового мира обязаны сохранять хладнокровие,— это их первейший патриотический долг. Продолжая свою обычную деятельность, они тем самым в значительной мере способствуют успокоению жителей города. Один вид открытого магазина уже действует успокаивающе. Просто ни на что не похоже, что столько владельцев магазинов поддались панике.

Красные и сочные лежали на горячих тарелках ломтики жаркого, их поливали темно-коричневым, пряно пахнущим соусом, тяжелой, исчерпа-красной струей лилось вино в широкие, высокие бокалы.

— Само собой,— говорил дядя Проспер, не переставая жевать,— не следует обманывать себя, опасность велика. С точки зрения стратегии, правда, вся территория вокруг Сен-Мартена не представляет никакого интереса, однако возможно, что боши и ее захватят.

— Некоторые субъекты,— тихо и твердо сказала мадам,— по-видимому, очень считаются с такой возможностью. Я слышала, что кое-кто из этих господ уехал, усекал, сбежал.

— Это верно,— подтвердил дядя Проспер.— Представьте себе, тамап, такой разумный, казалось бы, человек, как бухгалтер Пейру, и тот с самым невинным видом спросил меня, не собираюсь ли и я уехать.

Мадам презрительно поджала губы.

— Этот сброд,— сказала она,— всегда оказывается глупее, чем мы думали. Я не вижу, почему пуститься в путь по нынешним дорогам безопаснее, чем остаться дома. И даже если боши пришли бы, я не вижу, какой им смысл убивать нас. Думаю, что и они заинтересованы в том, чтобы жизнь не останавливалась.

После жаркого Симона вместе с дядей припиались за приготовление салата. Он наклонился над миской, и у самых глаз Симоны очень отчетливо вырисовывалось очень большое дядино правое ухо, и она увидела, что оно неправильной формы, кверху заостренное и утолщенное. Она вдруг поняла, как сильно дядя отличается от ее отца. Иной раз, когда взгляд дяди Проспера становится колючим, когда дядя, раздраженный, надувшись, умолкает, в такие минуты у него появляется поразительное сходство с мадам.

Симона вынесла тарелки. Когда она вернулась с вафлями для десерта, дядя Проспер рассказывал о визите маркиза де Сен-Бриссона.

Симона знала, что дядя Проспер и маркиз де Сен-Бриссон политические противники, но она знала также, что дядя считал для себя честью поддерживать светские отношения с этим высокопоставленным аристократом. Когда маркиз — достаточно редко, впрочем — посещал контору фирмы Планшар, дядя обычно говорил об этом, как о большом событии. Значит, и сегодняшнее посещение маркиза, вероятно, польстило ему, как всегда.

Каково же было удивление Симоны, когда дядя заговорил об этом, как о самой обыкновенной вещи, словно к нему приезжал какой-нибудь мосье Амио или мосье Ларош. И мадам подхватила тон сына.

— Да,— сказала она равнодушно,— теперь он зачистит к тебе.

Дядя Проспер, не переставая рассказывать, опытной рукой поджаривал на маленькой спиртовке вафли. Он поливал их ликером, отчего голубой язычок пламени колыхался из стороны в сторону. Дело в том, говорил он, что маркиз хочет заблаговременно спрятать свои марочные вина, переправив их на юго-запад, в окрестности Байонны.

— Конечно, в такие времена охотно идешь на встречу старому клиенту, даже если он — твой политический противник,— покровительственно сказал дядя Проспер.— Но это не так просто, как маркиз себе представляет.— И в тоне мосье Планшара прозвучала нескрываемая ирония.

Симона обрадовалась. Дядя Проспер, очевидно, здорово отбрил Сен-Бриссона. Она вспомнила насмешки Мориса, его слова: «Спорю на бутылку перно, что маркиз получит машины для своих вин». Она так и знала, Морис просто лгун и клеветник.

— Нашей маленькой Симоне это всегда нравилось,— сказал дядя Проспер, показывая на голубой огонек, и потрепал Симону по щеке. Симона покраснела и чуть-чуть отодвинулась. Когда она была ребенком, дядя часто сажал ее к себе на колени и до сих пор не может отучиться от привычки гладить и трепать ее по щеке. В последнее время это иногда приводило Симону в смущение.

Подернутые маслянистой корочкой и посыпанные сахаром, издавая крепкий и сладкий аромат, лежали на тарелке вафли. На одно мгновение перед Симоной, как живая, встала площадь генерала Грамона, на которой лагерем расположились беженцы. Ей показалось вдруг невероятно странным, что она сидит здесь, в светлой, просторной комнате, за хорошо сервированным столом, что после улиток и бараньего жаркого они едят политые ликером яичные вафли и благодушно болтают.

— Боюсь, что нам не удастся спокойно закончить наш ужин,— сказал дядя Проспер.— Филипп собирался заглянуть к нам сегодня.— Филипп Корделье был супрефектом округа.

Мадам с легким удивлением подняла на сына глаза.

— Филипп вчера заходил ко мне в контору,— продолжал мосье Планшар.— Мы решили, что удобнее поговорить о наших делах в домашней обстановке. Правительство хотело бы законтрактовать весь наш парк,— сказал он просто.

Но к мадам уже вернулась ее обычная пезомутимость. Она взяла в руки лорнет и внимательно вгляделась в лицо сына.

— О ля-ля,— только и произнесла она с едва слышной иронией в голосе.

Симона даже рот открывала,— новость ошеломила ее, и понадобилось время, пока она поняла, о чем речь. Она сдвинула брови так, что на переносице образовалась глубокая складка, и мысль ее напряженно заработала.

Вот уже несколько дней на станции не прекращались толки о том, что в случае крайней нужды власти реквизируют автомобильный парк. Момент этот, видно, наступил, видно, супрефекту приказано реквизировать весь автомобильный парк Планшаров для нужд беженцев. Но у мосье Корделье хорошие, можно сказать, приятельские отношения с дядей, дядя Проспер считается одним из самых уважаемых людей в округе, во время выборов он сослужил правительству большую службу, супрефект зависит от него и не захочет портить отношений с таким влиятельным человеком. Поэтому, несмотря на поздний час и утомительную дорогу, он все же решил посетить виллу Монрепо. Он хочет попытаться добром выжать из дяди Проспера все, что можно.

Складка на своевольном детском лбу Симоны углубилась. Сейчас Симона казалась много старше своих лет. Неужели она обманула себя, когда так радовалась, что дядя Проспер подарил те две машины? Ей невольно вспомнились злые слова Мориса: «А теперь наш пустобрех, видите ли, и благородный человек, и лазейка у него есть на тот случай, если бы от него потребовали большего».

— Само собой разумеется, я сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить перевозку беженцев,— пояснил дядя Проспер.— Но как я это сделаю, уж позвольте решать мне. Отобрать сразу весь парк — это уж действительно слишком. Вы согласны со мной, ташан? Интересно также, где Филипп наберет необходимое количество шоферов? И как он собирается руководить поездками отдельных машин? Я, разумеется, друг правительства. Но в такие времена на обычных, административных мерах далеко не уедешь. При той катастрофе, какую мы теперь переживаем, было бы куда лучше, если бы эти бюрократы, эти архивные крысы предоставили действовать толковым дельцам и организаторам, знающим местные условия.

Он говорил глубоким, ропщущим голосом, говорил убежденно и убедительно. Симона не раз уже все это слышала. Дядя, наверно, и в самом деле думал, что, если бы ему позволили действовать по собственному усмотрению, он мог бы сделать для перевозки беженцев больше, чем супрефект. И все же Симона не в силах выкинуть из головы слова Мориса, и пронзительная насмешливая нотка, с которой он произносил «пустобрех», сопровождала все, что говорил дядя Проспер.

Симона обладала даром наглядно представлять себе то, что будет в ближайшее или отдаленное время. Она уже видела, как на красивые солидные машины фирмы Планшар грузят большие винные бочки Сен-Бриссона, как эти машины прорезают поток беженцев — сильные машины, снабженные всем необходимым, горючим и запасными частями, управляемые опытными, знающими дороги шоферами. Она видела, как люди, измученные, обессиленные, сидят, сгорбившись, на обочинах дорог, обратив вслед мощным машинам отупевшие, померкшие лица.

Дядя Проспер отодвинул тарелку, на которой лежал кусочек недоеденной вафли. Симона встала, чтобы убрать со стола, но он прикрыл рукой тарелку и налил себе еще немного вина,— к десерту подавался легкий шипучий анжу.

— Минуточку, малютка,— сказал он ласково и шутливо.— За что ты хочешь лишить меня сладкого? Ты

сегодня была на станции, у колонки,— продолжал он одобрительно,— труд твой даром не пропал. Доходы от колонки не так уж незначительны. Предусмотрительность, которую я проявил, запасшись вовремя бензином, приносит теперь проценты. В такие времена следует вдвойне блюсти свои интересы.— Он откинулся на спинку стула и, поигрывая салфеткой, любовно смотрел на Симону. Она слегка покраснела. Мельком подумала о жене доктора Мимрель, такой белокурой и пышнотелой. «До чего же ты худа»,— сказал недавно Симоне дядя Проспер.

— Как это много значит,— говорил благодушно дядя,— какое это воздаяние за все дневные труды, когда вечером можешь отвести душу в кругу своей семьи. Такой ужин дома — лучший отдых.— И он поднял бокал искристого вина, галантно обращаясь сначала к мадам, потом к Симоне.

В ту минуту, когда он подносил его ко рту, в саду послышались шаги.

— Ну, что ж,— вздохнул он,— по крайней мере мы успели покончить со сладким.— И он вытер салфеткой губы, а Симона побежала к дверям.

Супрефект, мосье Филипп Корделье, моргал и щурился в ярко освещенной прихожей. Долговязый, худой, сутулый, он всегда производил впечатление темного растерянного человека, сегодня же казался особенно загнанным. Машинально теребя розетку Почетного легиона, он рассеянно сказал Симоне, взявшей у него из рук палку:

— Добрый вечер, детка. Да, сегодня мне порядком досталось,— дорога ужасная.

И, говоря больше сам с собой, чем с Симоной, он рассказывал, как тяжело было в полном мраке идти по шоссе. На каждом шагу натыкаешься на машины, на людей. Он шел больше часу. И даже заблудился. Да, да, заблудился. Корделье все еще моргал голубыми глазами.

Симона проводила гостя в столовую. Мосье Планшар встретил его шумными приветствиями. Хотя он не раз отзывался о супрефекте как о человеке не слишком умном, при встрече он всегда подчеркивал словно бы особое отношение к нему, как к представителю высшей

власти округа; иногда, правда,— вот и сегодня тоже,— к почтительному радушию примешивался едва заметный оттенок добродушно-пронической снисходительности.

— Что, замучился, Филипп? — сказал он и похлопал Корделье по плечу.— Прежде всего как следует отдышись. Ты как раз поспел к кофе и, конечно, не откажешься выпить с нами чашечку.

— Кофе будем пить в голубой гостиной, Симона,— сказала мадам. Она говорила вежливо, но как-то подчеркнуто холодно,— она говорила с горничной, а не с внучкой своего мужа.

Симона убрала со стола и приготовила кофе. Она внесла стеклянный кофейный аппарат, чашки и коньяк в гостиную, где мужчины, удобно расположившись, сидели и курили. Мадам тоже курила. Второй раз за сегодняшний вечер она принималась курить, и с ней, наверное, потом будет плохо. Симона знала, почему мадам пренебрегла сегодня этим обстоятельством. Она всегда курила, когда обсуждались серьезные, деловые вещи, это позволяло ей удлинять паузы в разговоре и тщательно обдумывать ответы.

Мадам, несомненно, сильно устала, и потому, что было уже очень поздно, и потому, что пришлось долго ждать сына к ужину, однако она как ни в чем не бывало сидела в своем высоком кресле, прямая, затянутая в корсет, прижав к груди огромный двойной подбородок. Очевидно, она не хотела, чтобы сын вел разговор с супрефектом без ее бдительного присутствия.

— Закрой дверь в столовую, Симона,— приказала она, когда Симона, разлив кофе по чашкам, собиралась уйти. Было ясно — Симона в кухне не должна слышать, о чем пойдет речь в гостиной.

Но хотя дверь и была закрыта, голоса из гостиной доносились к Симоне в кухню, где она мыла посуду. Высокий глухой голос мосье Корделье казался взволнованным, супрефект требовал, по-видимому, передачи машин. И дядя Проспер отвечал раздраженно, он говорил громко, долго и быстро, голос его был звучнее обычного. Потом становилось тихо, и Симона знала, что теперь говорит мадам,— как бы тихо она ни говорила, все молчат и слушают.

Симонс нетрудно было себе представить, как протекает разговор в гостиной, и она заранее знала, чем он кончится. Уже не раз происходили разногласия между супрефектурой и фирмой Планшар. Мосье супрефект никогда не умел отстоять своей точки зрения. И сегодня не сумеет, тем более что в разговоре принимает участие мадам. «Спорю на бутылку перно, что не беженцам достанутся машины». Кофе и коньяк — вот и вся награда супрефекту за мытарства его ночного путешествия на виллу Монрепо.

Не годится ей так думать о дяде Проспере. Не годится смотреть на дядю Проспера злыми глазами Мориса, ведь у Мориса все плохое, он над всеми издевается. А ведь дядя Проспер делает людям много добра, он первейший филантроп в Сен-Мартене, все это говорят. Да так оно и есть. К ней он относится всегда как родной отец. Когда она вспоминает, как весело, чутко, по-товарищески он исполнял все ее ребячьи прихоти, у нее светлеет на душе. И каким хорошим он был тогда, в Париже. Он ничего не жалел, ни времени, ни труда, ни денег, только бы доставить ей побольше удовольствий. Брал ее с собой повсюду, все ей показывал. Она шла в лучших ресторанах, была в опере, а когда ей нравилась какая-нибудь вещь в магазине, он покупал ее без разговоров. И даже с капризами ее считался. Она помнит, как они пришли в собор Парижской богородицы, и ему очень хотелось подняться на башню, а она отказывалась, не объясняя почему. Не могла же она ему сказать, что ей не хочется портить воспоминания, связанного с отцом. И он не настаивал и покорился. А если ему хотелось провести вечер без нее, он заботился о том, чтобы она не оставалась в гостинице одна. В один из таких вечеров она отправилась с дочерьми дядино знакомого в Лувр. В тот вечер в Лувре были ярко освещены залы скульптур. Она никогда не забудет, как она, затаив дыхание, стояла перед статуей крылатой богини Победы, а потом всю ночь думала о том, какое лицо могло быть у этой богини.

Прекрасные дни провела она в Париже с дядей Проспером. Он столько для нее сделал. Он доволен, когда может доставить кому-нибудь радость.

Но все-таки очень странно. Дядя любит ее и вместе с тем терпит, что мадам относится к ней так холодно и враждебно. Симона скромна, она готова делать самую черную работу. Но мадам часто задает ей никому не нужную работу, она старается подчеркнуть, что Симона всего лишь служанка, не больше. Почему дядя Проспер допускает такое?

Наверно, потому, что боится ссориться с мадам. Он очень уважает ее, она так умна. Дядя Проспер никогда не заключает сколько-нибудь важной сделки, не спросив у нее предварительно совета. Да мадам и не потерпела бы иного положения. Фактическим владельцем фирмы остается мадам, и хотя она постоянно утверждает, что хозяином, шефом предприятия является сын, она и не помышляет выпустить дело из своих рук.

Симона понимает, почему дядя Проспер так держит себя. И все-таки ей больно, что он не берет ее под защиту с большей решительностью. Правда, дядя и в присутствии мадам ласков с ней. Но он не выражает ей той подлинной нежности, которую она часто угадывает в нем, когда они остаются одни.

Неблагодарная. Весь вечер критикует она в душе дядю Проспера. Ее возмущает, что Морис видит в людях только плохое, а чем она лучше Мориса?

Отец, правда, тоже был из тех, кто вечно всем недоволен. Это и ставят ему в вину, что он все на свете критиковал и во всем находил недостатки. Он был непокорным по своей природе. Пьер Планшар был «не в меру умным», самонадеянным. Он был настолько самонадеян, что это сгубило его и довело до могилы. Больше того, критиковать и находить во всем недостатки значило для него так много, что он не отступил перед опасностью умереть безвестной смертью. И если люди чтят теперь его память, то только за то, что он все критиковал и во всем находил недостатки.

Морис, наверно, думает, что она не такая, как ее отец. Морис, наверно, думает, что она одного поля ягода с хозяевами виллы Монрепо, где критика и непокорность считаются самыми страшными из всех грехов. А разве она заодно с хозяевами виллы Монрепо? Не

принадлежит она разве к числу бунтарей, к непокорным, к таким, как ее отец?

Голоса в гостиной опять стали громче, голос супрефекта звучит пронзительно и резко. Мосье Ксавье, секретарь супрефектуры, который знает своего начальника лучше, чем кто-либо, сказал однажды, что Корделье порядочный человек, но своей уступчивостью и нерешительностью он способен испортить любое хорошее дело. Симона по себе это знает. Мосье супрефект всегда говорил, что он высоко ставит Пьера Планшара, но когда зашла речь о том, чтобы увековечить его память мемориальной доской, он в конце концов спасовал перед оппозицией, которую возглавлял адвокат и нотариус Левотур. У Симоны мелькает мысль о дяде Проспере, она вспоминает ту «нейтральную позицию», которую он, — уж конечно, по совету мадам, — тогда занял. Он заявил, что ему, как брату Пьера Планшара, неудобно подать свой голос за установление мемориальной доски. И дядя Проспер оказался в числе воздержавшихся.

Во всяком случае, мосье супрефект не из тех, кто умеет, невзирая ни на что, отстаивать себя и свое дело. Фирма Планшар не отдаст ему своих машин. Симона слышит, как он вдруг замолкает на полуфразе, — наверно, говорит мадам.

Занятая своими мыслями, Симона проворно мыла и вытирала тарелки, ополаскивала горшки и кастрюли, чистила ножи и вилки, полировала серебро. Работы было пропасть, весь день прошел в беготне и работе, и порой, когда ее покрасневшие большие ребячьи руки машинально делали свое дело, у нее от усталости начинало ломить спину.

Она все еще мыла посуду, когда в кухню вошла мадам. Мадам остановилась перед Симоной, грузная, заполняя собою всю кухню и переводя маленькие жесткие глазки с Симоны на грудку уже вымытой, составленной в стопки посуды и на грудку еще нечищенных ножей и вилок; слышно было только ее дыхание и звук капель, падающих в раковину.

Симона продолжала чистить серебро. Она не чувствовала за собой никакой вины, и все-таки ей стало

не по себе оттого, что мадам стояла и смотрела на нее. Уж лучше бы мадам сказала, чего она хочет.

— Брось все,— услышала Симона тихий голос; широкое лицо мадам оставалось неподвижным,— завтра кончишь. Поздно, тебе пора спать.

Симона изумилась, мадам никогда не проявляла к ней такого внимания.

— Благодарю, мадам,— сказала она и вытерла руки. Очевидно, мадам опасалась, что Симона услышит больше, чем нужно, из того, что говорилось в голубой гостиной.— Спокойной ночи, мадам,— сказала она и поднялась к себе наверх.

4

КНИГИ

Комната Симоны ничем не напоминала остальных комнат виллы Монрепо, где все дышало комфортом и довольством. Это была маленькая каморка с выбеленными стенами, с покатым потолком — комната для прислуги. На ларе — несколько книг, на стене выцветшая фотография Пьера Планшара и вырезанный из «Юманите», большой, плохо отпечатанный оттиск его портрета, на котором с оборотной стороны проступала типографская краска. Тут же висела цветная литография с изображением святого Мартина верхом на коне, протягивающего нищему свою мантию, и вторая литография, где два усаха-гренадера Великой армии стоят в почетном карауле у открытого гроба аляповато раскрашенного Наполеона, и крупные слезы катятся им прямо в усы. Рядом висела прекрасная большая гравюра с изображением статуи луврской богини Победы — подарок дяди Проспера.

Симона разделась, умылась и легла в постель. Погасила свет. Внизу включили радио, оттуда очень неясно доносились слова, передавали, вероятно, последние известия. Затем последовали позывные, все те же несколько тактов «Марсельезы»: «Aux armes citoyens». Симона больше угадывала, чем слышала их. Будильник тихо тикал, цикады монотонно стрекотали, было жарко.

Симону одолевала смертельная усталость, но она скоро почувствовала, что не заснет.

На ларе, маня к себе, лежали книги, которые дал ей папаша Бастид. Может, включить свет и почитать?

Мадам запрещала Симоне читать в постели. Ей вообще не нравилось, что Симона охотно читает. Мадам подозрительно относилась ко всякой книжной учености, ко всяким «теориям», и, хотя разговора такого не возникало, Симона знала, что мадам считает причиной гибели Пьера Планшара его чрезмерный интеллектуализм.

Симоне очень хотелось получить образование. Правда, мадемуазель Русель, ее учительница, все годы, что Симона училась в школе, считала ее ленивой и невнимательной. Не то чтобы она плохо училась, но мадемуазель Русель находила, что стоило лишь девочке захотеть, и она могла бы учиться на отлично. Но девочка не ленилась; она только была медлительной. Зато уж то, что усваивала, она усваивала накрепко, глубоко и умела применить усвоенное.

Читать Симона всегда любила, но мадам не одобряла ее страсти к чтению. Мадам не дала ей домыть посуду и отослала спать, чтобы она хорошенько выспалась, и если Симона примется сейчас за чтение, мадам очень рассердится.

Но Симоне невмоготу лежать одной со своими мыслями в душной темной каморке. Разговор с господином супрефектом задерживает пока мадам в гостиной. Как только Симона услышит, что супрефект уходит, она погасит свет, — это она вполне успеет сделать, и мадам ничего не заметит.

Она включила свет и взяла книги папаша Бастида. Все они оказались об Орлеанской Деве.

Симона охотно читала о Жанне д'Арк, это радовало папашу Бастида, и он каждый раз давал ей все новые книги об Орлеанской Деве.

Из тех трех книг, что она получила на этот раз, одна — большого формата, папаша Бастид переплел ее в солидный черный коленкоровый переплет — была, повидимому, научная, суховатая. Вторая книга в красном переплете, с красным кожаным корешком и крас-

ными кожаными уголками, очень красивая,— должно быть, она интересно написана и легко читается, к тому же в ней много занимательных картинок. Третья книжка — маленькая, в старинном переплете, с множеством золота и всяких завитушек, но уже сильно потрепанная, видно читанная и перечитанная,— это, наверно, собрание легенд и трогательных анекдотов.

Как проста в самом деле история этой девушки, Жанны д'Арк, а как много написано о ней книг. Жанне исполнилось девятнадцать лет, она была всего на четыре года старше Симоны, вся ее судьба свершилась в три года, и рассказать о ней можно было бы в немногих словах. Но ученые все находят что-то новое и новое в истории Жанны д'Арк и ее времени и толкуют ее образ и ее судьбу каждый раз по-иному.

Порой Симоне казалось, что она понимает Жанну д'Арк лучше, чем ученые, писавшие о ней книги. Однако она с увлечением читает все, что может раздобыть об Орлеанской Деве, и ее история всегда с какой-то непонятной силой волнует Симону.

У нее была хорошая, надежная память, она помнила все даты.

Жанна родилась в 1412 году, в Домреми, в семье небогатого земледельца Жака д'Арк. Она была добрая, живая девочка, крепкая от рождения, способная к сельскому труду. Но потом она стала слышать голоса святых, и она отправилась к правителю своего округа, и он послал ее к дофину, Карлу Седьмому, чтобы она призвала дофина следовать велению ее голосов и возложила на его голову французскую корону. И дофин дал ей свое войско, и она повела это войско и освободила осажденный город Орлеан, разбила англичан, захватила город Труа, и в Реймсе короновала дофина, как ей велели голоса святых. Вскоре при дворе стали тяготиться Жанной, власть ее ограничили, ее солдат распустили по домам. Тогда она, собрав жалкие остатки войска, сделала попытку занять город Париж и была ранена, и атака не удалась. И она пыталась освободить город Компьен, но свои же, пока она сражалась за городскими стенами, заперли ворота и подняли мост, что позволило графу Люксембургскому, стороннику англичан, взять ее

в плен. И он продал ее англичанам за десять тысяч серебряников, а англичане передали ее в руки инквизиции. Ее судили в 1431 году, и процесс тянулся с 9 января по 24 мая. И ее приговорили к смерти через сожжение. Казнь свершилась 30 мая того же года, и было тогда Жанне девятнадцать лет и четыре месяца.

И вот, Симопа Планшар, крепкая пятнадцатилетняя худенькая девочка, в короткой ночной рубашке, лежит ничком на постели, покрытой грубой холщовой простыней, и, подперев голову руками, читает в книжках про Орлеанскую Деву, а с выбеленных степ на нее смотрят святой Мартин, ее отец Пьер Планшар, удрученные горем наполеоновские гренадеры и луврская богиня Победы.

Симопа очень хорошо знала историю Девы, поэтому она разрешила себе не читать, как всегда, страницу за страницей, а перелистывать, выхватывать отдельные места, которые казались ей особенно интересными.

Она читала о том, как наивно радовалась Жанна роскоши, которая окружала ее с того дня, как она поселилась при дворе дофина. Читала о дорогих тканях, в которые одевали Жанну, о ее конюшне, о блеске ее успехов, о пышности ее знамени. Два знамени разрисовал для нее за двадцать пять ливров шотландский художник Хемин Пауэр; на первом, большом знамени из белого букасины, изображен был господь бог на престоле, а за ним — золотые лилии Франции; знамя поменьше изображало благовещение: ангел протягивал пречистой деве лилию.

Симопа читала о том, что Жанна была рослой девушкой, сильной и крепкой, но некрасивой. Симопа разглядывала изображение Девы в той самой увлекательной книжечке в красном переплете. Это был снимок со статуи из Домремийского музея. В книге говорилось, что статуя была изваяна много лет спустя после смерти Жанны, что одежда Жанны изображена неправильно и что вся статуя сделана топорно и грубо и не представляет никакой художественной ценности. Но как раз это изображение нравилось Симоне. Вот именно такой она и представляла себе Жанну, слегка неуклюжей и очень обыкновенной.

Симона читала о том, что Жанна, наперекор всем окружающим, носила удобную мужскую одежду, и часто по многу дней кряду не снимала с себя доспехов, что она всегда была в обществе мужчин и не чуралась крепкого словца. А многие другие источники утверждали, что у этой неуклюжей, одетой в военные доспехи девушки был красивый, звучный и очень женственный голос.

На мгновение Симона оторвалась от книги и задумалась.

Потом опять углубилась в чтение. Она читала о неизмеримых бедствиях, постигших страну в ту пору, когда Жанне стали являться ее голоса. Симона читала, как сетовали французские крестьяне: «Как быть нам, поселянам? Одно дело осталось теперь — война. Бог взял сторону солдат, а нас отказал сатане. Оттого что у нас негодные правители и много изменников, приходится нам бросать жен и детей и уходить в леса, словно мы дикие звери. Не год и не два, а четырнадцать или пятнадцать лет идет эта сатанинская пляска. А сколько знатных вельмож Франции погибло от меча, яда или предательства и преставилось без соборования. Лучше служить сарацинам, нежели христианам. Мы не станем более подчиняться нашим властителям. Страшнее, чем попасть в плен к годонам и принять смерть от их руки, что может с нами случиться?» А годонами называли англичан, потому что они постоянно ругались: «god damn»¹.

Симона читала: «Вблизи Мо рос большой вяз, на нем ублюдок из Вору, гасконский дворянин, вешал всех крестьян, которых ему удавалось захватить и которые не могли уплатить выкупа. Он привязывал их к лошади, лошадь гнала галопом, и несчастные волочились за ней по земле. И не раз, надо думать, случалось, что он вешал людей собственноручно.

Так, он поймал однажды молодого крестьянина, привязал его к лошади и поволок галопом до Мо. Потом приказал пытать его. Терпя смертельную муку и все-

¹ Будь проклят богом (англ.).

таки надеясь спасти свою жизнь, молодой человек пообещал заплатить в три раза больше денег, чем у него было. Он дал знать своей жене, чтобы та принесла названную сумму; меньше года был он женат, и жена его была на сносях. Она очень любила своего мужа, и пришла в надежде тронуть сердце его мучителя. Владелец Вору сказал: «Если ты в такой-то день не принесешь выкупа, я повешу твоего мужа на моем вязе». Кляня судьбу, она, не теряя ни минуты, стала добывать нужную сумму, но, как она ни спешила, она все же принесла деньги на неделю позднее назначенного срока. Тем временем лиходей, не знавший милосердия и пощады, едва настал срок, велел повесить молодого крестьянина. Женщина пришла и спросила, где ее муж. Она очень плакала, всю дорогу она шла пепком и оттого, что была в тягости, еле держалась на ногах. Она лишилась чувств. Придя в себя, она опять спросила, где ее муж. «Плати деньги, побирушка, и ты увидишь своего мужа», — ответили ей. Но как только деньги очутились в руках мучителей, они сказали: «Твоего мужа мы, само собой, повесили, как вешаем всех бродяг». Вне себя от горя и гнева, она как безумная стала проклипать негодяя. Когда ублюдок из Вору, этот коварный душегуб, услышал проклятия женщины, он велел наказать ее розгами и волоком тащить к вязу. Там ее раздели догола и привязали к дереву. Над ней, на ветвях вяза, висело от восьмидесяти до ста повешенных, одни выше, другие ниже. Как только ветер начинал раскачивать их тела, нижние касались ее головы, и женщину охватил такой страх, что у нее подкосились ноги. Веревки, которыми она была привязана, впились ей в тело. Она кричала: «Господи, доколе?!» Она так кричала, многострадальная, истязуемая жертва, что крики ее были слышны в городе Мо, но всякого, кто пришел бы ей на помощь, изверги убили бы. И в муках мученических застала ее ночь. Под хлещущим дождем и порывами ураганного ветра она произвела на свет свое дитя. Она кричала очень громко, и волки, почуяв мясо, пришли и сожрали мать и дитя. Так кончилось жизнь несчастное создание, а было это постом в месяце марте 1420 года».

Вот как жили во Франции, захваченной врагом и его союзниками, в ту пору, когда Жанна д'Арк слышала голоса святых. Об этой жизни читала Симона.

Она читала и о голосах, которые слышала Жанна. Почти всегда они являлись ей, когда она была в лесу. То был голос архангела Михаила, а чаще всего голоса святой Катерины и святой Маргариты.

И Симона читала, как Жанна, послушная этим голосам, собралась в путь и в сопровождении одного из своих родственников, старого Дюран Лассуара, пошла к правителю своего округа, капитану Роберу де Бодрикуру. На ней было жалкое, все в заплатках красное платье. Но она, придя в замок, без страха подошла прямо к сир Роберу и сказала ему: «Сир, меня прислал к вам мой господин, чтобы вы предупредили милостивого дофина, пусть пока не предпринимает никаких сражений». — «Твой господин? Кто же он?» — спросил, усмехаясь, капитан. «Царь небесный, — ответила Дева. — Он велел мне повести дофина на помазание и коронавание. Я должна явиться к дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях». В ответ на эти слова сир де Бодрикур разразился громким хохотом и приказал родственнику Жанны отвести девочку к отцу, пусть тот отвесит ей несколько хороших оплеух. Но Жанна отказалась идти домой. Тогда капитан спросил своих солдат, не хочет ли кто полакомиться девочкой. Но ни у кого из солдат, когда они увидели Жанну, не появилось охоты. «Так, — читала в своих книгах Симона, — свидетельствуют очевидцы. Народная же легенда повествует, что среди солдат, как грубы ни были их нравы, не нашлось никого, кто бы отважился прикоснуться к ней».

В воображении Симоны, обладавшей даром чрезвычайно живо все представлять себе, сразу возникла картина, как этот знатный господин Робер де Бодрикур принял Жанну и заставил ее выйти на промысел к его солдатам, а среди солдат нашелся, конечно, какой-нибудь Морис, который не прочь был позубоскалить на ее счет. И Симона почувствовала большое удовлетворение оттого, что слова застряли в бесстыжей глотке.

Потом она размышляла над тем, как, должно быть, сложилась жизнь Жанны в доме родителей после ее возвращения от знатного вельможи и неудачной попытки сговориться с ним. Уж конечно, жилось ей тогда нелегко. Если бы, например, она, Симона, пришла к мадам и сказала, что решила ехать в Конго продолжать дело своего отца, усовещивать и наставлять концессионеров, чтобы они иначе обращались с туземцами, мадам хорошенько бы ей намылила голову. Отец Жанны, как известно, заявил: он готов собственноручно бросить свою дочь в реку, но не допустит, чтобы она стала солдатской потаскухой. В лучшем случае родители Жанны видели в ней сумасбродную и отчаянную девчонку, и, уж наверно, отец ее последовал совету капитана и отвесил ей несколько здоровенных оплеух.

Поэтому для Жанны имело, быть может, свою хорошую сторону то, что вскоре после ее возвращения домой ее родной деревушке стало угрожать нашествие врага, и население вынуждено было искать убежища в соседней крепости Нефшато. Там, конечно, родителям Жанны было уже не до того, чтобы вспоминать, как она ходила к сиру де Бодрикуру. А потом, когда они всей семьей вернулись в свою деревню, оказалось, что враг почти все сжег. И спокойствие тоже еще далеко не восстановилось, — в тех местах он все еще разбойничал. Не в первый раз бежало население в Нефшато, и тревога, как бы не пришлось снова бежать из Домпреми, возникала вновь и вновь.

«В те времена тоже были беженцы во Франции, — думала Симона. — Они бежали и возвращались, но спокойствие было обманчивым, и они снова бежали. И тогда была такая же безнадежность, как сейчас. «Нас предали и продали, нас, мелкий люд», — роптали тогда люди так же, как теперь».

— Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных, — сказала Жанна и поверила в свое назначение, и пошла и выполнила его.

Симона читала, как уверенно и непринужденно держала себя Жанна в лагере, единственная женщина среди мужчин, простая крестьянская девушка среди знатных господ, как она, твердо веря в свое призвание,

командовала конетаблями и маршалами, не робя перед их родовитостью и высокими титулами. А ведь господа эти были с самого начала ее врагами, завидовали ее успехам и отнюдь не собирались дать себя оттеснить на второй план.

Симона читала о том человеке, который больше всех интриговал против Жанны, о герцоге Жорже де ла Тремуй. Это был фаворит дофина, всегда находившийся при нем. Герцог был могуществен и очень богат, дофин задолжал ему. Сир де ла Тремуй, тучный, жестокий, властолюбивый человек, был в то же время льстив, осторожен в речах и пскушен во всякого рода интригах.

Симона читала: у Жанны, которую народ встречал с ликованием, при дворе и в лагере было мало друзей. Их она находила чаще всего среди очень молодых вельмож. Самым блестящим из них был Жиль де Лаваль, по прозвищу де Рэ. Он принадлежал к числу богатейших людей Франции, носил титул маршала и был необычайно красив. Величайший сибарит своего времени, он окружал себя сказочной роскошью, страстно любил искусство, брал с собой в поход собственную капеллу из мальчиков, пскусных певцов, а также и взрослых актеров. Де Рэ был очень изнежен, душился экзотическими эссенциями и красил усы и бороду в синий цвет, за что в пароде его прозвали «Синяя борода». Симона думала над тем, что могло привлечь его к Жанне и что Жанне нравилось в нем. Известно лишь, что они были большими друзьями. В лагере она спала в одной палатке с ним и с другими генералами, а в Орлеане, в доме герцогского казначея Жака де Буше, они жили дверь в дверь.

Симона пасторожилась. Ей показалось, что внизу скрипнула дверь. Очевидно, мосье супрефект уходит. Она быстро отложила книгу и погасила свет.

Да, слышны голоса, но трудно определить, откуда они доносятся. Она лежит в темноте, ей душно, в саду стрекочут цикады, в каморке тикает будильник. Симона ждет, пока мадам поднимется и пройдет к себе. Тогда можно будет снова взяться за книги.

Теперь голоса доносятся из прихожей. Чьл-то шаги в саду, и сверчки умолкают.

Симона лежит и ждет.

МИССИЯ

Звонок. Симона бежит к двери. Это мосье Рейноль, почтальон, он просит расписаться.

— Я сейчас позову мадам,— говорит Симона. Но мосье Рейноль очень странно смотрит на нее и важно, почти торжественно, говорит:

— Нет, лично вы должны расписаться, мадемуазель Симона,— и показывает ей письмо.

С виду письмо похоже на мобилизационную повестку, но оно очень большое. И чем ближе мосье Рейноль протягивает его, тем оно становится все больше. Конверт из плотной, дорогой бумаги, с него свешивается печать, и на печати вытиснено: «Свобода, Равенство, Братство» — девиз Республики.

— Письмо очень важное,— продолжает почтальон и откашливается.— Вы видите, здесь сказано: «Дело государственной важности».

Симона смотрит на эти слова, сердце у нее сильно-сильно бьется. Со страхом и любопытством берет письмо в руки.

— А это действительно мне? — спрашивает она, и мосье Рейноль становится во фронт, подносит руку к козырьку и отвечает:

— Здесь все поставлено четко и разборчиво. В нашем городе никто никогда не получал такого письма, это честь для всего Сен-Мартена.

Симона стоит и держит письмо в руках. Она ошеломлена, у нее подкашиваются ноги, она садится.

Где бы прочесть письмо так, чтобы никто не помешал? Лучше всего, пожалуй, здесь же, в прихожей, а то как бы мадам не застала ее с письмом в руках. Она вся горит от нетерпения и все же медлит. Волна радости заливает ее, а в следующее мгновение ее душит страх перед тем, что несет ей это письмо. Еще и еще раз она нерешительно отводит руку, готовую вскрыть конверт. Такой дорогой конверт нельзя ведь надорвать пальцем.

И вдруг она видит большой, слоновой кости нож, который всегда лежит на столе у дяди Проспера, так что нечего больше медлить, сейчас она вскроет письмо.

Письмо написано старинной вязью, заглавная буква каждого абзаца расписана золотом, красной и синей краской. И в письме том сказано, что ей надлежит пуститься в путь и явиться в ставку дофина для выполнения особой миссии. Слова «особая миссия» подчеркнуты.

Она дрожит всем телом, ее бросает в пот. В ставку, для выполнения особой миссии. Симоне страшно. Мадемуазель Русель всегда говорила, что она не принадлежит к числу хороших учениц, да она и сама знает, что у нее не бог весть какие способности. «Для выполнения особой миссии», — справится ли она?

— Что это за особая миссия? — вопрошает она письмо.

И вот перед ней ясный, прямой ответ: «Мадемуазель Планшар должна указать дофину, где подлинный враг. Мадемуазель Планшар должна призвать дофина к борьбе с подлинным врагом. Мадемуазель Планшар не имеет права вложить меч в ножны, прежде чем двести семейств не будут окончательно повержены в прах. Только тогда мадемуазель Планшар разрешается повести дофина в Реймс и там возложить на него корону. Подпись: «Наставник».

Симона роняет письмо на колени, от слабости она не в силах шевельнуться. Отчаянный страх объемлет ее. Всех, кто когда-либо пытался победить двести семейств, ждала гибель. Жанну сожгли, Жореса застрелили, с ее отцом покончили в лесах Конго; ей всего пятнадцать лет, она маленькая и приниженная, бедная родственница, служанка, пад которой мадам вежливо, жестоко и неумолимо измывается. Как же ей справиться с такой огромной задачей?

Чем больше она думает, тем тяжелее ложится на нее бремя ее миссии. Почему выбор Наставника пал именно на нее?

— Кто, скажи, послал тебя? — спрашивает она у письма. — И доброе ты или злое? — И опять ответило письмо. Вот он ответ, в постскриптуме: «Не бойся. Твой, любящий тебя, отец».

Страх тотчас же отпускает ее. Какая она глупая. Надо было прочесть письмо до конца и не впадать сразу в панику. Отец требует, чтобы она продолжала его дело, которое ему не дали завершить. Позор, что она сама не поняла этого. Какое счастье, что он послал ей письмо. На нее пал высокий выбор. «Что, если не ты? И когда, если не теперь?»

И вдруг откуда ни возьмись шофер Морис выглядывает из окна гаража и ухмыляется. Он, конечно, ни о чем не знает. Для него она по-прежнему мадемуазель Планшар с виллы Монрепо, где дух противоречия и неповиновение считаются худшими из грехов. Ей ужасно хочется рассказать ему о письме. Но она самолюбива. Пусть только она выполнит свою миссию, тогда он увидит.

Но он ухмыляется все шире и шире, и вот он кричит ей что-то, она не может расслышать слов, по знает, что это опять какая-нибудь гадость. Тут она уже не в силах сдержаться, она входит в гараж, берет Мориса за рукав кожаной куртки и говорит:

— Послушайте, Морис, вы напрасно так самодовольно улыбаетесь. Я получила письмо из правительственной канцелярии. Меня призывают в ставку для выполнения особой миссии. — Она говорит об этом просто, как о самой обыкновенной вещи.

Морис поражен, улыбка на его большом лице исчезает. Но только на мгновение. Вот он опять ухмыляется и говорит с обычной пренебрежительной ужимкой:

— Расскажите это вашей бабушке, мадемуазель. Письмо. Ставка. Болтать может всякий.

Симона возмущена, она опускает руку в корзину и хочет показать ему письмо. Но письма нет. Шофер Морис смеется и говорит добродушно-презрительно:

— Ну, вот видишь, — и широким шагом, вперевалку, идет в душевую.

Симона попросту уничтожена, — так ей стыдно. Не вообразила же она себе все это. Она собственными глазами читала письмо, и буквы еще там были синие и красные с золотом. Она сама, своими руками положила письмо в корзину, и корзина сразу стала тяжелая-пре-тяжелая — такое большое и важное было письмо. А те-

перь Морис, наверно, скажет, что она хвастает попусту, и станет еще больше презирать ее. Вот он пошел в душевую и ведет себя так, словно ее и нет тут, словно она воздух, он даже дверь не закрыл. Она не знает, куда глаза девать со стыда. А тут еще Генриетта заглядывает в окно и говорит: «Ай-ай», — и смеется над пей.

Морис стоит под душем в таком густом облаке водяной пыли, что ничего не видно, да Симона и не смотрит вовсе в его сторону, а водяной каскад презрительно плещет:

— Этакая глупая девчонка. К дофину она пойдёт. Пускай идет лучше на свою разлюбезную виллу Монрепо, там ей и место.

Но тут вдруг входит человек, небрежно одетый, у него худое лицо и густые золотисто-рыжие волосы и много-много морщинок вокруг умных серо-голубых глаз. Он садится на скамью и, положив ногу на ногу, благодушно говорит Морису:

— Послушайте, мосье, вы несправедливы к моей малютке. Я действительно прислал ей письмо. Так что лучше не упрямитесь и извинитесь перед ней по всей форме. — Морис быстро завертывается в простыню. Он прячет голову, чтобы скрыть, как ему стыдно.

А Симона довольна. К ней всегда были несправедливы, про нее всегда с насмешкой говорили: «Кто скажет, что эта Симона дочь Пьера Планшара». В ней видели только бедную племянницу и бессловесную служанку с виллы Монрепо. Капитан де Бодрикур отпускал на ее счет грязные шуточки и предлагал ее своим солдатам. Но на нее пал выбор Наставника, теперь никто даже в помыслах своих не осмелится сделать с ней что-либо непристойное.

Она пускается в путь, она идет в ставку. Ставка дофина находится в Шиноне, это ей известно из книг. Она хорошо знает дорогу, надо пройти через Солье и Стэн. Но она сразу видит, что это безнадежное дело, по таким запруженным дорогам ей ни за что не пробраться. Симона стискивает зубы, пускает в ход локти, она должна пройти, на нее возложена миссия. Но беженцы не пропускают ее. Все против нее. Особенно один мальчик, подросток лет четырнадцати, он стал по-

среди дороги, с места его не сдвинешь. Она сует ему сверток с сыром роблешон, который взяла на дорогу. Но мальчик только зло посмотрел на нее.

Она должна сказать беженцам, что она такая же, как они, должна рассказать им о своей миссии, должна показать им письмо. «Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных» — так сказала Орлеанская Дева. Симона прочитала это в своей книге. Она должна убедить беженцев пропустить ее.

Но она не может выговорить ни единого слова, ей будто заткнули рот. И руки не может поднять, чтобы показать письмо. И все вокруг тоже немые и неподвижные, и это, пожалуй, страшнее ее собственной немоты. Весь поток беженцев застыл, как на картине, не слышно гула моторов, людских голосов, лошадиного ржания. Эта беззвучность, эта неподвижность в ней самой и вокруг нее невыносимы, они словно тисками сжимают ей сердце.

Где взять силы, чтобы преодолеть все препятствия?

Она хватается за письмо. Думает о Наставнике. Овладевает собой, поднимает ногу. И, кто бы мог подумать, вот она уже сделала шаг, вот она уже идет. Больше того, она идет быстро, дорога свободна, она идет, и люди расступаются перед ней.

Она — в Шиноне.

Но в таком виде, потная, в этом светло-зеленом полосатом платье, она никак не может идти к дофину. Надо сперва хорошенько умыться, приобрести подходящие доспехи и заказать знамя. Двадцать пять ливров стоит оно. Сколько это на нынешние деньги? Очень трудно сосчитать, — наверное, много тысяч франков, но в таком важном деле экономить не приходится.

Она немножко боится идти в гостиницу одна, но собирается с духом и, стоя у конторки портье, говорит так, как будто в этом нет ничего особенного:

— Пожалуйста, комнату за правительственный счет, я прибыла по государственным делам. — И она показывает свое письмо.

Портье — тот самый, что был в парижской гостинице Бристоль, когда она жила там с дядей Проспером. Едва взглянув на письмо, он стал ужасно почтителен. Тут же подбежал владелец гостиницы, мосье Бертье из

отеля де ла Пост; он отвечает ей такой низкий поклон, каким не удостаивал даже самых богатых англичан, и тотчас же ведет ее в комнату Наполеона. Горничная подходит к кровати, на которой спал Наполеон, разбирает постель, — разумеется, белье постлано свежее, и Симона, утомленная длинной дорогой, прежде всего ложится на полчаса и закрывает глаза, и будильник тикает, и цикады стрекочут.

Потом приходят мосье л'Агреабль и мосье л'Ютиль и снимают с нее мерку, чтобы изготовить латы. Приятный мосье л'Агреабль обмеривает ее со всех сторон.

— Объем груди — восемьдесят семь, бедра — восемьдесят два, — говорит он, и полезный мосье л'Ютиль все старательно записывает. При этом рот у него ни на минуту не закрывается.

— Латы на мадемуазель будут сидеть, как влитые. В точности по фигуре. Это очень трудно, столько железа, сами понимаете, но мы знаем, чем мы обязаны дочери Пьера Планшара.

Мосье л'Агреабль, снимая с нее мерку, чуть-чуть больше, чем нужно, прикасается к ней, но ей достаточно взглянуть на него, и он с невинным видом начинает что-то мурлыкать себе под нос, словно ничего и не было. А потом они стучат по ней кругом молоточками, чтобы латы хорошо сидели. В ушах у нее стоит гул, очень утомительно так долго стоять, а она еще не отдохнула после сегодняшних многочисленных покупок для мадам. Наконец-то все готово.

Она стоит перед зеркалом. Теперь еще только шлем и знамя. Но вот и знамя. И принесла его Генриетта.

Как это мило со стороны Генриетты. Генриетта злопамятна, и Симона всегда боялась, что девочка не забудет колотушек, которые Симона надавала ей, когда она обидела ее отца. Но теперь Генриетта показала, что она истинный друг и что, когда она нужна, она приходит. Генриетта стоит и улыбается и салютует большим знаменем, и она точно такая же, какой была в гробу, очень красивая и восковая.

Потом Симона примеряет шлем — это скорее треуголка, вроде тех, что носят солдаты, и Генриетта подает ей знамя и улыбается ей в зеркало.

И вот Симона у подножия лестницы, которая ведет в главную квартиру. Это лестница Елисейского дворца, и наверху живет президент Лебрен. В Париже она часто тут проходила, отель Бристоль, в котором она жила, расположен по соседству.

Внизу стоят часовые, они требуют у нее пропуска. Она показывает свое письмо, часовые берут на караул:

— Проходите, пожалуйста, наверх, мадемуазель, вас ждут. Это знаменательный день для Франции, — говорят они и благоговейно смотрят на нее.

Симона идет по лестнице. Сначала она без труда поднимается со ступеньки на ступеньку, но ступенькам не видно конца, и это вовсе не дворцовая лестница, — оказывается, она ведет на башню собора Парижской богородицы. Лестница вьется винтом. Симона поднимается все выше, выше и спрашивает у людей, спускающихся вниз:

— Сколько ступенек осталось до верху?

И люди отвечают:

— Триста сорок две, мадемуазель, вам бы, собственно, следовало знать.

И она продолжает подниматься и, пройдя с полсотни ступенек, снова спрашивает у встречающих:

— Сколько еще осталось ступенек?

И снова ей отвечают с укором:

— Триста сорок две. — И сколько она ни поднимается, впереди все те же триста сорок две ступени.

Она останавливается, надо передохнуть, спина болит, в боку колет. Она очень боится, что не выдержит.

И опять она начинает подниматься вверх, но латы ужасно тяжелые, и знамя давит на плечо. Гораздо умнее было бы заказать знамя подешевле, поменьше, она просто не в силах уже тащить эту тяжелую корзину с письмом. Когда она смотрит сквозь просветы вниз, она видит там светло-коричневые крыши Сен-Мартена, а на них сидят чудища и химеры, те, что на соборе Парижской богородицы, и, как высоко она ни поднимается, они остаются на прежней высоте, они никак не хотят опуститься глубже. Нет, она ни за что не доберется во-

время. И если дофин спросит у нее: «Почему ты так поздно?» — она ничего не сможет ответить. А ведь она сразу же собралась, как только получила письмо.

Но вот стоит дофин, она узнала его по черному с серебром мундиру, — в торжественных случаях супрефект всегда надевает такой мундир.

— Прежде всего присядьте и отдышитесь, моя милая крошка, — говорит дофин; у него высокий, глухой голос, слегка рассеянный взгляд, но манеры приятные, и он совсем не внушает ей страха. — Очень мило, что вы тотчас откликнулись и пришли. Вы получили мое письмо своевременно? Я уж опасался, что оно затеряется, в стране нынче страшная неразбериха, в том числе и на почте. Вы нам очень нужны, мадемуазель.

Она разговаривает с дофином как с ровней.

— Вы знали моего отца, милостивый дофин, не правда ли? — спрашивает она доверчиво.

— Конечно, — отвечает дофин. — Я поручал ему множество дел, он сослужил мне большую службу. Но из Конго, куда я послал его, он не вернулся. Какая-то таинственная история. Моя полиция ничего не могла выяснить. Боюсь, что она подкуплена. Между нами говоря, полагаю, что его отравили двести семейств, действуя в сговоре с господами из моего Французского банка, крупными промышленниками и аристократами. Они отравили его, потому что результаты его исследований оказались им не по вкусу. Мне очень трудно с этими двумястами семействами, и больше всего с семейством девяносто семь. Неудобным им людям они чуть что подсыпают яду, бросают в концентрационные лагеря, огонь и железо обрушивают на простой народ.

Я тут ни при чем. Мне бы очень хотелось заслужить прозвище «Доброго». Если же так будет продолжаться, я останусь просто Карлом Седьмым.

Симона смотрит на него ласково, пожалуй, даже сочувственно. Мосье Ксавье, значит, прав: дофин по существу порядочный человек, он лишь нерешителен, слабохарактерен, и поэтому от его добрых намерений никакого толку.

Она уже собралась сказать ему что-то утешительное, ободряющее, как вдруг зазвонил телефон. С выраже-

нием легкой досады на усталом, грустном лице с приподнятыми, словно от удивления, дугами бровей, дофин взял трубку и начал разговор. Нет, этому разговору, паверно, конца не будет, и вдобавок дофин ведет его на иностранном языке. Сначала Симоне кажется, что язык латинский, но нет, это, вероятно, английский или немецкий. Ей страшно хотелось бы знать, с кем он говорит. Быть может, с господами из крупных картелей? У них повсюду уши, они вездесущи. Возможно, что до них дошли слухи об этой аудиенции, и они хотят ее сорвать. Ей кажется, что она ясно слышит в трубке скрипучий голос маркиза, злющего маршала де ла Тремуй, который хочет ее убрать с дороги, боясь, как бы она не помешала ему переправить свои вина в Байону. Она напряженно вслушивается. Но дофин вдруг прерывает разговор, сердито смотрит на нее и говорит:

— Не умничай. — И ей становится стыдно, она густо краснеет.

Наконец он, вздохнув, кладет трубку и поворачивается к ней. Вот она, решительная минута. Теперь Симона должна выполнить свою миссию, вырвать у него согласие на решительную битву с двумястами семействами, битву на жизнь и смерть.

Она стоит в раздумье, соображая, как ей убедить слабохарактерного, вечно колеблющегося дофина принять определенное, твердое решение. Но она с ужасом видит, что, пока она раздумывала, он забыл о ее присутствии. Он уселся и принялся есть свои глазированные вафли, политые ликером. Она подходит к нему ближе, хочет напомнить о себе и вдруг замечает, что ухо у него неправильной формы, кверху заостренное и толстое, и на нее нападает отчаянный страх.

Но нельзя сразу терять мужество. Она вспоминает о своей высокой миссии и набирается смелости.

— Милостивый дофин, — говорит она решительно, — так дальше продолжаться не может. Вашими методами вы у них ничего не добьетесь. Это хитрые псы, продувные бестии. Поверьте, что им милее Гитлер, обеспечивший шестидесятичасовую рабочую неделю, чем король Франции, который заботится о том, чтобы у каждого крестьянина была курица в супе и чтобы была сорока-

часовая рабочая неделя. Эту братию не проймешь прекрасными речами о свободе на латинском языке. Тут нужно огреть дубиной по голове. Вы должны попросту запретить вывоз капиталов, и запретить также Комитэ де Форж сбывать свою сталь бошам. Это самое малое из того, что я от вас требую. Да, да, требую, можете смотреть на меня, сколько вам угодно. Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных. Нельзя грабить все только неимущих, милостивый дофин, надо вывернуть карманы у имущих. Выкурить вам их надо. Так все говорят на станции, и первый — шофер Морис, а ему известны точные цифры. Если вы этого не сделаете, то и вы в конце концов будете так же преданы и проданы, как мы.

Дофин задет за живое.

— Меня хозяйственные вопросы не касаются, — отвечает он. — Меня они не интересуют, на то есть специалисты. Я король, мое дело — представлять. Сапожник, знай свои колодки. Я говорю на многих языках. Ты слышала, как я только что изъяснялся по телефону на латинском языке? А если бы я вмешался в дела господ из моего Французского банка, они сказали бы, что это самоуправство. Нет, нет, отправляйся ты со своим делом к шоферу Морису, он, видно, для тебя авторитет. Ты ошиблась адресом, обратившись ко мне, — говорит он обиженно.

Симона страшно ругает себя. Она не хотела обидеть дофина. Намерения у него добрые, но он нерешителен, это потому, что он зависит от мадам. Симоне приятно смотреть на него, ей нравятся его густые золотисторыжие волосы, красивые серо-голубые глаза и густые брови. И он всегда был очень ласков с ней. Сколько знаков внимания он оказал ей, когда они были вместе в Париже.

И он, по-видимому, тоже жалеет, что так раздраженно ответил ей.

— Знаешь, малютка, — говорит он уже другим тоном, мягким и доверительным, как со взрослой, — с этими двумястами семействами дело не так просто, как представляет себе твой Морис. Это форменные акулы, в особенности семейство девяносто семь, и если я слиш-

ком насаду на них, они могут пустить в ход свои международные связи и в конце концов откажут мне в моем королевском содержании.

Но Симона подавила в себе непозволительный порыв сочувствия. Она крепче стискивает древко знамени, — теперь это уже большое красное знамя Жореса, — решительно выпрямляется и, придав твердость своему красивому грудному голосу, говорит:

— Будьте решительны, милостивый дофин. Если только вы как следует возьметесь за ваши проклятые двести семейств, вы увидите: они быстро присмирят. В конце концов эти господа ведь не только дельцы, но и французы.

Однако этот довод кажется дофину не очень убедительным.

— Французы, — повторяет он с усталой иронией. — Французы. Франция. Что такое Франция? Франций столько же, сколько сословий. Мои крестьяне, и мои рабочие, и мои двести семейств — все говорят о Франции, и каждый вкладывает в это слово другой смысл. Не сомневаюсь в одном: когда двести семейств говорят о Франции, они имеют в виду более высокие барыши и более низкие налоги.

Симона подходит к нему, горя решимостью. Какая инертность, какое малодушие — не в том ли ее задача, чтобы их преодолеть? Ее миссия — преобразить этого пустобреха в короля Франции, Карла Седьмого. Для того Наставник и прислал ей письмо.

— Нет, — восклицает она, — вы не должны так говорить, милостивый дофин, Франция — не пустой звук, вы прекрасно это знаете. — И, указывая на знамя, она громким голосом возвещает: — Наше отечество, Францию, родили века совместных страданий и совместных стремлений. Разумеется, существует классовая борьба, глубокие социальные противоречия, но идея отечества незыблема.

На дофина ее слова явно производят впечатление. Он ходит по комнате из угла в угол быстрым мужественным шагом, его пурпурная мантия, надетая на черный с серебром форменный мундир, развеивается во все стороны.

— Ты очень краспоречива, Жанна,— говорит он и ласково смотрит на нее.

Симона краснеет, дофин, наверное, подумал, что это ее собственные слова. Этого нельзя допустить, нельзя рядиться в чужие перья.

— Ведь это не мои слова,— говорит она живо,— это сказал Жорес.

— Дело не в них, вся сила в твоём красивом голосе,— говорит дофин и дружески треплет ее по щеке.— Ты отправишься на фронт,— величественно возглашает он и снова треплет ее по щеке.

Симоне немножко неловко оттого, что дофин треплет ее по щеке. Но все же она довольна собой. Значит, ничего, что она худа, как жердь. Она все же сумела вырвать решение у этого трудного человека.

И вот она на фронте.

Здесь все генералы, о которых она читала в книгах, конетабли, маршалы, адмиралы. Иметь с ними дело гораздо легче, чем она себе представляла. Она рубит сплеча, как умеет, и никого не шокирует, что она не обучена хорошим манерам, принятым в обществе титулованных особ с громкими именами.

Гораздо труднее добиться, чтобы велась настоящая война. Симона совершенно точно знает, что для этого нужно, она ясно и четко излагает свои мысли, и генералы кивают в знак согласия. Но ничего не меняется. Все делается наоборот, и они отвечают, что попросту не поняли ее, и она говорит, говорит до изнеможения, а они попросту не хотят ее понять, и только. Она чувствует, что вокруг одни враги. Несомненно, многие генералы подкуплены двумястами семействами и предпочитают, чтобы победили нацисты. Она это знает, но как доказать?

К тому же она собственными глазами видит, как генералы о чем-то шутят с адвокатами. Адвокаты стекаются со всех сторон в своих черных мантиях, беретах и белых жабо. Тут и мэтр Левотур, своими кознями отправивший ее отца на тот свет. Он и сейчас о чем-то хлопочет. Жирный, гладкий, безукоризненно одетый, он переходит от одного генерала к другому. На его толстом пузе медная табличка с надписью: «Шарль-

Мари Левотур, адвокат и нотариус». Он нацепил ее на себя, во-первых, для того, чтобы людям сразу было видно, кто он, во-вторых, она заменяет ему латы,— и дешево и сердито. Симона сурово спрашивает его:

— Что вам здесь нужно, мосье?

— Но послушайте, мадемуазель,— отвечает он,— сам герцог де ла Тремуи, наш фельдмаршал, лично изволили просить меня прибыть сюда,— и показывает ей свой большой пропуск.

Герцог де ла Тремуи иронически-приветливо улыбается. Она с первой минуты знала, что это, конечно, маркиз. Шепотом сообщает она дофину свою догадку и обращает его внимание на то, что этот фашист снюхался с господами из стального картеля по ту сторону Рейна, что он подкуплен англичанами, которые переписывают на его имя лучшие виноградники. Но дофин спрашивает:

— Что же вы хотите от меня, мадемуазель? Если бы я стал гнать прочь всех, кто подкуплен и продажен...— И он красноречиво пожимает плечами.

Симона ищет глазами своих немногочисленных друзей. Она их очень хорошо знает, она ведь читала в книжках, кто ее подлинные друзья. Но одного из них здесь нет, а его-то ей главным образом и не хватает. Это Жиль де Рэ, великий сибарит и безбожный повеса, с его мальчиками-певчими и актерами, с его страстью к женщинам и книгам. Его нет как нет, и Симона не решается спросить, где он.

Она спросит у Генриетты. Она всегда спрашивала у Генриетты про сокровеннейшие тайны: про то, как это бывает, когда с мужчинами, и как рожают детей, и Генриетта ей все шепотом рассказывала, она всегда все знала. И теперь ей тоже все известно.

— Он здесь, в ставке,— шепчет она,— он страшно хочет с тобой познакомиться, он сейчас придет сюда.

И правда, вот и он, его сразу можно узнать по синим усам. Он выходит из гаража и медленно, вперевалку, идет сюда. По-видимому, он возвращается из душевой, ведь он очень за собой следит и, наверное, десять раз на день принимает душ, и так благоухает, как вся парикмахерская мосье Армана. Но больше всего он пахнет

кожей. Ничего удивительного, ведь он носит кожаную куртку.

При виде этой куртки у Симоны екает сердце. Ну да, она так и знала, это шофер Морис, сейчас он отпустит в ее адрес какую-нибудь гадость.

Он останавливается перед ней, нахально подбоченясь, мерит ее с головы до ног взглядом и говорит:

— Ну, мадемуазель племянница, как живем? Как насчет прогулочки при лунном свете? Но с нашим братом мадемуазель, пожалуй, погнушается показаться на люди. Ведь вы из виллы Монрепо, а значит, из другого лагеря.

Сейчас она ему ясно и твердо скажет, что она пришла утешить слабых и угнетенных. Но она молчит. Перед знатными генералами она ничуть не робела, а тут у нее язык присох к гортани. Она страшно смущена, все ждут ее ответа, а Жиль де Рэ стоит перед ней подбоченясь, нахальный, широколицый, и генералы улыбаются, глядя на ее замешательство, и если она сейчас же не ответит, прости-прощай весь ее авторитет.

Но тут на помощь ей приходит Этьен. Без колебаний — она никогда не ждала от него такой смелости — он подходит к Жилю де Рэ и говорит:

— Что вам угодно от этой дамы, мосье? Да и вообще кто вас ей представил?

Он стоит такой страшно юный перед широкоплечим Жилем де Рэ, да он и на самом деле шестнадцатилетний мальчик, хоть и очень высокий, но совсем худенький, а Жиль де Рэ не потерпит такой дерзости.

Однако нет, Жиль де Рэ и не думает сердиться. Он лишь смеется, берет Этьена за плечи и говорит благодушно:

— Но, мой дорогой друг, разве она не с виллы Монрепо? А ведь с кем поведешься, от того и наберешься. А с кем она водится?

Потом все ложатся спать. Симона спит в одной палатке с разными генералами, — на фронте так принято. Она очень довольна, что на ней ее зеленые брюки, хотя мадам находит, что в военное время это неприлично. Но в юбке ночью, одной среди мужчин, ей было бы крайне неудобно.

Симоне очень хочется спать. День сегодня был ужасно утомительный: покупки для мадам, и разговоры с дофином, и работа в саду, и военный совет. Она боится, что будет храпеть, и это могут заметить, ужасно неприятно. Она прислушивается, генералы не храпят. Ничего удивительного, это знатные господа, они с детства так приучены. Но они ворочаются с боку на бок, потому что неудобно спать в латах, и латы звенят, и, может быть, за звоном никто не услышит, что она храпит.

Она чувствует, что ей сейчас придется выйти. Ей очень неловко, генералы, конечно, станут смотреть ей вслед, как делают все мужчины в кафе «Наполеон», когда какая-нибудь женщина направляется в туалет. Если бы хоть Генриетта пошла с ней, вдвоем все-таки удобнее, но, к сожалению, Генриетты нет. Одна, неслышно ступая, она проходит, крадучись, сквозь ряды спящих, но, как она ни старается, латы все же звенят. Все сразу открывают глаза, и Жиль де Рэ, ухмыляясь, тербит свой синий ус. К счастью, Этьен опять тут как тут, и он говорит ей:

— Не бойся, Симона. Пусть только попробует сказать какую-нибудь гадость, я из него котлету сделаю.

Симона потягивается. Цикады стрекочут, и будильник тикает. Симона поворачивается на другой бок.

Наступает день, идет сражение, и Симона со своим знаменем в гуще боя. Неуклюже покачиваясь, ползут танки, это все неприятельские танки, их, наверное, много тысяч, и все они построены из французской стали, и неба не видно от неприятельских самолетов, и они тоже — из французского алюминия. Но Симона снова и снова машет знаменем, и сколько бы ни надвигалось вражеских танков, народ Франции не сдается, и если сто человек гибнет, на их место становятся двести, и Симона машет своим знаменем.

А потом — военный совет, большой военный совет. Кабинет дяди Проспера не вмещает всех, зал все ширится, ширится, и это уже супрефектура, потом церковь Сен-Лазар, потом собор Парижской богородицы. Дофин председательствует, на нем опять его черный с серебряным шитьем мундир. Длинный, худой, сутулый, сидит дофин на своем председательском месте, белесыми уста-

лыми глазами беспомощно оглядывает собрание и тербит свою розетку. Здесь все те генералы, которых Симона знает, в том числе и маршал Петен, и, разумеется, не только генералы, но и мосье Бертье из отеля де ла Пост, здесь и господа Амио, и Ларош, и Ремю, и Пейру. Мосье Грассе, хозяин кафе «Наполеон», обходит всех и, поклонившись, спрашивает у каждого в отдельности, как он поживает. И опять — бесконечное множество адвокатов в черных мантиях и беретах, и, само собой, мэтр Левотур. Адвокаты непрерывно входят и показывают друг другу какие-то бумаги, и суетятся и хлопочут около генералов, и приносят им разные бумаги и чеки, и шепчутся с ними.

Дофин открывает собрание речью на латинском языке. Он говорит, что мадемуазель Плашар, по поручению своего отца, Пьера Плашара, высказывает пожелание немедленно взяться за дело и энергично довести войну до победного конца. Дофин говорит очень учено и предлагает открыть дебаты. Тотчас же поднимается герцог де ла Тремуи, и на этот раз маркиз особенно гадок.

— Никто так глубоко не преклоняется перед вашим гением, мадемуазель, как я, — говорит он скрипучим голосом, похлопывая себя стеком по сапогам. — Но военное искусство подчинено определенным законам, их нельзя изучить в два счета, наши предки изучали их девять столетий подряд. Только то и делать, что наступать — это было бы просто. Мой великий предок, раньше чем ударить по врагу на Каталонских полях, изматал его вконец хитро разработанной тактикой бездействия. Тише едешь, дальше будешь — так говорят все военные эксперты. Не правда ли, господин фельдмаршал? — обращается он к генералу Петену. И ветхий генерал встал и дребезжащим, важным голосом молвил:

— Да, досточтимый коллега. Мы проиграли, нам остается сдаться на милость врага. Я уже говорил это в Столетнюю войну, то же самое говорил под Верденом и сейчас опять это говорю. В том порука — слово офицера.

И мэтр Левотур поднимается и заявляет с лицемерным сокрушением:

— Свой бунтарский характер мадемуазель унаследовала от отца. Она опять надела темно-зеленые брюки, хотя мадам ей ясно сказала, что носить брюки в военное время непристойно. Но в том-то и дело, что у Симоны нет уважения к великим традициям. Она самонадеянна, она хочет жить своим умом. Такая же самонадеянность погубила и ее покойного отца, погубила и довела до могилы.— И все обступили дофина и что-то оживленно шепчут ему на ухо, а господа Амьо и Ларош, и господа л'Ютиль, и л'Агреабль, и все другие с осуждением смотрят на Симону, а дядя Проспер говорит, отмахиваясь:

— Я, как человек деловой, воздерживаюсь от голосования.

Симона чувствует себя очень одинокой. Она сознает, какая это невероятно трудная задача — вести борьбу за слабых и угнетенных против мощного объединения двухсот семейств и двух миллионов рантье. Они все время юлят вокруг дофина и нашептывают ему что-то в уши, справа и слева, сверху и снизу. И лицо его принимает все более и более усталое выражение, глаза совсем поблекли, брови ползут все выше, и вот он поворачивается к ней.

— Мне сказали,— говорит он,— что у нас нет больше денег на ведение войны. Война требует все новых налогов, и платить их, конечно, придется бедному люду. Двести семейств заявили, что они уже совершенно обескровлены, что они не могут больше платить.

— Невозможно, невозможно, абсолютно немыслимо,— подхватывают герцог де ла Тремуй, и нотариус Левотур, и все двести семейств, и громче всех семейство девяносто семь. И все два миллиона рантье подняли жалобные стенания и, как бы защищаясь, простерли четыре миллиона рук. А маршал Петен, достоуважаемая древность, стоит и требует:

— Сдаваться надо, сдаваться.

— Ну вот, сама видишь,— печально говорит Симоне дофин и теребит розетку Почетного легиона.— Франция не хочет. Франция отказывается воевать.

Но тут вмешивается Жиль де Рэ. Он подбочивается и говорит:

— Франция, милостивый государь? То, что перед вами, разве это Франция? Франция этих господ — не наша Франция. — И насмешливый голос его звучит особенно пронзительно. И папаша Бастид, маленький, юркий, румяный, как яблочко, бегаёт из угла в угол, запальчиво трясёт белоснежной головой и выкрикивает стихи Виктора Гюго и изречения Жана Жореса. Но все только снисходительно улыбаются.

— Бедняга, — качая головой, говорят они, — он совсем выжил из ума.

Симона вне себя. Она знает, что папаша Бастид прав, пусть он и стар и, быть может, немного чудаковат; и она хмурится, мрачно смотрит на дофина и говорит:

— Стыдитесь, милостивый дофин. Вы знаете, что Франция — это нечто совсем иное, чем то, что имеют в виду эти господа. — И она делает пренебрежительный жест в сторону двухсот семейств и двух миллионов рантье. — Ведь не кто иной, как они, эти двести семейств, высосали из страны все соки. Они хватают крестьян, и если те не в состоянии уплатить проценты по ипотекам, вешают их на вязе, а потом туда приходят волки. И уж во всяком случае, незачем вам слушать напештывания этого вредного нотариуса Левотура.

Нотариус Левотур приходит вдруг в страшное волнение, он протискивается вперед, а с ним и другие адвокаты, и в одно мгновение весь собор Парижской богородицы наводнен ими, их черные мантии развеваются, ничего больше не видно, кроме черных мантий и белых жабо, и Симона с ужасом замечает, что у многих адвокатов птичьи головы, а если взглянуть поближе, то это они, чудовища с крыши собора Парижской богородицы, нарядившиеся в мантии и береты.

Мэтр Левотур вытаскивает из-под своей медной таблички какую-то большую бумагу и каркает по-птичьи.

— Вот мирные предложения, сделанные неприятелем. Только что получены. Очень выгодные. Было бы преступлением отвергнуть их и продолжать войну. Франция жаждет мира, — каркает он по-птичьи, и все чудовища с крыши собора взмахивают своими черными мантиями и каркают хором:

— Франция жаждет мира.— У дофина страшно усталое, безвольное лицо, он с сожалением пожимает плечами, вот-вот он скажет: «Хорошо, заключим мир».

Но Симона хватает свое знамя, твердо и решительно выступает она вперед и восклицает:

— Франция хочет мира? — И она знает, что весь собор гудит от негодования, клокочущего в ее голосе. И она поворачивается к адвокатам, к двумстам семействам, и двум миллионам рантье и гневно обрушивается на них: — Франция? Что знаете вы о Франции? — И все, что она не могла до сих пор выразить, вдруг так и просится ей на уста. Она прекрасно знает, что такое Франция, и может это сказать. Адвокаты смотрят на нее страшными птичьими глазами и вот-вот заключают ее огромными острыми клювами, а двести семейств бряцают мечами, тыча их в ее золотые доспехи, и рантье поднимают пронзительные вопли, от которых кровь стынет в жилах, а сзади показывается испуганное, умоляющее лицо дяди Проспера, а еще дальше, в глубине, уставилась на нее отвратительная, раскормленная, похожая на маску, физиономия мадам. Но Симона не боится никого и ничего, не боится даже сделать больно дяде Просперу. На нее возложена задача удержать дофина от гибельного шага, не допустить, чтобы он сдался и заключил позорный мир, и теперь она знает, что надо сказать, она знает, что такое Франция.

Она начинает говорить. Она не продумала свою речь, не знает, что скажет в первую очередь, и минутами даже не знает, на каком языке она говорит, она чувствует только, что слова льются сами собой, что теперь ей дано говорить, говорить на всех наречиях.

Она говорит о двухстах семействах. Был благородный винопградник, Франция, и вот налетела саранча и набросилась на прекрасный виноградник и накликала на него нечисть со всего мира.

— Почему вы терпите такое? — вопрошает Симона.— Выкурите их серой. А если нельзя иначе, так вырвите с корнем больные лозы и сожгите их, и спасите прекрасный виноградник, именуемый Францией! Не жалейте секиры и не жалейте огня.

Симона говорит загадочно и пламенно, и все умоляют, и мадемуазель Русель, учительница Симоны, сперва возмущенно качает головой, но вот и она притихла и с восторгом слушает Симону. И ряды врагов все редеют, и раскормленная физиономия мадам исчезает, и два миллиона рантье опускают руки, и золотые доспехи двухсот семейств тускнеют, а адвокаты свертывают свои мантии-крылья и бесшумно уползают обратно, на крышу собора. Все больше и больше восторженных лиц видит перед собой Симона, все друзья ее здесь, глаза Этьена, устремленные на нее, светятся восторгом, румяное морщинистое лицо папаша Бастида сияет от удовольствия, Жиль де Рэ теребит свой ус и насмешливым, пронзительным голосом говорит:

— О ля-ля, и задала же она им перцу. Выложила все начистоту. Вот теперь видно, что она — дочь Пьера Планшара.

А дофин опять в своей пурпурной мантии, и лицо у него мужественное, и серо-голубые глаза ласково глядят из-под густых золотисто-рыжих бровей, и звонящим голосом он возглашает:

— Ты убедила меня, моя дорогая Симона. Конечно, я дам тебе денег и войско. И пусть мадам говорит, что хочет.

И вот — наступление; и Симона в головном танке. А впереди летит чья-то большая светлая фигура, стремительно летит она, от быстрого полета вздулось платье, и Симона видит, что это ее милая богиня, богиня Победы. Но теперь Симона ни за что не даст богине улететь, теперь наконец она узнает, какое лицо у богини и кто она, Крылатая. Симона дрожит от нетерпения. Она переводит танк на самую большую скорость, неуклюжую машину качает, швыряет из стороны в сторону, а догнать Крылатую она не может. Мгновениями Симона как будто уже совсем близко от нее, но, оказывается, богиня на мгновение замедлила полет лишь для того, чтобы полететь еще быстрее. Крылатая явно дразнит Симону. Но вот наконец она оборачивается и улыбается Симоне, как будто даже лукаво. И что же? Симона так и думала, — у нее бледное, нежное лицо Генриетты.

Блаженство охватывает Симону, сердце готово разорваться от счастья. На душе легко-легко, она чувствует: Победа, она чувствует: Франция, она чувствует: Свобода, Равенство, Братство.

Она в кино и смотрит еженедельное обозрение. Она видит, как на экране проворная, юркая стрелка вычерчивает ее продвижение вперед от пункта к пункту и как школьники ликут оттого, что их отпустили по случаю ее побед, и как весь мир отмечает на картах флажками взятые ею города и села, и флажки приходится так скоро перемещать, что люди не успевают. Сама же Симона сидит в задних рядах и все это видит и прячется.

Будильник тикает все громче, и поднимается оглушительный трезвон колоколов. Это по случаю коронации дофина в Реймском соборе. Собор сильно разрушен бомбами, сквозь крышу светит солнце, и все потеют в своих праздничных одеждах. Но это пустяки. Звонят колокола, самолеты пролетают по небу, цикады стрекочут, музыка играет «Марсельезу», и все хором подхватывают ее.

Симона же стоит в своих доспехах и в темно-зеленых брюках и салютует знаменам: вот и видно, как хорошо она все же сделала, что не поскупилась и заплатила двадцать пять ливров.

Она осматривается, ищет знакомых. И сейчас же навстречу ей идет Жиль де Рэ и говорит:

— Вы действительно наша, мадемуазель. Я был несправедлив к вам. Простите меня.

Ей очень хочется знать, здесь ли дядя Проспер. Мадам, конечно, запретила ему идти сюда. Но он здесь. На лице его и гордость, и лукавство, и смущение, и он подходит ближе и, так чтобы никто не видел, шлепает ее по темно-зеленым брюкам. Это приводит ее в легкое замешательство, но все же она очень рада, что он здесь.

И он смотрит на нее лучистыми серыми глазами, окруженными множеством морщинок, и с радостным испугом она видит, что это вовсе не дядя Проспер, а ее отец, Пьер Планшар. И отец говорит:

— Отлично, Симона. Я доволен тобой, малютка. Ты поистине моя дочь.— Она же бессовестно счастлива — счастливей, чем дозволено быть человеку.

Часть вторая

ДЕЯНИЕ

1. СЛУЧАЙ НА МОСТУ.
2. ГОСПОДИН МАРКИЗ.
3. МУСКАТ В СОУСЕ.
4. ЛЕТЧИК.
5. ДЕЯНИЕ.
6. ТОМИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР.
7. ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ.

СЛУЧАЙ НА МОСТУ

Симона сидела в кухне на табуретке, слегка ссутулившись, сложив на коленях худые, сильные руки. Она, как всегда, пообедала с мадам на кухне, потом мадам удалилась к себе, а Симона стала мыть посуду. Но вот она покончила с посудой, и впервые за долгое время ей нечего делать. Ей не нужно после обеда спешить в город, как обычно, там нечего заказывать, нечего покупать. Остаток дня в ее полном распоряжении.

Это было непривычное чувство. С безжизненным, слегка удивленным выражением лица, она смотрела рассеянным взглядом в сад, который раскинулся перед ней в блеске полуденного солнца, красивый и ухоженный.

Вдруг с неожиданной остротой Симона ощутила, как это все странно. Она сидит без дела, вокруг тишина и порядок благоустроенного дома, перед ней красивый мирный сад, где каждый кустик подстрижен и полит, любовно выращена каждая роза, а там — взбаламученная, растерзанная Франция.

Так сидела она долго. Она никак не могла освоиться с необычностью такого состояния, когда некуда спешить, когда нет работы, которую необходимо сделать к определенному сроку. Наконец она встала, потянулась. Поднялась вверх, в свою комнату.

Здесь в эти дневные часы было невыносимо жарко. Симона присела на край кровати. Перед ней, на ларе,

лежат книги, и ближе всего те три, которые дал ей папаша Бастид. Не почитать ли? Она уже протянула руку, но потом нерешительно отвела ее.

Ей почти досадно, что сегодня не нужно идти в город. Невыносимо тяжело сидеть и ждать, когда страну сотрясают такие страшные, огромные события. В городе чувствуешь себя как-то ближе ко всему. То, что там видишь и слышишь, мучает, но еще хуже ничего не видеть и не слышать.

Для мадам, видимо, само собой разумеется, что Симона никуда не пойдет сегодня. А все-таки не отправиться ли в город? Что, если по собственному почину попытаться что-нибудь достать? Перец, например, на исходе, несколько банок сгущенного молока тоже не были бы лишними. Возможно, она еще что-нибудь раздобудет в кафе «Наполеон» или у Бомона. И она стала собираться в город.

Решившись действовать на свой страх и риск, она осмелела. Мадам считает, что в такое время девушке неприлично носить брюки. Но кто теперь, в этой всеобщей сумятице, обращает внимание на такие вещи? А в брюках гораздо легче пробираться сквозь толпу, да и чувствуешь себя увереннее. Симона достала их из шкафа.

Темно-зеленые брюки дядя Проспер привез ей, когда ездил в Канны. Мадам с самого начала не одобрила этого, но, поскольку брюки были подарком ее сына, она крепя сердце разрешала Симоне носить их. Когда же началась война, у мадам оказался благовидный предлог объявить брюки под запретом.

Сегодня, однако, не считаясь с указанием мадам, Симона надела их. Потом взяла свою большую корзину и отправилась в город.

Она шла по узким, кривым, гористым улочкам. Каждый камень этих старых, ярко раскрашенных домов был ей знаком, привыкла она и к виду беженцев, сновявшихся по улицам в суетливой праздности; и все же ей показалось, что город сегодня не тот. Коренных жителей почти не было видно. Они покинули Сен-Мартен, неотъемлемой частью которого были, так же как камни, как раскрашенные фасады домов и покатые

светло-коричневые крыши. Симона любила при встрече обмениваться с горожанами приветствиями, перекинуться несколькими словами. Слова эти обычно мало или совсем ничего не значили. Но сегодня Симоне мучительно не хватало этих ничего не значащих фраз, обращенных к ней или произнесенных ею самой.

Внезапно город облетели слухи, выгнавшие из домов и тех жителей, которые пока в нем оставались. И оказалось, что их еще немало.

Новостью, выгнавшей людей на улицы, был страшный случай на мосту через реку Серен.

Дорога через мост была единственной, которая вела к шоссе № 7 и 77. Беспорядочные толпы беженцев, безнадежно забивая дорогу, на долгие часы застревали на мосту и перед мостом. Все время боялись, что налетят вражеские самолеты, но всегда оказывались правы те, кто утверждал, что местность эта в стратегическом отношении не представляет интереса, что вряд ли тут развернутся военные действия, что ни один город поблизости не подвергался бомбардировке. И все-таки немецкие летчики налетели и обстреляли беженцев на мосту. Последствия самые тяжелые. Сколько убитых, никто в точности не знает, известно лишь, что много. Положение раненых ужасно. Санитарные кареты с трудом пробираются по запруженным дорогам, госпитали переполнены, раненых приходится отвозить чуть ли не в Невер.

Так война, вплотную подойдя к Сен-Мартену, заставила тех его жителей, которые решили было никуда не двигаться, забиться в новой лихорадке страха. Говорили, что мост решено взорвать. Это значило, что город будет окончательно отрезан от дорог, ведущих на юг, и жители окажутся в ловушке. Сотни раз уже взвешивались все «за» и «против», и люди пришли к решению остаться. А теперь они опять взвешивали: не лучше ли все же уехать, как господа Амио и Ларош и многие, многие другие? Но решать надо немедленно. В их распоряжении день, а может быть, только часы. Люди спрашивали себя, спрашивали других, все спрашивали друг у друга, спрашивали даже у Симоны.

Для Симоны сомнений не было: Беженцы забивают дороги и мешают продвижению войск. Необходима выдержка. Пока еще есть вполне реальные основания надеяться, что бошей остановят и до Сен-Мартена они не доедут, а если нет, так у себя на месте больше возможности бороться, чем на юге.

Симона убедилась, что беженцы иначе реагировали на событие на мосту, чем население города. Сначала у них было одно только желание — двигаться дальше, как можно дальше, навстречу безопасности, но постепенно желание это сменилось покорностью, мрачной покорностью судьбе. Случай на мосту углубил в беженцах чувство горькой безнадежности. Бессмысленно тащиться дальше, безразлично, где тебя настигнут немцы. Опасность всюду одинакова. Случай на мосту толькошний раз показал, что на открытых дорогах подвергаешься большей опасности, чем здесь, в Сен-Мартене. Правда, нечего есть, не хватает самого необходимого, и все же многие склонялись к тому, чтобы тут осесть. Больше того, переночевав одну, две, три ночи, люди словно привыкали к жалкому уголку, который уже успели обжить. Ложе из соломы в галерее здания суда или клочок земли на площади генерала Грамона становились родными. Двигаться дальше не хотелось.

Беженцы сидели на террасах кафе, под красными и оранжевыми тентами, изнывали от невыносимой духоты, потягивали свой абсент или вино, дремали с открытыми глазами или устало болтали все об одном и том же.

Симона, с корзиной на руке, шла по террасе кафе «Наполеон». Высокая девочка, с своевольным загорелым лицом, в темно-зеленых брюках, подчеркивавших ее стройность, привлекала к себе внимание, и мужчины смотрели ей вслед. Она держалась поближе к столикам и прислушивалась к разговорам.

У одного из столиков шел спор о том, когда придут немцы. Никто, конечно, не мог ничего знать, но это не мешало каждому из споривших устало и раздраженно отстаивать свое мнение. Один говорил, что немцев нельзя ждать раньше чем через четыре дня, у них есть

дела поважнее, чем занимать местность, лишенную всякого стратегического значения. Другой всего ожидал от немецких темпов и немецкой методичности, — быстро продвигаясь по шоссе № 7 и 77, они не преминут прихватить и расположенный восточней Сен-Мартен. Третий, уже довольно пожилой человек, утверждал, что немцы вообще не придут сюда, об этом не может быть и речи: не только линия Мажино, но и наши позиции на западном берегу Луары неприступны. Не станут немцы распылать силы и посылать сюда войска. Иные молчали и со скептическим видом слушали. А кто-то сказал:

— Пусть бы они скорее пришли, только бы кончилась эта неопределенность, это проклятое ожидание.

Рождались все новые и новые слухи о событиях на мосту. У каждого была своя версия. Называли цифры: двести четырнадцать убитых, рассказывал кто-то, а санитарных машин — чуть ли не семьдесят пять. Другой, с очень мужественным лицом, утверждал, что нет, убитых сто шестьдесят восемь, а санитарных машин восемьдесят девять. Первый отстаивал свои цифры, второй, мрачно и с озлоблением, свои, — еще немного, и они подрались бы.

Симона стояла и, затаив дыхание, напряженно слушала.

На террасу вошел юноша, очень высокий, с широколобым, суживающимся книзу лицом. У Симоны жарко забилося сердце: Этьен приехал. Он увидел Симону и радостно бросился к ней, протискиваясь между столиками. Весь залившись краской, юноша неловко взял ее руки в свои и стал настойчиво просить пойти с ним во внутреннее помещение кафе, посидеть немного.

Это было непривычно — больше того, это было неслыханной вольностью. Но и уйти из дому, не сказавшись мадам, тоже непривычно, и околачиваться здесь, на террасе кафе «Наполеон», одной, да еще в темно-зеленых брюках, тоже неслыханная вольность. Но такое уж время, это оно виновато во всем, и Симона, не колеблясь, приняла приглашение Этьена.

В кафе было сумрачно, почти совсем темно; после уличной жары безлюдие и прохлада как-то успокаивали. Отсюда видна была терраса, с красными и оранжевыми тентами, а за нею площадь, залитая ослепительно ярким солнцем; смягченный, доносился сюда гул голосов и шум площади. Молодые люди сидели за мраморным столиком, перед каждым из них стоял стакан сидра, они были большими друзьями и понимали друг друга с полуслова, прохлада и сумрак высокой стеной отгораживали их от остального мира.

Задумчивое лицо шестнадцатилетнего Этьепа казалось сейчас очень озабоченным, ему стоило труда заставить себя говорить, как обычно, спокойно и сдержанно.

Не легко было ему выбраться из Шатильона, но он не хотел оставлять родителей. Старики совсем растерялись. То они собираются во что бы то ни стало ехать, а через час решают, что нужно остаться при любых обстоятельствах, и когда отец за то, чтобы остаться, тогда мать за то, чтобы ехать. Они укладываются, потом им кажется, что взяли не то, что нужно, и сборы начинаются заново, потом твердо решают не ехать и опять распаковывают чемоданы.

— Все это невыносимо тяжело,— говорит он и близко наклоняется к Симоне.— Да и сам я, признаюсь только тебе, долго колебался, как поступить. У меня больше оснований унести отсюда ноги, чем у других. Говорят, боши придираются к каждому мужчине призывного возраста, проверяя, не солдат ли это, переодетый в штатское платье. Они бросают в тюрьму бесчисленное множество подозрительных им штатских, и вырваться из их лап почти невозможно. Я кажусь старше своих лет,— продолжал он с гордостью, но и с сожалением.— У меня нет ни малейшего желания попасть к ним в руки. А здесь я не чувствую себя в безопасности.

Он открыто посмотрел Симоне в глаза, и на лице его промелькнуло подобие улыбки.

— Теперь я знаю, что делать,— сказал он с неожиданной решимостью в голосе.— Это удивительно, но я знаю, что делать, с той самой минуты, как мы с

тобой сели за этот столик. Я остаюсь. Я не поддамся панике. Быть может, удастся что-нибудь сделать, именно когда придут боши.

На душе у Симоны от его слов потеплело. Они сидели здесь вдвоем и разговаривали, как люди, которым не на кого надеяться, кроме самих себя, которые сами должны за себя респать. Большими темными глазами Симона ласково посмотрела на Этьена.

— Разумеется, ты должен остаться,— сказала она живо,— и несомненно, ты многое сможешь здесь сделать. Но положение еще далеко не угрожающее,— продолжала она, чуть ли не сердясь и стараясь умерить звучность своего голоса.— Ведь есть еще и линия Мажино, и наши неприступные позиции на западном берегу Луары. В прошлую войну на Марне дело обстояло еще хуже, однако же мы одержали нашу великую победу.— Она говорила решительно, убежденно.

Этьен смотрел на нее с любовью и уважением. Оба долго молчали. С террасы, смягченный расстоянием, доносился гул голосов и звон стаканов. Кто-то включил радио, и из рупора то и дело слышались все те же два такта из «Марсельезы»: «Aux armes citoyens».

— Этой ночью мне снилась Генриетта,— сказала вдруг Симона. Она не хотела говорить об этом, но ничего не могла с собой поделать. Они с Этьеном и Генриеттой играли детьми в парке Капуцинов, у них всегда были тысячи маленьких секретов, среди других детей эта тройка казалась неразлучной. Генриетта постоянно мучила своего медлительного брата, дразнила его в присутствии Симоны, он же покорно слосил насмешки и смотрел на Генриетту, как на существо из другого мира, нежного и стремительного. С Симоной они часто толковали о Генриетте, об этом удивительном существе, находя для нее все новые и новые слова любви и восхищения. Но с тех пор как она умерла, они при встречах, словно сговорившись, никогда о ней не вспоминали.

А теперь Симона сказала вдруг:

— Сегодня ночью мне приснилась Генриетта.— Этьен удивленно поднял глаза и внимательно взглянул на подругу.— Я редко вспоминаю ее,— продолжала

Симона, — но иногда вижу во сне. Представь себе, мне снилось, что Генриетта — Орлеанская Дева.

Этьен отхлебнул сидра.

— Странно, — сказал он. Симона ждала, что он станет ее расспрашивать; она и хотела и боялась его вопросов. Но он ничего больше не прибавил.

— Дома все так же тяжело? — спросил он, помолчав.

— Да, — отвечала она, — бывает очень нелегко.

— Ты храбрая девочка, — сказал Этьен, — настоящая дочь Пьера Планшара.

Симона покраснела.

Они вышли из кафе. Он проводил ее немного. Они прошли мимо дворца Нуаре, где помещалась супрефектура. Длинная очередь беженцев стояла перед красивым старинным порталом, трое полицейских охраняли вход.

Симона не поддавалась общей панике. Но ей хотелось услышать подтверждение своим надеждам. А уж если у кого могли быть достоверные сведения о том, что происходит, так это прежде всего у ее друга, секретаря супрефектуры, мосье Ксавье Бастида.

У мосье Ксавье было такое же румяное лицо и такие же живые, добрые карие глаза, как у его отца. Он унаследовал, несомненно, от отца и кипучий темперамент, но, с ранних лет наблюдая, на какое непонимание и неприязнь всегда наталкивался отец по вине своего темперамента, он старался себя обуздать. Это ему удалось. Глядя, как он ровным шагом расхаживает по своему кабинету в супрефектуре, хорошо и скромно одетый, всегда в нарукавниках, как он вдумчиво выслушивает спорящие стороны, никак нельзя было поверить, что в глубине души это человек того же склада, что и его отец. Симона как раз и ценила в нем силу характера: он держал в узде свой вспыльчивый, горячий нрав.

Мосье Ксавье был школьным товарищем Пьера Планшара и Шарля-Мари Левотура. С той же пылкостью, с какой он всегда враждовал с Левотуром, он любил и почитал Пьера Планшара и был очень привязан к Симоне.

Симона поглядела на длинный хвост ожидающих беженцев и подумала, что сегодня мосье Ксавье, должно быть, очень занят. Но ей просто необходимо услышать его приветливо-иронический голос, и она знает, что для нее у него, наверно, найдется минутка.

Она попрощалась с Этьеном; ей без труда удалось проникнуть в супрефектуру.

За красивым, мирным фасадом старинного дворца царил беспорядок. Как ни строго охранялся вход, здесь, внутри здания, двери отделов стояли настежь, все проходили куда хотели, беженцы переходили от одного чиновника к другому.

Их уговаривали покинуть город. Продуктов питания нет и достать невозможно, надо пробираться на юг, там снабжение лучше. И дороги там свободнее, а слухи, что немцы стоят уже по ту сторону Ивонны или даже в Ла Крезе, сушая бессмыслица. Однако уговоры натывались на угрюмое недоверие беженцев. Чтобы двигаться дальше, необходимо было прежде всего перейти мост через Серен, но после катастрофы на мосту людьми овладел такой страх, что они и слушать ничего не хотели.

Вы просто стараетесь избавиться от нас, — говорили они. — Хотя бы мы и подошли на мосту, вам-то ведь все равно.

Среди всей этой сумятицы и толчеи расхаживал вкопец расстроенный мосье Корделье и с рассеянным видом просил беженцев не падать духом. Но им не нужны были хорошие слова, им нужен был хлеб и пристанище на ночь, молоко для грудных детей, медикаменты для больных. Симона знала, что супрефект с радостью помог бы всем, но она знала также, что он не в силах что-либо сделать и что он так же растерян, как все.

Симоне было известно, что все дела в супрефектуре ложатся на плечи мосье Ксавье, а не мосье Корделье. К сожалению, сам мосье Ксавье не обладал достаточной властью и поэтому вынужден был ограничиваться незаметной, упорной борьбой со слабыхарактерностью своего начальника, и его волновало, что все его усилия давали лишь ничтожные плоды.

Симона вошла в кабинет. Ксавье улыбнулся ей, но жестом показал, что очень занят. Он разговаривал с полицейским офицером. Его, по-видимому, удивило, что она осталась в комнате, но он как будто не возражал. И без нее здесь уже было три посторонних человека — очевидно, беженцы; они молча стояли у стены и слушали. Симона стала рядом с ними.

Оказалось, что полицейский офицер со своими подчиненными, сотрудниками парижской службы уличного движения, направляется дальше, на юг. Парижские регулировщики славились своей выучкой и искусством. Офицеру было поручено выставить посты для упорядочения движения на особо ответственных пунктах. Мосье Ксавье добивался у офицера, чтобы он поставил двух своих подчиненных на Серенском мосту. Тогда, говорил он, удалось бы хоть часть беженцев убедить покинуть Сен-Мартен. Городская община не в состоянии снабдить людей самым необходимым. Беженцы во что бы то ни стало должны уйти из Сен-Мартена, но они боятся перехода через мост.

Полицейский офицер не желал оставлять здесь своих людей. В его распоряжении находилось очень небольшое число регулировщиков, и если бы даже все зависело только от него, то он тоже ничего не мог бы сделать, — ему поручено наладить движение в южных районах. Но, помимо всего прочего, он, видимо, опасался, что люди, которых он оставит здесь, рискуют в конце концов попасть в руки немцев. Он излагал все это изящной парижской скороговоркой, приводя бесконечное множество возражений и то и дело поглядывая на часы: он торопился.

Симона тихонько стояла в своем углу, рядом с тремя беженцами. Так же как они, она молча и напряженно слушала, не отводя глаз от того, кто в данную минуту говорил. Она хорошо знала лицо мосье Ксавье. Она видела, как большое родимое пятно на его правой щеке набухает и краснеет, знала, что друга ее душит гнев, и догадывалась, каких усилий стоит ему сохранять спокойствие. Он добивался спасения сотен несчастных, он хотел уберечь свой город от новых нападений, он обязан был сохранять благоразумие, он не мог позволить

себе поговорить с парижанином так, как ему хотелось бы. С какой-то особой провицательностью Симона понимала, однако, и мотивы парижанина. Его послали для восстановления порядка на определенных угрожаемых пунктах в южных районах страны, он хотел выполнить порученную ему задачу возможно лучше, он не желал разбазаривать своих людей здесь, в Средней Франции. Это было вполне разумно. Живое воображение Симоны позволяло ей видеть и то, что творится в душе трех беженцев, стоявших рядом с нею. Ей незачем было смотреть на их лица, и не глядя она чувствовала их озлобленную покорность судьбе и не оставляющую их надежду. И вместе с мосье Ксавье она боролась за то, чтобы разумными доводами воздействовать на парижанина и тем самым спасти сотни или хотя бы десятки беженцев. Мосье Ксавье просто выходил из себя. Полицейский офицер отвечал равнодушно, стремясь к одному — поскорее вырваться из Сен-Мартена. Трое беженцев и Симона, со своей большой корзиной на руке, стояли у стены и слушали.

Вошел супрефект.

— Ну, как, господа, все еще не пришли ни к какому решению? — спросил он хмуро и любезно. Ему только что стали известны новые подробности того, что произошло на мосту, он изложил их; трудно вообразить, что там творилось. — Если где-нибудь на дорогах есть угрожаемый пункт, — подытожил рассказ супрефекта мосье Ксавье, — то это прежде всего мост через Серен.

Но полицейскому офицеру, по-видимому, надоело препираться.

— Обратитесь в штаб, — холодно сказал он, — пусть ваш мост поскорее взорвут. А вообще, первые сообщения о таких катастрофах всегда до нелепости преувеличены, — прибавил он и стал натягивать перчатки.

Симона следила за каждым его движением. Он сейчас уйдет, чувствовала она всем своим существом; его необходимо удержать, нужно во что бы то ни стало убедить его оставить здесь несколько человек.

— Было двести четырнадцать убитых, — сказала она вдруг, она видела перед собой беженцев, сидящих под красными и оранжевыми тентами на террасе кафе

и спорящих о числе убитых, она очень ясно видела человека с мужественным лицом, который угрюмо и раздраженно отстаивал свою цифру.

— Было двести четырнадцать убитых,— сказала она,— восемьдесят девять санитарных машин отвезли раненых в Невер, а большинство раненых пришлось оставить без всякой помощи.

Скромная и тоненькая, стояла она у стены, с большой корзиной на руке, но ее красивый, на редкость глубокий голос звучал запальчиво и решительно. Она сама не знала, почему она говорила с такой уверенностью: полицейский офицер и все здесь, в супрефектуре, конечно, лучше знали, сколько было убитых и раненых, чем тот беженец в кафе.

Все с удивлением оглянулись на Симону. Она смотрела прямо перед собой, словно вовсе и не она говорила. Наступило короткое молчание. Шарпжанн все еще был занят своими перчатками. Потом, не глядя ни на мосье Ксавье, ни на Симону,— он и ее, вероятно, принял за беженку,— нетерпеливо, как говорят с надоевшим просителем, со вздохом сказал мосье Корделье:

— Ну, хорошо, я оставляю вам здесь двух человек из моих подчиненных.— И он вышел, сопровождаемый супрефектом.

Свойственным ему быстрым шагом мосье Ксавье подошел к Симоне и остановился перед ней; в эту минуту он был очень похож на своего отца. Он положил руку ей на голову, очень дружески, улыбаясь всем лицом, посмотрел на нее, покачал головой и сказал:

— Что это на тебя нашло, Симона?

Симона и сама не понимала, как у нее хватило смелости в присутствии всех этих господ вмешаться в разговор и с такой уверенностью утверждать столь сомнительные вещи. Для нее цифры, которые будь что будет, но она назвала, не были сомнительными, она чувствовала одно: она не может молчать.

— А теперь надо попытаться отправить беженцев дальше,— сказал мосье Ксавье. Симона собралась идти.— Молодец, девочка,— прибавил он,— твой отец порадовался бы, глядя на тебя.

Пора было возвращаться на виллу Монрепо. Но сейчас Симона не могла заставить себя вернуться. Она шла по кривым, гористым улицам точно во сне, точно в тумане. Слова вырвались у нее как-то сами собой, совершенно произвольно, и она тут же достигла цели. Симона была счастлива, но она была в смятении.

Она искала кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться, она искала Этьена. Идти к нему домой ей не хотелось. В присутствии его родителей они не смогут поговорить. Она переходила из улицы в улицу, прошла мимо кафе «Наполеон», но Этьена нигде не было.

Долго бродила она по городу. Потом вдруг повернула на авеню дю Парк, где помещалась автостанция Планшаров.

Она шла быстро, и легкая улыбка витала вокруг ее красиво изогнутых губ. Сегодня она не будет стоять у красной колонки, сегодня она «не выйдет на промысел», лобок сегодня красную колонку, сегодня никто не посиживает, развываясь на тенистой скамье. Сегодня автобусы выедут для перевозки беженцев. Прошел уже час с тех пор, как она вышла из супрефектуры. Супрефект и мосье Ксавье, наверное, дали уже знать дяде Просперу, и машины, может быть, уже в пути.

А Морис — о, сегодня ей нечего его бояться. Своим сегодняшним поступком она провела черту между собой и виллой Монрепо. Сегодня она вправе попросту рассмеяться, если Морис отпустит на ее счет одну из своих наглых шуточек.

Да ему и не придется. Мориса уж, верно, и след простыл. Он, конечно, так же как и Этьен, слышал об опасности, угрожающей мужчипам призывного возраста, если придут боши. А он не то, что Этьен. Морис не станет ждать, пока придут боши. Морис, работающий на ненавистном ему предприятии Планшара только для того, чтобы не попасть на фронт, наверняка улетит. Такой даст тягу, сбежит, дезертирует, как сказала бы мадам.

Она вошла в контору.

— Ничего не достала сегодня,— сказала она и поставила пустую корзину возле бухгалтера Пейру, стараясь и самой себе и ему представить дело так, словно она ходила в город за обычными покупками.

— Охотно верю вам, мадемуазель, что вы ничего не достали,— с горечью ответил мосье Пейру, его заячья физиономия была еще печальней, чем всегда.— Все развезаются,— плакался он.— Не понимаю, почему мосье Планшар сидит здесь и ждет всех этих ужасов, которые нас, конечно, не минуют. Из персонала почти никого не осталось, даже старик Арсен сбежал. Вы только представьте себе, наша станция без консьержа. А шеф, когда я его спросил, неужели он действительно собирается оставаться, страшно на меня раскричался. Я, конечно, понимаю, на нем лежит вся ответственность за фирму.— Мосье Пейру придвинулся к Симоне и, хотя в конторе было совершенно пусто, зашептал ей на ухо: — Говорю вам, мадемуазель, он стоек и храбр, как древний римлянин, наш шеф. Вообразите, мадам Мимрель была здесь и умоляла его уехать с ней, но он остается на своем посту. Настоящий римлянин.

Симона представила себе белокурую, красивую, пышнотелую мадам Мимрель. Такому добросердечному человеку, как дядя Проспер, наверно, очень нелегко было отпустить ее одну.

— А наши власти,— возмущенно продолжал бухгалтер,— вы подумайте, какая бессовестность, они ставят ему все новые и новые требования. Вчера мы отдали им два пежо, сегодня за ними последовал репо, а им все мало, им подай весь парк. Вот,— и он показал на какую-то бумагу на столе.— Десять минут назад мосье Корделье опять прислал эту бумажонку. Он якобы изыскал возможность отправить из Сен-Мартена большую часть беженцев и настаивает, чтобы мы, наконец, предоставили в их распоряжение наши машины и бензин. И у них поворачивается язык предлагать что-либо подобное такому человеку, как мосье Планшар. Старый Жанно, судебный пристав, сидит во дворе и дожидается ответа. Ему придется запастись терпением, нашему господину приставу. Сейчас-то я уж без-

условно не стану беспокоить шефа этой бумажонкой.— И он доверительно прошептал Симоне на ухо: — Маркиз опять к нам пожаловал.

Симона от удивления открыла рот.

— Опять насчет своих вин?..— Она не кончила фразы.

Но мосье Пейру не слушал ее. Его вдруг осенила какая-то мысль.

— Быть может,— размышлял он вслух,— шефу будет полезно узнать об этом письме при переговорах с маркизом.— Он быстро взял полученную бумагу и поспешил наверх, в кабинет хозяина.

Симона тоже вышла из конторы. Она остановилась на пороге. Белый под жгучим полуденным солнцем двор был пуст. Симона покосилась на скамью в тени. Там сидели трое — упаковщик Жорж, шофер Ришар, совсем уже старик, которого не увольняли только за недостатком людей, и старенький пристав Жанно. Мориса не было.

Она с удовлетворением подумала, что этот бесвестный человек, который всех и все критиковал, сам оказался трусом. В то же время она была разочарована. Сегодня, слушая его наглые словечки, она могла бы торжествовать про себя.

Внезапно, она сама не знала, как и почему, весь ее душевный подъем испарился. Охотнее всего она повернула бы обратно. Но те трое, на скамье, смотрели на нее, и если бы она сейчас вдруг взяла да повернула назад, это показалось бы уж очень глупым, а чего доброго, кому-нибудь еще взбрело бы в голову, что она кого-то ищет, что она ищет Мориса. Симона вдруг покраснела до ушей и с независимым видом пошла через двор к колонке.

Она стала у колонки, трое мужчин с легким удивлением, но довольно равнодушно посмотрели на нее. Было нестерпимо жарко. После всех перенесенных волнений Симона чувствовала себя опустошенной и уставшей. Она вдруг испугалась той смелости, с которой сегодня не раз и не два нарушила жизненные правила виллы Монрепо. По собственному почину пошла в город. Вопреки прямому указанию мадам, запретившей

ей посить темно-зеленые брюки, надела их. Беспременно вмещалась в дела супрефектуры. Что скажет мадам, что скажет дядя, когда они узнают об этом?

Подходили покупатели и спрашивали бензин. Много покупателей, больше, чем обычно. Очевидно, уже пошли слухи, что мост и дороги расчищены.

Кто-то лениво вышел из сумеречной глубины гаража. У Симоны дрогнуло сердце: Морис. Он здесь, он остался, она была к нему несправедлива.

Морис подошел к тем троем. Он сделал вид, что только теперь заметил ее.

— О ля-ля, мадемуазель племянница, — сказал он пронзительным голосом, подбоченился и ухмыльнулся. — Мадемуазель племянница надела свои сверхмодные брюки и опять вышли на промысел.

Он подсел к сидевшим на скамье, зевнул, закурил.

— Приходится вот сидеть и ждать бошей, — сказал он. — Эти-то, — и он едва заметным кивком головы презрительно показал на Симону, — по крайней мере знают, чего ждут. Они последовательны, эти господа, надо отдать им справедливость. Они свое возьмут. На площади Грамон беженцы умирают от голода, потому что не на чем увезти их отсюда, а там, наверху, господин маркиз и господин предприниматель договариваются насчет перевозки вин. Дела прежде всего. Мир охвачен пожаром, а им все нипочем. Они на этом огне варят себе свое хлебово.

Симона стояла у колонки. В словах Мориса была, конечно, крупица правды. Но и сколько же в них яду. Как он все искажает и преувеличивает. Дяде Просперу было бы, наверно, куда приятнее, если бы мир не был охвачен пожаром и все шло бы своим размеренным порядком, как до сих пор. Дядя Проспер, наверно, с удовольствием отказался бы от того, что Морис называет «его хлебовом», и предпочел бы, например, не расставаться со своей мадам Мимрель. Дядя Проспер добрый, он с радостью помог бы беженцам. Но он боготворит свое предприятие, он предан ему душой, ведь оно его детище. А то, что Морис причисляет ее, Симону, к людям, которые не прочь нажиться на общем горе, это и глупо и подло.

Тем временем компания на скамейке принялась судачить про шефа. Они видели, как мадам Мимрель пришла и ушла, они сделали свои выводы. Да, да,— говорили они,— у богатых свои заботы. Бедняге мосье Планшару пришлось выбирать, ехать ли ему со своей душенькой или оставаться здесь и собирать барыши да охранять свои машины.

— Когда им приходится выбирать между похотью и корыстью,— философски изрек упаковщик Жорж,— корысть всегда берет верх.

Потом стали распространяться насчет маркиза. Денег у него, как у собаки блох,— так, казалось бы, чего человек хлопочет. Так нет, видите ли, англичане и американцы дорожке платят за его вина, чем боши, и поэтому он, при всей его спеси, спускается из своего замка к какому-то купчишке Планшару и кляничит у него машины.

— Бьюсь об заклад на бутылку перпо и десять пачек голуа,— заявил Морис,— что когда придут боши, маркиза с ними водой не разольешь.

Старый Жанно, судебный пристав, прослуживший много лет в супрефектуре, научился у своего шефа терпимости.

— Ни с того ни с сего, здорово живешь, предположить, что господин маркиз способен на такое предательство,— сказал он,— это ты уж хватил через край. Он, может, немножко и фашист, отрицать этого нельзя.

— Немножко фашист,— поднял его на смех Морис.— Девушка была немножко беременна. Ну, так как, Жанно,— настаивал он,— заключаем пари?

— Я не игрок,— с достоинством отвечал пристав. Старик Ришар повернулся к Морису.

— Удивляюсь тебе, право,— сказал он.— Почему ты до сих пор торчишь здесь? Я бы на твоём месте, с этакой вывеской, с твоей стопроцентной годностью к военной службе, не стал бы дожидаться немцев.

Симона вся насторожилась: что ответит Морис.

Он зевнул, пожалуй, немного искусственно.

— О господи,— сказал он,— неужели у бошей не будет другого дела, как только разглядывать всех мужчин от девятнадцати до пятидесяти пяти лет, кто в ка-

ком костюме ходит. А здесь, в Сен-Мартене, мне легче доказать, что я штатский.

— У бошей разговор короткий,— стоял на своем старик,— кто попадет им в лапы, того они безо всяких отпрашивают в свою Бопию.

— Слухи все,— презрительно отрезал Морис,— вздор.

Симоне показалось, будто Морис хорошо знал, что слухи эти вовсе не такой уж вздор и что он серьезно рискует, оставаясь в городе. Почему же тогда он остается? Вероятнее всего, потому, что он невозможный гордец и бог знает что о себе мнит. Он не выносит и намека на трусость, самого отдаленного намека. Но он не подчеркивает своего мужества, а прячет его за грубостью и несуразными разговорами, и это все-таки очень хорошо.

Из конторы по солнцепеку шел дядя Проспер с каким-то господином. Господин был невысокого, пожалуй даже маленького роста, держался он необычайно прямо, цвет лица у него был изжелта-смуглый, волосы черные, глаза карие, жесткие, быстрые, нос крючком. На нем был костюм для верховой езды; идя по двору, он слегка похлопывал себя стеком по сапогам. Симона никогда так близко не видела маркиза; с чувством неприязни, испытующе смотрела она на него, и чем ближе он подходил, тем сильнее вскипала в ней ненависть. «Немножко фашист». Ее огорчало, что дядя Проспер связывается с таким человеком.

Сидевшие на скамье глядели на подходивших господ со спокойным, враждебным любопытством. Когда те были уже совсем близко, пристав Жанно встал; медленно поднялся и старик Ришар; Морис и упаковщик Жорж продолжали сидеть. Подойдя к скамье, оба остановились, дядя Проспер стал в тень, маркиз же стал так, что лицо его только наполовину было в тени. Он все время похлопывал себя стеком по сапогам.

Рабочие молчали, ждали. Тогда дядя Проспер откашлялся и сказал:

— Дорогие мои, я заключил договор с господином маркизом. Я взял на себя обязательство доставить в Байонну некий транспорт. Речь идет о ценностях,

которые не должны попасть в руки бошей. Господин маркиз придает большое значение этому транспорту, а фирма Планшар, со своей стороны, хотела бы, разумеется, выполнить договор. Выполнит ли она его, это зависит от вас.

Люди молчали.

Симона не верила своим ушам. Дядя Проспер, словно патриархальный хозяин, дружески уговаривал своих рабочих, он говорил так, будто речь шла о самых обыкновенных вещах. Симона не допускала и мысли, что он в самом деле предпочтет вместо беженцев перевезти на своих машинах вина де Бриссона. Это только его бесхарактерность, он испугался титулованного господина, испугался маркиза, он сам не хочет того, о чем говорит, он ждет лишь, чтобы рабочие ответили, что это невозможно.

Судебный пристав Жанно, честный истовый служака, сказал:

— Мне было поручено доставить вам письмо из супрефектуры, мосье Планшар. Разве мосье Пейру не передал его вам? Господин супрефект ждет ответа.

Все молчали. Тогда, ни на кого не глядя, маркиз сказал:

— Я щедро заплачу всякому, кто в целости доставит транспорт в Байонну. Даю десять тысяч франков.

А дядя Проспер прибавил:

— Вы должны понять, что главное для господина маркиза — спасти французские ценности от рук бошей.

Маркиз же несколько скрипучим голосом бросил:

— Не тратьте столько слов, Планшар. Мои мотивы касаются меня одного.

Симона, стоя у колонки, судорожно глотала воздух и вытирала с лица пот. Нет, так далеко дяде Просперу не следовало заходить. Не нужно бы ему так настойчиво защищать интересы этого человека.

Морис сказал медленно, деловито, пронзительным голосом:

— Я полагаю, что едва ли возможно довести транспорт до Байонны. Что может наш брат, мелкая сошка, сделать, если боши его зацапают? Посреди дороги никак не докажешь, что ты штатский. Здесь я могу это

доказать. Здесь вы можете это подтвердить, мосье Планшар.— Он говорил рассудительно, словно серьезно взвесил все доводы, но нахально смотрел в глаза дяде Просперу.

Маркиз, все так же ни на кого не глядя и поигрывая стеклом, сказал:

— Да, некоторое мужество, конечно, для этого дела необходимо.— Он говорил тихо, но слова его звучали нестерпимо высокомерно.

Морис так же тихо и очень деловито сказал:

— Да, мужество для этого дела необходимо. Беженцы, надо сказать, удивительный народ. Они думают только о себе. По их мнению, машины следует предоставить им, французское же добро их нисколько не волнует. Надо помнить, что они могут попросту вышвырнуть бочки из машины и взобраться в нее сами.

Все молчали.

Слышно было только легкое пощелкивание стека по сапогам. Симона стояла у колонки, захлестнутая вихрем самых разнородных чувств. Нельзя молчать, нельзя, чтобы один Морис отвечал, говорила она себе. Нельзя поступать так, словно ты с теми заодно. Надо что-то сказать. Надо все прямо и честно сказать.

Она глотнула, и вдруг, в тяжелой духоте полудня, среди общего неловкого молчания, прозвучал ее голос, негромко, но запальчиво:

— А что еще остается делать беженцам?

Взгляды всех обратились к колонке. Симона стояла, тоненькая, высокая, в темно-зеленых брюках. Ее загорелое худое лицо покраснелось и покрылось испариной, длинные изогнутые губы были крепко сжаты, она сосредоточенно и даже с некоторым вызовом смотрела вперед.

— Э-ге? — пронзительно и удивленно прозвучал голос Мориса, сидевшего на скамье.

Маркиз вдруг резко повернулся.

— Пойдемте, Планшар,— сказал он.— Вы плохо воспитали своих людей.

Дядя Проспер растерянно и яростно переводил взгляд с Симоны на группу на скамье и опять на Симону. Он хотел что-то сказать, вспылить, но опом-

нился, в свою очередь повернулся и пошел вслед за маркизом. По дороге к конторе маркиз сказал:

— Что бы ни произошло в стране, но дисциплина будет восстановлена. Кое-кто почувствует это на своей шкуре.

Когда господа скрылись внутри здания, старик Ришар обстоятельно откашлялся, сплюнул и сказал Морису:

— Теперь, брат, тебе самое время смыться. С маркизом шутки плохи.

Морис же ухмыльнулся во весь рот и ответил:

— Что ты ко мне пристал, старик? Беженцы оторвали бы мне голову, если б я повез бочки с его вином. Это сообразила даже пигалица в темно-зеленых брюках. А уж тот спесивый фашистский боров наверняка понимает.

— Я за то, чтобы ты срочно смылся,— упрямо повторил старик.

А Симона была горда собой. Хотя Морис и говорил о пей, как всегда, пренебрежительно, но он очень хорошо знал, что нужно мужество, чтобы сказать то, что сказала она.

3

МУСКАТ В СОУСЕ

Вечером столовая была ярко освещена, стол, как всегда, тщательно сервирован. Дядя Проспер требовал, чтобы трапезы на вилле Монпрепо обставлялись с привычной торжественностью: ведь нервам его теперь приходилось выдерживать такую нагрузку, пусть по крайней мере дома все идет чинно, мирно, по раз навсегда заведенному порядку.

Глаза Симоны следили за каждым движением дяди,— как он чистил редиску, ел сардину, намазывал заячьим паштетом булочку. Она ждала, что он заговорит наконец о ее дерзком поведении. Но он делал вид, словно ничего не произошло. Ни словом не обмолвился, ни о посещениях маркиза, ни о новых, настоящих требованиях супрефектуры. Зато распространился

насчет всяких незначительных новостей и особенно много разглагольствовал о тех, кто бежал и кто остался.

Симона не спускала глаз с жующего дяди, чтобы успеть, едва он покончит с одним блюдом, заменить его другим. Мысли ее, однако, кружили вокруг событий прошедшего дня. Глупо было так распускать язык там, на станции. Чего она хотела добиться, сказав в лицо дяде и этому маркизу то, что думала? Мадам права: она заносчивая, строптивая, самонадеянная девчонка, она суется не в свое дело.

Но по крайней мере Морис теперь убедился, что она совсем не такая, как он думал. Теперь он знает, что она не с этими людьми, что она «не выходит на промысел». Значит, кое-чего она все-таки добилась.

Ей было больно слышать, как дядя Проспер подпевал маркизу. Ей было больно видеть, как он повернулся и покорно поплелся за ним в контору. Она никогда не думала, что в нем может быть столько раболепства.

Он брат ее отца. Сводный брат ее отца. Такой красивый, изогнутый рот, такие золотисто-рыжие волосы были и у ее отца. И голос. Все говорят, что такой же голос был у ее отца. Но Пьер Планшар убеждал свою страну установить справедливость для всех, а Проспер Планшар убеждает своих рабочих вывезти вина маркиза.

Нельзя прислушиваться к болтовне людей на станции. Нужно самой беспристрастно разобраться в дяде Проспере. Он хороший, отзывчивый человек, он делает много добра людям, он и ей сделал много добра. Если он не взвешивает теперь до последней малости все, что делает и чего не делает, то ведь надо помнить, что ему приходится вести жестокую борьбу. Все его обширное предприятие, его детище, оказалось вдруг под угрозой. И он встал на его защиту, он не дезертировал, как господ Амио или Ларош.

Но дружеские чувства к дяде Просперу быстро улетучились. Она вспомнила, как он шел по двору вместе с маркизом.

Она ждала, что он расскажет мадам о ее бунтарском поступке, и ее мучило, что он этого не делает. Может,

он старается ее понять? Может, он понял, что, как дочь своего отца, она не могла поступить иначе?

Глядя на нее, никто бы не сказал, что в голове ее бродят такие мятежные мысли. Она обслуживала мадам, обслуживала дядю и немного ела сама. Потом вышла на кухню, чтобы подать на стол следующее блюдо.

Когда она вернулась, дядя опять говорил о том, как много народу бежало из Сен-Мартена. Еще вчера он всячески осуждал такого рода бегство. А сегодня он вынужден признать, что мотивы этих людей не совсем лишены оснований. По вполне достоверным сведениям, шоссе № 7 и 77 расчищаются. Если бы, скажем, он попытался переправить на юг, в безопасное место, несколько машин, это открыло бы перед ним кое-какие перспективы. Кроме того, все говорят, что в оккупированных местностях боши, чтобы придать силу своим требованиям, берут заложников; если они и здесь прибегнут к такой мере, то он, как один из виднейших людей в городе и как известный патриот, окажется в большой опасности.

Симона перестала есть и во все глаза глядела на дядю. Перед ней было его выразительное мужественное лицо, в ушах ее звучал его глубокий, звучный голос. И этот человек хотел бежать от беженцев, бежать от требований супрефектуры, бежать от долга бороться с бошами, когда они придут.

— Я не говорю, что намерен уехать, — продолжал он. — Но если бы я это сделал, то отнюдь не из страха, а исключительно в интересах фирмы. Разве в известном смысле я не обязан сохранить фирме ее шефа и машины? Вы согласны со мной, тамап? — Слегка вздохнув, он полил соусом мясо и гарнир.

Черная и громоздкая, сидела за столом мадам. За весь вечер она не сказала и нескольких фраз; она была сегодня невозмутимее, чем обычно. Но вот она заговорила:

— Если бы ты это сделал, если бы, если бы. Я полагаю, мой милый, что нынешние времена ставят перед нами столько реальных проблем, что заниматься предположениями не стоит. Если бы, если бы. — Она выжала из себя некоторое подобие улыбки. — Правда, —

продолжала она, — я думаю, что на худой конец я и сама, несмотря на свои годы, справилась бы с бошами. Но ведь хорошо, что в Сен-Мартене есть такой человек, как ты, мой милый, который может показать бошам и населению, как держит себя в дни испытаний крупный предприниматель. — Она сидела, прижав двойной подбородок к груди, неподвижно, очень прямо, борясь с одышкой.

Симона поразилась, — до чего же умно, вроде бы похвалив, мадам отчитала дядю. И дядя Проспер заставил себя улыбнуться.

— Вы правы, как всегда, тамап, — ответил он. — Это пустые предположения, — и, обратившись к матери, поднял в знак приветствия бокал. Потом опять стал оживленно рассказывать о всяких безразличных вещах, о том, что кожаные седла, которые армия отказалась принять, все еще выставлены в витрине мосье Бине, и еще о таких же пустяках, и снова принялся за еду. Симоне понравилась выдержка, с какой он отнесся к замаскированной головойойке.

Вдруг он резко отодвинул от себя тарелку.

— Сотни раз я говорил, — вспыхнул он, — чтобы и соус не прибавляли муската. Мускат в соусе. И я должен есть это после такого тяжелого дня. Неужели нельзя хотя бы чуточку считаться со мной? Я не стану этого есть, это мерзость.

Симона растерянно посмотрела на него. Верно, дяди однажды сказал, что ему не нравится, когда в соусе слишком чувствуется мускат, но на вилле Монрепо было принято добавлять в этот соус мускат, и на этот раз она влила вина не больше и не меньше, чем в прошлый раз, а ведь тогда дядя остался доволен. Кроме того, мадам сама пробовала сегодня соус.

А дядя тем временем приходил все в большую ярость.

— Ты мне назло это сделала, сопливая девчонка, — кричал он, — такова твоя благодарность за то, что я приоткрыл тебе под своим кровом и содержу, как родную дочь? За это ты не только восстапавливаешь против меня моих рабочих, но и отравляешь кусок, который я ем.

Симона, пока мосье Планшар так изливал свое негодование, сидела опустив голову. Не то чтобы она боялась взглянуть на него, но она хотела, ничем не отвлекаясь, понять, что его так взорвало. Ей было чуть-чуть стыдно за него. Он не простил ей того, что было на станции, поэтому и набросился сейчас на нее без всякого основания и смысла. Симона поглядела на мадам. Она-то ведь хорошо знает, какое это имеет отношение к соусу. Неужели она не скажет несколько слов в ее защиту?

Мадам, когда мосье Планшар начал кричать, подняла голову, посмотрела на сына, потом на Симону, потом снова на сына. Когда он открыл истинную причину своего гнева, крикнув: «Ты восстанавливаешь против меня моих рабочих», — Симоне показалось, что на какую-то долю секунды в жестких, маленьких глазках мадам вспыхнула страшная, смертельная ненависть. Но нет, она, наверно, ошиблась, это, конечно, ее фантазия. Мадам сохраняла полное спокойствие.

Дядя Проспер откричался, он только бросал еще разгневанные взгляды на Симону и тяжело дышал. Симона ждала, что скажет мадам. Поможет она ей? Сделает замечание сыну? Вот наконец мадам открыла рот.

— Дай мне сигареты, Симона. И спички, — сказала она бесстрастным голосом. Когда Симона подала ей папиросы и спички, она все так же безразлично сказала: — И убери со стола.

Симона вынесла посуду. Стоя на кухне, она слышала из столовой притихший голос дяди, он, очевидно, рассказывал мадам, что произошло. Он не представит дело в благоприятном свете, в лучшем случае он утаит часть правды. Симона очень хотела бы поговорить с ним с глазу на глаз. Она убеждена, что сумеет объяснить ему все, и он бы ее понял, ведь это брат ее отца. А мадам ей совсем чужая, мадам никогда не любила своего пасынка Пьера. Теперь, когда мадам посвящена во все, Симоне уже нельзя будет поговорить с дядей.

Симона волновалась. Ей предстоят тяжелые минуты, быть может, тяжелые дни. Однако страха она не чувствовала. Она знала, что поступила правильно.

Когда она вернулась, мадам сидела уже не за столом, а в своем большом кресле, в углу столовой. Редко

случалось, чтобы она прерывала обед до десерта. На этот раз она это сделала. Черная и грузная, она сидела в своем кресле и курила.

Она поднесла к глазам лорнет и долго разглядывала Симону. Взгляд ее присосался к девушке, он пронизывал ее насквозь, но Симона выдержала его. Мадам опустила лорнет и стряхнула пепел. Симона больше не сомневалась. Она не ошиблась, в глазах мадам действительно сверкнула тогда страшная ненависть.

— Все, значит, было бесполезно? — начала мадам своим тихим, высоким, жестким голосом. — Я сделала все, что было в силах старой женщины, я старалась выбить из тебя дух противоречия и наставить тебя на правильный путь. Я бросала слова на ветер. Едва только, не по нашей вине, дисциплина на станции пошатнулась, как ты распоясалась и, не постеснявшись присутствия рабочих, нагрубила своему опекуну, который столько для тебя сделал. Ты стакнулась с его врагами, ты напала на него из-за угла, и это в такое время, когда порядочные люди должны сплотиться против черни.

Мадам ненадолго замолчала, ее мучила одышка. Симона стояла не шевелясь. Она терпеливо слушала мадам, покорно вынося град оскорблений. Мадам ругала не ее. Тихим, сдавленным от злобы голосом она изливала то, что накипело у нее на сердце против Пьера Планшара и его отца, ее мужа. Симона знала, мадам рада случаю излить, наконец, всю горечь и упреки, накопившиеся в ней за все эти годы, за десятки лет.

— Если бы, — продолжала она, — не такое тяжелое время, — ведь где-либо в другом месте ты, бесспорно, пропадешь, — я бы посоветовала моему сыну убрать тебя из дому, и чем скорее, тем лучше. Я бы посоветовала ему отдать тебя куда-нибудь и платить за тебя. Прочь отсюда, чего бы это ни стоило, но только прочь. Будь более спокойное время, я не допустила бы, чтобы мой сын терпел в своем доме такое упрямство и неблагодарность. Но сейчас ему волей-неволей придется терпеть. Предупреждаю тебя в последний раз. Ты испорчена от природы. В тебе течет дурная кровь. Мы знали твоего отца. Мы предупреждали его. Но все наши

предупреждения ни к чему не привели. Он загубил себя и довел себя до могилы.

Симона, слегка опустив голову и сжав красивый рот, стояла послушно, но совсем не покорно.

— Ну, конечно, теперь она никому в глаза не смотрит,— тихо, с невыразимым презрением сказала мадам.

Симона хотя и стояла с опущенной головой, но она все время смотрела на мадам, а теперь она подняла голову чуть выше, спокойно, без вызова.

Дядя Проспер, по своей всегдашней привычке, забегал из угла в угол, тяжелым, но быстрым шагом.

— Вы совершенно правы, тапан,— отозвался он злобно.— Когда она стояла там, у колонки, в этих брюках, и науськивала на меня моих рабочих, я невольно вспомнил Пьера. Он был таким же с ранней юности. Что заставило его поехать в Конго и восстанавливать чернокожих против нас? Но такой уж это был человек. Подстрекать массы, разжигать в них алчность, только этого ему и надо было. В собственном гнезде ему не давали ходу, вот он его и замарал. В Сен-Мартене он не сумел завоевать себе положение, вот его и понесло в Конго.

Симона в упор смотрела на этого взбудораженного человека, бегающего взад и вперед. В ее темных больших, глубоко сидящих глазах было смятение, она была ошеломлена: сколько умышленной слепоты, умышленной глупости, сколько ненависти. Неужели ему не стыдно в ее присутствии,— она ведь все понимает,— так ужасно, так преступно чернить отца.

— Нечего на меня глаза пялить,— вспыхнул вдруг дядя Проспер. Он подошел к ней, схватил ее волосатой мясистой рукой за плечо и до боли стиснул. Он тряхнул ее.— «А что же остается делать беженцам?» И это говорит мне в лицо моя племянница. Ограбить меня, забрать мои машины, что же им еще остается делать? Это вам, тебе и твоему отцу, пришлось бы по вкусу. Вы хотите анархии, потому что она вам принесет популярность и всеобщее признание.— Его разгоряченное лицо склонилось над ней, она чувствовала на себе его дыхание, в котором смешался запах вина и только что съеденной им пищи. Мужественные черты были

искажены, перекошены, серые глаза помутнели, взгляд беспомощно блуждал. Симоне невольно вспомнились его уши, теперь ей не казалось странным, что они у него неправильной формы, кверху заостренные и толстые.

— Слишком я тебя баловал,— бушевал он, но уже сдержанней и тише.— Пороть тебя надо было до синяков, до крови, выбить из тебя гордыню и бунтарский дух.

Он отпустил ее. Опять забегал из угла в угол. Симона не проронила ни звука. Ей было стыдно за этого беснующегося человека, пожалуй даже жаль его.

— Не стоит так волноваться, Проспер,— сказала мадам. Дядя Проспер присел к столу, все еще задыхаясь от возбуждения, сердито глядя в одну точку.— Поешь,— сказала мадам.— Ты почти ничего не ел.

Медленно, с неохотой, мосье Планшар отрезал себе ломтик сыру, пожевал его и запил глотком вина. Маниакально продолжал есть.

Л Е Т Ч И К

На другой день Симона, словно иначе и быть не могло, опять отправилась в город, на этот раз взяв велосипед. В руках у нее опять была корзина для покупок, и она опять надела брюки.

Дороги уже не были так забиты, толпы беженцев уступили место солдатам. Симона направилась прямо на станцию. Шоссе круто поднималось в гору. Пришлось сойти с велосипеда; было очень жарко. Но Симона шла быстро, словно торопилась к определенному сроку.

После вчерашних тревожений она крепко и хорошо спала, но наутро все случившееся накануне вновь встало перед ней, и она с легким стеснением в груди, полная решимости бороться ждала встречи с мадам и дядей Проспером. Тем неожиданней было для нее поведение дяди Проспера; за завтраком он делал вид, словно ничего не произошло. Был приветлив, говорил о пустяках, потом отправился, как всегда, на станцию.

Мадам тоже, по обыкновению, была спокойна и вежлива, ничто не напоминало о вчерашней дикой сцене.

По дороге на станцию, ведя в гору велосипед, Симона в десятый раз задумывалась — что все это значит? Она ничего не могла понять. Разве не слышала она собственными ушами, как дядя Проспер бессмысленно и возмутительно поносил ее отца, разве не видела собственными глазами, какая безмерная ненависть вспыхнула в глазах мадам? И плечо еще ныло — пальцы дяди Проспера оставили на нем сипяк. Неужели дядя и мадам не почувствовали в ней, Симоне, дочь Пьера Планшара? Неужели они думают, что после вчерашнего вечера можно продолжать жить, как прежде?

Вот и станция. Странно было никого не увидеть в стеклянной сторожке у входа, старик Арсен был такой же неотъемлемой частью ее, как стул и скамья.

Белый под ягучим солнцем двор был, как и вчера, пуст. На скамье, в тени, праздно сидели трое — Морис, старик шофер Ришар и упаковщик Жорж.

— Добрый день, мадемуазель, — сказал Морис, и в голосе его прозвучала все та же легкая насмешка.

Симона поставила велосипед у стены и направилась было к колонке.

— Сегодня бензином не торгуют, — сказал старик Ришар. — Хозяин так распорядился. Может, он и вообще ликвидирует колонку. А может, это только на время, пока здесь супрефект.

— Франция подыхает очень медленно, — пояснил Морис. — Государственная власть в лице мосье Корделье все еще пытается вырвать у нашего патрона подлежащие реквизиции машины вместе с бензином. В самой супрефектуре машин больше нет. Но господина супрефекта это обстоятельство не остановило. Он примчался на заднем сиденье мотоцикла старого Жанно. Отечество, геройски цепляясь за плечи дряхлого пристава, примчалось на заднем сиденье мотоцикла, чтобы, с именем закона на устах, скатиться в пропасть.

— Не говори так цветисто, — лениво сказал упаковщик Жорж.

— Я не с тобой говорю, чурбан, — ответил Морис, — я говорю с мадемуазель племянницей.

Если колонка закрыта, значит, Симоне на станции нечего делать и при желании можно сейчас же отправиться назад. Но она медлит и наконец нерешительно направляется к скамье. Она понимает, что то, что она сейчас делает, это еще одно проявление бунтарского духа. В такие смутные, ненадежные времена она якшается с рабочими, она увеличивает пропасть между собой и домом Планшаров, она пренебрегает последним предупреждением мадам.

Хотя на скамье было достаточно места, трое сидевших вежливо потеснились. Морис ухмыльнулся. Симона села.

Она ждала, что речь пойдет о вчерашнем. Она опасалась этого, ей не хотелось разговорами обеднить свой вчерашний поступок. И все же ей было жалко, что никто не заговорил о нем.

Ришар рассказывал: в кафе «Наполеон» посетители слышали по радио, будто город Тур все еще держится. Небольшой гарнизон, обороняющий город, вот уж четвертый день отстаивает его от во много раз превосходящих сил противника. Симона вспыхнула от радости. Вот оно — доказательство. Мы удержимся. Мы удержимся на наших позициях на Луаре. Морис, разумеется, сказал:

— Что пользы от храбрости низов, когда верхи тянут в другую сторону? — И он жестом сбросил Тур со счетов.

Потом заговорили о визите супрефекта. Сегодня в кабинете шефа речь, конечно, идет уже не о перевозке беженцев. Пустобрех крихтел, крихтел, но в конце концов ему пришлось расщедриться еще на две машины, и большинство беженцев уже вывезено. Сейчас речь, конечно, о другом. Жаль, что нет здесь пристава Жанно, тот, конечно, знает, в чем там дело. Но сегодня Жанно, видно, постеснялся и не подсел к ним на скамью, а предпочел укрыться в конторе. Все же своему приятелю, упаковщику Жоржу, он кое на что намекнул. Есть будто бы указание, ввиду неизбежного прихода бошей, уничтожить все транспортные средства, которые могут попасть в руки неприятеля. Гражданские власти обязаны содействовать в этом военным властям.

Чтобы договориться с хозяином, супрефект, очевидно, и пожаловал сюда на столь малоудобном средстве передвижения. Обо всем этом упаковщик Жорж рассказывал лениво, с пятого на десятое.

— Я за хозяина спокоен, — сказал Морис. — Спорю на десять пачек голуа и бутылку сидра, что наш контрабандный бензин и наши машины останутся при нас. Пустобрех уж как-нибудь да вывернется. Он будет тянуть переговоры с супрефектом до тех пор, пока не сможет завести их с бошами.

— Нет, — крикнула Симона, — это уж нет. — Морис взглянул ее смеющимися глазами, нахально, сверху вниз.

— Так как же, мадемуазель? — спросил он. — Хотите держать пари?

Но раньше чем Симона успела ответить, у ворот гаража раздался пронзительный, долгий звонок. Симона побежала к воротам и выглянула в глазок.

Там стоял военный в английской форме, летчик. Симона с трудом понимала его, он говорил на ломаном французском языке, но она все-таки поняла. Он чрезвычайно торопился. Ему необходимо отправиться дальше, сейчас же отправиться дальше, как можно скорей, и ему сказали, что если его где-нибудь могут выручить, то только здесь, в транспортной конторе Планшаров. Симона впустила его.

Летчик прошел через темный гараж и вышел на открытый двор; он шурился на солнце, он передвигался с трудом, он волочил ногу. Худое лицо его обросло щетиной. Трое мужчин молча разглядывали его. Симона вежливо спросила:

— Чем мы можем быть вам полезны, мосье?

Ему необходимо отправиться дальше, повторял он снова и снова. Он обязан явиться в ближайшую летную часть. В летчиках теперь большая нужда, сказал он застенчиво, краснея, и он не хочет и не должен попасть в руки немцев. Он путался в словах, лицо его подергивалось, он был очень молод.

Мужчины все еще молчали. Симону возмущало, что они так невежливы.

— Вы ранены? — спросила она. Он ответил, что его самолет был сбит, он выбросился с парашютом, при

этом он немножко ушибся. Трое сидевших на скамье взглянули на него, но опять ничего не сказали, это был диалог между Симоной и англичанином.

После короткого молчания Симона сказала:

— Мы вам поможем, мосье,— и, обращаясь к остальным: — Мы ему поможем, не правда ли, Морис?

Морис посмотрел на иностранца, посмотрел на Симону, закурил, потом сказал лениво:

— Если вы хотите ему помочь, мадемуазель, то с моей стороны препятствий не встретится.— И, не повышая голоса, почти благодушно, продолжал: — И чего ты только всюду суешься? Зачем разыгрываешь из себя хозяйку? Вот и вчера тоже ты совершенно зря вмешалась не в свое дело. Если мы что захотим сказать, у нас на то собственный язык есть. Девчонка. Франция гибнет, а она только и думает о том, что бы такое выкинуть пофорсистее.

Симона густо покраснела. Старик Ришар сказал:

— Ну, ну, оставь ее в покое.— А упаковщик Жорик неуклюже засуетился.

— Пройдите сюда, в тень, мосье. Хотите стакан сидра? У нас хороший холодный сидр.

Иностранец, по-видимому, не понял того, о чем говорил Морис. Он сказал:

— Это ничего, если машина и бензин стоят дорого, у меня есть деньги. Английские деньги, но сейчас они, я думаю, лучше французских. А мне необходимо поехать на юг, мне необходимо в Бордо. Вы это понимаете, мосье, не так ли?

Упаковщик жестом пригласил его сесть, летчик подсел к ним. Симона стояла наполовину на солнце, наполовину в тени. Она смотрела на Мориса. Тот курил.

Старик Ришар сказал:

— Если бы ты дал ему свой мотоцикл, Морис, он, может, успел бы добраться до места.

— Продать сейчас мотоцикл? Да я еще пока в своем уме,— огрызнулся Морис.

— Значит, ты все-таки надумал уехать? — настойчиво допытывался Ришар.

— Этого я не говорил,— ответил Морис.— Я и сам еще не знаю. Посмотрю, как развернутся события. Но так

или иначе, а чтобы при теперешних обстоятельствах отдать мотоцикл — да надо быть просто сумасшедшим.

Упаковщик принес сидр. Он налил всем по стакану.

— За ваше здоровье, — сказал он летчику.

Старик Ришар сказал рассудительно:

— Если ты хочешь смыться, Морис, так сегодня крайний срок. Иначе поздно будет. И вот что я тебе скажу. Садись на свой мотоцикл и возьми с собой этого молодого человека.

— Заткнись, — грубо оборвал его Морис. — Ведь я уже сказал тебе, никуда я не еду. Я хочу сначала посмотреть, что да как.

— Но тогда уже поздно будет, — настаивал старик. — И боши могут забрать у тебя мотоцикл. На твоём месте, Морис, я бы или удрал, или продал мотоцикл. Английские фунты вещь стоящая.

Симона стояла, слегка приоткрыв рот, и смотрела на Мориса. Он вдруг накинута на нее.

— Ты-то бы уж молчала. Ты-то уж держала бы свой нахальный язык за зубами. — Он подбоченился и, пренебрежительно оглядывая ее, медленно отчеканил: — Да, таковы они, эти баре, эти господа с виллы Монрепо. Дядюшка спекулирует, наживает миллионы и саботирует оборону, а мадемуазель племянница сочувственно ахает по поводу ушибленной английской ноги, и все в порядке, — совесть чиста, и мы, как видите, патриоты. Этакая глупая пигалица, этакая сумасбродка. Хочешь быть сердобольной, бери, пожалуйста, парня к себе в постель, а нас оставь в покое со своей грошовой жалостью. — Он отхлебнул из своего стакана.

Симона точно пощечину получила. Чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, она, шатаясь, глотая слезы, пошла в гараж.

Морис равнодушно сказал англичанину:

— Сколько же вы думаете заплатить, мосье, за первоклассный мотоцикл?

Симона остановилась. Сердце больно екнуло — так неожиданна была эта перемена. Но потом огромная волна радости захлестнула ее. Этот Морис. Что за человек. Она боялась, что все увидят ее радость. Она прибавила шагу, она почти бежала, она бежала в гараж.

Там она сидела в темноте, красная, вся горя от счастья.

«Этот Морис. Что за человек», — повторяла она вслух, улыбаясь. Он такой благородный и стесняется показывать свое благородство. Он может обругать последними словами, бросить в лицо самые грязные непристойности, только бы скрыть свое благородство. К счастью, англичанин ничего не понял, когда он так безобразно ругал ее, а что старики слышали, это не страшно.

Она слышала, как Морис объяснял старикам, почему он решил принять предложение англичанина. Во-первых, ему действительно необходимо здесь остаться: только здесь он имеет возможность правдоподобно доказать, что он штатский и что для поддержания автобусного движения он необходим. Во-вторых, в случае серьезной опасности лучше всего бежать в горы, а в горах велосипед удобнее мотоцикла. Короче говоря, в данной ситуации английские деньги ему нужнее мотоцикла.

Все это, разумеется, было чистейшим вздором. Это знал он, это знали все остальные, это знала Симона. Он просто не желал самому себе признаться, что делает это из благородных побуждений.

Сидя в полумраке гаража, Симона с радостью слушала, как Морис свирепо торговался с англичанином и как он потешался над ним, пока наконец не обещал уступить ему мотоцикл, снабдить продовольствием, бензином, картами и показать дорогу.

Симона взяла велосипед и корзину и, не возвращаясь во двор, ни с кем не простясь, вышла через контору на улицу и пустилась в обратный путь.

Ее обогнал мотоцикл супрефектуры. Впереди сидел старый Жанно, судебный пристав, а на заднем сиденье, положив руки на плечи Жанно, сидел господин супрефект. Вид у него был крайне растерянный, он с трудом удерживался на сиденье. Было ясно, что он ничего не добился у дяди Проспера. Симона негодовала против него, пожалуй, больше, чем против дяди. Она смотрела на удаляющийся мотоцикл глазами Мориса: она чувствовала, какое комичное зрелище являл собой этот представитель государственной власти, возвращавшийся восвояси не солоно хлебавши.

ДЕЯНИЕ

Когда Симона на следующий день поднималась в Сен-Мартен, ведя правой рукой велосипед, ее загорелое худенькое лицо с широким своевольным лбом было спокойно, даже замкнуто. Но за внешним спокойствием скрывалось страстное волнение.

Симона дрожала — так не терпелось ей выполнить свое решение, и в то же время она радовалась всякому предлогу отодвинуть задуманное дело. Без конца оцупывала она в кармане ключ и спички. Без конца мысли ее возвращались к тому, как все это произойдет, что будет потом. Ей стоило больших усилий сдерживать свое волнение.

Она вспомнила момент, когда она приняла решение. Это было вчера, за ужином, дядя Проспер рассказывал как раз о своих переговорах с супрефектом.

Дядя Проспер, несомненно, приукрасил свой рассказ, изобразил переговоры в том свете, в каком ему хотелось. И все же у Симоны сложилось совершенно ясное представление о том, чего добивался супрефект, какие доводы он приводил и что дядя Проспер отвечал ему. Она ясно, словно присутствовала при этом, представляла себе, как уламывал и упрашивал дядю мосье Корделье, и как гневно, издеваясь над ним, отбивался дядя, и как в результате бесплодной словесной перепалки мосье Корделье отступил, а это безотрадное отступление Симона видела уже собственными глазами.

Очевидно, до мосье Корделье к дяде приезжал представитель военных властей с требованием разрушить гараж и уничтожить бензин. «Если уж капитан в ответ на свое идиотское предложение ушел от меня ни с чем, то уж ты, бесспорно, мог бы избавить меня от своих дурацких претензий», — будто бы сказал супрефекту дядя Проспер. И еще: «Не вмешивайся, пожалуйста, в мои дела, старина, — заявил он будто бы ему. — Неужели ты думаешь, что после всех трудов, которых мне стоило наскрести этот бензин, я позволю немцам растащить его? Я не младенец. Дырявой шины, капли

бензина они у меня не получают. А что для этого предпринять, когда и как, это уж, пожалуйста, предоставьте решать мне. Сделайте одолжение».

И вот эти-то последние, решительные слова, сказанные дядей супрефекту, и заставили Симону принять ее решение. В эту, именно в эту минуту она решила взять дело в свои руки и пойти на станцию. Именно в эту минуту она решилась на свое деяние. Она сказала себе: нет сомнений, что дядя Проспер готов разрушить оборудование станции до прихода врага. Иначе и быть не может, ведь он первый человек в Сен-Мартене, первый патриот, и он Планшар, истинный Планшар. Он протестует только против принуждения. В своем предприятии он желает остаться хозяином. Он не терпит приказаний и угроз.

Так оно и есть, и не будь этого досадного разговора с супрефектом, все было бы хорошо. Мосье Корделье своим неумным вмешательством все испортил. И теперь дяде Просперу нужно сначала подыскать соответствующую форму, не обидную для его самолюбия. А это может потребовать времени. Боши вот-вот войдут в город. И какое великое несчастье, какой несмыслимый позор для имени Планшар, если мы опоздаем, если станция со всем оборудованием попадет в руки бошей.

Ее долг помочь дяде Просперу, она — дочь Пьера Планшара, должна все взять в свои руки. А зато, когда все будет совершено, дядя Проспер вздохнет с облегчением и будет ей благодарен и признателен.

Сто раз взвешивала она все доводы, но ответ на них, со всеми «за» и «против», «да» и «нет», созрел и сложился в ней с первого мгновения. Весь план созрел сразу же, едва дядя Проспер кончил последнюю фразу.

То, как откликнулась мадам на рассказ дяди Проспера, только укрепило Симону в ее решении.

— Таковы они, все, эти *paperassiers*¹, они готовы уничтожить любые ценности из одного лишь бюрократического чванства. И: — Что немцам твоя капля бензина? Неужели Филипп полагает, что немецкие танки не обойдутся без нашего бензина?

¹ Черпильная душа (*франц.*).

На это Симона тут же мысленно ответила: «Оттого что многие так вот думали, мы и оказались на краю пропасти». Она ясно сознавала, что аргументы мадам не менее опасны, чем вражеские танки.

Подъем кончился, перед Симоной открылась ровная лента дороги. Она села на велосипед, она ехала быстро и все быстрее и быстрее. Она чувствовала себя легко, радостно, весело, по-праздничному. Сегодня ее большой день, жизнь ее приобрела смысл. Ее задача, ее патриотическая миссия вставала перед ней, большая и светлая.

Она и приготовилась, как к светлому празднику. Прежде чем выйти из дому, она уже во второй раз за этот день выкупалась под струей садового шланга и переделалась во все свежее. Она улыбалась, вспоминая счастливое чувство, которое испытала, стоя под сильной струей воды. На нее всегда смотрели через плечо, сверху вниз, она всегда была лишь бедной племянницей и маленькой служанкой на вилле Монрепо, которую посылали «на промысел» к красной колонке. А теперь на нее пал выбор, и она докажет, что Сен-Мартен не сплхохвал, что он не сдался бошам без сопротивления.

Дорога теперь круто змеялась вверх, ведя на вершину холма, на котором расположен Сен-Мартен. Раньше, когда Симона была маленькой, она никогда, несмотря на крутой подъем, не сходила здесь с велосипеда и часто состязалась с Генриеттой, кто дольше выдержит. И сегодня она тоже не слезает с велосипеда. Сегодня она чувствует в себе избыток сил. Она нажимает и нажимает на педали, велосипед выписывает зигзаги. Очень жарко, она тяжело дышит, — это чистейшее озорство, но еще только вот этот кусочек, и еще один метр, и еще вот до того поворота. Так поднимается она в гору, и вокруг губ ее вьется бездумная довольная улыбка.

Только когда она уж совсем изнемогла, когда сердце заколотилось так, что перехватило дыхание, Симона соскочила с велосипеда. Одно мгновение постояла, опершись о седло и вытирая пот с лица, все с той же бездумной улыбкой на губах. Но радости как не бывало. Она выбилась из сил, ненужное напряжение изнурило ее, хорошо, что до города недалеко.

Остаток пути она поднимается в гору, ведя велосипед рядом с собой. На одной из скамеек у дороги сидят несколько солдат, они сидят, смертельно усталые, и тупо смотрят на нее. У нее мелькнула мысль, можно ли с такими солдатами продолжать войну? Но она тут же представила себе, как маленький гарнизон города Тура сдерживает натиск намного превосходящих сил противника, вчера был четвертый день, и может быть, сегодня они еще держатся.

Крепче ухватив руль велосипеда, она быстро повела его вперед. Задача ее ясна. «Кто, если не ты? И когда, если не теперь?»

Она подошла к воротам Сен-Лазар. Что, собственно, понадобилось ей в городе? Почему она не поехала на станцию прямой дорогой, оставив город в стороне? Ах да, — нужно ведь замести следы, нужно, чтобы ее видели в городе, нужно показаться в супрефектуре. Пусть каждый думает, что это дело рук кого-то из семьи Планшаров, но знать никто ничего не должен, чтобы никого не скомпрометировать. Все это очень просто, она все очень хорошо обдумала.

Если бы не то, что необходимо замести следы, она была бы уже на станции. Когда она об этом думает, ее обдаёт жаром. Нетерпение терзает и гложет ее, но при мысли о решительной минуте ей становится страшно, и она рада оттянуть ее.

Без цели тащит она свою машину вверх и вниз по извилистому лабиринту улиц. Со вчерашнего дня Сен-Мартен нельзя узнать. На улицах только кое-где видны одинокие пешеходы, город словно вымер, словно оцепенел в ожидании врага. Дома стоят мертвые. Жара нестерпимая. Ноги наливаются свинцовым зноем, ощущение призрачной пустоты теснит грудь. Веселые краски разноцветных домов только подчеркивают исходящую от них тишину. Симоне кажется, будто стены домов все тесней обступают ее. Она шагает и шагает, она дышит с трудом, накаленный асфальт тротуаров и булыжники маленьких площадей прямо-таки обжигают ноги, а велосипед, который она ведет, весит, наверное, целую тонну. И хотя на улицах ни одного знакомого лица и лишь изредка попадаются незнакомые,

усталые, равнодушные солдаты, у нее такое чувство, будто весь город следит за каждым ее движением и будто все видит по ней, что она задумала.

Больше всего угнетает, что жителей города, даже из тех, кто остался, не видно на улицах. Вот дом ее школьной подруги, Адриенны Вуазен. Вдруг решившись, Симона нажала ручку парадной двери. Дверь оказалась незапертой. Может, Вуазены еще дома. Симона поднялась по лестнице. Нигде никого. Кругом беспорядок, следы лихорадочных сборов и затхлая, невыносимая духота. Симона вошла в столовую. Здесь всегда стояла большая клетка с множеством маленьких пестрых заморских птичек. Клетка с птицами стояла на своем обычном месте, но ее пернатые обитатели были мертвы и уже издавали зловоние.

Симона почувствовала легкую тошноту. Она вышла на улицу и снова повела свой велосипед, она все еще не встретила ни одного знакомого, и, значит, неизвестно, видел ли ее кто-нибудь. С облегчением вздохнула, когда на площади Сен-Лазар, со скамьи, стоявшей в холодке, ее окликнул чей-то голос.

Это был Морис. Он сидел под вязом, на лице его играли свет и тени, он был не один, рядом сидела девушка, полная и, как показалось Симоне, довольно вульгарная на вид. На станции говорили, что Морис всю гуляет с девушками. Но Симона обрадовалась встрече с ним.

— А вы все запасаетесь на семь тощих лет, мадемуазель? — лениво крикнул он ей.

Она подумала о той цели, ради которой очутилась здесь, невольно ощупала в кармане ключ и спички, и то, что Морис опять так жестоко к ней несправедлив, доставило ей удовольствие.

С укором и легким презрением в больших темных глазах она взглянула на него. Он рассмеялся.

— Я не хотел тебя обидеть, — примирительно сказал он. — Посиди с нами, пигаица, — добродушно пригласил он Симону. — Вчера, в этой истории с летчиком, ты сделала доброе дело, ты мне хорошо наворожила. Парень оставил здесь кучу денег. Тебе полагаются комиссионные. Пойдем с нами в «Наполеон». Выпьем по кружке пивка, пока не пришли боши.

Симона колебалась. Что скажет мадам, если ее увидят в кафе с этой вульгарной девицей и с Морисом? Это ведь чудовищно, ей самой два дня назад такая мысль показалась бы нелепой. Но сегодня другое дело. Надо, чтобы ее видели в городе. Кафе «Наполеон» — как раз то, что нужно. А кроме того, если она откажется от приглашения, Морис опять сочтет ее трусихой и гордячкой. Она подошла к скамье.

Морис, добродушно усмехаясь, встал.

— Моя приятельница Луизон, — представил он, — а это мадемуазель Симона, племянница моего хозяина.

Они направились в кафе, идти было недалеко. Уселись на террасе под красным и оранжевым тентом. За столиками сидело несколько солдат и какие-то приезжие, — очевидно, беженцы, из местных жителей был только часовщик Дарье, старик, слывший в городе оригиналом. Ворот синей рубашки Мориса был, как всегда, широко распахнут. Мосье Грассе, хозяин кафе, казалось, удивился, увидев Симону в обществе шофера и Луизон. Но Симоне было все равно, — главное, он сможет засвидетельствовать, что видел ее у себя в кафе.

Когда перед каждым поставили запотевший стакан пива, Морис спросил:

— Вчера нас прервали как раз в ту минуту, когда мы как будто разошлись во мнениях? Что ж, скоро увидим, удастся ли нам в целости и сохранности удержать автомобильный парк и бензин.

Симона посмотрела на него, потрясенная до глубины души. Неужели он угадал ее замысел? Но он продолжал:

— Положитесь на Мориса: в течение ближайших суток, а может, и ближайших часов мы узнаем, кто и как распорядится нашим автомобильным парком. Если вы немножко шире откроете ваши уважаемые глазки, мадемуазель, вы увидите, что наши солдаты устремились сюда не только с востока и севера, но и с юго-запада. Дело в том, что они и на юго-западе напоролись на врага. Вы знаете, как называется положение, в котором мы здесь очутились? Оно называется: мы в окружении.

Окружены. Быть может, в ближайшие часы. Симону охватила паника. Она не смеет терять ни минуты. Она

поставила себе срок: два часа. За это время все должно свершиться.

— Мне надо идти,— сказала она отрывисто. Ее про- низывало одно: «Кто, если не ты? И когда, если не те- перь?» В то же время ее возмущало, что Луизон так на нее смотрит: она, конечно, думает, что Симона тоже крутит с Морисом.

— Ну, не будь такой букой,— откликнулся Мо- рис.— Прежде всего выпей.— Она выпила.— А как же теперь с нашим пари? — поддразнил он ее.— Я готов повысить ставку. Спорю на бутылку перно и двадцать пачек голуа.— Он смотрел на нее, снисходительно усмехаясь, уверенный в себе. Она ответила на его взгляд взглядом в упор.

— Хорошо, я согласна держать пари,— сказала она. Голос ее звучал решительно, вызывающе.

Его явно что-то поразило. Он посмотрел на нее внимательно, долгим взглядом.

— У мадемуазель, видно, денег куры не клюют,— сказал он, помолчав.— *Tor somme*¹,— прибавил он и протянул ей руку. Мгновение она смотрела на его рас- крытую сильную ладонь над мраморным столиком. По- том положила в нее свою руку. Луизон рассмеялась.

— Ну, теперь-то мне уже непременно надо идти,— сказала Симона и встала.

— Да почему же? — удивился он.— Сегодня ведь некуда торопиться. Нигде ничем не разживешься, будь ты хоть сто раз с виллы Монрепо.

— Я должна зайти в супрефектуру,— сказала она и, так как он опять подозрительно на нее покосился, солгала: — Мне поручено кое-что передать мосье Ксавье.

— Вечно у тебя дела,— иронически проворчал Мо- рис.— Ну что ж, в таком случае прощай.

Она пошла. Взяла велосипед и, не садясь на него, на- правилась к дворцу Нуаре. Она чувствовала, что Морис смотрит ей вслед, и слышала, как рассмеялась Луизон: они, наверное, говорят там про нее всякие гадости.

Вот она у дворца. Большие старинные ворота были

¹ По рукам (франц.).

заперты. Симона не стала звонить. Собственное нервное напряжение обострило ее чуткость к душевному состоянию других. Она сказала себе, что за этими воротами ждут немцев, и звонок всех переполошит. Уж лучше она подойдет с велосипедом к другому входу. И действительно, в маленьком окошке она увидела знакомое лицо консьержа; она постучалась, он впустил ее.

— Ты зачем? — удивился он. Симоне было на руку, что ее приход обратил на себя чье-то внимание.

— Мне нужно поговорить с мосье Ксавье, — сказала она. — Разрешите оставить у вас велосипед?

В супрефектуре все чиновники были в сборе. Все были в парадной форме, каждый сидел на своем месте, никто не разговаривал, люди сидели согнувшись, напряженные, подавленные, с каменными лицами.

Но за этим внешним спокойствием нетрудно было угадать мучительную нервозность. Супрефект не мог подавить владевшего им беспокойства. Его носило по всему зданию, он переходил из отдела в отдел, теребил свою розетку, вздыхал, хмуро и ласково говорил ничего не значащие слова, с рассеянным видом клал руку на плечо то одному, то другому из подчиненных.

Симона, дружившая с мосье Ксавье, всегда чувствовала себя в супрефектуре как дома. Сегодня же ей все казалось здесь чужим и неприветливым. Наверное, потому, что на ней брюки. Сегодня они неуместны, мадам права, в самом деле, все несколько удивленно оглядывают ее. Но она не представляла себе, как она выполняла бы задуманное, если была б не в брюках. Она старалась всем попасться на глаза, это было важно, пусть все ее видят.

Зашла в кабинет мосье Ксавье. Он сидел у письменного стола, одной рукой подперев щеку, другую бесильно уронив на подлокотник кресла. Всегда такой подвижной, мосье Ксавье сегодня казался утомленным. Симона невольно вспомнила, как она застала врасплох его отца уснувшим в кресле и каким он ей показался бесконечно стареньким.

Когда вошла Симона, мосье Ксавье удивленно поднял голову. Он старался быть приветливым, попытался даже пошутить, но шутка не получилась.

— Чего ради ты пришла, собственно? — спросил он.

— Я не могла усидеть дома, — неопределенно ответила она.

— А мадам не рассердится? — спросил мосье Ксавье. Симона пожала плечами.

— Это плохо, что я в брюках? — спросила она.

Мосье Ксавье, играя ножом для разрезания бумаг, ответил с горькой иронией:

— Не знаю, как посмотрят на это боши.

Она стояла перед ним, она смотрела в его озабоченное лицо, на котором можно было прочесть с трудом сдерживаемое волнение, — родимое пятно на правой щеке вздулось. Симона пристально вглядывалась в лицо друга. Сейчас, немедленно ей надо идти, и она хочет унести с собой свежее воспоминание об этом участливом, добром лице. Что-то в ее взгляде привлекло его внимание.

— Случилось что-нибудь? — спросил он. В голосе его прозвучали подозрение и тревога.

На мгновение Симона заколебалась. А не сказать ли ему все? Он любил и почитал ее отца, он и к ней очень привязан. Нет, нельзя себе позволить такую роскошь, она не имеет права втянуть его, государственного чиновника, в задуманное ею дело, она не смеет ни с кем делить опасность.

— Нет, — сказала она с напускной беспечностью. — Что там могло случиться?

— У каждого теперь забот не оберешься, — сказал мосье Ксавье.

Продолжительный резкий звонок прорезал тишину дома. Симона и даже мосье Ксавье вздрогнули и выглянули в окна. У ворот они увидели маркиза. Он приехал на машине; голубая и блестящая, она стояла напротив, обильно снабженная, вероятно, контрабандным бензином мосье Планшара. За рулем сидел в элегантной ливрее шофер.

— Крысам теперь раздолье, — сказал мосье Ксавье.

Он прошел в кабинет супрефекта. Симона последовала за ним. Сюда спешили чиновники из всех отделов, порядок был нарушен, всем хотелось услышать, с чем приехал маркиз.

Мосье Корделье встретил маркиза де Сен-Бриссона, не скрывая своего удивления. Поздоровавшись, маркиз помедлил. Дверь кабинета была настежь открыта, в приемной, даже в дверях, толпились чиновники, а маркиз ждал, вероятно, что супрефект примет его с глазу на глаз, без свидетелей. Но так как супрефект, по-видимому, и не думал отсылать своих чиновников, маркиз заговорил.

— У меня есть основание предполагать,— начал он своим скрипучим голосом,— что немецким военным властям, которые появятся здесь, как следует думать, в самое ближайшее время, мое имя кое-что говорит. Полагаю, мосье супрефект, что я смогу быть вам полезен при встрече с немцами. В интересах нашего округа я считаю своим долгом присутствовать здесь, когда немецкие войска будут входить в Сен-Мартен.— Он говорил еще высокомерно, чем всегда, он держался еще прямее обычного, его карие глаза над крупным крючковатым носом твердо, пожалуй даже презрительно, смотрели на супрефекта. Остальных он словно и вовсе не замечал.

Все ждали, что ответит мосье Корделье. Он заговорил не сразу. Было видно, что с языка у него готово сорваться резкое слово, но он сдерживается. Наконец он произнес:

— Как вам угодно,— и указал маркизу на стул.

Симона видела изжелта-смуглое, надменное лицо де Бриссона, видела белесые беспомощные глаза супрефекта, возмущенное лицо мосье Ксавье. Она была рада, что решилась действовать. Сен-Мартен достойно отвечает господину фашисту.

Симона вышла из комнаты. Крадучись, скользнула мимо сторожки консьержа,— все складывалось удачно, консьерж ее не заметил. Велосипед свой она, конечно, оставила у него, пусть думают, что она болтается где-то в супрефектуре.

Она пошла на авеню дю Парк. Она торопилась. Четверть положенного ею себе срока уже миновала, идти было далеко и добираться приходилось пешком. Она шла быстро. Прячась, почти бежала, прижимаясь к стенам домов,— ведь теперь она в супрефектуре.

Вот дом, где живет Этьен. Она не может удержаться и свистит условным свистом, как в детстве. Полминуты она подождет. Но не проходит и полминуты, а Этьен уже здесь.

Он просиял, увидев ее, и, по обыкновению, обеими руками схватил ее руки.

— Весь день я думал, придешь ли ты,— сказал он.— Я уже опасался, что тебя не отпустят.

Она ничего не ответила. С внезапной силой нахлынули воспоминания о Генриетте. Какая она была храбрая, даже отчаянная, но вдруг на нее нападали непонятный страх. Симона вспомнила, как однажды вечером они очутились неподалеку от кладбища и Генриетта безумно боялась даже мимо пройти, но она, Симона, ее высмеяла и заставила пойти вместе с ней через кладбище, и Генриетта была вся в холодном поту. И еще много таких воспоминаний теснилось в эти минуты в голове у Симоны. С Генриеттой она могла бы поговорить о задуманном ею деле. Подруга очень хорошо понимала бы, почему так надо. Генриетта вместе с ней пошла бы на это дело.

Этьен и Симона шли рядом, почти касаясь друг друга. Они шли в тени старых разноцветных домов. Он повернул к парку Капуцинов; детьми они вместе с Генриеттой бывали там бесчисленное множество раз.

В парке было пусто. Несколько маленьких девочек гонялись друг за дружкой, то были, вероятно, дети беженцев; девочки шумели, крики их странно разносились в стоявшей кругом тишине. Но вскоре и дети умолкли, захваченные общим оцепенением.

Симона и Этьен уселись на одну из низеньких скамеек. На три минутки, сказала себе Симона. Они не разговаривали, было очень жарко, где-то близко, в кустах, чирикала сонная птичка. Они чувствовали, что связаны большой дружбой.

Некоторое время оба молчали. Потом Этьен спросил:

— Тебе еще снилась Генриетта?

Симона — она и под пыткой не могла бы сказать, как эти слова пришли ей на ум,— ответила:

— Да, она возложила на меня миссию.— Но ведь это идиотство, это предательство, как она могла

сказать такое? Он, конечно, ждет, что она пояснит ему, что же это за миссия. Вот сейчас он спросит, и будет прав. Но она, разумеется, ничего не скажет ему, ни за что на свете.

Но Этьен не спросил, он только посмотрел на нее серьезно, ласково, внимательно, и она была ему благодарна, что он ни о чем не спросил. Она сидела, смущенная своей неосторожностью, молчаливая, подавленная. Потом наконец сбросила с себя оцепенение, встряхнулась и, встав, сказала:

— Мне надо идти.

Этьен, все так же ласково и серьезно глядя на нее, сказал:

— Жаль. Мне так хотелось поговорить с тобой сегодня. Больше, чем когда бы то ни было.

Нет. Нет. Она не может терять ни минуты. Ей пришла в голову одна мысль.

— Послушай-ка, Этьен,— сказала она.— Я тороплюсь, а велосипед свой я сегодня оставила дома, думала, дороги все еще забиты. На велосипеде я доберусь скорее. Не одолжишь ли ты мне свой?

— Ну, конечно,— ответил он.

Они вернулись к дому, где жил Этьен. Идти было недалеко. Она подождала. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь у нее есть велосипед, и об этом не знает никто, кроме Этьена. Он притащил свой велосипед.

— Большое спасибо, Этьен,— сказала она. Ей хотелось сказать больше, но она сдержалась. Они посмотрели друг другу в глаза. Потом она протянула ему руку, вскочила на велосипед и уехала.

Она неслась вперед, юная, суровая, счастливая, вся во власти своей миссии, слившись с ней воедино, свято веря, что путь, избранный ею, правильный путь.

Сначала, чтобы не обращать на себя внимания, она ехала не очень быстро. Но как только очутилась на авеню дю Парк, она нажала на педали изо всей силы. Она мчалась, пригнувшись к рулю, плотно сжав губы, сдвинув густые темно-русые брови так, что между ними залегла глубокая складка.

На дороге не было ни души. По правую руку Симоны бежала разделявшая шоссе белая черта, нанесен-

пая по настоянию дяди Проспера. Было жутко от полного безлюдья на той самой дороге, которая еще несколько дней назад представляла собой нескончаемую, медленно ползущую темную гусеницу из людей и машин. А теперь ее серовато-белая гладь пустовала в ожидании бошей, и, выходит, для них дядя Проспер в прошлом году столько хлопотал, стараясь привести дорогу в такой безукоризненный порядок.

Симона была совершенно одна. На ее рискованном пути никто ее не видел. Нет, один человек, наверное, видел: папаша Бастид. Он, конечно, стоит в нише своего окна и ждет немцев и смотрит вниз на дорогу. Она живо представила себе, как он стоит там наверху, не шевелясь, беспомощный, негодующий. Глаза его провожали ее, мчащуюся по дороге. Но сверху она для него лишь крохотная, быстро движущаяся точка, ему и в голову не приходит, кто это так быстро несется по дороге и что здесь готовится.

Жарко, но Симона не замечает жары, встречный ветер обвеивает ее. Вот дорога пошла под гору, теперь можно передохнуть, и Симона выпрямляется. Стоит потрясающая тишина, далеко-далеко вокруг все замерло. Эта неподвижность, это безмолвие действуют на Симону угнетающе. Ей кажется, что она мчится целую вечность и что езде не будет конца. И ей мерещится, словно все это когда-то уже было — такая же быстрая, молчаливая, безумная езда, устремленная к великой, безумной цели.

Ей нельзя погружаться в мечты, нельзя ни о чем думать, она должна всецело сосредоточиться на своей задаче, только на ней. Она заранее продумала все, до последней мелочи. Однажды в гараже что-то загорелось, и шоферы тогда авторитетно рассуждали о том, где и как мог возникнуть пожар. Долго и подробно распространялись насчет разных возможностей возникновения в этих условиях пожара и взрыва, а Симона, с присущим ей молчаливым спокойствием, слушала их и хорошо все усвоила. Нынче ночью, вспоминая эти разговоры, она подробно обдумала, что и как сделать. Она мысленно повторяет все снова и снова, десять, двадцать раз. Опять и опять опускает в карман руку и щупает,

на месте ли ключ и спички. Ей не хватает еще только камня, его надо подобрать где-нибудь на краю дороги. Она поднимает с земли камень. Теперь все есть.

Хорошо, что станция расположена на отшибе, вдали от города и каких бы то ни было строений. Взрыв ничего по соседству не разрушит. И времени у Симоны будет достаточно. Если она подожжет в подвале, огонь можно будет обнаружить только тогда, когда потушить его окажется уже невозможным. А пока огонь подберется к машинам и большой цистерне, она уже будет далеко.

Дорога снова выравнивается, даже слегка идет в гору, и Симона опять налегает на педали. А вот и люди, первые люди, которые попались на ее пути. На краю дороги, в тени кустарника, группа солдат. Когда она поравнялась с ними, кто-то крикнул:

— Алло, мадемуазель, не хотите ли составить нам компанию? Мы ждем немцев.— И солдат высоко поднял бутылку. Они пьяны и ждут немцев. Симона едет быстро.

Вот она у шоссе ветки, ведущей к транспортной фирме Плашар. Въезд по-прежнему загорожен цепью. Симона вместе с велосипедом проскальзывает под цепью. Она стоит перед закрытыми воротами станции. Она приехала вовремя. Она не опоздала.

Теперь уж ей никто не помешает. Теперь автомобильный парк и бензин в ее руках, а не в руках бошей. Морис проиграл пари.

Она приваливает велосипед к стене и через ограду перелезает во двор.

Двор, белый и мертвый, пуст. Жутко быть единственным живым существом на всем этом знойном и пустынном просторе. Она смотрит на часы, висящие над входом в контору. Времени у нее мало. Ближайшие минуты нужно использовать с толком, не отвлекаясь, забыв обо всем, кроме своей цели. Нужно выполнить все задуманное очень четко, по порядку, так, как она наметила себе.

Симона берет в руки подобранный на дороге камень и разбивает стекло в двери, ведущей в контору. Стекло разлетается с таким резким звоном, что она вздрагивает. Она вынимает из рамы осколки и изнутри отодвигает задвижку. При этом ранит себе руку, рапа пустяч-

ная, царапина, ерунда; немножко досадно, что кровь капнула на брюки и оставила пятно.

Она поднимается по лестнице в кабинет дяди Проспера. Ступеньки неудобные, каменные, и ей кажется, что им конца не будет. Ноги тяжелые, каждый шаг стоит ей усилий. Наконец она паверху.

Она достает из кармана ключ. Это ключ от двери, перед которой она стоит, ключ от кабинета дяди Проспера. Он обычно берет его с собой и прячет в спальне. Оттуда Симона и взяла его.

Она отпирает дверь. Затхлый, спертый воздух, невыносимая жара, тишина маленькой комнаты камнем ложатся на грудь. Недозволенность, рискованность ее поступка предстают перед ней до осязаемости живо. Она стоит посреди комнаты, где дядя Проспер хранит письма и вещи, которые он прячет от посторонних глаз. Недозволенным путем проникла она сюда. С минуту Симона стоит как скованная.

Потом быстро стряхивает с себя оцепенение. Она здесь для того, чтобы найти другой ключ, ключ от безохранилища. Она знает, где он спрятан. Очень часто дядя давал ей этот ключ, очень часто при ней запирали его, когда она его возвращала. Ключ в письменном столе справа, во втором ящике сверху. Она точно знает. А что, если его нет на месте? Короткое мучительное, до предела напряженное мгновение, пока она открывает ящик, кажется ей вечностью.

Вот наконец ящик открыт. И вот ключ.

Она берет его. Он холодный, металл приятно холодит ее потную руку.

Но вдруг она отчего-то ежится. Ей не по себе. Ей чудится, что на нее смотрят маленькие, жесткие, злые глазки мадам, она словно слышит ее тихий, высокий, властный голос: «Я бросала слова на ветер. Мне не удалось выбить из тебя дух противоречия и наставить тебя на правильный путь». Нет, Симона это делает не из духа противоречия. Она это делает потому, что она Симона Планшар, дочь Пьера Плашара.

Все остальное уже просто. Она спускается в подвал под гаражом, осторожно и аккуратно раскладывает пропитанную керосином паклю, раскладывает ее в са-

мом подвале, на лестнице, в гараже. Должно пройти некоторое время, пока пламя разгорится настолько, что его нельзя уже будет потушить, но путь огню предрекан, и совершенно невозможно, чтобы при ярком солнечном свете его вовремя обнаружили.

Она идет к бензохранилищу. Открывает дверцу, поднимает маленькую крышку, потом вторую. Плотно сжав губы, раздув ноздри, вдыхает летучий запах бензина.

Теперь все в порядке. Дела было много, она выполнила все с величайшим вниманием, она изнемогает от усталости. Она возится уже целую вечность, больше часу, вероятно. Она смотрит на часы. Прошло всего четыре минуты.

Теперь надо поджечь комок пакли. Она опять спускается в подвал. Стоит со спичками в руках. Еще не поздно, она может вернуться, и ничего не произойдет. Нет, произойдет. Придут боши, и тогда получится, что она своими руками отдала им машины и бензин.

«Кто, если не ты? И когда, если не теперь?» Спичка вспыхивает, пакля вспыхивает.

Слегка наклонившись вперед, Симона как зачарованная уставилась темными, глубоко сидящими глазами на огонь, ее длинные, тонкие, изогнутые губы раскрыты в полубессознательной жадной улыбке, она вдыхает запах гари. С любопытством смотрит она, как начинает тлеть половица и огонь подбирается ко второму комку пакли.

Но еще можно все потушить. Без труда. И сейчас еще можно. Огонь все ближе, пакля уже не тлеет, это уже пламя, вот оно охватывает второй ком пакли. Но и теперь еще можно потушить.

Симона отступает к выходу маленькими, нерешительными шагами, она пятится назад, не отрывая глаз от огня, все так же пятясь, поднимается со ступеньки на ступеньку по лестнице, она держится рукой за перила и не отводит глаз от огня, который следует по предреканному ему пути.

Потом внезапно, точно спасая свою жизнь, бегом бросается вон из подвала.

В гараже, однако, она еще раз останавливается. Идет в душевую. Обмывает царапину. Потом наметанным глазом осматривает, высохло ли пятнышко на

брюках. Да, оно было очень маленькое, и на такой жаре, конечно, высохло. Она счищает его. Ее вдруг охватывает непреодолимое желание искупаться под душем. Жаль, нет времени.

Она покидает станцию. Берет велосипед Этьена. Пускается в обратный путь.

Великая радость охватывает ее. Теперь огонь бушует по предначертанному ему пути. Теперь имя дяди Проспера спасено от позора. Теперь Морис проиграл пари. Теперь бошам не видать машин и бензина, как своих ушей.

6

ТОМИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером мадам и Симона сидели в голубой комнате и, как всегда, ждали к ужину мосье Планшара. Симона, выпрямившись, сидела на своем неудобном стуле. Мадам, в черном шелковом платье, тщательно причесанная, занимала свое обычное место в кресле с высокой спинкой; неподвижной, грузной глыбой восседала она в кресле.

Вернувшись на виллу Монрепо, Симона принялась за свои повседневные дела в саду и на кухне. Дяди Проспера дома не было. Мадам рассказала ей, что сначала мосье Планшар решил было не показываться в Сен-Мартене. Но потом, когда произошел взрыв, не успевший дойти до дома и поехал в город.

Симона вздохнула с облегчением, но в то же время почувствовала разочарование. Ей до смерти хотелось быть здесь, когда дядя Проспер узнал о взрыве. Ей хотелось видеть его лицо в ту минуту, ей хотелось видеть, как это его потрясло, ошеломило. И его тайную — нет, огромную, все затмевающую радость, что он не попал страшным позором имя Планшаров.

Значит, он узнает о случившемся в городе. Конечно, он догадается, что это сделала она. Его будут раздирать самые противоречивые чувства. Ей не терпится увидеть, какое у него будет лицо, когда они встретятся. Он, конечно, достаточно умен, чтобы прикинуться ничего не ведающим. Но в душе он будет ей благодарен, и она

почувствует это в скрытых намеках, в том, как он потреплет ее по щеке.

В комнате было сумрачно, прохладно и тихо. Мадам спокойно сидела в своем кресле. Но Симона отлично понимала, что спокойствие это лишь внешнее. Интересно, знает ли мадам, что она отлучалась в город? Возможно, что знает. Дороги теперь свободны, одна из двух приятельниц мадам могла приехать к ней и обо всем рассказать. Мадам всегда осведомлена лучше, чем можно предположить.

— Представь себе, — неожиданно говорит мадам, — мой сын не мог сегодня найти ключ от своего кабинета. За двадцать пять лет это случилось с ним впервые. Возможно, он оставил его на станции, разволновавшись после разговора с Филиппом. Но он твердо помнит, что взял ключ домой, что будто бы еще сегодня утром видел его.

Симона не шелохнулась и ничего не ответила. Она старалась сохранить обычное выражение лица и не выдать себя каким-либо движением, она была рада, что в комнате полумрак.

Через некоторое время мадам приказала:

— Включи радио.

Радио работало. Говорил город Дижон, который, по-видимому, был в руках у немцев. Диктор сообщал об успехах германской армии. Затем он сообщил об истреблении английских войск, пытавшихся эвакуироваться в Англию. Потом последовали приказы, относящиеся к вновь занимаемым районам Бургундии. Все общественные предприятия обязаны возобновить работу в течение двадцати четырех часов, то же относилось к производству и продаже продуктов питания. С наступлением темноты и до шести часов утра населению запрещалось покидать свои дома. Затем пошли местные известия. Из Сен-Мартена сообщали, что транспортная фирма Планшар сгорела дотла вместе со всем автомобильным парком; оккупационные власти совместно с французскими властями начали расследование.

Симона, ошеломленная этим градом новостей, вскочила. Все, значит, сметено до основания. И как раз вовремя. Забыв, что она не одна в комнате, девушка

стояла с искаженным лицом, крепко ухватившись за спинку своего стула, охваченная трагической серьезностью этой минуты и чувством окрыляющей радости.

Мадам, казалось, вся обмякла, она больше не старалась владеть собой.

— Значит, так и есть,— повторяла она.— Боже мой, боже мой. Это оно и было. Значит, верно. Это оно и было.— Она так прерывисто и хрипло дышала, что Симоне стало страшно за нее. Она подошла ближе. Хотела помочь, но не решалась.

Мадам медленно приходила в себя. Симона не смела о чем-нибудь спросить ее, что-нибудь сказать.

Через три минуты, однако, мадам уже почти взяла себя в руки.

— У моего сына было верное предчувствие,— сказала она.— При таких обстоятельствах ему, разумеется, следовало непременно показаться в городе.

Через пять минут она вновь была той безукоризненно владевшей собой дамой, которую Симона знала всегда.

— Быть может, и телефон работает,— сказала она с горькой прописей,— видно, немцы и впрямь любят порядок. Попытайся. Позвони мосье Пейру.

Симона стала вызывать номер. Телефон не работал. Это как будто уже не очень волновало мадам.

— Опустит жалюзи,— приказала она.— И включи свет.— Симона исполняла все, что ей приказывала мадам. Мадам тем временем размышляла вслух: — Немцы запретили с наступлением темноты появляться на улицах. Сын мой достаточно благоразумен, чтобы не нарушать их запрета. Ждать его сегодня незачем. Сядем за стол,— решила она.

Симона подавала. Они ужинали. Симона знала, что мадам в большой тревоге за сына. Она и сама все время думала о дяде Проспере. Неужели немцы его арестовали? Как бы там ни было, его невиновность очень скоро будет установлена. Он может доказать, что из всех сил противился распоряжениям супрефекта. А если бошня ему не поверят, она готова пойти и объявить, что она это сделала сама, без его ведома. Она это сделала, и за это отвечает она, а не он.

Вполне возможно, что они задержали дядю Проспера. Тогда они, вероятно, заключили его в тюрьму Сен-Мишель, неподалеку от Дома юстиции. В детстве здание тюрьмы играло в ее жизни большую роль. Оно расположено близко от школы. Симона и другие девочки проходили мимо него всегда со страхом, но в то же время его таинственность притягивала их. Там, за этими стенами, сидели опасные, ничего на свете не боявшиеся люди. Больше всего возбуждал в девочках ужас разбойник Гитрио, он содержался там временно, его должны были перевести в Франшевилль, главный город департамента. Бесконечное множество раз говорили они с Генриеттой о тюрьме Сен-Мишель. Генриетта это старинное здание занимало даже больше, чем Симону. Часто они специально проходили мимо тюрьмы, в надежде хоть когда-нибудь увидеть опасного преступника. Тяжело было представить себе дядю Проспера в тюрьме. Он, который так любит жизненные удобства, который привык, чтобы ему повсюду и везде оказывали уважение,— он этого просто не вынесет.

Мадам сидела за столом, точно ничего не случилось. Она не говорила ни о событиях, ни о дяде Проспере. Она ела мало, но сла.

Потом, когда Симона приготавливала салат, она взяла лорнет и, следя за руками Симоны, вскользь спросила:

— Ты, кажется, была сегодня в городе, Симона, не так ли?

Теперь — быть начеку, не сказать лишнего, но и не молчать.

— Да, — ответила Симона.

— Что сегодня было в городе? — спросила мадам.

Симона старательно перемешивала салат.

— Город был совершенно пуст, — сказала она, — все дома на запоре, я не встретила ни одного знакомого, одни солдаты на улицах, никогда еще город не был так пуст. Я заходила в супрефектуру. Там ждали бошей. Все были одеты по-праздничному. Маркиз тоже приехал туда, en grand tralala¹, на машине и с шофером.

¹ Во всем блеске (франц.).

Она рассказывала, чтобы ничего не рассказать. Салат был готов, Симона поставила деревянную миску на стол.

— Ты была в городе, когда произошел взрыв? — спросила мадам напрямик.

Симона не покраснела. Симона ответила, и голос ее прозвучал совершенно естественно:

— Я услышала взрыв уже по дороге домой.

Одно мгновение мадам молчала. Потом спросила:

— Ты надевала зеленое полосатое?

— Нет, — ответила Симона. Она смело посмотрела в глаза мадам и решительно прибавила: — Я была в брюках.

Мадам поднесла ко рту вилку. Потом сказала:

— Если ты уже не могла отказать себе в удовольствии отправиться в город без разрешения, то следовало по крайней мере прилично одеться. Ты же сама говоришь, что в префектуре все были одеты по-праздничному. В высшей степени бестактно в такой день разгуливать в брюках.

Симона ничего не ответила.

— Ты слышала, что я сказала? — спросила мадам, все так же тихо, не повышая голоса.

— Да, мадам, — ответила Симона.

Она отвечала послушно, но в душе она ликовала.

Все годы между ней и мадам происходила тайная борьба за дядю Проспера. Мадам стремилась истребить и подавить в своем сыне все, что напоминало Пьера Планшара. Теперь своим деянием Симона раз навсегда разрешила спор. Теперь дядя Проспер на деле показал, что он брат Пьера Планшара, и весь мир увидит, что дядя Проспер подлинный Планшар.

Зазвонил телефон. Обе вздрогнули.

— Подойди к телефону, — приказала мадам.

У телефона был мосье Корделье. Он попросил к аппарату мадам. Мадам колебалась — подойти или нет. Ее неудержимо влекло к телефону, но она опасалась сказать что-нибудь не так. Она взяла себя в руки.

— Скажи, — приказала она Симоне, — что я уже в постели. Поговори с ним сама.

Симона попросила супрефекта сказать ей, что он хочет передать мадам. Мосье Корделье медлил.

— Передай мадам,— слышался наконец его высокий, глухой, нетвердый голос,— пусть она не беспокоится. Мосье Планшар не вернулся домой только потому, что населению запрещено выходить на улицу.

— Спасибо, господин супрефект,— сказала Симона. Она чувствовала тревогу, с которой мадам ждала, и решительно спросила: — Разрешите узнать, где находится мосье Планшар?

— Мосье Планшар у меня в гостях,— отвечал супрефект и так же осторожно, выбирая слова, прибавил: — Передай мадам, что все выражают ему живейшее сочувствие.

— Спасибо,— повторила Симона.— А что еще передать мадам?

— Завтра, с первыми лучами солнца мосье Планшар вернется домой,— сказал супрефект.

Мадам стояла в прихожей, она не могла усидеть в столовой. Симона видела, каких усилий стоило ей побороть желание, вопреки всем доводам благоразумия, взять телефонную трубку.

Симона, продолжая разговор, спросила:

— Нельзя ли попросить к телефону самого мосье Планшара?

Супрефект опять нерешительно помедлил. Затем строго, официально сказал:

— Нет, это не рекомендуется,— и быстро добавил, словно для того, чтобы исправить впечатление от сухости последних слов: — Спокойной ночи, детка.

Мадам стояла, подавшись вперед огромной массивной головой. Симона никогда не видела ее в таком возбуждении, она вся дрожала от страха и тревоги. Симона поспешила передать ей содержание всего разговора. Ей пришлось в точности, слово в слово, повторить все. Мадам вновь и вновь переспрашивала:

— Как он сказал? Все выражают ему сочувствие? Так и сказал? Буквально? — Симона слушала супрефекта очень внимательно, она помнила каждое слово, и мадам взвешивала каждое слово. Симона, как ни противна ей была мадам, почувствовала жалость к жен-

щине, дрожавшей за сына, и, если бы Симону не удерживала осторожность, она с удовольствием сказала бы: «Не тревожьтесь. Ему ничего не будет. Это сделала я, и я не допущу, чтобы поплатился кто-либо другой».

Мадам обдумывала каждое слово мосье Корделье. Нет, она уже не старалась замкнуться в свое обычное надменное спокойствие; это была старая женщина, охваченная глубокой тревогой за того, кто составлял смысл ее жизни. Вдруг все ее страхи и ярость нашли неожиданный выход:

— Этот Филипп, этот глупец,— сказала она громко, но не скрывая своего гнева.— Меня не удивляет, что он осторожен, он ведь трус по натуре. Но все-таки, он мог бы сказать и побольше. Мог бы несколько яснее дать нам понять все. «Все выражают ему живейшее сочувствие». Что это означает? Может означать все и ровно ничего. Чтобы сказать мне это, не стоило и звонить. Все ненавидят моего сына,— продолжала она тихо, горестно, ожесточенно.— Все рады, когда с ним случается беда. Они завидуют ему, эти мелкие людишки, с которыми он имеет дело. Они всегда только и ждали случая досадить ему. Возможно, это кто-нибудь из шоферов. Они скажут, что сделали это из политических соображений, во имя отчества. Но я их знаю. Это все только ненависть и зависть. Ненависть черни, потому что мой сын на десять голов выше их, потому что он добился чего-то. Они не могут ему этого простить. Оттого-то они и воспользовались первым удобным случаем, чтобы нанести ему страшный удар.— Она говорила теперь еле слышно, но все ожесточенней и ожесточенней.— И как коварно они все подготовили и рассчитали. Никаких сомнений: это они украли у него ключ.— В ее маленьких злых глазках, устремленных куда-то в одну точку, были ярость и беспомощность.— Я полагаю,— сказала она Симоне своим обычным холодным и вежливым тоном,— что тебе следовало бы помыть посуду и отправиться спать. Но сначала дай мне сигарету.

Симона подала сигареты и спички и вышла. В дверях она незаметно оглянулась. В ярком свете очень сильных ламп мадам сидела одна, толстая, черная, и курила.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

Рассвет едва забрезжил, а Симона уже с величайшим нетерпением ждала дядю Проспера. «Он вернется с первыми лучами солнца», — сказал супрефект. Утро разгоралось. Десять раз выбегала Симона в сад, на то место, откуда открывалась дорога, и каждый раз ни с чем возвращалась назад.

Теперь она — как вчера, а вероятно, и сегодня мадам — не раз и не два взвешивала каждое слово супрефекта. Но, в противоположность мадам, ее не тревожили опасения за судьбу дяди Проспера. Она убеждена, что то, что сказал мосье Корделье, не пустое утешение. Ее гораздо больше беспокоили собственные тайные сомнения — как воспринял ее поступок дядя Проспер. Но она гнала их прочь. Она уверена, что дядя приветствует случившееся: весь город, судя по намекам мосье Корделье, правильно оценивает это событие и понимает его подоплеку. Но на вилле Монрепо думают не так, как в городе. У Симоны не выходят из головы тихие злые слова мадам, ее яростные несправедливые утверждения, будто только ненависть к дяде Просперу могла толкнуть на такое дело, и речи мадам черной паутиной опутывают чистую веру Симоны.

Но вот наконец телефонный звонок. В мгновение ока Симона была у телефона. Да, это дядя Проспер. Он поздоровался, спросил, как там проживают на вилле Монрепо, разговаривал, как всегда. Симона была разочарована, она ждала каких-то особенных слов. Но, может быть, он считал неудобным открыто говорить по телефону, который контролируется немцами? Он ограничился несколькими общими фразами и попросил к телефону мадам.

Симона позвала мадам, но мадам была уже тут. Забившись в угол прихожей, Симона ловила ее реплики. Мадам говорила односложно, из ее ответов мало что можно было понять, да и весь разговор был очень коро-

ток. Симона надеялась, что мадам расскажет, о чем шла речь.

— Как дядя? Все у него в порядке? — спросила она наконец сама, так как мадам молчала.

— Да, все в порядке, — ответила мадам.

После обеда, не дождавшись возвращения дяди, Симона, как обычно, стала собираться в город за покупками. Она прекрасно знала, как неодобрительно отнеслась бы к этому мадам, но ее это не остановило. Она надела зеленое полосатое платье, взяла корзину и велосипед.

Въезд в город охранялся заставой, у которой стоял немецкий патруль. Симона была потрясена. Она знала, что боши пришли, мысленно готовилась к этому бесчисленное множество раз, но когда увидела их перед собой, испугалась, как будто на нее обрушилось что-то неожиданное. Солдаты, молодые парни с тупыми, безразличными лицами, едва взглянули на Симону; для пешеходов проход был свободный. Симону пропустили беспрепятственно.

Она шла по городу как во сне. Повсюду были немецкие солдаты. Рассудком Симона понимала, что эти солдаты — живая действительность, но все ее существо отказывалось этому верить, пугающее чувство нереальности всего, что она видела, не оставляло ее. Не может этого быть, чтобы они были здесь, в городе, расхаживали по улицам и громко разговаривали на своем непонятном, варварском языке.

У Симоны не было заранее сложившегося представления, какие они, эти вторгшиеся победители; ей только казалось, что то злое, что они несут с собой, должно и внешне выразиться в чем-то отталкивающем и страшном. Она готовилась увидеть бездушные, жестокие лица, готовилась услышать о бесчисленных злодеяниях. Но все было иначе. Боши оказались молодыми, бесцеремонными и довольными собой людьми — только и всего. Симона, обладавшая здравым смыслом, видела это, и все же чужеземцы казались ей нестерпимо наглыми. Само их присутствие было нестерпимой наглостью, и эта наглость обжигала Симону болью и яростью.

Боши расположились, как дома. В бесцеремонно расстегнутых рубашках они шатались по городу, посиживали перед отелями, на площадях, на террасах кафе, они смеялись и громко разговаривали и поливали себя водой из фонтанов на площади Совиньи. И эта неприужденность, эта развязность бошей, чувствующих себя в Сен-Мартене как дома, казались Симоне страшнее самой ужасной грубости, какую она только могла себе представить.

Открылись кое-какие магазины. Но жители Сен-Мартена, показывавшиеся на улицах, робко жались к стенам домов, разговаривали вполголоса, торопливо пробегали по тротуарам, спеша поскорее попасть домой, — они казались чужими в собственном городе. Бродя по знакомым извилистым, горбатым улочкам, Симона чувствовала себя здесь вдвойне чужой, чужой бошам, и чужой горожанам, от которых ее отделяла ее тайна; больше того — ей казалось, что горожане смотрят на нее, как на чужого, непонятного им человека.

Она шла мимо дома Этьена. После вчерашнего она еще не говорила ни с кем из близких ей людей. Ей необходимо повидать Этьена. Она позвала его условным свистом. Может быть, он не уехал, может быть, он дома. Она ждала, выйдет ли он, словно от этого зависела ее жизнь. Он вышел.

Его честное широколобое, с узким подбородком, лицо отражало, как зеркало, малейшее движение души, и Симона сразу увидела, что он все знает. Иначе и быть не могло, ведь она так опрометчиво рассказала ему тогда свой сон. Она пожалела, что рассказала, но теперь была довольна, — можно открыто говорить с Этьеном.

Точно так же, как вчера, они, не уговариваясь, направились в парк Капуцинов. На площадке для игр возились дети. И два немецких солдата были здесь и с улыбкой смотрели на детей. Это не помешало Симоне и Этьену присесть на одну из низеньких скамеек.

Этьен восхищенными глазами смотрел на Симону.

— Я всегда ждал, — сказал он хриплым от благоговейного волнения голосом, — всегда ждал от тебя чего-нибудь поистине великого.

Симона, залпвшись краской, не знала, куда деваться от смущения, она возилась с велосипедом, прислоненным к скамье. Но в душе ее были гордость и счастье.

— Ты, значит, считаешь, что это было правильно? — застенчиво пробормотала она.

— Правильно? — возмутился он. — Ты совершила подвиг. Я горжусь, что я твой друг. Чудесный сон тебе приснился.

Симона покраснела еще сильнее. Она не знала, что сказать. Он, помолчав, сказал с лукавой улыбкой:

— И все знают, что это сделала ты.

— Откуда? Каким образом? — спросила она, ошеломленная.

— Но ведь это совершенно ясно, — ответил он, — ведь ты дочь Пьера Планшара.

— А разве никто не думает, что это мог сделать сам дядя Проспер? — спросила она.

— Мосье Планшар? — Этьен удивленно взглянул на нее. — Нет, это, пожалуй, никому не приходит в голову.

Он видел, в каком она смятении.

— А почему бы им не знать, что это сделала ты? — спросил он. — По-моему, нет ничего плохого в том, что они знают, только от божей это нужно скрывать.

Симона напряженно думала. Дети шумели. Солдаты ушли.

— Послушай, Этьен, — сказала она, — ты прав, это хорошо, что они знают, но помни: важно, чтобы никто ничего не знал. Это не я сделала. Да как я могла это сделать? Я все время была в городе, все меня видели. Я была в супрефектуре, я оставила свой велосипед в супрефектуре. Понятно?

— Ты действительно все предусмотрела, — изумился Этьен.

Они пошли обратно к центру города. Симона чувствовала, что все смотрят ей вслед: это было ужасно, точно мурашки ползали по телу, но было в этом и что-то прекрасное. Хорошо, что она не одна, — и Симона оживленно болтала с Этьеном.

Они вышли на площадь. На скамье под вязами сидел Морис с разряженной в пух и прах Луизон.

— Добрый день, Симона,— крикнул он ей.— Куда это ты так торопишься?

— Не знаю,— сказала она нерешительно.

— Зато я знаю,— ответил он.— Отправь-ка своего молодого человека домой. Если ему угодно, он может прогуляться с моей Луизон. Мне в самом деле необходимо с тобой поговорить.

— Мосье,— сказал Этьен как можно грознее.

— Не волнуйтесь, молодой человек,— сказал Морис.— С вашей Симоной ничего не случится. Она пужается в добром совете, поверьте мне.

Симону разозлило, что Морис опять всем и всеми командует; и в то же время ее обрадовало, что вот есть человек с ясной головой, готовый помочь ей в ее довольно сложном положении.

— Позволь уж я с ним потолкую, Этьен,— попросила она.

Луизон встала и оглядела ее с чуть заметной лукавой, вызывающей улыбкой. Симону это нисколько не задело. Она присела рядом с Морисом.

— Ну вот, наконец,— сказал он, но не начинал разговора, пока они не остались одни.

— Ну и сюрприз же ты мне преподнесла, моя дорогая,— начал он.— А все твоя «девичья романтика»,— прибавил он насмешливо. Симона густо покраснела.— Расплачиваться за твой патриотический порыв в первую очередь пришлось мне,— продолжал он.— Прежде всего они заподозрили меня.

— Вас? — спросила Симона.— Кто это — они?

— Для меня не совсем ясно,— отвечал Морис.— Меня вызвали в супрефектуру, там были прокурор Леффебр из Франшевиля, мосье Ксавье и немецкий офицер. Немчура так и буравил нас всех глазами, но рта ни разу не раскрыл.

— Вас заподозрили, вас? — спрашивала Симона. Ее ужасало, что она еще и Мориса подвергла опасности; в то же время ей было приятно,— он словно принимал участие в ее деянии.

— Тебя это удивляет? — спросил Морис.— Да это вполне естественно.

— Я бы, разумеется, немедленно вас выручила, если бы с вами что-нибудь сделали,— сказала она горячо и решительно.

— Очень мило с твоей стороны,— ответил Морис. Его насмешка не рассердила Симону.

— Туго вам пришлось? — спросила она.

— Да, не скажу, чтобы это было так же приятно, как первая брачная ночь. Я не знал, куда они гнут, а выдавать тоже никого не собирался. Прошло некоторое время, пока я смекнул, чего им надобно. Боши хотят установить две вещи. Во-первых, когда эта история произошла. Если до того, как они заняли город и объявили, что всякое уничтожение военных материалов будет строго караться,— тогда их это не интересует, тогда формально это ненаказуемо. Главное же, они хотят выведать, откуда все это исходит, что это за патриоты такие, где им искать своих врагов? Спрашивали они обиняками, явно стараясь сбить меня с толку, запутать. Пришлось сначала повалять дурака. Но потом мосье Ксавье навел меня на правильный путь.

— Тяжелый был допрос, Морис? — виновато спросила Симона.

— Конечно. Мне не хотелось неосторожным словом втянуть кого-нибудь в беду,— ответил Морис.— Мою собственную невиновность доказать было не трудно.

— Я рада, что им не удалось поймать вас в свои сети, Морис,— искренне сказала Симона.— Но зато,— продолжила она с гордостью,— пари вы все-таки проиграли.

— Какое пари? — с удивлением спросил Морис.— Ах да, вспомнил. Я, конечно, заплачу. В любую минуту можешь получить свою водку и сигареты. Но я плачу только как истый джентльмен. Прав, разумеется, я.

— То есть как? — возмутилась Симона.— Вы ведь говорили, что дядя Проспер никогда в жизни не жертвует своим гаражом.

— А разве он им пожертвовал? — удивился Морис.— Ты получила его согласие? — Все широкое умное лицо Мориса смеялось.

Симона рассердилась.

— Кто вам вообще сказал,— наивно напустилась она на него,— что это сделала именно я?

Морис расхохотался громко, добродушно.

— Ах ты мой певинный ангелочек, — сказал он, — да так по-ребячески все это устроить никто, кроме тебя, во всем мире не сумел бы. Ведь есть другие, гораздо более незаметные способы. Ну хотя бы сахару в бензин подсыпать; на какое-то время это дает эффект. Но мне непонятно, зачем ты это сделала, если теперь отпираешься? Все это только в одном случае имеет смысл — если это сигнал. Не думала же ты в самом деле остановить немецкие танки тем, что уничтожишь бензин морсы Планшара?

Симона молча, задумчиво слушала его.

— Я поступила неправильно, Морис? — спросила она робко, по-детски.

Морис искоса поглядел на нее. Она сидела слегка напряженно, скромно, как примерная ученица, которая старается сделать все как следует. Морис был обезоружен. В его голосе послышались теплые нотки.

— Неправильно, детка? — переспросил он. — Нет, этого сказать нельзя. Но польза невелика, а опасность огромна.

Впервые Морис разговаривал с ней сердечно, как настоящий друг. Симона была счастлива. Ей даже не мешало, что он обращался с ней как с ребенком. Она вслила в его опыт, в его суждение. И если даже он не одобрял ее поступок, то понимал ее лучше всех других. Теперь, когда она знала, что судьба ее ему не безразлична, она почувствовала себя вне опасности.

— И вы действительно думаете, — спросила она, помолчав, — что все, даже немцы, знают, что это сделала я?

— Конечно, — ответил Морис.

— Но если, — продолжала Симона, — немцы установили, что это произошло до их прихода, значит, все в порядке, верно? Вы ведь сами так сказали?

— Этого я не говорил, Симона, — ответил Морис. — Во-первых, боши, если им понадобится, могут в любой момент вытащить эту историю на свет божий. А во-вторых, главная опасность вовсе не в бошах.

Симона удивленно посмотрела на него.

— О, святая простота, — потешался Морис. — Разве ты не понимаешь, что этот поджог бесит наших фа-

пистов гораздо больше, чем бошей? Наши фашисты, маркиз и твой дядюшка, никогда не простят тебе, что ты подложила им такую свинью. Уж будь на этот счет покойна. Для чего, скажи на милость, впустили они бошей в страну? Для того, чтобы беспощадно расправиться наконец с теми, кого они называют подрывателями основ. И вдруг являешься ты и портишь им всю обедню. Думаешь, в их глазах это патриотизм? Нет, бунт. Тем более что это сделала ты, дочь Пьера Планшара. Тут пахнет коммуной, пахнет революцией. Только теперь, моя милая, и начинается война. Отныне твоя жизнь на вилле Монрепо райским блаженством не будет.

За его легким, насмешливым тоном Симона чувствовала жестокую правду. Она вспомнила мадам, как та сидела в ярком свете одна, черная, попыхивая сигаретой, и мороз пробежал у нее по спине. В глубине души Симона понимала, что Морис прав, только теперь война начинается. Но она не желала признать, что это так. В Морисе говорит чистейшее предубеждение, его ненависть, он всегда был несправедлив к дяде Просперу.

— Это неправда,— горячо запротестовала она.— Вы всегда точили зубы на дядю Проспера, помните, это заметил даже старик Жорж. Я никогда не поверю, чтобы дядя Проспер мне что-нибудь сделал.

Морис, улыбаясь, лишь посмотрел на нее.

— Рад за вас, если вы так думаете, мадемуазель.— Он пожал плечами.

Симона вдруг переменяла топ.

— А если бы они захотели со мной что-нибудь сделать,— спросила она доверчиво,— вы помогли бы мне, Морис?

— Странный вопрос,— ответил Морис.— Чем может тебе помочь какой-то шофер, если против тебя ополчится вся германская военная машина?

— Вы же сказали,— тихо возразила Симона,— что это не обязательно должны быть немцы.

— Ну, если так,— сказал Морис и усмехнулся.— Смотри-ка, ты совсем не так глупа, как кажешься. Конечно, мы тебе поможем.— Морис сказал это очень просто, но слова его прозвучали убедительно.— Мы все солидарны с тобой.

— Спасибо, Морис,— сказала Симона. Она почувствовала большое облегчение.

— А теперь тебе пора идти,— сказал он.

— Почему пора? — спросила она: было еще рано. Уж не хочет ли он от нее избавиться?

— Ты разве не знаешь? — ответил он.— Ведь теперь у нас время передвинуто на час вперед. Немцы, как пришли, ввели свое время. Ночь наступает у нас часом раньше.

У Симоны сжалось сердце. И время теперь в Сент-Мартене немецкое.

Она простилась с Морисом. Когда она, возвращаясь домой, шла со своим велосипедом по городу, она еще явственней чувствовала, что все глядят ей вслед и шушукаются за ее спиной. Но это уже не доставляло ей удовольствия, а смущало и было противно.

Симона поехала домой, радуясь, что Морис теперь ее друг. Но с ним нелегко. С какой злостью и презрением говорил он о дяде Проспере. Он не прав. Не может быть, чтобы он был прав.

Войдя в дом, она увидела пляшу дяди Проспера на обычном месте. Значит, он вернулся. Сейчас, сию минуту она убедится, она воочию убедится, что Морис к нему несправедлив. Но она услышала, что дядя Проспер разговаривает с мадам, а ей не хотелось встретиться с ним в присутствии мадам, она хотела сначала поговорить с ним с глазу на глаз.

Симона переоделась. Как всегда, приготовила ужин. Она искала случая поговорить с дядей Проспером.

Мадам вошла в кухню. Внимательно оглядела все, что Симона приготовила, и велела поджарить гренки к супу. Затем холодно и вежливо, как всегда, сказала:

— В связи с последними событиями я вынуждена дать тебе кое-какие указания, Симона. Мой сын пожелал, чтобы некоторое время ты не показывалась в городе. Поэтому впредь ты из дому никуда отлучаться не будешь. А затем, в ближайшие дни нам с сыном придется и за столом обсуждать вопросы секретного характера, поэтому мы решили, чтобы ты ела не за общим столом, а одна, на кухне.

Часть третья

ПРОЗРЕНИЕ

1. ЛИЦО ДЯДИ ПРОСПЕРА.
2. МУКИ ОЖИДАНИЯ.
3. ЗОВ СВОБОДЫ.
4. ВЕЛИКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5. ЖЕСТОКАЯ НАГРАДА.
6. ЗАПАДНЯ.
7. ОТРЕЧЕНИЕ.
8. БЕССМЕРТНОЕ.
9. «ЗВЕРИНЕЦ».

ЛИЦО ДЯДИ ПРОСПЕРА

Симона работала в саду. На ней был вылинявший комбинезон из грубой ткани и большая соломенная шляпа. День клонился к вечеру, но было еще очень жарко.

С тех пор как мадам запретила ей есть за одним столом с дядей и объявила ее пленницей, прошла всего одна неделя,— неделя, бедная событиями. Симону ни о чем не спрашивали, никто не требовал ее к ответу, никто не хотел ее выслушать — ее попросту заперли здесь и выключили из жизни. Мадам ограничивалась необходимейшими указаниями; дядю Проспера Симона видела только в присутствии мадам, ей так и не удавалось поговорить с ним наедине.

Ей не говорили, что происходит в городе, в стране, что думают о ней и о ее деянии в Сен-Мартене. Она ничего, ничего не знала. Что установило следствие? Привело оно к чему-нибудь? Предприняли боши что-нибудь против дяди Проспера? Наложили они арест на фирму?

Тяжело было находиться в полном неведении. Она ломала себе голову, стараясь представить себе, что ждет ее, но ни до чего не могла додуматься.

Мадам — ее враг, в этом Симона не сомневалась. То, что мадам ее ни в чем не укоряла, то, что она упорно хранила холодное, злобное молчание,— доказывало

лишь, что она замышляет недоброе против нее, Симоны. Ну а дядя Проспер, что же он? Ведь он не любит таить свои чувства, он предпочитает изливать их вслух, давать волю своему гневу. То, что и он проходил мимо нее молча, только изредка бросая в ее сторону хмурые, смущенные взгляды, делалось, конечно, тоже в угоду мадам, а не по собственному побуждению. Как тяжело, что дядя Проспер сразу взял сторону мадам, даже не выслушав Симону.

За неделю своего одиночества, молчания и домашнего ареста Симона повзрослела, стала увереннее в себе. Она произвела смотр своим друзьям и убедилась, что надеяться ей, собственно, не на кого. Папаша Бастид, мосье Ксавье, Этьен — они недостаточно изворотливы, чтобы найти средство помочь ей, хотя они и преданны ей всем сердцем и, несомненно, пытались что-нибудь для нее сделать. Но тут они просто бессильны. С Морисом, конечно, она не так тесно связана; но если кто и мог бы помочь ей, так только он: он знает, чего хочет, он *débrouillard*, он настоящий мужчина. Сердце у нее радостно бьется, когда она вспоминает о разговоре на скамье под вязами. Досадно, что только один-единственный разок они поговорили, как друзья.

Симона работала у ограды в западном углу сада. Сад был расположен на склоне холма. Хотя он и занимал большую территорию, но вся она была на виду, и только этот уголок у ограды, с западной стороны, не был виден из окон дома. В каком бы углу сада или дома Симона ни работала, она чувствовала на себе надзирающее око мадам, только здесь оно ее не достигало, и весь день Симона мечтала о тех минутах, когда ей удастся уйти от постоянной слежки в эту укромную часть сада.

Ограда была высокая, но, став на большой камень, Симона могла выглянуть на дорогу, и отсюда дорога видна была далеко, далеко. То было неширокое, заброшенное шоссе, оно вело к горной деревушке Нуаре, и на нем редко кто появлялся. И все же Симона снова и снова становилась на камень, ухватившись за ограду, она подтягивалась на руках так, что они начинали болеть, и смотрела на дорогу.

Так стояла она и теперь, крепко ухватившись обеими руками за ограду, и глядела вдаль. Ее серьезное, задумчивое лицо словно окаменело от невыносимого томления. Мучительно хотелось ей увидеть кого-либо из друзей. Симона знала, что за свой патриотический поступок ей придется горько расплачиваться, и она терпеливо переносила свое заключение. Но она не представляла себе, что придется страдать в таком одиночестве. Каждый день выглядывала она за ограду, в надежде, что кто-либо из дорогих ей людей сумеет пробраться сюда. Но никто не приходил. Мадам никого к ней не подпускала. Мадам зорко стерегла ее.

Она и дяде Просперу запретила говорить с Симоной. Но если рассудить, то это как раз было утешительно и обнадеживающе. Ведь будь мадам уверена в дяде Проспере, она не стала бы удерживать его от объяснения с Симоной. Но она, видимо, опасалась, что дядя Проспер, несмотря ни на что, поймет поступок Симоны и, может быть, даже одобрит. Нет, пусть Морис говорит, что хочет, но кто-кто, а дядя Проспер ей не враг.

При встрече с Симоной его лицо принимало смущенное и негодующее выражение, он избегал ее. Но это удавалось ему только потому, что она не противилась. Она была слишком горда, пусть поступает, как ему угодно. А надо бы заставить его объясниться, заставить выслушать ее.

Высокая, тоненькая, стояла Симона на камне. В мешковатом вылинявшем комбинезоне она казалась какой-то заброшенной, ее большие, глубоко сидящие глаза тоскливо, жадно, мрачно смотрели на безлюдную белую ленту шоссе.

Нет, надо положить этому конец. Нельзя терпеть дольше, чтобы дядя Проспер так глупо дулся и избегал ее. Она заставит его объясниться.

Она знала, что мадам сейчас наверху и дядя один, в голубой комнате, томясь от безделья, возится с радио. Симоне было сказано, чтобы она, покончив со своими делами, сидела только у себя в камерке и нигде больше не показывалась. Она пренебрегла этим запрещением и, как была, в комбинезоне, не почистившись, не вымыв руки, пошла к дяде Просперу.

Он удивленно поднял на нее глаза.

— Мне надо с вами поговорить, дядя Проспер,— сказала она смело.

Он угрюмо взглянул на нее.

— А мне с тобой говорить не о чем.— И он проглотил какое-то ругательство, готовое сорваться у него с языка.

— Вы должны со мной поговорить,— настаивала она.— Уж лучше я пойду к немцам и скажу, что это сделала я, но жить так дальше я не могу.

Он сидел в своем кресле и искоса смотрел на нее. Ее лицо дышало мрачной решимостью, она была на все способна.

— Чего ты, собственно, хочешь? — окрылся он.— Радуйся, что они не забрали тебя. Радуйся, что ты так легко отделалась.— И, горячась все больше и больше, раскричался: — Украсть у меня ключ, ключ от моего кабинета. Этакая низость. Воровка. Домашняя воровка. Дочь моего брата.

Тогда, чтобы взять ключ, ей пришлось совершить над собой некоторое насилие. Добропорядочность была у нее в крови, и ей внушали, что худшее из преступлений — это воровство. Но то, что дядя Проспер из всего, что было связано с ее деянием, выхватил одну эту деталь, наполнило ее гневным презрением. Она не ответила и не отвела глаз, как он, вероятно, ждал, наоборот, она смотрела на него в упор, долгим, пытливым взглядом, и ей показалось, что она видит его впервые. До этой минуты он всегда, даже в те редкие мгновения, когда она в душе восставала против него, казался ей достойным человеком, и его мужественное лицо внушало ей уважение. Теперь она увидела его в другом свете. Нет, это большое лицо, с крупными чертами, ничего общего не имеет с лицом ее отца. Тот же красяво изогнутый рот, те же светлые серо-голубые глаза под густыми золотисто-рыжими бровями. Но разве это лицо настоящего мужчины? Дядя Проспер не способен ни на какой самоотверженный поступок, ему недоступны высокие чувства; в том, что она сделала, он ничего не увидел, кроме одного — она украла ключ. Симона не умела облечь это в слова, но она ясно чувствовала, какую жал-

кую игру в прятки с самим собой вел этот человек. Он сделал ей много добра, он привязан к пей, он и для других немало сделал, он энергичный, предприимчивый человек, он создал большое предприятие. Но когда настал час испытаний, он оказался банкротом. Его лицо — это маска. И вот теперь, заглянув под маску, она увидела, что это ничтожный человек.

— Что ты на меня так воззрилась? — спросил он.

Она все еще ничего не говорила, но он, несомненно, чувствовал, что девушка пришла к нему не с повисшей головой, что она пришла обвинять и требовать. О ключе он более не упоминал.

— Ты, по-видимому, до сих пор не понимаешь, что ты натворила, — сказал он. — Думаешь, дело в тех нескольких машинах, которые ты сожгла? Нет, ты разрушила все, что я с таким трудом создал за всю свою жизнь.

Это не было позой, он говорил деловым тоном, не жестикулируя, не впадая в декламацию. Но Симона, с таким же спокойствием и все так же глядя ему в глаза, сказала:

— Вы отлично знали, что бензин и гараж не должны попасть в руки немцев. Мосье Корделье это не раз твердил вам. Вы сами заявили, что в нужный момент вы все сделаете.

Дядя Проспер только рассмеялся.

— В нужный момент, — злобно издевался он. — За пять минут до капитуляции — это, по-твоему, нужный момент? Ты, наверное, думала, что, взорвав гараж, ты предотвратишь перемирие?

— Капитуляция? Перемирие? — переспросила, побледнев, Симона.

— Надо было быть безнадежно слепым, — продолжал он, — чтобы не видеть, что перемирие — вопрос дней. Филипп повторял лишь бессмысленные фразы, которые ему вбили в голову его начальники, эти rare-assiers. Сам-то он понимал, что все это пустая болтовня. Да, тамап права: до чего мы дожили. Каждая сопливая девчонка берется учить тебя уму-разуму, ей ничего не стоит обратить все твоё достояние в груды пепла.

Симона не слушала. Капитуляция. Перемирие. Все, значит, кончено.

Дядя Проспер встал и тяжело зашагал из угла в угол.

— Да есть ли у тебя хоть крупица разума? — негодовал он. — Поверь мне, фирму Планшаров ты погубила навсегда. — Он немного помолчал, потом стал с озлоблением сетовать: — А ведь все могло быть хорошо. Перемирие, конечно, прискорбная вещь, ничего не скажешь, но маршал великий человек, немцы относятся к нему с уважением, и он сумеет сохранить порядок. «Труд, отечество, семья» — под таким лозунгом можно жить. Пока маршал во главе правительства, с немцами можно будет ладить.

Он остановился перед Симоной.

— Можно, но только не мне, — продолжал он зло, глядя на нее в упор. — Со мной боши ладить не станут. Даже в том случае, если они и склонны будут делать всякие послабления, они не зайдут так далеко, чтобы вести дела с человеком, который сжег все у них под носом. Да и какой им, в самом деле, интерес? — спросил он сдержанно, яростно, с злобным сарказмом. — Все то, что создано мной за целую жизнь, они попросту отдадут моим конкурентам. Братья Фужине в Дижоне уже хлопочут об этом, и, конечно, за их спиной стоит маркиз. Я не перевез его вина. Ну что ж, он сам постарается об этом, а заодно и обо всем прочем. Стоит ему только захотеть, и он получит у немцев концессию. Тогда мои шоферы будут водить его машины и ездить по дорогам, которые я построил. Думаешь, ты немцам навредила? Ты нанесла удар мне, и мне вовек не оправиться. Ты постаралась, чтобы у маркиза был удобный предлог украсть мое предприятие. Это все, чего ты добилась.

Симона оправилась от испуга, в который ее привело слово «капитуляция». Внимательно слушала она сетования дяди, оплакивающего судьбу фирмы. Они произвели на нее впечатление. Это тяжкий удар для него, она понимала. И все же хорошо, что машины не достались бошам. Все же хорошо, что она сделала то, что задумала. Она сказала:

— Кое-чего я добилась. Вы это отлично знаете.

— Да, конечно,— сказал он с издевкой.— Ты подала сигнал, ты зажгла факел восстания. Многих он зажег, твой факел? Разве что меня, да так зажег, что все взлетело на воздух. Этого ты добилась. Матап права. Зачем только я взял тебя в дом? Где была моя голова?

Симона спокойно смотрела на него.

— Я думала, вы это сделали ради моего отца,— сказала она.

Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался.

— С тобой не столкнешься,— бросил он сердито. Но она молчала, поэтому он продолжал: — Разве ты не понимаешь,— сказал он,— что я не могу жить без своего дела? Я делец. Делец по призванию.— Он все больше горячился.— Один рожден художником, другой — инженером, а я родился дельцом, предпринимателем. Так уж я создан, для этого я рожден, я делец до мозга костей. Я не представляю себе жизни без своего предприятия.

Это не были пустые слова, это было признание, и Симона все так и поняла. Она поняла, как неразрывно был связан дядя Проспер со своим предприятием. Его автобусная станция, его кабинет, его банковский текущий счет, мосье Ларош из Лионского Кредита и мосье Пейру, бухгалтер,— они неотделимы от дяди Проспера, его трудно себе представить вне этой жизни, он сросся с ней душой и телом, он не мог иначе существовать. Он сказал о себе самую доподлинную правду: он не может жить без своего предприятия.

Симона и раньше это знала, но никогда над этим по-настоящему не задумывалась; и только теперь ей стало все предельно ясно. Она молчала, она думала.

— Когда-нибудь боши уйдут,— сказала она.— И быть может, очень скоро. И тогда вам вернут вашу станцию, дядя Проспер. И тогда будет хорошо, что Планшары выполнили свой долг и не покорились бошам.

— «Когда-нибудь боши уйдут»,— злился дядя Проспер.— Когда? Через два года? Через три? Через пять? Когда фирма Планшаров успеет уже перейти в

другие руки? И разве тогда все восстановишь? Для такого предприятия, как мое, нужны самые разносторонние связи, нужно повсюду иметь руку. Для того чтобы создать автобусные линии, мало одного доброго патристического имени.

— Неужели вы собирались вести дела с немцами? — спросила Симона. — Неужели вы предоставили бы свои машины для перевозки их военных материалов, дали бы ваш бензин для их танков? — И так как он угрюмо молчал, она сказала: — Вот видите. Вы прирожденный делец, но вы француз. — И тихо добавила: — Если бы немцы возили на наших машинах свои боеприпасы и заправляли свои танки нашим бензином, я не знаю, перенесла ли бы я это. Мне пришлось бы снять со стены портрет отца.

Дядя Проспер поморщился.

— С тобой не столкнешься, — повторил он и вышел из комнаты.

2

МУКИ ОЖИДАНИЯ

Ночью, в уединении своей каморки лежа в постели, Симона перебирала в уме весь разговор с дядей Проспером.

Она осталась победительницей. Дядя Проспер покинул голубую комнату, словно спасаясь бегством. Но это была печальная победа. Она видела его лицо. Она видела, что ей не удалось своим патристическим деянием увлечь его на ту высоту, которая подобала бы брату Пьера Планшара.

Наверно, сейчас он утешает себя пустопорожними фразами, этот пустобрех. Наверно, мадам Мимрель вернулась и он ищет утешения у нее. И, презрительно кривя губы, Симона представила себе их вместе, дядю Проспера и белокурую, бело-розовую мадам Мимрель.

И все же молчаливая, жестокая война между Симоной и мадам за дядю Проспера далеко не кончилась. Мадам посадила ее под замок, мадам хотела помешать ее объяснению с дядей Проспером, мадам внушила

дяде Просперу злейшее предубеждение против Симоны; но никакая клевета мадам не в силах запятнать деяние Симоны, лишить его смысла. Как ни озлоблен дядя Проспер внешними последствиями ее поступка, он ничего не ответил, когда она назвала ему свои истинные цели. Он проглотил ругательство, которое собирался бросить ей в лицо. Быть может, он не был тем большим человеком, каким до сих пор ей рисовался, но он и не такой плохой, как думает Морис.

Мадам крепко держит его на привязи. В ее руках предприятие дяди, его общественное положение, текущий счет в банке, а Симона только и может противопоставить всему этому имя и память своего отца. Но мадам перегнула палку, она допустила ошибку. Именно потому, что мадам обращается с ней как с Золушкой, всячески третпирует ее, уже одно присутствие Симоны — живой укор для дяди Проспера. Симона и не помышляет отказаться от борьбы.

Она лежала в темноте; трещали сверчки и квакали лягушки. Симона говорила себе, что бесполезно перебирать одни и те же мысли, что надо уснуть. Благоразумно убеждала себя, что предстоят трудные дни и надо запастись силами. Но она никак не могла оставить мучительных попыток спасти свое утраченное доверие к дяде Просперу, и сон бежал от нее:

Наконец она зажгла свет и придвинула к себе поближе стоящие на ларе книги о Жанне д'Арк: красную — увлекательную, с множеством картинок, черную — большую, ученую, и золотую — зачитанную, старинную, собрание трогательных легенд и анекдотов. Симону могли разлучить с ее друзьями, но книги связывали ее с ними. Не раз в эти тяжелые дни она заглядывала в свои книги, и они звали ее на борьбу, воодушевляли примером. Вливали новые силы, утешали, были источником прозрения.

И вот опять она лежит ничком и читает, а над ней все тот же мертвый Наполеон и его гренадеры, и святой Мартин, и ее отец.

Симона читает о том неполном годе, о тех десяти месяцах, которые последовали за величайшим триумфом Жанны, за коронацией дофина в Реймсе, и кончи-

лись ее пленением под Компьеном. То был год бездеятельности, полууспехов, полупоражений — год, когда Жанну окружали враги, прикидывавшиеся друзьями, и друзья — то ли недостаточно деятельные, то ли недостаточно влиятельные; год полутени, полусвета, загубленный год.

Вот Реймс и первый огромный успех. Дофин Карл — король. Но теперь он хочет наконец покоя, хочет насладиться успехом. Для чего ж тогда он король, если он не вправе предаваться праздности, когда вздумается. Но Жанна рвется вперед, не теряя ни минуты, — вперед, не теряя ни минуты, она хочет занять Париж. Король не говорит прямо «нет», но он саботирует, он находит тысячу отговорок, ему не хочется продолжать войну.

Да, таков был этот человек, который из рук Жанны получил корону, человек, обязанный ей решительно всем. Он не был ее врагом, но не был и другом, половинчатый человек, человек половинчатых решений и половинчатых действий. Как не ко двору, больше того — как неприятна была, наверно, такому человеку Жанна, которая постоянно теребила его, призывала к решительным действиям, настаивала, чтобы он отдал приказ о наступлении. Он уклонялся, отговаривался то одним, то другим, заявлял, что время еще не пришло, а когда приспее, он будет действовать. Да, да, Симоне все это хорошо знакомо.

Она разглядывала изображение дофина. Под роскошной широкополой шляпой с пером длинное дряблое лицо с большим носом, толстым и шишковатым; странно отсутствующий взгляд беспокойных мутных глаз; рот лакомки — полный, длинный, чувственный; уши большие, суженные кверху. Симона читала о том, что Карл сызмальства был избалован и изнежен. Три полога спускались над его колыбелью, ограждая от сквозняков; его детская была обита толстым слоем войлока, звуками арф и всякого рода музыкальными игрушками рассеивали капризы грудного младенца. По свидетельству современников, Карл Седьмой был маленький и тщедушный человечек. Он любил расхаживать в коротком зеленого сукна кафтанчике, и люди, привыкшие

видеть его в пышном королевском облачении, поражались, до чего он худ и жалок без своей королевской мантии, скрывавшей его слабые кривые ноги с утолщенными уродливыми коленями.

Симона читала, как этот король, к огорчению и негодованию Жанны, сразу же после коронации вступил в переговоры с врагами. Он жаждал мира, мира любой ценой. Он вел переговоры с самым заклятым из своих врагов — герцогом Бургундским. Жанна умоляла и предостерегала его, Карл продолжал торговаться. Бургундец выказывал ему презрение, Карл торговался. И многие высокопоставленные французские вельможи, с величайшим рвением подражая своему королю, вели переговоры с врагами. Как ни благоприятно складывалась военная обстановка, двести семейств предпочитали победе выторгованный мир. Жанна, а вместе с ней Симона, не понимала, что этих французов меньше всего интересовало благо Франции, они пеклись исключительно о собственном благе.

И Симона читала, как Жанна в конце концов добилась того, что были начаты приготовления к походу на Париж. Но основные силы ее армии были распущены, приготовления велись спустя рукава, поход с самого начала саботировался. И, наперекор всему, Жанне все же удалось подойти к Парижу и начать осаду. А король, пока шла осада, вел переговоры с врагом и заключал с ним удивительные соглашения. Он позволил герцогу Бургундскому послать в осажденный Париж на подмогу англичанам войска; больше того, король Карл предложил бургундцу в качестве залога город Компьен, который завоевала ему Жанна. И так как Жанна, несмотря ни на какие козни, чинимые ей, не отказывалась от мысли завоевать Париж, король отозвал ее. Но она не сдалась, и тогда он пошел на крайнее коварство. Жанна и ее сторонники приказали навести через Сену переправу, которая решала успех штурма Парижа. Король Карл, через голову Жанны, отдал приказ — ночью, украдкой, разрушить переправу.

Симона выпустила книгу из рук. Какой же он француз, этот король Франции? «Вы прирожденный делец, но вы француз», — сказала она дяде Просперу. Если бы

дядя Проспер оказался на месте короля Карла, разрушил бы он переправу? Нет, никогда. Хотя он и не нашел в себе мужества принести жертву во имя Франции, но никогда в жизни не совершит он ничего во вред своей стране.

Она вернулась к своим книгам. Она читала о положении Жанны при дворе. Жанне воздавались почести как спасительнице страны, ей поручалось дальнейшее ведение войны, но по сути дела она была пленницей.

Как, наверное, страдает человек, привыкший действовать честно и решительно, от такой жизни, — жизни, полной вынужденной нерешительности, вынужденной половинчатости. С болью читала Симона, как Жанна значительную часть отмеренного ей недолгого времени вынуждена была проводить в отвратительной ей праздности, растрачивая силы на мелкие, пустячные дела.

Она запылась, например, разоблачением ясновидящей Катрин де Рошель. Ссылаясь на свои видения, Катрин советовала заключить компромиссный мир с герцогом Бургундским. По почам к ней якобы являлась некая белая дама в золотом одеянии и вещала пророчества. И вот однажды Жанна решила бодрствовать вместе с Катрин, чтобы тоже удостоиться видения. Но после полуночи Жанна уснула, и Бело-золотая явилась, разумеется, когда Жанна спала. На следующий раз Жанна поступила уже умнее; она проспала весь день, а всю ночь бодрствовала в ожидании Бело-золотой. Бело-золотая так и не появилась, после чего Катрин, пророчица мира, мира любой ценой, была с позором отправлена восвояси.

Еще какое-то время, которое Жанна с радостью употребила бы на изгнание врагов из родной страны, она, так как ничего лучшего ей не представлялось, потратила на раздобывание приданого для одной из своих подруг, некоей Эллиот Пауэр. Симона, чуть не стыдясь за Жанну, читала, как добивалась Жанна почетных даров от освобожденного ею города Тура для этой Эллиот Пауэр, вышедшей замуж. Эллиот Пауэр была дочерью шотландского живописца Хемиса Пауэра, который расписал знамя для Жанны. Советники города

Тура многократно и подолгу заседали по этому вопросу, но так ни к чему и не пришли. Город Тур не разрешил выдать приданое: правда, в знак признательности и уважения к Жанне, город постановил устроить в день венчания Жанниной подруги молесбствие и торжественно преподнести брачащимся хлеб и вино. Симона вздохнула: трудно добиться от людей чего-либо большего, чем признательность и уважение.

В эти месяцы полусна и застоя Жанна была очень одинока. Ее друзья были далеко и не подавали о себе вестей. Вот, например, Иоланта Анжуйская, королева Сицилии, могущественная покровительница Жанны; по мнению автора большой черной учебной книги, она тайно, без ведома Жанны, с самого начала руководила ее действиями. Роль Жанны в планах Иоланты состояла в том, чтобы в качестве посланницы небес укрепить в колеблющемся дофине и его народе веру в законность притязаний дофина на престол. Когда Жанна добивалась короны для дофина, королева разными путями посылала ей дружеские вести, а теперь, не пуждаясь более в избраннице божией, она совсем не давала о себе знать. Другие друзья Жанны, Жиль де Рэ и еще некоторые, из числа молодых генералов, получили назначение в отдаленные края. Вместо них к Жанне представили сира д'Альбре: он повсюду сопровождал ее и неотступно следил за нею, а был он сводным братом герцога де ла Тремуй, злейшего врага Жанны.

У Жанны было много врагов. Жадно читала Симона обо всем, что относилось к Изабо, матери короля, его и Жанниной жесточайшей противнице. Вот изображение королевы на памятнике, установленном на ее гробнице в соборе Сен-Дени. Такой, значит, она была, Изабо, принцесса Баварская, королева Франции, эта на редкость живая, способная и опасная женщина, мать многих детей, возлюбленная многих мужчин, всю свою жизнь отдавшая ненасытной погоне за властью, за наслаждениями, за богатством. Крупное лицо, гладкий лоб, широко расставленные глаза, длинный рот, мясистый прямой нос, сильный подбородок. Симона читала, как эта женщина любила своего мужа и родила ему много детей и как она, когда он помешался,

терпела и сносила его безумства и делала все, чтобы его излечить. И как она загорелась страстью к его брату, любимцу женщин. И как она не могла жить без величайшей роскоши и всех богатств мира. И что из жадности к деньгам она перешла на сторону врагов своего мужа и своего любовника. И как она потребовала, чтобы ей возвратили сына, которого взяла под свою опеку ее противница, королева Иоланта Анжуйская, на что королева ответила ей: «Не для того мы любя воспитали вашего сына, чтобы вы умертвили его, как умертвили его братьев, или свели с ума, как свели с ума его отца, или, в лучшем случае, сделали его англичанином, чтобы он уподобился вам. Я оставляю его у себя. Женщина, у которой есть любовник, не нуждается в сыне. Придите и заберите его, если у вас хватит мужества».

И как позднее королева Изабо с великолепным бесстыдством объявила особым указом, что ее сын, называемый дофином, рожден ею вне брака; всю свою жизнь она, словно фурия, боролась против сына. Симона читала, что с годами росла ее жадность и ее ненависть к сыну. И что она, некогда ослепительной красоты женщина, расплылась и превратилась в бесформенную тушу. И Симона невольно представляла себе мадам, как она восседает в кресле с высокой спинкой и без конца пережевывает жизнь своего мужа и пасынка, страдая от их своенравия, которое она не сумела укротить.

Но не столько сила и злоба открытых врагов послужили причиной гибели Жанны, сколько тайные козни людей из ее собственного лагеря и равнодушие или перешителность ее друзей. Симона вся потемнела, представив себе душевную лень этих друзей; ибо, раньше чем они решались на самое пустячное действие, их приходилось без конца подталкивать и расталкивать, так что они рады были избавиться от докучливой девушки, которая их постоянно тормозила.

Вот, например, архиепископ Реймский. Король поручил ему опекать и охранять Жанну, а он за спиной Жанны интриговал против нее. Был среди этих друзей и назначенный королем комендант Суассона,

который не разрешил Жанне въезд в этот город; он тайно продал город герцогу Бургундскому и уже получил от него в счет задатка четыре тысячи золотых.

К числу таких друзей прежде всего относился комендант города Компьена.

О нем Симона читала в своей книжке преданий и легенд. Она читала, как Жанна, узнав, что герцог Бургундский ведет осаду города, отправилась с отрядом всадников на выручку Компьена. Под носом у осаждающих она, к великой радости компьенцев, проникла в город, и горожане в знак благодарности поднесли ей дар — четыре бочонка вина.

Королевским комендантом Компьена был сир Гийом де Флави. Это был храбрый воин, но более сурового и жестокого человека не существовало и в те поистине жестокие времена. Без пощады убивал он людей изо дня в день.

И вот однажды Дева слушала мессу в церкви святого Иакова, и ею овладела великая скорбь, и вокруг нее были горожане города Компьена и множество детей, и, прислонившись к одной из колонн, она заговорила.

— Дорогие друзья, дорогие дети, — сказала она, — говорю вам, что меня продали и предали. Недалек тот час, когда они погубят меня. Молитесь за меня богу, прошу вас. Ибо я не смогу больше служить всемилощивейшему королю Карлу и прекрасной Франции.

И Симона читала, как действительно в тот же день Жанна была взята в плен. Это случилось даже не в крупном сражении, а в мелкой, пустячной стычке; из множества подобных стычек Жанна неизменно выходила победительницей.

Симона внимательно прочла подробное описание этого эпизода. Было 23 марта 1430 года, пять часов пополудни. В расшитой золотом красной мантии Жанна с небольшим отрядом всадников выступила с намерением атаковать отряд бургундцев, о котором получила донесение; она скакала на своем сером в яблоках коне. Бургундцы были застигнуты врасплох, и казалось, атака удастся. Но они получили сильное подкрепление, и Жанна со своим отрядом оказалась в не-

выгодном положении. Солдаты Жанны отступили, по Жанна не желала сдаваться. «Вперед!» — крикнула она. «Спасайся, кто может», — кричали солдаты, бросаясь врассыпную. Но город Компьен отделяла от места стычки река, река Уаза, а через реку в город вел мост. Большая часть солдат добежала до моста, часть же бросилась в полном вооружении в реку, огромному большинству удалось добраться до городских стен и спастись за ними. Когда солдаты вошли в город, комендант Гийом де Флави велел развести подъемный мост и запереть ворота. Жанна же еще не достигла городских стен. Она осталась, можно сказать, одна. Она была отрезана от своих.

Симона думала над прочитанным. «Вперед», — зывала Жанна. «Спасайся, кто может», — зывали остальные. Симона поежилась, как от озноба. Что пользы, если человек знает, в чем правда, и по правде поступает, что пользы, если он кричит «вперед», если сам он бросается вперед, но никто за ним не следует. «Спасайся, кто может», — зывали они, и они подняли мост и заперли ворота и бросили Жанну одну на произвол судьбы.

Каждая из трех книг, которые читала Симона, по своему толковала те мотивы, какими, вероятно, руководствовался комендант де Флави, когда он отдал приказ запереть ворота и поднять мост. Вполне возможно, говорилось в одной из книг, он сделал это по деловым, тактическим соображениям, видя, что противник преследует его солдат по пятам и может ворваться в город. По версии, которой придерживалась вторая книга, комендант отдал свой приказ именно с целью погубить Деву, — по всей вероятности, он исполнял полученное указание: избавиться от Девы при первом удобном случае. В старинной зачитанной блекло-золотой книжке преданий и легенд говорилось просто: «Дева благодаря своей храбрости достигла моста. Но жестокий Гийом де Флави, завидовавший ее славе, приказал поднять мост».

Как бы там ни было, Жанна осталась вне городских стен, и с ней было не больше десятка ее солдат, англичане же и бургундцы наседали со всех сторон, пока

наконец не окружили ее. Один схватил ее за мантию, другой стащил с лошади. Хотя надежды не было никакой, она, стоя на земле, продолжала сражаться, пока не была обезоружена и взята в плен.

3

ЗОВ СВОБОДЫ

Симона, в своем заношенном комбинезоне, в широкополой соломенной шляпе, вся перепачканная от работы в саду, стояла на камне у стены и все глядела и глядела на дорогу. В последние дни она делала это больше для успокоения совести, на всякий случай — она почти потеряла надежду, что кто-либо из ее друзей навестит ее.

Со стороны города, вдали, показалась движущаяся точка — кто-то приближался, по-видимому велосипедист. Едва теплившаяся надежда Симоны вспыхнула ярким светом. Горячо желала она, чтобы это был наконец-то кто-либо из дорогих ей людей. Велосипедист приближался. Симона еще ничего не могла различить, но она уже твердо знала, что это друг, — ей так этого хотелось, что иначе и быть не могло.

Велосипедист быстро приближается, дорога и время расступаются перед его стремительным движением, на нем кожаная куртка; неподалеку от стены он соскакивает с велосипеда, пересекает паискосок дороги, он улыбается во весь рот, одной рукой придерживает велосипед, другой подбочивается. Он говорит: — Ну, вот и я.

Симона, едва не теряя сознания от радости и волнения, хочет ответить, но из горла вырывается только что-то хриплое, нечленораздельное. Она стоит на своем камне, высоко подняв руки, цепляясь за край каменной ограды. Ограда высокая, только лицо Симоны выглядывает из-за нее. Это очень выразительное лицо, по нему видно, как Симона взволнована.

Он смотрит на Симону, задрав голову вверх. Потом говорит:

— Пожалуй, так неудобно, а? Не взобраться ли мне к тебе? А может, ты спустишься сюда? Очень страшно, если нас здесь застукают?

Она медлит с ответом. Конечно, страшно, но ей необходимо поговорить с ним, и времени у нее в обрез; их действительно могут застать здесь, а ей нужно о стольком расспросить его, даже не знаешь, с чего начать. И еще она непременно должна сказать, как она ему бесконечно благодарна и как рада, что он пришел, а отсюда, сверху, когда только голова ее едва-едва высовывается над оградой, действительно не поговоришь, да и долго так не прстоишь, у нее уже и сейчас онемели руки.

Но раньше чем она успевает взвесить все, он уже наверху. И вот он сидит на ограде, ноги его по ту сторону, так что в любую минуту он может соскочить и улепетнуть, и теперь его смеющееся лицо над ее лицом, и так уже можно разговаривать.

Она помнит, что широкий мешковатый комбинезон и эта огромная шляпа не идут к ней, что вся она выпачканная, потная и некрасивая. В тот последний раз, когда она с ним виделась в Сен-Мартене часа за два до своего деяния и непосредственно после него, она была лучше, живее, и потом на ней были ее темно-зеленые брюки. Взгляни она в эту минуту на себя в зеркало, она испугалась бы — таким угрюмым и измученным стало ее лицо, повзрослевшее, но и сильно подурневшее.

Он улыбается. Он сидит на ограде и, улыбаясь, смотрит на нее сверху вниз, а она, стоя в неудобной позе на своем камне, смотрит на него, подняв голову, и все это так необыкновенно.

— Ну, голова садовая, — начинает он, но обращение это звучит ласково, — не говорил я тебе, что ты наделаешь себе хлопот? Теперь ты сидишь в луже, и кому приходится тебя выручать? Все тому же Морису. — И он стал рассказывать по порядку. В Сен-Мартене для него становится небезопасно. Боши устраиваются здесь надолго, мир так скоро заключен не будет.

— К сожалению, я опять оказался прав, — сказал он и добродушно усмехнулся. — Священный союз

между немцами и нашими фашистами заключен всерьез и надолго; волки волков не пожрали, они воют в один голос, и я готов биться об заклад еще на две бутылки перно, что это подлое перемирие продлится не один год. Для меня, во всяком случае, вопрос решен,— подытожил он резким деловым тоном.— Мне здесь делать нечего. Я сматываю удочки. Отправляюсь в неоккупированную зону, а оттуда в Алжир. Там, думаю, намечается кое-какая возможность продолжать борьбу.

Она слушала его, и хотя голос у него был некрасивый, звук его радовал ее сердце. Правда, то, что она услышала, удар для нее. Морис уезжает, он едет в Алжир, он включается в борьбу, и она остается в полном одиночестве. Она вдруг почувствовала слабость и, чтобы не упасть, покрепче ухватилась за ограду.

Морис это заметил. Он весело пошутил:

— Располагайтесь поудобнее, мадемуазель. Что могут они прибавить к тому, что они уже сделали с вами? — И он жестом указал на дом. Он соскочил в сад и уселся на пенек.— Ну-ка, слезай, садись сюда,— сказал он.— Нам надо поговорить.

Симона послушно разжала затекшие руки, слезла и присела на камень.

Он снял с нее шляпу, скрывавшую ее широкий, сильный лоб.

— Так,— сказал он, улыбаясь.

— Почему теперь, когда все кончено, вы вдруг вздумали бороться? — спросила она, и голос ее звучал далеко не так твердо и уверенно, как обычно.— Сначала вы совсем не желали воевать, а теперь вам вдруг приспичило?

— Да ведь это ясно и младенцу,— ответил он несколько нетерпеливо.— Сначала это была не наша война. Мы совершенно точно знали, что наши фашисты только и ждут случая выдать нас и нашу технику партизам. Теперь положение в корне изменилось. Теперь фронты прояснились. Теперь во Франции и дурак знает, где искать врага. Труд, семья, отечество, нацисты, Петен, заслуженный верденский пораженец, и все французские фашисты — с одной стороны, и свобода,

равенство, братство и антифашисты всего мира — с другой.

Она слушала, что он говорил, но воспринимала все только рассудком. Одно чувствовала она всем существом своим: он уезжает.

— Когда вы едете, Морис? — спросила она. Она говорила очень тихо.

— Завтра, — ответил он, — завтра ночью. Поэтому я и здесь. Прежде чем отчалить, мне хочется привести в порядок твои дела.

Завтра. Это ужасно. Она в смятении. Завтра. Она остается одна, совсем, совсем одна.

— Видели вы еще кого-нибудь? — спрашивает она с усилием.

— Ты имеешь в виду твоего молоденького дружка Этьена? — спрашивает он, добродушно ухмыляясь. — Он в Шатильоне, его опять отправили туда. Теперь у нас в стране пошли большие строгости. Господа рабовладельцы снова изо всех сил щелкают бичом, танки бошей придали им храбрости. Да, вот еще твой поклонник, переплетчик. Этот старый свихнувшийся петух, конечно, попытался пробиться к тебе. Явился сюда во всем своем величии, и ведь до чего хитро все придумал: он будто бы пришел за книгами, которые одолжил тебе, и поэтому ему необходимо тебя повидать. Но они ответили, что очень сожалеют, но тебя нет дома и, разумеется, не пустили его к тебе. И у твоего друга из супрефектуры тоже ничего не вышло. Пришлось взяться за дело мне. Я рассчитал, что в это время мадемуазель племянница как раз работает в саду и тут с ней легче всего встретиться, не налетев на пустобреха, который мог бы потребовать объяснений.

Симона рассмеялась счастливым смехом. Молодец Морис. Настоящий débrouillard. Всегда найдет выход. Она была глубоко взволнована. Взволнована тем, что у нее есть друзья, которые ломали себе голову, как ей помочь, а больше всего тем, что Морис не хотел уехать, не попытавшись что-нибудь для нее сделать.

Он закурил сигарету.

— Теперь слушай меня, Симона, — начал он. — Я считаю, что и тебе здесь оставаться небезопасно.

Кстати сказать, твой приятель в супрефектуре того же мнения. — Рассудительно и деловито и, по обыкновению, начиная издалека, он изложил ей положение вещей в том виде, в каком оно ему представлялось. Гражданский транспорт в департаменте свелся почти к нулю. Сен-Мартен, весь целиком, обслуживается всего-навсего двумя автобусами, один из них водит он, Морис. Супрефектура хлопочет о том, чтобы восстановление местного транспорта было поручено фирме Планшаров. Боши не сомневаются в деловых способностях мосье Планшара, но они не доверяют ему и не снимают ареста с фирмы. Помочь мосье Планшару может только маркиз. Маркиз — единственный, кто пользуется у бошей влиянием. Все это Морису известно от мосье Ксавье.

Симона внимательно слушала. И вот, продолжал Морис, учитывая все это, нетрудно себе представить, какую позицию в данной обстановке займет пустобрех по отношению к ней, Симоне. Ему дело рисуется следующим образом. Маркиз пока единственный, кто открыто вступил в контакт с бошами, и, разумеется, такая изоляция очень скоро станет ему неприятна. А так как он малый хитрый, он постарается заставить и других решительно себя скомпрометировать. Это значит, что почтенному дядюшке до тех пор не будет возвращена его фирма, пока он не приведет прямых, недвусмысленных доказательств своей готовности сотрудничать с бошами.

— Ты понимаешь меня, — прервал себя на полуслове Морис, — или я говорю слишком мудрено?

Симона кивнула.

— Чем же, — продолжал развивать свою мысль Морис, — пустобрех может доказать свою готовность? Лучшее всего тем, что он открыто отмежуеться от дочери Пьера Планшара — маленькой, глупой поджигательницы, патриотки. Если он ее обезвредит, если выдаст ее с головой фашистам, он докажет свою благонадежность истинного коллаборациониста. Следовательно, он выдаст тебя с головой.

Пока Морис теоретически излагал положение дел с фирмой и маркизом, Симона спокойно слушала, трезво

взвешивая его доводы. Но как только он, подытожив, высказал такую ужасную мысль, она вспыхнула, логики ее как не бывало, она забыла, что сама стала сомневаться в дяде Проспере. Дядя Проспер снова обернулся тем, кем был для нее раньше,— братом Пьера Планшара, а Морис опять стал Морисом со станции — злюкой, насмешником, который всегда и во всем видит одно плохое. Все, что он наплел о дяде Проспере, чтобы на него бог знает что наклепать,— чистейший вздор.

— Дядя Проспер,— возразила она, всячески стараясь сдержаться,— бросил на себя тень, потому что не сам разрушил станцию. Возможно, у него действительно не хватило духу. Но этого еще далеко не достаточно, чтобы заподозрить его в подлости, в самой низкой подлости.— И тут ее прорвало.— Нет, никогда,— горячилась она,— никогда он не пойдет на то, чтобы что-либо предпринять против меня. Никогда,— повторила она срывающимся от волнения красивым грудным голосом.

Морис ничего не ответил, он по-прежнему курил и только покосился на нее с иронической усмешкой.

— Не смейте так возмутительно улыбаться,— рассердилась она.— Вообще вы умный человек, Морис, но то, что вы говорите о дяде Проспере, это попросту идиотство. Вы видели его только на станции. Вы не имеете ни малейшего представления, какой он на самом деле. За десять лет я узнала его. Он только и думает о том, чем бы меня порадовать. Из каждой поездки он мне что-нибудь привозит, не какую-нибудь безделушку, а стоящую вещь, которую он старательно выбирает. Он взял меня с собой в Париж, хотя для такого человека, как он, я, несомненно, была обузой. А когда я болела скарлатиной, он весь извелся от беспокойства, похудел даже. То, что вы говорите, Морис, суцая нелепость. Он никогда ничего против меня не предпримет.

— Допускаю, что он к тебе привязан,— отвечал Морис, не вынимая изо рта сигареты,— но к своей фирме он привязан не меньше. Он держится за нее, как собака за кость. Он не расстанется с ней. Разве двести семсйств не посылали своих сыновей на фронт и в

эту войну и в прошлую? Они жертвовали своими сыновьями, но не своими су,— сказал Морис зло и просто.

«Он держится за свою фирму, как собака за кость» — крепко запомнилось Симоне. И в ушах ее прозвучали слова: «Я делец. Так я создан, для этого я существую. Я не представляю себе жизни без своей фирмы».

Морис между тем продолжал:

— Если он не собирается ничего предпринять, зачем же держать тебя взаперти? — Морис говорил негромко, но теперь его пронзительный, насмешливый голос заставил ее поморщиться, как от боли. — Почему они никого не подпускают к тебе? Ты сама, наверно, чувствуешь — все это плохо пахнет.

Симона с минуту помолчала.

— Мадам чуть удар не хватил от злости,— призналась она. — Мадам меня терпеть не может. Но из этого еще не следует, что дядя Проспер задумал против меня какую-нибудь подлость. Ведь вы сами сказали,— продолжала она наперекор логике, и в голосе ее прозвучало торжество,— что со стороны бошей мне ничего не грозит, потому что я это сделала до их прихода. Сказали вы это или нет?

— Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть,— отвечал Морис, с трудом сохраняя спокойствие,— ты сама прекрасно все знаешь.

— У нас с тобой нет времени препираться, Симона,— пресек он всякие дальнейшие разговоры. — Как знать, надолго ли еще они намерены оставить тебя в покое. Возможно, что они уже сегодня примутся за тебя, да и, кроме того, я к тебе до отъезда больше не попаду. Поверь мне: дело твое дрянь, против тебя определено что-то плетется здесь. Нам с тобой надо прийти к какому-нибудь решению сегодня, сейчас. Я предлагаю тебе: я возьму тебя с собой в неоккупированную зону. — Он говорил как мог равнодушнее, он не смотрел на нее.

Симону залила горячая волна счастья и гордости. Не Луизон берет он с собой, не одну из тех девушек, с которыми он гуляет. Несомненно, с нею у него будет

много лишних хлопот. Но она доказала ему, что стоит ради нее пойти на риск и трудности.

— Как прекрасно, Морис, что вы хотите это для меня сделать, — говорит она. Она сидит на своем камне, смотрит прямо перед собой, вокруг губ ее вьется чуть заметная улыбка. Она представляет себе, как едет почью с ним через всю Францию, доверяясь ему во всем. Возможно, чтобы попасть в неоккупированную зону, им кое-где придется переправляться через Луару. Она представляет себе: они в лодке, их обстреливают, но она ничуть не боится, потому что он рядом. А может, им придется переправляться вплавь — хорошо, что она прекрасно плавает. Ах, как это все чудесно.

Но что же тогда будет здесь, если она уедет? Морис ведь сам сказал, маркиз и другие фашисты только и ждут случая погубить дядю Проспера. Если она убежит, они наверняка скажут, что дядя Проспер сам толкнул ее на поджог, а потом помог бежать. И наверняка они что-нибудь с ним сделают, в лучшем случае — навсегда разорят его предприятие. Нет, нельзя, чтобы другие расплачивались за то, что сделала она. Она должна отвечать за себя сама. Бежать и тем самым навлечь на дядю Проспера подозрение было бы пиздой неблагодарностью. Совершенно явственно услышала она тихий презрительный голос мадам: «Ну, конечно, она бежала, она дезертировала, я знала это наперед».

Морис тем временем продолжал говорить. Он заедет за ней завтра на мотоцикле старика Жанно из супрефектуры. Разрешение для проезда на мотоцикле уже есть. Пока их хватятся, у них в распоряжении будут хорошие сутки, они легко успеют добраться в безопасное место. По ту сторону Луары у него надежные друзья, у них он оставит Симону. А сам так или иначе постарается попасть в Алжир.

Симона слушает его краем уха. Они мчатся на мотоцикле. На Морисе его кожанка, она крепко ухватилась за его плечи, и так несутся они сквозь ночь, и она не испытывает ни малейшего страха. О, как это заманчиво. Но она не может поехать с ним. Не имеет права. Она не вправе считать дядю Проспера подлецом только потому, что это ее устраивает, только потому,

что было бы так чудесно вырваться с Морисом на волю. Она не вправе заставлять дядю Проспера расплачиваться за то, что сделала она.

Она должна сказать Морису «нет». Но еще не сейчас. Еще две минуты, еще минуту она продлит счастье, счастье мечты о том, как она мчится с Морисом сквозь ночь туда, где ее ждет свобода.

— Почему, в сущности, вы хотите меня спасти, Морис? — спрашивает она. Она говорит, не глядя на него, совсем тихо, улыбаясь, забывшись в мечтах, говорит так тихо, что он вынужден переспросить:

— Что? О чем ты?

Она взглянула на него, не переставая улыбаться.

— Почему вы хотите меня спасти? — спросила она громче. — Ведь вы считаете, что то, что я сделала, это бессмысленный и совершенно неправильный поступок.

— Конечно, неправильный, — живо ответил он. — Но ты еще поддаешься воспитанию. Ты теперь могла кое-чему научиться. Из тебя может выйти толк. — Он встал.

— Итак, я жду тебя завтра ночью, в половине первого, здесь, у стены. Взять с собой можешь только самое необходимое, в вещевом мешке или в самом маленьком ручном чемоданчике. Понятно?

Теперь надо ответить, больше оттягивать пельзя.

— Вы же мне объяснили, — сказала она, чтобы еще раз себя проверить; она продолжала сидеть, хотя он встал, — вы же мне объяснили, что маркиз и другие фашисты постараются погубить дядю Проспера, если он меня выпустит.

— Этого я, разумеется, не говорил, — ответил Морис с досадой. — Неужели ты так-таки ничего не поняла? — Его насмешливый вопрос возмутил Симону именно потому, что ей стоило таких невероятных усилий сказать ему «нет».

— Вы это сказали, — повторила она упрямо, — вы именно так мне объяснили.

— Да перестань ты без конца пережевывать одну и ту же бессмыслицу, — нетерпеливо ответил Морис, но сразу же сдержался. — У нас с тобой нет времени препираться, — повторил он, — и не для того я сюда при-

ехал. Значит, завтра ночью, здесь, в половине первого,— повторил он почти просящим тоном.

— Я не имею права заставлять дядю Проспера расплачиваться за то, что совершила я,— настаивала она и, окончательно решившись, сказала: — Прекрасно, Морис, что вы явились сюда и предложили мне все это. В жизни своей никому не была я так благодарна, как благодарна вам. Но я не поеду с вами. Я не могу. Я не имею права.

Говоря это, она чувствовала — сердце ее готово разорваться от мучительной мысли, что он уедет один, без нее, но в то же время она была счастлива: Морис, который всегда был ее врагом, всей душой хотел помочь ей, она сумела ему доказать, что стоит того.

Морис пожал плечами.

— Ну, что ж,— сказал он.— Если ты решила во что бы то ни стало погубить себя во имя своей наивной веры в достопочтенного дядюшку, дело твое. У каждого свой вкус. Тебе, например, нравится пустобрех. В таком случае, простите, мадемуазель, что я вас потревожил,— сказал он с уничтожающей вежливостью. Но тотчас же настойчиво прибавил: — В последний раз спрашиваю: ждать мне тебя здесь завтра ночью, в половине первого? Да или нет?

Жесткие сомнения терзали Симону. Она знала, что сейчас, в эту минуту, решается все ее будущее и что она собирается отказаться от того, что для нее — великое счастье. Но она считала верхом трусости и предательства в такой момент проявить недоверие к брату своего отца и поставить его под удар.

Она поднялась. Высокая, тоненькая, мужественная и решительная, она стояла перед Морисом в своем запыленном перепачканном комбинезоне.

— Нет, Морис,— сказала она.

Каких невероятных усилий стоило ей это «нет». Каких страшных мук. Оно жгло и кололо ее, она была разбита.

Надо что-то сказать Морису. Ради нее он готов был пойти на большой риск. Ему, конечно, все ее соображения кажутся дурацкими, жалкими вывертами.

— Спасибо, Морис, спасибо, милый Морис,— сказала она тихо, она сдерживалась, чтобы не зареветь.

Тяжело ступая, Морис сделал несколько шагов к ограде.

— Ну, что ж,— сказал он и пожал плечами.— Нет так нет.— И тут же вернулся, подошел к ней почти вплотную, обеими руками схватил за плечи.— Неужели ты в самом деле отказываешься, дуреха ты? — спросил он и тряхнул ее, он тряхнул довольно сильно, но больно ей не было.

— Это невозможно, Морис,— сказала она, и теперь, о, черт возьми, она все-таки всхлипнула, и сами собой хлынули слезы. — Всего, всего вам лучшего, Морис,— сказала она.

Он встал на камень и, подтянувшись на руках, взобрался на ограду. Сел верхом.

— До свиданья, чудачка ты,— сказал он.— Ничего не поделаешь,— отчеканил он после очень короткого молчания. Потом повторил, на этот раз с неожиданной хмурой нежностью: — До свиданья, Симона,— и прыгнул на дорогу.

Она опять стояла на камне, она не помнила, как она там очутилась. Вот он сел на велосипед, вот он уезжает. Она смотрела ему вслед, она видела его широкую спину в кожаной куртке. Разумеется, надо ехать с ним, иного решения быть не может, он прав, он сто раз прав. Морис, хочется ей крикнуть, все это глупости, конечно, я еду с вами. Если она сейчас окликнет его, он еще услышит. И сейчас еще. И сейчас. А сейчас уже, конечно, нет. Но там, где ему придется сойти с велосипеда и пойти пешком, он, несомненно, еще раз оглянется, и, если она вскарабкается на ограду и сделает ему знак, а потом соскочит на дорогу, он безусловно подождет, и она скажет ему, что едет.

Вот он приблизился к невысокому холму, вот соскакивает с велосипеда, отсюда он пойдет пешком. Вот он оглянулся. Теперь надо взобраться на ограду. Перед ней еще есть возможность выбора. Еще вот это мгновение. И это. Он машет ей, он ждет. Надо догнать его. Но она не взбирается на ограду, она по-прежнему стоит на камне, крепко ухватившись за ее край ру-

ками, которых уже не чувствует. Она не в силах шевельнуться.

Он отвернулся. Он уходит, ведя свой велосипед, уходит прочь, и все, что в ее представлении может дать счастье, уходит с ним. Сейчас он доберется до вершины маленького холма, потом спустится по противоположному склону, и холм разделит их, и она больше не увидит Мориса. Никогда.

Это целая вечность, пока он с велосипедом взбирается наверх, и это — одно короткое мгновение. Вот он наверху. И вот его уже не видно, и теперь все решено, все кончено, и теперь она героиня, и теперь она первейшая в мире дура.

Она слезает с камня очень медленно. Каменная ограда, каменная стена навсегда отсекла ее от Мориса и от всего мира. Она могла перелезть через нее, она могла вырваться на волю, она сказала «нет». Она стоит, опустив голову, с опустошенным лицом. Так тяжело еще, верно, не было ни одному человеку в мире. Она поступила глупо, неправильно. Она очень жалкая героиня.

Она поднимает широкополую соломенную шляпу, которую Морис снял с нее, и вешает ее на руку. Относит садовые инструменты в маленький сарай, машинально, аккуратно. Идет в дом, поднимается в свою каморку, умывается, переодевается, аккуратно, машинально. Идет в кухню, готовит ужин.

Мадам входит в кухню.

— Сегодня ужин только на двоих, — говорит она, как всегда, тихим, ледяным голосом. — И завтра тоже. Мой сын уехал в Франшевиль. По твоему делу.

4

ВЕЛИКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

И наступила ночь, и наступил следующий день, и наступила следующая ночь.

А Симона неотступно думает все об одном и том же, ее одолевают самые противоречивые мысли. Как понять поездку дяди Проспера в Франшевиль? Ну, конечно, боши собираются что-то предпринять против

нее, и, чтобы вступить за нее, дядя Проспер поехал в префектуру и в главную квартиру бошей. Иначе и быть не может. Всеми силами гнала от себя Симона подозрение, что могло быть и иначе.

Но сомнение острым осколком застряло в мозгу.

Если она в опасности, чем может ей помочь дядя Проспер? Если он вступится за нее, он только увеличит опасность и для нее, и для себя самого. Не лучше ли было послушать Мориса? Но если бы она уехала с Морисом, она поставила бы дядю Проспера в тяжелое положение.

И наступила вторая ночь. Она лежала на кровати в своей темной каморке, и мысли ее вертелись все по тому же мучительному кругу, бесконечно повторяясь.

Она представляла себе, как было бы, если бы она сказала Морису «да». Сейчас, вероятно, половина двенадцатого. Пора было бы собираться. Она тихо-тихо встала бы и собрала вещи. Взяла бы рюкзак, которым пользовалась иногда, делая закупки.

Зачем дядя Проспер поехал в Франшевилль? Может, все-таки она напрасно не сказала Морису «да»?

Ей кажется, что ночь становится все темнее, все душнее. Нет, это нестерпимо, и жара нестерпима, и темнота. И сожаление. Все равно, с какой бы целью дядя Проспер ни поехал, она жалеет, она жестоко жалеет, что не согласилась на предложение Мориса.

Уже скоро полночь, верно. Будильник тикает, ей кажется, что часовой механизм у нее внутри. Огромное, невыносимое волнение охватывает ее. Она включает свет. Да, двенадцать часов три минуты. Вот как раз теперь. Теперь Морис уезжает. В неоккупированную зону. И дальше — в Неведомое.

Может, он не поверил ее отказу? Может, он проедет мимо и остановится у ограды, захочет удостовериться, не передумала ли она все-таки и не ждет ли его?

Она бесшумно встает. Одевается, быстро. Темно-зеленые брюки. Блуза. Лихорадочно собирает немного белья, самое необходимое. Берет спортивные башмаки на толстой подошве, но не надевает их. Крадучись, бо-сиком спускается по лестнице; сердце стучит так громко, что она боится, как бы не услышала мадам. Из

чулана возле кухни берет маленький продуктовый мешок, запихивает в него вещи. Осторожно скользит к двери; надо было смазать дверь, но этого нельзя сделать без помощи дяди Проспера. Осторожно нажимает на ручку, отворяет, дверь только чуть слышно скрипнула.

Она в саду. Прохладно и очень темно. Надо пройти через весь сад, чтобы добраться до ограды. Земля и трава, по которым она ступает, сырые, и ногам приятно. Быстро, бесшумно ступая холодными босыми ногами, проходит она через сад. Вот она у ограды.

Она перелезает через ограду, садится на обочине дороги, надевает носки, спортивные ботинки. Надо быть готовой, когда он подъедет, нельзя терять ни минуты. Как чудесно это будет, когда она сядет за ним и, крепко ухватившись руками за его плечи, помчится с ним сквозь темную, прохладную ночь.

Она сидит, сгорбившись на обочине, положив узелок рядом с собой, и ждет. Вот сейчас, сию минуту, Морис может подъехать. Он непременно придет. Она вслушивается в ночь, ей хочется уловить первое, отдаленное та-рахтение мотоцикла. Она сидит, и слушает, и ждет.

Проходит долгая минута, вторая, третья. Квакают лягушки, стрекочут сверчки. Ночь очень темна, на небе мерцают звезды, почти не проливая света, едва-едва виден белый след дороги, однако в воздухе очень тихо, и Симона задолго до появления Мориса услышит трескотню его мотора,— если Морис придет.

Он был бы дураком, если бы приехал. Он так настойчиво предлагал заехать за ней, и она так решительно отказалась. Она сидит и ждет.

Проходит четверть часа, полчаса, она начинает зябнуть, безмерная тоска овладевает ею. Она сама виновата, ее глупость и гордость во всем виноваты. А теперь Морис вырвался на волю, и он хотел взять ее с собой, а дядя Проспер поехал в Франшевиль, чтобы погубить ее, и она сама себе все это уготовила, хотя ее и предостерегали, и она могла спастись, но она не сделала этого из гордости, по глупости.

Неподвижно сидит она, окаменев, не чувствуя времени, окутанная темнотой прохладной ночи, и высоко над ней еле-еле мерцают далекие тусклые звезды.

Тихо, медленно бредет она обратно в дом, ноги не ощущают росы, руки не чувствуют кустов и деревьев, мимо которых она пробирается ощупью. Машинально, осторожно она открывает и закрывает за собой дверь. Поднимается по чуть слышно поскрипывающей лестнице в свою каморку, раздевается, ложится в постель.

Итак, все кончено. Итак, ей ничего больше не остается, как ждать, пока дядя Проспер вернется из своей подозрительной поездки и привезет с собой решение ее судьбы. Ей ничего больше не остается, как ждать, пока свершится то, что против нее готовится.

Она смертельно устала, но болит голова, болят глаза, все тело болит, она не может уснуть. Она уговаривает себя уснуть, заставляет себя уснуть. Она ложится на бок, свернувшись калачиком, это иногда помогает, — и приказывает себе уснуть, и считает до девятистот, а это четверть часа.

Но сна нет как нет, есть только горькие мысли.

Она включает лампу, теперь уже все равно, хотя бы мадам и увидела. Она берется за свои книги.

В первые минуты читает рассеянно. Но затем книги оказывают ей ту услугу, которую она от них ждет, книги отвлекают ее. Все больше и больше углубляется она в рассказы о далеких событиях, жизнь Девы все сильнее и сильнее захватывает ее.

Она читает о пленении Жанны. Она читает о жестокой торговле между теми, кто оспаривал свое право на пленницу. А оспаривали пятеро. Солдат, который взял ее в плен. Его военачальник, капитан Вандом. Сеньор капитана, граф Иоанн Люксембургский. Английский король, притязавший на всех пленных французов. И еще епископ Бовэзский; Жанна взята была в плен в его епархии, и поэтому он от лица церкви заявил о своем праве начать против нее процесс.

Симона читала, как враги Жанны никак не могли сойтись в цене. Спор шел о деньгах, спор шел, как казалось Симоне, не о такой уж крупной сумме, всего о шести тысячах золотых ливров для уплаты графу Люксембургскому и о трехстах — капитану Вандому. Симона попыталась прикинуть, сколько это примерно составляет нынешних франков. Она высчитала, что это

равно приблизительно двадцати миллионам франков — сумме, едва ли превышающей состояние маркиза де Бриссона. Но англичанам казалось, что это много, и они обложили французские города специальным налогом, предназначенным на покупку Жанны д'Арк, именуемой Девуою.

В старинной блекло-золотой книжечке преданий и легенд Симона читала о том, как рисовалась народу торговля, происходившая вокруг пленницы.

В замок Бореуар, читала Симона, где Жанна содержалась под надзором высокородных дам, старой графини Люксембургской и ее дочери, явился епископ Бовзский, Пьер Кошон, которому англичане поручили купить для них Деву. Но старая графиня Люксембургская бросилась к ногам сына и стала умолять его не продавать Жанну. Однако граф нуждался в деньгах, и епископ знал, что это так, и все приходил и приходил к нему. И он торговался с ним и предлагал ему сначала тридцать семь тысяч франков, но Иоанн Люксембургский сказал:

— Это не цена за такую Деву.— И епископ предложил ему большую сумму, он предложил ему шестьдесят одну тысячу франков. И Иоанн Люксембургский сказал:

— По рукам, куманек.

Симону удивляло, почему Жанну пытались выкупить только враги. Она читала, что, по существовавшему обычаю, пленников выкупали их друзья. Симона представляла себе, как Жанна сидела в заточении и ждала, что ее освободят. Где же все ее друзья? Неужели король, которого Жанна венчала на царство, даже и не пытался вызволить ее? Ведь он мог предложить за нее деньги, города, английских пленных, — среди его пленников было немало знатных английских вельмож, генерал Тальбот, например. Быть может, англичане и не отдали бы Жанну. Но неужели он даже не сделал попытки? Нет, он не сделал такой попытки. Никто из друзей Жанны не сделал такой попытки.

Так что же это был за человек Карл Седьмой? Симона отказывалась его понять. Можно ли быть таким подлецом? Как мог он, зная, что Жанна в темнице,

дышать воздухом страны, которую Жанна завоевала для него, и палец о палец не ударить для спасения Жанны и так низко поступить с ней?

И Симона читала, как Жанну таскали из тюрьмы в тюрьму. С замиранием сердца читала она, как жизнь Жанны в заточении становилась все горше, все мучительнее и позорнее. Ей заковали поги, а ночью, когда она спала, ее приковывали к кровати. Сторожило ее пятеро английских солдат, невероятно грубые наемники, всячески потешавшиеся над ней. Они будили ее среди ночи и говорили: «Вставай, ведьма, собирайся, костер тебя давно дожидается», — и оглушительно гоготали, если она им верила.

До сих пор Симона мало интересовалась ходом судебного процесса, его подробностями. Она знала лишь, что Жанну судили и вынесли ей смертный приговор англичане, исконные враги. Теперь она с ужасом увидела, что это сделали вовсе не англичане. Церковный суд, перед которым предстала Жанна, состоял из одних французов. На судейских скамьях сидело шестьдесят два человека, весьма почтенные мужи, в большинстве случаев ученые с громкими титулами, в том числе чуть ли не все светила Парижского университета. В процессе участвовали: кардинал, шесть епископов, тридцать два доктора и пятнадцать бакалавров богословия, семь докторов медицины и сто три ассистента. В черной ученой книге были перечислены имена и титулы всех судей. За исключением шести или семи, имена были сплошь французские.

Инквизиция и университет, церковь и паука, представители бога на земле и представители государства объединились в измышлении все новых и новых преступлений, якобы совершенных Жанной. С растущим волнением читала Симона, какую великолепную, утонченную машину соорудили важные, грозные судьи для того, чтобы запугать и сбить с толку крестьянскую девушку, которой шел всего лишь двадцатый год. Гнев закипал в сердце Симоны, когда она представляла себя, как перед этими хорошо отдохнувшими, сытыми, хорошо подготовившимися судьями стоит крестьянская девушка Жанна, стоит одна-одинешенька, не зная, чего от

нее хотят, измученная долгим, тяжким заточением, в жалкой потрепанной мужской одежде, с давно нечесанными, коротко остриженными волосами, закованная в кандалы.

И пегодование душило Симону, когда она читала, к каким только коварным приемам не прибегал синклит судей, чтобы поставить на колени беззащитную пленницу. Они педопустимо затягивали допрос, чтобы вконец обессилить обвиняемую. Они забрасывали ее заведомо непонятными для нее вопросами. Они поминутно перескакивали с одного на другое, их вопросы скрещивались, судья перебивали друг друга. Они говорили так быстро и путано, что Жанна невольно взмолилась:

— Почтенные господа, говорите лучше по очереди, не все сразу.

Политический смысл суда и его цель трусливо скрывались. Ни слова не было сказано о войне между Францией и Англией, ни слова о спорной законности короля Карла. Это был суд внепартийный, духовный суд, речь шла только о духовных вопросах, о вере и неверии, об отступничестве Жанны.

Судьи поставили себе задачей побудить Жанну рассказать о ее святых; такие рассказы легко могли дать повод к самым каверзным толкованиям. Но на вопросы о ее святых Жанна отвечала молчанием. Тогда судьи пустились на хитрость. В книге преданий и легенд Симона читала: «Некоторые судьи, по распоряжению епископа Бовзэского, приходили в темницу к Деве, переодетые мирянами. Они говорили Жанне:

— Мы военнопленные, мы твои сторонники, жители твоего края.— И они говорили ей еще много подобных вещей и рассказывали будто бы о себе, и, вкравшись к ней в доверие, просили, чтобы и она рассказала им о себе. И расспрашивали ее о голосах, которые ей являлись. В стене же было пробуравлено отверстие, а в соседнем помещении сидели два нотариуса и слушали. И Дева открыто и честно говорила с этими иудами, а нотариусы все записывали, и судьи на том пытались поймать ее».

Жанне приходилось иметь дело с опытными юристами, известными крючкотворами, прошедшими огонь

и воду, и юристы эти пускали в ход всю юридическую и богословскую софистику, какую только знал тогда мир. Не было никакой надежды, чтобы Жанна вышла победительницей из этой борьбы; но с радостью и восхищением читала Симона, как смело и умно, с каким разящим остроумием защищалась Жанна.

Все вопросы отличались коварством и запутанностью, каждый был капканом.

Жанну спрашивали, почует ли на ней божья благодать? Скажи она «да», это было бы грехом и похвалой. Скажи «нет», — значит, она совершала свои деяния не по предначертанию господнему, а по собственной самопадежности. Насторожившись, ждали судьи ответа Жанны, насторожилась вместе с ними и Симона. И довольная, чуть-чуть улыбаясь, читала Симона, как умно и как простоудшно отвечала Жанна, ловко обходя расставленные ей сети.

— Если не почует, — сказала она, — то молю господу, да ниспошлет он мне ее. Если же почует, то молю господу сохранить мне ее. Не было бы печальнее меня создания на земле, если бы я узнала, что господь от меня отвернулся.

Или вопросы о видениях Жанны, как будто безобидные, на самом же деле в высшей степени коварные, и почти на каждый такой вопрос Жанна давала умные, смелые ответы.

— Был ли святой Михаил наг? — спрашивали судьи.

— Неужели вы думаете, что у господу не во что одеть своих ангелов? — отвечала она.

— Случалось ли тебе обнимать святую Екатерину и святую Маргариту? — спрашивали они. И еще: — Как пахли святые? — И еще: — Если твои святые бесплотны, то как же они могут говорить?

— Это уж дело господу бога, — отвечала Жанна.

— Святая Маргарита говорила с тобой по-английски? — спрашивали судьи.

Чего ради ей говорить по-английски, ведь она не на стороне англичан, — отвечала Жанна.

— Англичан господь бог ненавидит? — спрашивали они.

Жанна отвечала:

— Любит он их или ненавидит и какой удел готовит их душам, об этом мне ничего не известно. Но мне известно, что всем англичанам суждено быть изгнанными из Франции, за исключением тех, которые найдут здесь свою смерть.

Они спрашивали:

— Почему во время коронации в Реймском соборе твоему знамени отдано было предпочтение перед знаменами других полководцев?

И гордо отвечала Жанна:

— Мое знамя побывало в тяжких испытаниях и потому достойно почестей.

Они спрашивали:

— Какими ведьмовскими и колдовскими чарами ты пользовалась, чтобы воодушевлять солдат на битву?

Жанна отвечала:

— Я говорила им: «Вперед, бейте англичан», — и первая показывала пример.

И они спрашивали:

— Почему ты допускала, чтобы бедняки приходили к тебе и воздавали почести, словно святой?

И она отвечала:

— Бедняки сами несли мне свою любовь, потому что я была добра к ним и помогала всем, чем могла.

Но что бы она ни отвечала, приговора ничто не могло изменить.

Обвинители ее возгласили: «Повинуясь видениям, являвшимся ей, она предалась во власть злых и бесовских духов. Нося мужскую одежду, она нарушила заповеди Евангелия и предписания канонического права. Утверждая, что святая Екатерина и святая Маргарита говорили по-французски, а не по-английски, так как были сторонницами Франции, она кощунствовала и нарушала заповедь любви к ближнему. Грозя англичанам смертью, она обнаружилась жестокой и кровожадной. Покинув родителей, чтобы отправиться к самозванному дофину, она нарушила господнюю заповедь: чти отца и мать свою. Считая себя избранницей божьей, она тем самым отрицает авторитет церкви и изобличает себя как еретичку».

Симона задумалась. Очевидно, Жанна ставила приговор собственного сердца, приговор являвшихся ей голосов выше, чем приговор церкви, приговор тех, кто был представителями бога на земле. Очевидно, судьи Жанны обвиняли ее в самом страшном, в самом бесовском из грехов: в своеволии.

И Симона читала, в какой грандиозный и жалкий спектакль облекли судьи провозглашение приговора.

На позорной телеге Жанну вывезли на обширное, обнесенное каменной оградой кладбище Сент-Уанского аббатства. Там было воздвигнуто два помоста: на одном расположились судьи и высшие сановники, на другом стояла только Жанна в своей мужской одежде и в кандалах, и проповедник, мэтр Гийом Эрар. Вокруг обоих помостов было черным-черно от толпившихся людей, а ограда усеяна тесно сгрудившимися зрителями. И мэтр Гийом Эрар перечислял еретичке ее грехи и срамил ее. «Однако, — сказано было в золотой книжке, — Дева, просидевшая столько времени в затхлой темнице, была словно одурманена свежим воздухом.

Трижды ее подводили также к орудиям пытки и грозили ей ими. И она стояла терпеливо и молча и, молясь про себя, слушала слова позора, произносимые проповедником. И он срамил ее и ее короля, короля Карла. И, указывая на нее пальцем, он возгласил: «Я говорю о тебе, Жанна, я объявляю тебя еретичкой и утверждаю, что и твой король еретик и отступник». Но тут, среди враждебной толпы и в присутствии знатных господ и прелатов, Дева прервала его и громко воскликнула: «Однако довольно. Я говорю вам, господин, и я клянусь жизнью, что мой король Карл благороднейший из христиан и что больше всего на свете он чтит веру в церковь. Он отнюдь не тот, за кого вы его выдаете», — и лишь с трудом удалось привести ее к молчанию».

Симона опустила книгу. Долгие месяцы Жанну терзали, таскали из одной тюрьмы в другую, и жестокие судьи травили ее, а король, человек всем ей обязанный, палец о палец для нее не ударил; он ни разу не подал о себе вести, он исчез, он и все его приближенные, он попросту покинул ее, бросил на произвол судьбы. Она же верила в него еще и теперь, в минуту величайшей

муки и опасности, она подняла свой голос в его защиту, когда его срамили, она защищала его и теперь.

И Симона читала, что произошло затем на обнесеной каменной оградой кладбище аббатства.

Епископ Бовэзский заготовил две редакции приговора. Одна из них предназначалась для еретички, упорствующей в своей ереси; в этом случае она приговаривалась к смерти через сожжение. Вторая редакция предназначалась для еретички, принесшей покаяние: в этом случае ее должны были помиловать и подарить ей жизнь.

Трижды, по всей форме, прелаты призывали Деву покаяться и отречься от ее голосов и от ее короля. Трижды отвечала Дева отказом.

Когда она отказалась в третий раз, епископ стал оглашать приговор, который изгонял упорствующую еретичку из лона церкви и осуждал ее на смерть.

Пока епископ читал, на помост к Жанне поднялось много священников, и все уговаривали ее покаяться. Они читали ей заготовленный текст отречения и убеждали ее: «Отрекись, подпиши, или ты будешь сожжена», — и они показали ей на ожидавшего ее палача и на позорную телегу, в которой ее повезут к костру.

Увидев, что с Жанной ведутся переговоры, толпа внизу заволновалась. Английские солдаты стали громко роптать, что им обещали показать сожжение еретички, и они не позволят обмануть себя, да и кое-кто из именитых англичан на трибуне тоже принялся ворчать, зачем, черт возьми, они заплатили такую прорву денег, если Деву не казнят. Ропот становился все громче, он заглушал зычный голос епископа, читавшего смертный приговор.

Симона видела Жанну, стоящую на помосте. Перед ней — телега, а на другом помосте, напротив, враждебный судья читает ужасный приговор, и снизу к ней устремлены тысячи разъяренных лиц и орущих ртов людей, требующих ее смерти, а окружившие ее тесным кольцом несколько человек, как будто доброжелателей, убеждают ее отречься, и тогда они освободят ее от английской стражи и возьмут навсегда под милосердное признание церкви и переведут в церковную тюрьму.

Симона понимала Жанну, которая не устояла в эту минуту. Епископ, читавший приговор, дошел как раз до места, гласившего: «На этом основании мы объявляем тебя еретичкой, изгнанной из лона церкви, и постановляем передать тебя в руки светского правосудия как отродье сатаны...» Тут Жанна прервала его и заявила, что готова отречься, что она более не упорствует, не верит в являвшиеся ей голоса и видения и обещает впредь во всем повиноваться судьям и церкви. И они дали ей заготовленный текст отречения, и она поставила под ним свою подпись в виде большого завитка, но они сказали, что этого недостаточно, и она поставила вместо подписи крест.

Симона представляла себе, какой стыд, какие сомнения терзали Жанну, когда она вернулась в камеру. После всего, что ей говорили священники, она ждала, что ее переведут в церковную тюрьму с более мягким режимом. А привели ее в прежнюю темницу и снова заковали в кандалы. День и ночь ее сторожили все те же грубые английские паемники, двое безотлучно находились с нею в камере, трое — за дверью. Одно только изменилось: она надела женское платье. Этого потребовали и добились от нее духовные судьи, ссылаясь на подписанное ею отречение. Они предупредили также, что за малейшее прегрешение против предписаний церкви ее объявят неисправимой еретичкой, и это повлечет за собой немедленную казнь.

С щемящей радостью читала Симона, что произошло затем. В четверг Жанна отреклась и дала обет во всем повиноваться церкви. Но прошло всего три дня, и она снова надела мужское платье и взяла обратно свое отречение.

Случилось это так. В воскресенье утром, проснувшись, она попросила своих тюремщиков снять с нее кандалы, так как ей нужно встать и оправиться. Тюремщики же, забросив далеко ее женское платье, кинули ей мужскую одежду. Жанна сказала:

— Мосье, ведь вы знаете, что мне запрещено надевать мужское платье. Я впаду в грех, если надену его. Дайте мне мое женское платье. — Тюремщики только рассмеялись в ответ. До самого обеда Жанна просила

их, а они все не давали ей женского платья. Наконец естественная нужда заставила Жанну встать и надеть мужской костюм. Солдаты, находившиеся в ее камере, крикнули тем, что стояли за дверью:

— Ура, теперь она в наших руках.

Симона читала, как на следующий день, в понедельник 28 мая 1431 года, в темницу к Жанне пришел сам епископ Бовзский в сопровождении двух прелатов-секретарей. Он спросил Жанну напрямик, почему она снова надела мужское платье. Жанна же — и тут сердце у Симоны радостно забилося — не стала оправдываться, не стала рассказывать обо всей этой плачевной истории, а заявила: «Я сделала это потому, что вы не сдержали своего слова. Вы обещали, что мне разрешат слушать мессу и что с меня снимут кандалы. Если вы допустите меня к мессе и снимете оковы и пришлете женскую стражу, как обещали, я сделаю все, что вы хотите».

Епископ не стал отвечать ей, а, наоборот, заметив, что Жанна настроена мятежно и вызывающе, тотчас же поспешил задать ей новый вопрос. «Слышала ли ты после четверга, дня твоего отречения, голоса святой Екатерины и Маргариты?» Вопрос этот был ловушкой, ведь Жанна заявила, скрепив это своей подписью, что не упорствует более и не верит в являвшиеся ей голоса и видения. Однако она не испугалась опасности. Не считаясь со своим отречением, она ответила: «Да. Я слышала голоса».

Тут, верно, епископ обрадовался. Но и Симона обрадовалась. С гордостью и удовлетворением читала она, как Жанна на вопрос епископа: «Что сказали тебе твои голоса?» — опять смело ответила: «Они сказали мне: господь сожалеет, что я, ради спасения своей жизни, поддалась уговорам и отступилась и отреклась. Они сказали мне, что, спасая свою жизнь, я изменила богу, и бог отвернулся от меня. Они сказали мне, что тогда, на помосте, я должна была смело отвечать проповеднику, — ведь это был обманщик, а не проповедник, и то, в чем он меня упрекал, было ложью. Сказав, что не бог послал меня, я навлекла на себя его немилость. Ибо правда в том, что я послана богом. Только страх перед огнем заставил меня сказать то, что я сказала».

И прелат, записывавший ее ответы, заметил на полях: «*Responsio mortifera*» — пагубный ответ.

О событиях, разыгравшихся вслед за тем, Симона читала неоднократно. Но в эту ночь ей казалось, что она читает о них впервые.

В среду утром Жанну всенародно отлучили от церкви, объявив неисправимой еретичкой, и передали в руки светского судьи. На позорной телеге вывезли ее на Старый рынок города Руана, черный от людской толпы. На одной трибуне сидели судьи, на другой — остальные прелаты. Посреди рынка сложен был костер, на нем установлена доска с надписью: «Жанна, называвшая себя Девой, вероотступница, ведьма, окаянная богохульница, кровопийца, прислужница сатаны».

Ее подвели к костру. Чтобы все ее видели, был сооружен высокий гипсовый эшафот и на нем сложена высокая поленница. Один из священников произнес длинную проповедь, Жанна стояла на коленях и молилась. Епископ Бовэзский прочитал приговор. Все это заняло много времени, и английские солдаты орали: «Эй, поп, ты, видно, собираешься заставить нас ужинать здесь?» Жанна попросила, чтобы ей дали распятие, один солдат сжалился над ней и подал ей грубо сколоченный из двух щепочек маленький крестик, и она поцеловала этот крестик и положила за паху, между телом и платьем. На голову ей напялили высокий бумажный колпак с надписью: «Неисправимая еретичка, отступница, идолопоклонница». Потом привязали к столбу, и палач разжег костер. Жанна крикнула: «Иисус», и еще раз: «Иисус», и когда она в седьмой раз крикнула «Иисус» — она уронила голову на грудь и скончалась.

Но англичане боялись, как бы кто не сказал, что Жанна сумела спастись. Поэтому они приказали палачу отодвинуть горящий костер и показать толпе привязанное к столбу мертвое, но еще не сгоревшее тело ведьмы. Один парижанин, присутствовавший на казни, так описал происходившее: «Она была привязана к столбу, укрепленному на высоком гипсовом эшафоте, на котором был разложен костер. Платье на ней сразу же сгорело, и тогда палач отодвинул костер, дабы рассеять в народе всякое сомнение. И весь народ увидел ее мерт-

вой и нагой, и все увидели обнаженное девичье тело. И когда все вдосталь насмотрелись на мертвую, привязанную к позорному столбу, палач снова придвинул горящий костер к ее останкам, так что они сгорели дотла, и мясо и кости ее превратились в пепел».

Но в золотой книге Симсена читала: «Хотя палач, по приказу англичан, не жалел масла, серы и угля, чтобы сжечь тело Девы, он увидел, что сердце ее осталось нетронутым. Тщетно старался он его уничтожить. Что он ни делал, оно рдело и билось в пепле. Тогда английский кардинал, обеспокоенный этим чудом и опасаясь народного волнения, отдал приказ бросить в Сену сердце, кости и пепел Жанны. И палач сказал: «Мне страшно, я попаду в ад, ибо я сожгу святую». И многие из англичан говорили: «Не может быть, чтобы она была дурной женщиной». И некий руанский каноник, бия себя в грудь и рыдая, сказал: «Да вознесется моя душа туда, где теперь душа Девы». Другой участник суда целый месяц ходил словно обезумев, мучимый раскаянием, и из денег, полученных в награду за участие в суде над Жанной, купил молитвенник и молился за Деву.

Представитель короля английского, отправляясь на казнь Жанны, торжествовал и радовался. Возвращаясь же с казни, он, терзаемый мукой и печалью, сказал: «Мы погибли, ибо мы сожгли святую».

5

ЖЕСТОКАЯ НАГРАДА

Симона стоит на камне у садовой ограды и смотрит на дорогу. Она ждет денег для выкупа. Придется, конечно, набраться терпения, за нее требуют очень большой выкуп. Но она не сомневается, что друзья соберут нужную сумму. С минуты на минуту должен появиться мосье Рено, почтальон, с чеком на крупную сумму.

Не пойти ли ей лучше в кухню? Переговоры о выкупе происходят в голубой комнате, и в кухне она услышит все, что там говорят, даже если двери закрыты. Кстати, к телятине сегодня бобы, и надо еще их почи-

стить. Поэтому вполне естественно, если она будет в кухне, мадам не сможет к ней придаться.

Она сидит на табуретке, миска с бобами у нее на коленях. Некоторое время до нее ничего не доносится. Потом она совершенно явственно слышит высокий, надтреснутый голос мосье Корделье:

— Я, конечно, всей душой рад бы выкупить Деву из плена, в котором ее держат мадам и двести семейств. Весь мой народ ропщет, что я давно уже этого не сделал. Они организовали для нее сбор денег, как в свое время для Испании. Но много ли соберешь пожертвованиями? Ведь все это голь несчастная, больше двух-трех франков никто из них дать не может, двести семейств высосали из них всю кровь. Как же вы полагаете, господа, что нам делать? — Супрефект говорит по-латыни, но Симона понимает все до единого слова.

Она слышит пронзительный, насмешливый голос Жилия де Рэ:

— Без разговоров подписываюсь на десять тысяч франков. Это, конечно, жалкие гроши, ведь мадам требует двадцать миллионов. Но женщины и актеры стоят мне бешеных денег, в особенности эта нахальная толстуха Луизон. А кроме того, мне необходимо приобрести на свои средства крейсер для нашего флота в Алжире, потому что верденский пораженец и господа генералы предали нас. Я уж все карманы вывернул, не завалялся ли там какой-нибудь франк. Но увы.

И король Карл промолвил печально:

— И у меня в карманах ветер свищет. Но вы-то, мосье Планшар, вы-то богатый человек, владелец большого транспортного дела, и речь идет о вашей племяннице, вам следовало бы подписаться на крупную сумму, по крайней мере на полмиллиона.

Симона перестает чистить бобы; волнуясь, ждет она, что ответит дядя Проспер. Он откашливается:

— Мне незачем говорить вам, ваше величество, — отвечает он, — как обливается кровью мое сердце, как у меня душа болит от одной мысли, что моя дорогая племянница, дочь моего брата Пьера, в плену. Она славная девочка и большая патриотка, хотя она и худа, как жердь. Но мне, как близкому ее родственнику,

неудобно в данном случае вмешиваться. Это навлечет на меня подозрения и повредит моим деловым связям. А я делец до мозга костей. Я просто в отчаянии, что вышеприведенные соображения и кровные узы мешают мне действовать. Если бы не это, поверьте, я бы с радостью подписался на все двадцать миллионов.

— Пустобрех, — презрительно говорит Жиль де Рэ.

— Тут может помочь только наш маркиз, — говорит со вздохом Карл Седьмой. — Ваше мнение, господин маркиз де ла Тремуй? — спрашивает он.

Короткое молчание, потом Симона слышит, как де Бриссон отвечает:

— Французский банк протестует. Французский банк считает легкомыслием, даже преступлением, при нынешнем состоянии финансов тратить деньги на освобождение самонадеянных молодых девиц.

Мадам входит в кухню.

— Ну, разумеется, ты подслушивала, — говорит она, — я в этом не сомневалась; что же, тем хуже для тебя, теперь по крайней мере тебе все известно. Кто подслушивает за дверью, ничего хорошего о себе не услышит. Ни одного су для самонадеянных молодых девиц. И так как ты не только домашняя воровка, но еще и шпионишь за мной, то я заявила сыну, что не желаю долее делить с тобой кров и стол. Я достаточно потратила на тебя нервов. Пусть двести семейств потрудятся найти для тебя другую тюрьму.

Симона сидит в закрытой машине. Руки и ноги у нее в кандалах, и ей страшно. Машина гроыхает по булыжникам, в ней темно и мотор тарахтит. Куда везут Симону? А вдруг в тюрьму Сен-Мишель, где сидит убийца Гитрио?

Жандармы — один из них мосье Гранлуи — открывают решетчатую дверцу и велют Симоне выйти; в кандалах это трудно. Мосье Гранлуи ведет ее на цепи, и через высокие двери они входят внутрь. Здесь, за длинными столами, стоят заключенные, и каждый из них ест из жестяной миски, припаянной к столу, и у каждого на голове круглый колпак, на котором значится номер

узики, его имя и преступление. Она смотрит, нет ли тут убийцы Гитрио. Он тут. «№ 617, Теофиль Гитрио, убийца-рецидивист».

Все поднимают головы, когда она входит, и один из арестантов сердито говорит:

— Мы обыкновенные добропорядочные преступники, мы промышляем ради куска хлеба. А эту всю Францию подожгла ради собственного удовольствия, ей, видите ли, охота разорить двести семейств.

И старик с изрытым оспой лицом беззубо шамкает:

— Вот отчего нас так плохо кормят. Спросите у нее, куда она девала сыр?

А убийца Гитрио похвально:

— По сравнению с такой, я просто ангел.

И все, сдвинув головы, о чем-то шепчутся, а потом говорят с коварным видом:

— Мы не будем есть с ней за одним столом. А если нас заставят, объявим забастовку.

Симоне очень стыдно. Она тихо-тихо говорит жан-дарму:

— Я предпочитаю совсем не есть, мосье Гранлуи.

Мосье Гранлуи кивает и уводит ее прочь.

Она ходит по двору, это двор автобусной станции, и это прогулка. Другие идут попарно, и только она совсем одна и держится на расстоянии от других. Она обходит двор по кругу, мелкими шажками, потому что на ней кандалы. Теперь ее ведет, держа за цепь, Арсен, консьерж с автобусной станции. Опять начинается ропот, что она здесь, и старик с изрытым оспой лицом плюется каждый раз, когда она проходит мимо.

В углу двора толпятся служащие дяди Проспера и таращат на нее глаза. Старик Ришар ворчит:

— Это никуда не годится, она всех нас, шоферов, лишила куска хлеба.

И бухгалтер мосье Пейру недоволен:

— Она украла ключ и взломала ящик. Домашняя воровка. Вообразите только, родная племянница фирмы Планшар.

На каменной ограде сидит маршал Жиль де Рэ с синими усами, в кожаной куртке. Когда Симона проходит мимо, он наклоняется и шепчет:

— Вот и я, спасенье близко. Сегодня почью, в половине первого, я буду ждать тебя за оградой на моем коньке Вихрь, ты сядешь сзади и будешь держаться за меня. — Сказав это, он отворачивается и покручивает свой синий ус с таким видом, словно ничего и не говорил, а потом соскакивает с ограды и исчезает. Вот это настоящий мужчина.

Прогулка продолжается. Двор очень пыльный, страшная жара, и ей хочется пить. Ей все время надо шагать по кругу, во рту у нее пересохло, а как только она останавливается, консьерж Арсен, который всегда ее не терпел, дергает ее за цепь и тащит дальше.

Потом она стоит у красной колонки, и двор полон людей, и все на нее смотрят. А на крыше конторского здания опять сидят адвокаты с птичьими головами, они перешептываются и что-то записывают, и внезапно Симона понимает, что это суд.

Но что за суд, она совершенно не представляет себе, и как она будет защищаться, если она даже не знает, перед каким судом она стоит?

— Что это за суд? — спрашивает она со страхом. И мадемуазель Русель, ее учительница, отвечает:

— Это высший суд, выше уже ничего нет. Если бы ты была внимательней, если бы ты не витала всегда бог знает где, ты бы знала, что суд этот учрежден Трудом, Отечеством и Семейей. И он знает только два решения — смерть или жизнь, и до сих пор он жизни никому не даровал. Ты, видно, наломала дров, — сокрушенно добавляет она.

— Я пла на то, что боши меня расстреляют, — упрямо отвечает она.

— Да, — признает супрефект, — ты храбрая девочка, мы все это знаем.

— Ведь это суд бошей? — снова спрашивает Симона на всякий случай.

— Да, — соглашается мосье Корделье, — да, это в некотором смысле, так сказать, вражеский суд. — И в глазах у него растерянность, и он глядит куда-то в сторону.

Но Симоне необходимо получить точный ответ, все ее поведение на суде будет зависеть от этого ответа.

— Так судьи — боши, не правда ли? — повторяет она свой вопрос. Супрефект теребит розетку на груди.

— Возможно, — говорит он, — пожалуй, вероятнее всего, я полагаю, можно сказать, я даже убежден.

Тут открывается дверь, и входят судьи. Симона смотрит, вытянув шею. Сейчас она наконец увидит, кто они.

Однако нет, ничего она не увидит. На лица у них надвинуты капюшоны, видны только глаза. Это, наверное, капюшонники-кагуляры, о которых всегда говорил Морис. Их очень много, на них красные мантии, а на капюшонах белые свастикки. Они усаживаются ряд за рядом на скамьях, расположенных амфитеатром. Это и в самом деле, вероятно, очень высокий суд.

Мэтр Левотур встает, чтобы произнести обвинительную речь. Он сбросил с себя птичью голову, и теперь он одет как обыкновенный адвокат. Жестикулируя белыми, пухлыми руками, он указывает на Симону пальцем, на котором сверкает перстень.

— Это тот дух неповиновения, — возглашает он, — который привел к гибели наше отечество Францию. Это дух подстрекательства и вечного недовольства, забастовок и мятежей. И он не желает прислушиваться к мудрости наших многоопытных дельцов. Симона упаследовала его от своего отца, известного смутьяна. И она увлекла за собой своего дядю, мосье Планшара, владельца одноименной фирмы, который раньше вовсе не был таким. Но она совратила его с пути истинного, уговорила восстать против мадам, против этой превосходной жепщины, против собственной матери. Быть может, он все и не сын своей матери, а только брат своего брата, Пьера Планшара, и поэтому он заодно с обвиняемой, и вы, высокочтимые судьи и фашисты, правильно сделали, что отняли у него его предприятие.

Симона спокойно слушала мэтра Левотура, пока он чернил ее одну. Но как только дело коснулось дяди Проспера, она возмутилась.

— Вы лжете, мэтр Левотур, — кричит она так громко, как может. — Я сама это сделала. Дядя Проспер честный француз, но он ничего не знал о моем решении. Вы не имеете права отнимать у него его транспортное

предприятие. Он прирожденный делец. Он делец до мозга костей, это его призвание. А вам, мэтр Левотур, вам здесь вообще не место. Вы ряженая ворона. Ваше место на крыше собора Парижской богородицы, рядом с прочими чудотворцами.

Судьи в красных мантиях сидят неподвижно и не снимают своих капюшонов. Очень плохо, что Симона до сих пор не знает, кто же, собственно, эти судьи, и сейчас она еще этого не знает, хотя они уже начинают допрос. И они наперебой забрасывают ее градом вопросов, стараясь сбить с толку.

— Почему ты, — спрашивают они, — принимая свое решение, послушалась супрефекта, а не мосье Планшара, хотя мосье Планшар образцовый делец и твой дядя? Разве ты не знала, что только Труд и Семья определяют, что есть закон и беззаконие? И разве, когда ты стояла у красной колонки, в голове у тебя не бушевали мятежные мысли и ты не возмущалась тем, что мосье Планшар зарабатывает на бензине, который он с таким трудом раздобывал? И разве ты не налила слишком много мускату в сметанный соус? И разве ты не побежала к мосье Ксавье и не встала на защиту черни, хотя ты племянница мосье Планшара и некоторым образом принадлежишь к числу двухсот семейств? И разве это не дух противоречия говорил в тебе, когда ты в темно-зеленых брюках шла спасать Францию, хотя мадам тебе не раз говорила, что неприлично носить мужскую одежду?

Симона с ужасом видит, что даже сейчас, на суде, она в темно-зеленых брюках. Все смотрят на нее, и всем бросается в глаза пятнышко крови, вот оно опять выступило. Все перешептываются друг с другом. На трибуне, где разместились двести семейств, открыто ропщут, и больше всего семейство девяносто семь.

И судьи продолжают допрашивать. Вопросы быстро следуют один за другим, они так и сыплются на Симону. А тут еще она замечает, что у нее заложено уши. Она видит, что судьи говорят, видит, как в прорезях капюшонов шевелятся их рты, как размыкаются и смыкаются губы, но до нее долетают только отдельные звуки, и вдруг провал — полная тишина. Ни шороха не доно-

сится до Симоны. Она видит, все в зале ждут ее ответа, и маятник качается вправо-влево, и едва он сделает сколько-то взмахов, — Симона никак не может уловить сколько, — как все адвокаты хором устанавливают:

— Обвиняемая молчит.

И судьи повторяют:

— Обвиняемая молчит.

И это единственное, что Симона слышит.

Она чувствует себя страшно маленькой и всеми покинутой. Кругом бесчисленное множество людей, здесь почти все жители Сен-Мартена — мосье Амио, и мосье Реми, и мосье Ларош, и все злы на нее, и все вытягивают шеи, стараясь увидеть ее, и радуются, что она не может ответить. Особенно злорадствует Пейру. Но и господа л'Агреабль и л'Ютиль уставились на нее злыми глазами, а ведь они всегда так любезно встречали ее и болтали с ней, теперь же мосье л'Агреабль явно потешается над ее молчанием, и мосье л'Ютиль кивает и язвительно усмехается. Все настроены страшно враждебно, а из друзей — никого.

Ей ясно, что она осуждена. Страх и горечь овладевают ею. Почему Наставник избрал ее? Сорок миллионов людей во Франции, и если никто из них не мог спасти Францию, почему этого требуют от нее? Возложенная на нее миссия означает верную гибель. Отец ее умер, Жорес умер, они убивают всех, кто послан утешить слабых и угнетенных. Это несправедливо, что на нее пал выбор, она ведь еще так молода.

Председательствующий встает, за ним, шурша мантиями, встают все судьи. Они поднимаются сразу, всем амфитеатром, снизу доверху, — огромная красная гора. И у всех на лицах красные капюшоны, и на капюшонах белые свастикки. А Симона одна, маленькая и жалкая, в запытаннных темно-зеленых брюках, стоит против этой огромной красной горы.

Но вот председательствующий величественным жестом сбрасывает с себя капюшон, и вслед за ним все откидывают капюшоны. И Симона видит: здесь только французы.

Сердце у нее замирает. Среди судей ни одного немца, только французы.

Она видит это. Она не верит своим глазам. Холодея от ужаса, уставилась она на лица. Она видит их.

Председатель — оказывается, это маркиз — возобновляет вопрос.

— Поскольку доказано, — говорит он скрипучим голосом, — что все эти тяжкие преступления совершили вы, Симона Планшар, я спрашиваю: кто вас толкал на них? Кто ваш Наставник?

Симона хочет ответить. Хочет сказать всю правду. Хочет постоять за себя и за свою страну. Но из горла не вылетает ни звука, язык отказывается ей служить. Страх растет, он ее сковывает. Если она сейчас не заговорит, она лишит смысла свое деяние. А она не может говорить, она поражена немотой.

Она озирается, ищет помощи.

Вот она помощь. Кто-то рядом, совсем близко, это помощь, Генриетта с ней. Легкая и милая, ни следа насмешливости в ее лице, она наклоняется к Симоне и нежным, сладостным голосом подбадривает ее:

— Отвечай смело.

Судорога, сжимавшая горло Симоны, проходит, немота исчезает.

— Жанна, — обращается она к Генриетте, растроганная. — Спасибо, Жанна, спасибо, дорогая сестра.

Никто из присутствующих ничего не видел и не слышал. Председатель повторяет свой вопрос:

— Кто же возложил на тебя твою миссию? — Судьи и адвокаты уже собрались хором установить: «Обвиняемая молчит», — но Симона заговорила. Сияя улыбкой, она возглашает своим красивым грудным голосом:

— Мой умерший отец, Пьер Планшар, возложил на меня мою миссию.

В большом соборе Богоматери наступает глубокая тишина. Симона чувствует, как враждебность, окружающая ее, начинает таять. Мосье л'Агреабль незаметно толкает мосье л'Ютиля, оба одобрительно кивают и улыбаются Симоне. Теплая волна понимания идет от народа к Симоне.

Судьи сурово выпрямляются на своих местах. Двести семейств на трибуне злобно нахохлились. Маркиз

вызывающе откашливается и с наигранно проницательской вежливостью спрашивает:

— А как он был одет, твой уважаемый отец, твой Наставник?

— Он был скромно одет, — отвечает Симона. — Он не был богат, ведь он борец. Папаша Бастид говорил мне, что отец покупал себе костюмы в пассаже Лафайет, в магазине готового платья.

— И волосы у него висели нематыми космами? — спрашивают судьи.

И Симона отвечает:

— У него не было времени следить за волосами. Он был слишком занят утешением слабых и угнетенных.

В публике ликование.

— Браво, — кричит мосье л'Агреабль.

— Браво, — кричат тысячи людей.

Маркиз встает, он кажется высоким в своей красной мантии, хотя на самом деле он маленького роста, на ногах у него блестящие сапоги для верховой езды, он похлопывает себя стеком по голенищам и грозитя:

— Я сейчас же велю очистить зал.

Этьен тут, он вызван в качестве свидетеля.

— Что, очень она задирала нос? — спрашивают его. — Хвасталась своим деянием? Приятно ей было, что все смотрели ей вслед? Говорила она с вами об Орлеанской Деве?

— Мы все охотно говорим об Орлеанской Деве, — отвечает Этьен, — это яркий светоч.

— Разумеется, — говорит мэтр Левотур, — главным образом потому, что она горела на костре.

Маркиз добавляет:

— Самое важное — это готовность принести себя в жертву. Жанна дала себя сжечь, а не сожгла гараж, который принадлежит другому. Поэтому память ее чтят и двести семейств.

Жиль де Рэ, он тоже свидетель, говорит:

— Мадемуазель, разумеется, поступила бы правильно, если бы насыпала в бензин сахар. Но откуда ей было это знать? От нее все скрывали. Она росла на вилле Монрепо, где ничего не видела, кроме глупости и предрассудков.

— Слушайте вы, свидетель без стыда и совести, — прерывает его маркиз, — если вы не перестанете оскорблять высокочтимых дельцов, я велю бросить вас в Сену.

— Только попробуйте, господи фашист, — отвечает Морис. — Увидите, все шоферы сразу же забастуют. Будете сами возить свои вина.

Вызывают новую свидетельницу. Симона не расслышала ее имени, но когда свидетельница ответила: «Здесь», — Симону обдало жаром. Этот холодный, ясный, тихий голос, слышимый в самых отдаленных уголках собора, — голос мадам. Она сошла со своего надгробного памятника, гордая королева Изабо, она втиснула свои телеса в корсет и облачилась в черное шелковое платье, и вот она стоит на кафедре и презрительно, приставив к глазам лорнет, оглядывает Симону.

— Поглядите на нее, уважаемые господа судьи, — говорит она. — Обвиняемая поистине дочь своего отца. Вы слышали, что у пресловутого Пьера Планшара не было денег даже на то, чтобы пойти к парикмахеру и постричься, и одет он был так бедно, что сквозь ткань его костюма просвечивала типографская краска. Но голову он держал высоко, как жираф. И обвиняемая совершенно такая же, мадемуазель горячка и голодранка. Ломаного гроша нет у нее за душой, она бы пропала и погибла, если бы не мой сын, который приютил и согрел ее. Но держит она себя так, точно ей принадлежит вся транспортная фирма. Воплощенная гордость и самонадеянность. Пожинать лавры популярности среди черни — вот все, чего эти Планшары хотят и что они умеют. Для этого Пьер Планшар отправился в дебри Конго будоражить негров, которые без него жили счастливо и беспечно. Для этого сия особа подожгла гараж и разбила жизнь моему бедному, славному сыну. Для этого она надела темно-зеленые брюки. Ей нужно, чтобы в Сен-Мартене все ею восхищались, и в особенности шофер Морис. А что она собой представляет при ближайшем рассмотрении? Домашняя воровка. Вот. — И она достает из сумки ключ от личного кабинета дяди Проспера и сует его к самым глазам Симоны, и ключ все растет и растет.

— Мы весьма благодарны вам, мадам, — говорит маркиз, — теперь картина нам совершенно ясна. — И он, а за ним и все остальные снова натягивают на лица капюшоны с белыми свастиками.

— Переходим к приговору, — возглашает председательствующий капюшон. — Уважаемые господа коллеги и фашисты, эта Симона, которая назвала себя Орлеанской Девой, словом и делом хулила и оскверняла святость приносящего прибыль Труда. Что полагается за это?

— Смерть, — отвечает красная гора.

— Она ни во что не ставила авторитет генералов, которые для вящей пользы Отечества отдали в руки нацистов французскую армию. Что полагается за это?

— Смерть, — отвечает красная гора.

— Она делами и помыслами восставала против мудрого руководства мадам, попирая тем самым авторитет Семьи. Что полагается за это?

— Смерть, — отвечает красная гора.

— Итак, именем закона объявляем, — резюмирует маркиз. — Девушка Симона Планшар, именуемая также Жанной д'Арк, проявила вероломство, цепляясь за отжившие идеалы своего нищего отца — Свободу, Равенство и Братство, — и своевольно восстала против принципов новой Франции — Труд, Отечество, Семья, — носителем которых является престарелый маршал. Ввиду вышесказанного мы приговариваем сию неисправимую ослушницу к публичной казни. Я спрашиваю вас, господа судьи, какую форму казни мы изберем?

— Сожжение, — отвечает красная гора.

— Сожжение ныне и присно и во веки веков, — возглашает маркиз и объявляет смертный приговор вступившим в силу, и все чуждща каркают.

Она сидит в позорной телеге, — это пежо, который давно надо было отправить на слом, и старик Ришар впряг в него две пары лошадей, чтобы доставить Симону к месту казни. Казнь произойдет на площади Генерала де Грамона. Там уже воздвигнута гильотина.

Сначала Симону несколько раз обвозят вокруг площади, чтобы все ее видели. Беженцы внимательно рассматривают ее, ребенок перестает играть со своей

кошкой и смотрит на Симону. Изю всех окон отеля высываються люди. В окне бывшей наполеоновской опочивальни показалась мадам, сегодня день ее торжества.

Гильотина поднимается все выше и выше. Симона стоит, очень маленькая, и смотрит вверх. Рядом с ней, за ее плечом, стоит мосье Пейру и, наклонив к Симоне свою заячью физиономию, таинственно шепчет:

— Фирма Планшаров никогда не оставляет в беде своих служащих. Шеф не пожалеет никаких денег, чтобы спасти вас, мадемуазель. Вам нужно только чуть-чуть отречься, а там можете отправиться домой и лечь спать. Вот, пожалуйста. — И он протягивает ей свое автоматическое перо. — Требуется только ваша драгоценная подпись.

Она держит в руке автоматическое перо. Она смотрит на бумагу, на белое пятно, которое ждет ее подписи. Она не хочет подписывать бумагу, но что-то мешает ей вернуть мосье Пейру его ручку. Страшно умирать такой мучительной смертью, когда ты еще молода, и только потому, что ты сделала нечто хорошее и достойное. Сколько жестокости и несправедливости в этом мире, и все бросают тебя на произвол судьбы.

Мосье Пейру вынимает из кармана часы.

— Я бесконечно сожалею, мадемуазель, — говорит он, — но палач согласился ждать всего лишь одну минуту. Итак, я считаю до шестидесяти. — Он стоит перед ней с подобострастным и укоризненным видом и начинает считать: — Раз, два, три, семь, двенадцать, — и каждая цифра рвет Симону на части. Она не хочет умирать. Ей нужно лишь поставить свою подпись. Всего несколько букв, и она будет жить. Она не смеет, не смеет, не смеет изменить своей великой миссии. А бухгалтер все время протягивает ей текст отречения, соблазн непреодолим, рука ее все ближе и ближе придвигается к бумаге. Хотя бы он уже кончил считать. — Пятьдесят четыре. — Теперь уже недолго. — Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят.

Ну вот, все кончено. Она избавилась от соблазна. Она умрет. С огромным облегчением, но и с великим страхом видит она, что мосье Пейру со своей автоматической ручкой исчез.

Сейчас она поднимется по ступеням. Нельзя показать, что ей страшно. Теперь самое важное — быть мужественной, от нее этого ждут, и справедливо ждут; если в эту минуту она не проявит мужества, то все совершенное ею превратится в пустое бахвальство. Мужайся. Поднимись. Поднимись по ступеням.

Наверху ее ждет нож гильотины. Клинок его медленно качается из стороны в сторону, он голубой и блестящий. Сейчас он станет красным. А она будет обезглавлена, и страшно хлынет кровь.

Нет, она не в силах подняться по ступеням. Движения ее скованны. Даже на нижнюю ступеньку не может она поставить ногу. Ей не поднять ноги, ни за что.

Над Симоной нависла чья-то рука, сейчас она схватит ее и потащит вверх. Рука приближается за ее спиной, сверху. Симона не видит ее, но чувствует, — рука все ближе, ближе, вот она опускается, тяжелая, угрожающая, отвратительная. И какой позор, какой неимоверный позор, что Симону нужно тащить и толкать, что она такая трусиха. Рука опускается, опускается, мучительно медленно, все ближе, ближе. Это беспощадная рука, она схватит железной хваткой, плечо у Симоны покраснеет, пойдет пятнами, как тогда, когда дядя Проспер схватил ее за плечо.

Она чувствует исходящий от руки ток. Она вздрагивает, мороз пробегает у нее по коже, пушок на затылке поднимается дыбом. И вдруг она слышит чей-то голос, нежный, ясный, успокаивающий:

— Не бойся. — Это голос Генриетты. И рука исчезает. И страх исчезает.

Симона поднимает ногу. Она всходит по ступеням, пикем не подталкиваемая, сама. Вперед — Генриетта. Генриетта не ступает, она и не парит, она скользит вверх по ступеням, вселяя в Симону чувство счастья.

Наверху по-прежнему ждет ее острый клинок, голубая, мерцающая сталь. Нож все так же медленно качается из стороны в сторону, он очень большой и становится все больше и больше, но в нем уже нет ничего страшного. Это только синева, светлая, ласковая синева раскинулась над Симоной высоким сводом, уходя все выше и выше, и это уже не голубая сталь — это небо, и

Симона не всходит по ступеням, она парит, она скользит вверх. И чувствует, что, когда она будет наверху, все трусливое и подлое останется глубоко внизу, под ногами, и сама она станет частью светлой, вольной, блаженной синевы.

6

ЗАПАДНЯ

На третий день утром, было еще довольно рано, дядя Проспер вернулся из своей поездки.

Симона убирала голубую гостиную, дверь в прихожую была открыта, Симона видела, как он вошел. Она не шелохнулась. Он снял пальто и шляпу, оставил чемодан в маленькой каморке, рядом с прихожей, и поднялся к себе в комнату. Она не знала, видел ли он ее.

Сознательно или случайно, но он с ней не заговорил, не поздоровался, он просто не заметил ее. Это укрепило в ней чувство глубокой подавленности, тупую апатию, не покидавшую ее с той минуты, как она отказалась от предложения Мориса.

Она следила за тем, что делал весь этот день дядя Проспер. Он не выходил из дому, он оставался на вилле Монрено, он не поехал в Сен-Мартен. Но видела его Симона только за завтраком, обедом, ужином, когда подавала на стол. Все остальное время он почти полностью провел в комнате мадам, расположенной в стороне, поэтому оттуда не доносилось ни звука. Сомнений быть не могло, они говорили о ней, они решали ее судьбу.

И вдруг в Симоне воскресла похороненная уже было надежда. Это хороший признак, что она и ее судьба могут быть предметом таких пространных обсуждений. Быть может, скорее всего, дядя Проспер изыскал в Франшевилле пути и средства спасти ее от рук немцев. Быть может, скорее всего, спасение это связано с затратой больших средств. Быть может, скорее всего, он старается теперь получить согласие мадам.

Под вечер, незадолго до ужина, мадам вошла в кухню. Осмотрела все, что Симона приготовила, попробовала одно-другое, велела прибавить в суп немножко луку. Затем вскользь сказала:

— До ужина зайді в голубую гостиную, мой сын хочет с тобой поговорить.

Симона решила ничего больше не бояться, ни на что больше не надеяться. И все же сейчас, в ожидании решающего объяснения с дядей Проспером, она почувствовала слабость в коленях. Она хотела подняться к себе, привести себя в порядок. Но мадам сказала:

— Тебе незачем переодеваться.

Симона пошла в голубую гостиную в затрапезном платье, повязанном передником.

Дядя Проспер казался смущенным, что было па него совсем не похоже. Он долго не знал, с чего начать. Молча походив из угла в угол, он уселся за маленький столик, где обычно пили кофе. На столике стояла бутылка перно, он налил рюмку и выпил. Симона, вежливо поздоровавшись, стояла, ждала. Она опять была совершенно спокойна, но вся — собранное внимание. Она не только отчетливо видела каждую черточку его лица, но напряженными чувствами воспринимала все, что было в комнате. Крючок, на котором держался шнур одной из оконных штор, ослаб, она мысленно заметила себе, что завтра утром надо его прибить крепче.

— Садись же, — сказал дядя Проспер несколько нервозно. Он осушил еще одну рюмку своего перно. — Жаль, что ты не пьешь, — сказал он с напускной веселостью. — За рюмкой легче говорить.

Симона ничего не ответила. Она сидела на своем маленьком стуле, скромная Золушка из сказки.

Сколько раз за эти десять лет она сидела так на этом стуле, дурно одетая, безответная. Сегодня это вдруг неприятно поразило его.

— Так больше продолжаться не может, это невыносимо, — вскипел он вдруг. — Невыносимо, чтобы ты жила в доме как служанка, которую терпят, и только. Дочь моего брата. Но у татапа свои соображения, и я не могу не считаться с ними.

Ну да, Симона так и думала. Это была мысль мадам выставить ее на кухню, содержать как заключенную.

— В прошлый раз, — продолжал он, — у тебя было вполне разумное желание открыто поговорить со мной. Но, к сожалению, ты сразу же заговорила языком ми-

тинговых ораторов и так огрызалась на мои слова, что, при всем желании, у нас не мог получиться настоящий разговор. Дочь моего брата — воровка, домашняя воровка, а ведет себя так, точно я обязан перед ней оправдываться. Я чрезвычайно терпим, я стараюсь понять каждого, но всякому терпению есть предел.

Симона молчала. Он подождал немного и снова начал:

— Чего я до сих пор не могу постичь, что положительно не уместается у меня в голове, так это что ты не поговорила со мной раньше, чем натворить беду. Вот уже десять лет, как ты живешь под моим кровом. За это время тебе не раз представлялся случай узнать меня. Тебе известно, что я человек, с которым можно договориться. Почему ты просто не пришла ко мне и не сказала: «Дядя Проспер, по-моему, гараж необходимо разрушить». Мы с тобой обсудили бы все, и я объяснил бы тебе, почему я считаю, что нет необходимости разрушать гараж, привел бы тебе свои веские соображения, и уверен, ты поняла бы их, ведь ты умная девочка. Не сомневаюсь, что я отговорил бы тебя от такой глупости. А вместо этого ты делаешь бог знает что — ворует у меня за спиной ключ и губишь нас всех.

Он говорил с ней открыто, честно, по-товарищески, по-отечески. Еще неделю назад ему, вероятно, удалось бы убедить Симону в своей искренности. Сегодня же она видела в нем лишь человека, который, перевирая и подтасовывая, изображает все так, как ему удобно. Она ответила упрямо:

— Вы хорошо знаете, почему я это сделала. — Этим было сказано все, этим были начисто сметены все его распрекрасные аргументы.

Он не стал с ней спорить. С горечью сказал только:

— Слушая ответы подобного рода, я не постигаю, зачем я столько времени ломал себе голову над тем, как тебе помочь.

— Не думаю, чтобы мне нужна была помощь, — сказала Симона. — Не думаю, чтобы мне грозила опасность. — Она хорошо усвоила объяснения Мориса, много и упорно размышляла над ними. Теперь она в силах показать дяде Просперу, что ей не так легко втереть очки.

— Я сделала это до прихода немцев, — пояснила она свою мысль. — Я выполнила указание супрефекта. Я сделала не больше того, что сделал бы или обязан был сделать каждый французский солдат. Если я подлежу наказанию, значит, и любой французский солдат подлежит наказанию. Вы зря ломаете себе голову, дядя Проспер, — заключила она с едва заметной иронией. — Со стороны бошей мне ничего не может угрожать.

Дядя Проспер, несколько сбитый с толку логичностью ее рассуждений, налил себе рюмку перно.

— Хотел бы я знать, — негодовал он, — кто тебе все это вбил в голову? Надеюсь, ты сама понимаешь, что если бошам вздумалось бы взяться за тебя, их не остановили бы никакие юридические тонкости. Они не разводят церемоний, голубушка, смею тебя уверить. Если они сразу же не схватили тебя, то этим ты обязана только счастливому стечению обстоятельств. В данный момент немцы стараются с нами ладить. Они заигрывают с населением. Но это ненадолго. Они намерены проводить у нас политику кнута и пряника, мне прямо сказал это в Франшевиле один из их офицеров. Возможно, уже завтра им будет выгодно представить дело так, будто даже дети наши восстановлены против них, и они схватят тебя и, чтобы другим было неповадно, расстреляют или отправят в какую-нибудь тюрьму в Германию. Они сейчас хозяева, они делают все, что им заблагорассудится. А ты берешься утверждать, что у тебя нет оснований опасаться бошей.

То, что говорил дядя Проспер, было вполне вероятно, больше того — примерно то же самое сказал и Морис. При мысли о столь близкой опасности сердце у Симоны сжалось от страха. Но в то же время она почувствовала облегчение, — опасность исходила не от дяди Проспера, а со стороны бошей.

А тут еще дядя Проспер вдруг заулыбался, все лицо его улыбалось той сияющей улыбкой, которая пропикала Симоне в самое сердце.

— И все же ты права, — сказал он. — Не зная, что и как, ты оказалась права. Тебе действительно ничто не угрожает, по крайней мере сейчас ты вне опасности. Мне пришла в голову одна идея, очень удачная, и я не стал

делиться ею с этим ослом Филиппом, а сразу же поехал в Франшевилль к префекту. Я изложил ему свою идею; он, тотчас же снесясь с немцами, позондировал там почву и, — тут дядя Проспер глубоко перевел дыхание, — я очень рад, дело, по-видимому, в шляпе. Опасность, можно сказать, устранена.

Симона сидела на своем маленьком стуле, сосредоточенная, замкнувшись в себе. Как ни странно, но к ней почему-то вернулись сомнения в добрых намерениях дяди Проспера, и ее не так занимали подробности придуманного им хитроумного плана, сколько вопрос — нет ли тут подвоха.

Он, разочарованный ее молчанием, продолжал говорить уже с меньшим воодушевлением, поясняя, что он имел в виду.

Боши, объяснял он ей, ведут точный учет, насколько та или иная из занятых ими областей благонадежна. Сен-Мартен, в связи с поджогом, у них на особо плохом счету, на город сыплются тысячи придинок, которых избежали другие оккупированные города. Факт поджога, конечно, оспорить нельзя. Но зато можно спорить о том, действительно ли поджог совершен из политических соображений.

— Тебе все понятно? — спросил он.

Симона слушала насторожившись. Она сухо ответила:

— Да.

— Что это значит? — продолжал он. — Это значит, что поджог следует из политической сферы перенести в уголовную, так сказать, в сферу частной жизни. Боши придерживаются той точки зрения, что в тех местностях, где имели место акты национального фанатизма, им следует, естественно, принимать строжайшие меры предосторожности. Там же, где население проявило добрую волю к сотрудничеству в деле поддержания спокойствия и порядка, они готовы идти на любые послабления. Офицеры германского штаба твердо обещали префекту: если последует разъяснение, что поджог совершен по тем мотивам, о которых говорю я, они сейчас же отменяют чрезвычайные репрессии, применяемые к Сен-Мартену и его округе.

— Если француз выполняет распоряжение французских властей, это считается фанатизмом? — деловито осведомилась Симона.

— Совершенно несущественно, — нетерпеливо отвечал дядя Проспер, — как мы с тобой ответим на этот вопрос. В данном случае решающим является мнение тех, кто держит в руках нашу судьбу.

Он ходил из угла в угол, он не смотрел на нее, она же не спускала с него глаз и видела, как его густые золотистые брови нервно дрогнули. Она была начеку.

— Как же можно доказать, — спросила она медленно, тщательно подбирая слова, — что поджог совершен по мотивам личного характера, если общеизвестно, что мотивы эти чисто политические? — Она чувствовала, что сейчас услышит самое главное.

Дядя Проспер стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Он вернулся к столу, отхлебнул вина, вытер губы и сказал беззаботным тоном:

— Видишь ли, сейчас бошам, по-видимому, важно подчеркнуть идею сотрудничества. Во всяком случае, они склонны посмотреть на дело сквозь пальцы. Они удовольствовались бы любой официальной бумажкой с изложением сколько-нибудь правдоподобной версии. Тебе достаточно подписать заявление, что ты подожгла гараж по личным мотивам. Скажем, потому, что ты повздорил с татам.

Симоне показалось, что ее ударили по голове. У нее потемнело в глазах, она боялась, что упадет со стула. Но приступ слабости быстро прошел, вот она уже в состоянии говорить. Словно сквозь туман слышала она собственный голос, он звучал ясно и твердо:

— Никогда я не подпишу такого заявления. Быть не может, чтобы вы это серьезно от меня требовали.

Дядя Проспер нервно повел плечами. Но, по-видимому, он ждал, что она не сразу согласится на его чудовищное предложение.

— Я понимаю, — мягко сказал он, помолчав, — я понимаю, что ты не хочешь отступить от совершенного тобой дела и противиться тому, чтобы тебе подсовывали ложные мотивы. Но учти, прошу тебя, следующее. Твое, — он искал слова, — твоё «деяние» имело, быть

может, смысл, когда ты его совершала. Тогда ты могла себе сказать: а вдруг все же произойдет чудо, а вдруг наша армия выстоит? Но сейчас, когда заключено перемирие и война окончена, я, право, не вижу, зачем упорствовать, утверждая, что поджог совершен по политическим мотивам. Что толку? Такое упорство ни к чему хорошему привести не может. Над тобой будет вечно висеть угроза в любую минуту быть схваченной немцами, а Сен-Мартен и дальше будет оставаться в худшем положении, чем любой город в Бургундии. Твой приятель Ксавье Бастид подтвердит тебе, что в репрессиях виновата только эта злополучная история.

Симона сидела все с тем же протестующим, замкнутым видом. Он подошел к ней, положил ей руку на плечо. Она почувствовала запах вина в его дыхании и увидела его ухо, кверху суженное и толстое. Она чуть заметно отвела плечо, он снял руку.

— Допускаю, — заговорил он снова, — что среди жителей города, главным образом среди тех, кому нечего терять, есть люди, которые превозносят твой поступок. Но немало и таких, которые ругают тебя, потому что ты накликала на них тысячи невзгод, а иные просто рвут и мечут. Ты не представляешь себе, на что способны люди, когда их бьют по карману, — а таких, которые думают, что им приходится расплачиваться за твое геройство, очень много. Говорю прямо: я опасаясь, что есть и такие, которые не постыдятся донести на тебя, будто ты подожгла станцию уже после того, как боши оккупировали город. Многие недолюбливают семью Планшаров, а уж дочь Пьера Планшара и подавно. Многие считают, что если у мадемуазель Планшар и будут кой-какие неприятности, то это не такая уж большая цена за то, чтобы улучшить отношения с немцами. Твое положение хуже, чем ты думаешь. Мы все знаем маркиза Шатлена и знаем, чего можно ждать от такого рода господ. Мне кажется, что в данном случае умнее действовать, пока не поздно.

Дядя Проспер снова налил себе рюмку, поднял ее; рука его слегка дрожала, и он поставил рюмку обратно, не прикоснувшись к ней. Его большое лицо, красноречиво отражавшее малейшую смену настроения, затуманилось.

— О себе я не говорю, — проговорил он мрачно, обращаясь больше к самому себе, чем к Симоне. — Я не говорю, что из-за твоего опрометчивого поступка я потерял мое предприятие, смысл моей жизни. Дело не только в том, что боши украли у меня фирму, я совершенно уничтожен в глазах тех из местных жителей, кто имеет какой-либо вес. Эти люди придерживаются, говоря их языком, реальной политики, все они считают, что я — тайный вдохновитель твоего поступка, и всячески отрешиваются от меня. Матап, — говорю тебе откровенно, — все время внушает мне, чтобы я попросту подождал, пока боши тебя схватят, тогда все обойдется само собой, она настаивает, чтобы я предоставил все естественному ходу вещей. Этого я, разумеется, не сделаю. Я и не помышляю бросить тебя на произвол судьбы, только бы спасти свою шкуру. Я буду за тебя бороться с маркизом и со всей этой шайкой. Всеми средствами. Я не оставлю в беде дочь моего Пьера только потому, что она совершила столь же безумный, сколь и благородный поступок. Я заслоню тебя собой, я не дам тебя в обиду. Но наиболее верный способ борьбы в данном случае — это хитрость. Будь же благоразумна. Подпиши заявление. Это ничего не значащая формальность, но она позволит нам выбить оружие из рук Шатлена.

Лицо Симоны выражало напряженную работу мысли, меж бровями пролегла глубокая складка.

— А что должно быть сказано в этом заявлении? — осведомилась она деловито.

Дядя Проспер быстро, не задумываясь, ответил:

— Ну, все то, о чем я уже говорил. Что ты действовала из личных побуждений, — скажем, потому, что была сердита на матап за несправедливый выговор. Все надо представить как ребяческую выходку.

— Но ведь такое заявление было бы чудовищной нелепостью, преступлением, — возмутилась Симона. — Этому ни один человек не поверил бы.

— Ты совершенно права, — согласился дядя Проспер. — В Сен-Мартене ни одного человека таким заявлением не проведешь. Но бошам теперь на руку сотрудничество. Они верят бумагам с печатью, они опреде-

ленно обещали, что удовлетворятся такого рода заявлением.

Секунды две Симона думала. Потом сказала:

— Я не подпишу такого заявления.

Дядя Проспер шумно вздохнул и побагровел. Но еще и на этот раз ему удалось сдержать себя.

— Ты чертовски упряма, — сказал он. — Ведь я не отрицаю, что тобой руководили побуждения высшего порядка, хотя вся тяжесть удара обрушилась на меня. Но если ты и сейчас станешь упорствовать и не захочешь помочь избавиться от вредных последствий этого дела, ты лишь обесценишь его и погубишь себя, а заодно и всех нас. — Он встал, опять подошел к ней, настойчиво посмотрел ей в глаза. Она сидела на своем стуле не шевелясь, не отвечая.

Он отвернулся от нее. Тяжелым шагом, с несвойственной ему вялостью в движениях, опять стал рассказывать из угла в угол.

И вдруг случилось нечто неожиданное, жуткое. Он бросился в одно из кресел. Подался вперед могучим корпусом. Закрыв лицо руками. Заплакал. Плакал навзрыд, громко, безудержно. Симона, потрясенная, смотрела, как этот мужественный, энергичный человек вдруг настолько потерял над собой власть, что не мог сдерживать рыданий. Это было невыносимо. Ей стоило больших усилий не выбежать из комнаты.

Но дядя Проспер уже взял себя в руки. Судорожно улыбаясь, он сказал:

— Прости. Все это переполнило чашу. Волнения последних дней переполнили ее. Со всех сторон меня осаждают, настаивая, чтобы я от тебя отрекся. Я дрожу за твою жизнь, мое предприятие, к которому я привязан всей душой, разоряют, и я вынужден на все это смотреть, не в силах помочь, связанный по рукам и ногам. И вот меня осеняет мысль. Я еду в Франшевилль. Ношу от префекта к бошам, от бошей к префекту. Бегаю по адвокатам. Наконец мне удастся заинтересовать бошей своей идеей. Мне удастся отвести кулак, занесенный над тобой. Ты, можно сказать, спасена. И вдруг новая напасть. Ты заартачилась, твой слепой героизм все вдребезги разбивает, и мы опять на старом месте.

Он стоял у окна и глядел в сад, она видела только его спину, теперь такую тяжелую и круглую. Очень тихо, едва слышно, по-прежнему стоя к ней спиной, он сказал:

— Я боялся этого. Мне это знакомо. Так погиб Пьер. Ужасно видеть, как вы катитесь в пропасть. Стоишь и смотришь открытыми глазами и все понимаешь, а помочь не можешь. Я не могу помочь себе, и я не могу помочь тебе, только потому, что ты не хочешь внять голосу благоразумия.

Симона сухо спросила:

— А если бы я такую штуку подписала, тогда боши и маркиз вернули бы вам ваше предприятие?

Он явно растерялся от прямолинейности ее вопроса. Живо повернулся к Симоне и уже готов был разразиться высокопарной тирадой. Но сразу же осекся и сказал лишь:

— Да, думаю, что они бы это сделали.

— А что будет со мной, если я подпишу? — спросила Симона.

— С тобой? — вопросом на вопрос, удивленно ответил дядя Проспер. И стал торопливо уверять: — Ничего. Я же сказал тебе, все это чистейшая формальность.

— Меня не будут преследовать? — спросила с сомнением в голосе Симона. — Меня не арестуют?

— Меры предпринимаются, — залпом, с большой уверенностью отвечал дядя Проспер, — меры предпринимаются только в тех случаях, когда пострадавший возбуждает против обидчика судебное дело. Как ты думаешь, стану я возбуждать против тебя дело о поджоге? Все это фарс, и только. Бошам нужен письменный документ. Стоит им получить его, и они оставят нас в покое.

— И мне совсем ничего не будет? — настаивала Симона. — Меня не посадят в тюрьму?

— Ведь я объяснил тебе, — отвечал уже несколько нетерпеливо дядя Проспер, — что дело против тебя может быть начато только по моему заявлению. Не говоря уже о том, что ты несовершеннолетняя. Я не понимаю твоего недоверия, — продолжал он с досадой. — На карту поставлена твоя жизнь. На карту поставлено

благополучие всего департамента. На карту поставлено мое предприятие. И ты колеблешься — выполнить ли тебе пустячную формальность.

Его большое, беспомощное, гневное, умоляющее лицо было совсем близко от нее. Лавина его слов подавляла ее. Она чувствовала себя утомленной, разбитой от бесконечных колебаний, от необходимости все время обороняться, от этого вечного терзания. Все ее существо молило — уступить.

Она встряхнулась. Нет, теперь она не поступит опрометчиво, она не хочет действовать под впечатлением уговоров и молящих глаз дяди Проспера. Она не хочет принимать решение в его присутствии. Она хочет взвесить все «за» и «против» спокойно, одна, дважды, десять раз. Она крепко сжала губы. Она не скажет сейчас ни «да», ни «нет».

Словно угадав ее мысли, дядя Проспер очень дружелюбно сказал:

— Я не хочу оказывать на тебя давления. Я только прошу тебя, подумай о себе, только о себе.

Она встала и пошла к двери. Он остановил ее:

— Мне было очень трудно, я попросту не мог в твоём присутствии обсуждать с тамап вопрос, следует ли принести жертву, которой требует твое спасение. Я уже говорил тебе, что тамап сначала возражала. Однако я убедил ее. Теперь между нами тремя тайн больше нет. Ты посвящена во все. Ты знаешь, как спасти себя; и мы все готовы помочь тебе. — Он улыбнулся. — Само собой, отныне ты будешь снова есть за общим столом. — Он похлопал ее по плечу. — Однако мы заговорились с тобой. Время ужинать. Переоденься, Симона, и будь благоразумна.

7

ОТРЕЧЕНИЕ

На следующее утро, когда Симона убирала голубую гостиную, туда неожиданно вошла мадам.

Она опустилась в кресло с высокой спинкой. Сидела там неподвижная, грузная, вдавив голову в плечи так, что огромный двойной подбородок выпятился сильнее

обычного. Молча смотрела она, как Симона бесшумно и проворно убирала комнату.

Наконец она заговорила, как всегда тихим, твердым голосом.

Сначала она долгое время не одобряла стараний мосье Планшара, сказала она, спасти Симону от немцев. Сама мадам не стала бы этого делать, она заставила бы Симону пожинать плоды своего бунтарства. Однако мосье Планшар твердо решил спасти Симону, певзирая на связанные с этим жертвы и опасности, и так как он глава семьи, то мадам в конце концов перестала этому противиться. Нелегко, разумеется, старой жепщине участвовать в отвратительной комедии, сочиненной для того, чтобы одурачить бошей хитрыми и опасными выдумками. Но дело идет о семье, о единстве семьи, и поэтому она, мадам, покоряется.

Симона смахивала пыль и слушала. Мадам не стеснялась. Мадам без обиняков заявила, что готова была выдать Симону бошам. Симона вспомнила, как однажды увидела страшную ненависть, вспыхнувшую в глазах мадам.

Мосье Планшар, продолжала мадам, ради Симоны погушил своим самолюбием, чего никогда не сделал бы в интересах фирмы или ради самого себя. В Франшевиле он обивал пороги у префекта, кланялся бошам.

— Сын мой состарился на десять лет,— заключила мадам.— Но он добился своего. Он спас тебя.

Симона, ползая на коленях, терла тряпкой пол.

— Сегодня после обеда к нам заедет мэтр Левотур, чтобы официально оформить твоё заявление,— сообщила мадам.— Надень своё черное шелковое. Сегодня знаменательный день для тебя.

Ничего особенного не было в том, что для оформления документа пригласили мэтра Левотура. Однако у Симоны, когда она услышала это имя, мороз пробежал по коже.

Всю ночь она колебалась — согласиться или не согласиться. С точки зрения чистого благоразумия, дядя Проспер прав. Теперь, после перемирия, остались лишь вредные последствия ее поступка, в свете теперешних

событий уничтожение автомобильного парка было бессмыслицей. Но в глубине души у Симоны жила уверенность, что все эти доводы благоразумия — ложные истины. Она поступила правильно; еще и сегодня, вопреки всему — это правильный поступок, и если она подпишет заявление, она отречется от своего деяния.

Внутри нее все кричало: нет, нет, я не подпишу, никогда. Вслух она сказала и сама испугалась своего голоса:

— Да, мадам.

Обедали втроем. Дядя Проспер ел мало, но был чрезвычайно разговорчив. Темы, которая, само собой, всех их непрестанно занимала, он тщательно избегал. Только в голубой гостиной, когда Симона наливала ему кофе, он сказал:

— Выше голову, Симона. Сегодня вечером все кончится. Сегодня вечером ты сбросишь это бремя с плеч, и все будет забыто, словно ничего и не было.

— Но это все же было, — сказала мадам.

«Но это все же было», — с гордостью и горечью подумала Симона.

Потом, помыв посуду, она поднялась в свою комнатушку и стала приводить себя в порядок, и ее движения были спокойны, медлительны, машинальны. Она умылась, причесалась и надела черное шелковое платье, из которого уже немного выросла.

Получасом позже все собрались в кабинете дяди Проспера. Мэтр Левотур сидел у письменного стола в вертящемся кресле, спиной к столу, а перед ним полукругом уселись все трое Планшаров — мадам, дядя Проспер, Симона.

Это был большой письменный стол. На нем стоял стильный письменный прибор, которым дядя Проспер очень гордился; прекрасная художественная резьба на деревянной стенке прибора была сделана с картины из странноприимного дома в Таннере «Положение во гроб». На столе лежал большой, пожелтевший, слоновой кости нож для разрезания бумаги. А сейчас там лежал еще портфель мэтра Левотура.

Мэтр Левотур удобно расположился в вертящемся кресле, он сидел, закинув ногу на ногу, чуть-чуть вертя

кресло. Это был небольшого роста, кругленький господин, весь жирный, гладкий, вылощенный; светло-серый костюм туго облегал его фигуру. Говорил мэтр Левотур быстро и учтиво, его черные хитрые глазки юрко перебегали с одного на другого, маленькие белые пухлые руки мягко жестикулировали, и крупный светлый камень надетого на указательный палец перстня сверкал.

— Можно перейти к делу? — спросил мэтр Левотур. Он придвинул к себе кожаный коричневый портфель и вынул из него бумагу. Пробежал ее сначала глазами, затем стал громко читать: — «В присутствии мадам Катрины Планшар и мосье Проспера Планшара, проживающих на вилле Монрепо (город Сен-Мартен, квартал святой Троицы), мадемуазель Симона Планшар, проживающая там же, сделала мне следующее заявление: «Добровольно и без принуждения признаю, что 17 июня 1940 года я подожгла строения транспортной фирмы Проспер Планшар и К^о. Я сделала это по злобе на мадам, упрекавшей меня в том, что я плохо выполняю возложенные на меня по дому обязанности. Выговор я сочла крайне несправедливым и обидным. Я не нашла другого способа отомстить за обиду и рассчитывала, что так я сильнее всего огорчу мадам Планшар и нанесу ей материальный ущерб. Прочитала и подписала...»

Мэтр Левотур читал быстро, без запинки. Симона видела его круглый рот, его мелкие зубы, из-за которых вылетали эти чудовищные слова, легко, гладко, в стройной последовательности. Симона видела маленький плоский нос с широкими ноздрями, видела на жирном белом лице маленький прыщик у правого уголка рта, видела указательный палец с перстнем и всю холеную руку, державшую белый лист бумаги. Человек этот внушал ей такое отвращение, что, только сделав над собой усилие, она могла следить за смыслом того, что он читал. Вместе с тем все ее чувства, точно так же как вчера, во время разговора с дядей Проспером, были крайне обострены. Она ясно и четко видела за спиной читающего нотариуса письменный стол и все, что на нем находилось. Она так отчетливо видела резьбу на стенке письменного прибора, что могла бы с

закрытыми глазами описать каждую деталь. Она чувствовала запах кожи, исходивший от большого коричневого портфеля нотариуса, с такой силой, что она уже никогда его, этот запах, не забудет.

Мэтр Левотур кончил. Наступило короткое молчание. Потом Симона спросила, и после ясного, быстрого, учтивого голоса нотариуса ее голос прозвучал еще глубже и спокойнее, чем всегда:

— Вы верите этому, мэтр Левотур? Вы верите тому, что вы здесь прочитали?

Мэтр Левотур ничего не ответил. Черные, хитрые глаза смотрели на Симону без всякого выражения, даже без удивления. Вместо него заговорила мадам.

— Ты видишь,— сказала она дяде Просперу,— она не желает нашей помощи. Она хочет, чтобы немцы сами расследовали дело.

Мэтр Левотур, словно он не слышал ни Симоны, ни мадам, указывая пальцем с перстнем на место, где нужно было подписаться, вежливо сказал:

— Вот тут, мадемуазель, прошу вас. Вот тут распишитесь, если нет возражений.

Симона смотрела на палец с перстнем и на белое место на бумаге, на которое указывал палец. Она целиком ушла в себя. В ушах у нее еще звучали слова мэтра Левотура, в ушах у нее звучало то, что вчера говорил дядя Проспер. Она знала: все хотят, чтобы она подписала свое имя, сию минуту, и это, несомненно, устроило бы многих, а может быть, и ее. Что-то в ней настойчиво требовало уступить, взять в руки перо, которое ей протягивали, написать свое имя на указанном месте, хотя бы для того, чтобы избавиться наконец от безграничного дерганья и терзаний, чтобы все кончилось и она успокоилась. Но нечто более глубокое сопротивлялось в ней изо всей силы. И вдруг ей почудилось, что все это однажды уже было — и указующий палец, и белое место на бумаге, и протянутая ей автоматическая ручка, и желание подписать, и желание не подписывать.

С трудом вернулась она к действительности. Стрянула с себя чары, отвела глаза от сверкающего перстня. Чуть заметно повела головой, как бы желая что-то сбросить с себя, оглядела комнату, точно просыпаясь.

Увидела дядю Проспера, который сидел на своем стуле, слегка опустив голову, весь какой-то обмякший. Глаза ее остановились на нем, они все больше и больше наливались жизнью, все пристальнее становился их взгляд, и тихо, но очень настойчиво и умоляюще, она сказала:

— Дядя Проспер, подписать мне?

Теперь уж он непременно взглянет на нее. И он в самом деле поднял голову, он устремил на нее большие серо-голубые глаза, он посмотрел на нее. Но он посмог-рел угрюмо, до странности безжизненно, он посмотрел как-то сквозь нее, не видя ее. Еще настойчивей она повторила:

— Подписать мне, дядя Проспер? — Она произнесла только четыре слова, но мысленно она говорила ему много-много сильных слов, заклиная памятью отца дать ей честный ответ; и она знала — он слышит ее.

Мэтр Левотур безучастно, но с тем же вежливым выражением лица смотрел куда-то в пространство: возможно, что за гладким лбом его скрывалось удивление, к чему сейчас еще разводить такую канитель, и отчего на вилле Монрепо не договорились обо всем прежде, чем пригласить его? Мадам же чуть-чуть повернула к сыну свою большую голову с тщательно причесанными цветущими волосами и взглянула на него искоса, краешком глаз; в глазах этих было желание подбодрить, сострадание, легкое презрение.

Дядя Проспер высоко поднял плечи, лицо его дрогнуло, он отвернулся и что-то фыркнул, это могло обозначать нетерпеливое требование оставить его в покое или растерянность; могло обозначать все, что каждому хотелось услышать. Таков был его ответ.

Симона подписала.

8

БЕССМЕРТНОЕ

Ночью, у себя в комнате, она переживала муки раскаяния.

Ни за что не надо было подписывать. Столько времени она держалась. Еще только одно усилие, еще только одно «нет» надо было сказать, и тут она не устояла.

Никакой дядя Проспер, никакие «благоразумные дельцы» всего мира не могли лишить смысла и значения ее деяние, только она могла это сделать, совершив преступную глупость, поставив свою подпись.

Самое прекрасное, что было в ее жизни, она растоптала, истребила, перечеркнула. И все потому, что она не в силах была смотреть в измученное, затравленное лицо дяди Проспера, потому, что в последнее мгновение ею овладела слабость. Поэтому она отреклась и свела к нулю свое деяние.

Она все загубила. Загубила всю свою жизнь.

В самом деле, разве можно жить, подписав такое? Она отреклась не только от себя самой, она отреклась от отца.

Что ей делать? Нет никого, с кем можно посоветоваться. Был один человек, он мог и хотел ей помочь, а она отказалась от его помощи, глупо, бессмысленно, из ложного чувства благодарности к дяде Просперу.

Не надо все время думать об одном и том же. Она сойдет с ума.

Она стряхнула с себя опеченение и подавленность. Взялась за свои книги.

И опять книги милосердно приглушили ее смятение, и события из истории Жанны так заняли ее, что, читая о них, она забыла о собственных невзгодах.

Она читала о судьбе, постигшей память о Жанне, и о судьбе, постигшей после гибели Жанны всех тех, с кем она была связана. С угрюмым удовлетворением читала о том, что большая часть друзей, которые покинули и предали Жанну, и большинство врагов, преследовавших ее, вкусили плоды своей коварной дружбы и беспощадной вражды.

Уже в этой жизни,— читала Симона в золотой книге преданий и легенд,— большую часть тех судей, которые осудили бедную, невинную Жанну, постигла божья кара.

Священник Никола́ Миди, в день сожжения Жанны произнесший проповедь о том, что она проклята богом, спустя неделю заболел проказой и умер.

Через месяц после мученической кончины Девы

умер еще один из ее судей — Никола́, аббат из Жюмьежа.

Каноник Луаслер, тот священник, что явился к Жанне в камеру под видом военнопленного с целью вызвать ее на откровенность и, выдав себя за ее сторонника, вкрался к ней в доверие, умер на мусорной куче внезапной загадочной смертью, без соборования.

Жалкая кончина уготована была также обвинителю Жанны, канонику д'Эстивэ, который трусливо поносил беззащитную пленницу. Его нашли мертвым в сточной канаве за городскими стенами Руана.

Сам епископ Кошон, председатель трибунала, недолго пользовался почестями, которые оказывали ему англичане в награду за его роль в этом бесчеловечном процессе. Он умер скорострительно, когда его стригли. Позднее папа отлучил его от церкви, и останки его были брошены на съедение псам.

И не только судей Жанны уже в этой жизни ждал злой удел, — с мстительным удовлетворением устанавливала золотая книга, — но и многих других ее врагов.

Вот, например, королевский полководец и фаворит ла Тремуй, тот самый, который не гнушался никакими средствами, лишь бы погубить Жанну. Симона читала о том, как после смерти Жанны его враги все сильнее преследовали его, и как король в конце концов от него отвернулся, так же как он отвернулся от Жанны. Однажды, еще когда ла Тремуй был как будто у короля в величайшей милости и жил вместе с ним в королевском замке Кудрэ, туда, подкупив стражу, ночью проникли враги ла Тремую. Вооруженные, они пробились в спальню полководца, стащили его с постели и стали наносить ему раны. От смертельного удара мечом в живот его спасло лишь то, что он был очень жирный и тучный человек. Король, спавший в комнате рядом, проснулся и спросил, что происходит. Его уверили, что все спокойно, и он снова лег и продолжал спать. Раненого Тремую тем временем связали и уволокли. Его вынудили к письменному признанию, скрепленному печатью, — он признавался, что незаконно владел многими из поместий и сокровищ, и обязывался все их вернуть. У короля он не нашел ни помощи, ни поддержки, был

сослан и умер в ссылке, оскорбленный, так никогда больше и не увидев короля.

Негодяй Гийом де Флави, комендант Компьена, который, подняв мост и закрыв городские ворота, тем самым отдал Деву в руки бургундцев, тоже плохо кончил. Он был убит в своем замке Неель, в собственной постели, своей женой, красавицей Бланш, она задушила его с помощью одного из лакеев.

И герцог Бедфордский скончался, ненадолго пережив Жанну, в том самом Руанском замке, где он держал ее взаперти, прикованную к жалким парам. Говорят, однако, что он умер от горя и бесчестия, не в силах пережить поражение англичан во Франции. С того самого дня, как англичане воздвигли в Руане костер, они ничего, кроме разочарований и поражений, не знали, и со стыдом и позором были изгнаны из французских владений.

И английский кардинал умер, отравленный своим соперником, герцогом Глостером. Страшная кончина постигла и Генриха Шестого Английского, именем которого был произнесен смертный приговор Жанне. Правда, его короновали в Париже, но и он умер, отравленный своим кузеном Ричардом Глостером.

И гордая, неукротимая королева Изабо, злейший враг Жанны и короля Карла, тоже ненадолго пережила Жанну. Она умерла, всеми забытая, и англичане, которым она помогала, похоронили ее без почестей и без единого слова благодарности.

Так оказалось, повествовала золотая книга, что большинство мучителей Девы умерло недоброй смертью.

Такая же недобрая смерть постигла и Карла Седьмого, нерешительного, малодушного человека, которого Жанна короновала и который бросил ее на произвол судьбы. Правда, первые несколько лет царствования были для него годами успехов и наслаждений. Но впоследствии ему воздалось сторицей за все то плохое, что он сделал Жанне и другим своим друзьям. Его собственный сын восстал против него и, как подозревал король, отравил его.

До этого, однако, он успел реабилитировать память Жанны. Именем господа Жанна всенародно засвиде-

тельствовала законность его прав; когда же церковь объявила ес лгуньей и лжепророчицей, права короля оказались под вопросом. Но после того как англичане были изгнаны из всех французских владений, Карл считал себя достаточно могущественным, чтобы заставить церковь признать божественную миссию Жанны, а тем самым и его собственные права.

Мать и братья Жанны потребовали возобновления судебного процесса, и церковь удовлетворила их требование. Перед судом прошли теперь друзья и подруги детства Жанны, уже зрелые мужчины и женщины, перед судом прошли полководцы и государственные мужи, окружавшие Жанну в пору ее славы и подвигов. Друзья, молчавшие во время первого процесса, теперь заговорили, не находя достаточно слов для благоговейных восхвалений покойной Жанны. И противники ее переменили лицо. Красноречивый Тома де Курсель, в свое время убедительно доказывавший, что Жанна лгунья и ведьма, теперь столь же убедительно доказывал, что она посланница божья. И единогласно решили духовные судьи, что их предшественники в Руане допустили ошибку и неправильно осудили Жанну, и всю вину за это новые судьи свалили на покойного епископа Кошона. И так же единогласно признали они божественную миссию Жанны и тем самым законность короля Карла, который был теперь победителем.

И Симона читала, как росла и крепла в веках слава Жанны и вера в нее. Государство чтит ее торжественными речами и воздвигало ей памятники, церковь славословила ее в молитвах и причислила к лику святых. «Франция богата бессмертными именами многих женщин и мужчин,— читала Симона,— солдат и государственных деятелей, ученых и изобретателей, художников и поэтов. Но всех ближе и дороже сердцу французского народа два имени: Наполеона Бонапарта и Жанны д'Арк».

Симона чувствовала и знала, что это так.

Она улыбалась. Жанна отреклась, но отречение гонимой, обманутой девушки не имело никакого значения. Не потерял значения, остался в веках ее великий подвиг. Он существовал, он был совершен, никакие

тома исписанной бумаги и никакие подписи не могли ничего изменить.

Как хорошо, что Симона обратилась к своим книгам. Страх ее прошел, она увидела, что у нее нет оснований отчаиваться. Ее подвиг жив, пусть она и подписала бумагу мэтра Левотура. Мэтр Левотур и его бумага бессильны перед действительностью.

Ее запугали, ее сбили с пути. Еще немного, и она поверила бы, что поступила неправильно, уничтожив станцию. Она поступила правильно. Ничего неразумного в ее деянии не было. Оно имело смысл. Тогда еще шли сражения. Еще можно было надеяться, надо было надеяться, что Франция не сложит оружия, что Франция победит. Если бы в двух тысячах общин сделали то же самое, что сделала она в Сен-Мартене, если бы разрушали все, чем враг мог воспользоваться в своих целях, Францию не удалось бы поставить на колени.

Да она и не поставлена. Даже теперь. Перемирие, заключенное предателями, ничего не стоит. Война продолжается. Морис — человек с головой, он не отправился бы в Алжир, если бы не знал, что еще есть надежда. Не все генералы предатели: есть еще такие, которые борются. Война продолжается. И, значит, то, что она, Симона, совершила, имело смысл.

Она не слишком поздно поняла это. Она совершила чудовищную ошибку, отвергнув предложение Мориса. Она поверила дяде Просперу. Она десять лет верила ему. Но теперь у нее раскрылись глаза.

Если она не поехала с Морисом, надо схватить одной. Надо пробиться в неоккупированную зону и, по возможности, дальше — в Алжир. И отправляться надо сейчас же, немедленно, нельзя ждать, пока этой дурацкой бумаге дадут ход.

Она бесшумно встает. Одевается, надевает все то же, что и тогда. Быстро собирает белье, берет с собой спортивные ботинки. Уже дойдя до двери, возвращается и кладет в узелок лежащую на ларе маленькую старинную книжечку преданий и легенд, украшенную золотом и завитушками. Потом, босая, как в ту ночь, крадется вниз по лестнице. Но теперь Мориса нет, ей самой надо о себе позаботиться. Ощупью, в полной

темноте, она проходит в кухню и достает из ящика стола деньги, оставленные на хозяйственные расходы, она не считает их, денег немного. Потом тихонько идет через прихожую и открывает дверь в сад; дверь чуть-чуть скрипит.

На небе узкий серп луны, ночь не очень темная. Симона не испытывает ни малейшего страха. Перелезает через ограду. Она не думает о том, что оставляет, взор ее устремлен вперед.

9

«ЗВЕРИНЕЦ»

Ее задержали уже на следующий день вечером, когда она на автобусе прибыла в Невер. В полицейской машине доставили в Франшевиль.

Там ее передали в руки жандарма Гранлуи. Он был неразговорчив. Когда она спросила, кто заявил о ней в полицию и в чем ее обвиняют, он уклонился от ответа. Но был очень вежлив и старался, как мог, облегчить ей долгий, утомительный путь.

В Сен-Мартене жандарм Гранлуи привел ее в супрефектуру. Консьерж, старый друг Симоны, встретил ее ласково, видно было, что он очень огорчен. Все они, консьерж, жандарм и Симона, направились в архив. Жандарм смущенно топтался, не уходя, консьерж спросил Симону, не принести ли ей чего-нибудь поесть или выпить. Жандарм сказал, что в Шатильоне они пообедали, и неплохо, он подробно рассказал, что было на обед, радуясь поводу отвлечься от неловкости ситуации. Консьерж полагал, что поесть все-таки не мешает. Симона вежливо поблагодарила, сказала, что не голодна, попросила оставить ее одну. Жандарм неуверенно посмотрел на консьержа. Потом решил.

— Хорошо, мадемуазель, — сказал он.

Оба удалились. Дверь не заперли.

Симона сидела в архиве. Здесь ей все было знакомо. В комнате стоял большой стол, несколько удобных, обитых кожей, просиженных стульев. Кругом, на высоких полках, лежали груды папок, за стеклянными

дверцами книжного шкафа стояли красиво переплетенные папашей Бастидом в коричневую кожу комплекты официального вестника, с красными наклейками на толстых кожаных корешках.

Воздух в комнате был прохладный, чуть-чуть затхлый. Тяжелая дверь не пропускала ни единого звука. Симона отдыхала здесь, она откинулась на спинку стула, закрыла глаза.

Она была спокойна. В глубине души она с самого начала не верила, что бегство ей удастся. Она не débarrassée, не молодчина, как Морис, она не предпринимала разумных мер предосторожности, надо было сообразить, что мадам с помощью телефона и телеграфа настигнет ее. Но попытаться бежать было ее долгом.

Она сделала все, что от нее зависело, и поступила правильно. По-видимому, так думали все, потому что относились к ней с уважением. Без волнения, готовая к борьбе, ждала она, что будет дальше. Мадам благодаря этой неудачной попытке к бегству получила лишний козырь в руки, — она, конечно, будет мстить Симоне. Симону ждут черные дни. Но она твердо решила не сдаваться. Она все вынесет, она непременно выживет, она дождется дня, когда те, кто умнее, когда Морис и его товарищи победят.

Некоторое время сидела она так. Потом пришел мосье Ксавье. Он старался держать себя как всегда, но Симона видела, как вздулось родимое пятно на его правой щеке, видела, каких усилий стоит ему скрыть волнение.

— Я сделала глупость, мосье Ксавье? — спросила Симона, с радостью глядя в лицо друга. Живые карие глаза мосье Ксавье смотрели мрачно, он долго мялся, прежде чем ответить.

— Ты отважно выполнила свое дело, Симона, — сказал он. — Мы, друзья Пьера Планшара, гордимся тобой. И если дело твое не удалось, то виноваты в этом мы. Мы должны были действовать энергичнее, мы должны были совершить это раньше.

Симона тихо спросила:

— Меня ждет что-нибудь очень тяжелое?

Мосье Ксавье нервно глотнул.

— Пожалуй, — ответил он и вдруг, открыто взгля-

нув ей в лицо, сказал решительно: — Да, Симона, нечто очень тяжелое.

Она слегка приподняла плечи.

— Что же вы посоветуете мне, мосье Ксавье? — спросила она.

Мосье Ксавье ответил:

— Не пускаться на хитрости и дипломатию. Говори прямо, говори все, что у тебя на душе. Что бы ты ни сказала, это не улучшит и не ухудшит твоего положения. Быть может, если ты это усвоишь, тебе будет легче. Помочь тебе — это уже наша обязанность. Сейчас мы бессильны что-либо сделать. Но наступит день, когда мы выручим тебя из беды. Не сомневайся.

В эту минуту он напоминал немножко своего отца. Симона с трудом удержала улыбку, но слова друга радовали ее. Он переменял тон.

— Тебе надо поесть, Симона, — сказал он настойчиво, с наигранной бодростью. — Я слышал, что ты отказалась. Будь умницей. Тебе предстоит несколько трудных часов. — Не дожидаясь ее ответа, он вышел, и очень скоро ей принесли еду.

Пока он ходил взад и вперед, говоря о безразличных вещах, она ела, покорно, без аппетита.

Вошел мосье Корделье.

— Не беспокойтесь, дорогое дитя, — сказал он, видя, что она поднимается ему навстречу. — Продолжайте есть. Да, тяжелая история, — сказал он и опустил в одно из кресел. — Для всех нас наступили тяжелые времена. Во всяком случае, все наши симпатии на вашей стороне. Ешьте, ешьте, — приглашал он ее. Он немножко повздыхал. — Вы стойкая, храбрая девочка, — сказал он, помолчав, — истинная дочь нашего Пьера Планшара. Хоть это-то утешение есть у нас. — Он вдруг запылся. — Но, быть может, это не совсем корректно, — обратился он к мосье Ксавье, — что мы сегодня сидим тут вместе с мадемуазель Планшар? — И он встал.

— Пожалуй, господин супрефект, это не совсем корректно, — ответил мосье Ксавье, но не тронулся с места, супрефект же удалился.

Через несколько минут вошел старый пристав Жанно и жандарм Гранлуи.

— Вас просят, мосье Ксавье,— доложил пристав, а жандарм, неловко переминаясь с ноги на ногу, сказал:

— И вас тоже, мадемуазель.

Симона быстро и послушно встала. Но мосье Ксавье сказал:

— Выпей еще чашечку, Симона, и не торопись. Без тебя все равно не начнут. Мы пойдем вместе.

Они шли по знакомым коридорам, направляясь в кабинет супрефекта. Симона и мосье Ксавье впереди, за ними смущенные пристав и жандарм. В приемной, при появлении маленькой процессии, все чиновники умолкли, а начальник отдела, мосье Деларбр, встал, склонил голову и сказал:

— Добрый день, мадемуазель Планшар.

В кабинете супрефекта Корделье шторы были спущены, в просторной комнате царили полумрак и приятная прохлада. Вокруг стола, покрытого зеленым сукном, тесно стояли красивые старинные стулья, на столе, словно для заседания, лежали бумага, карандаши, стоял графин с водой и стаканы.

Собрались: мадам, дядя Проспер, маркиз Шатлен и мэтр Левотур. Все молчали, когда Симона в сопровождении своей маленькой свиты вошла в кабинет. Пристав Жанно тотчас же удалился, жандарм остался. Мосье Корделье сказал:

— Я полагаю, что вы нам больше не нужны, Гранлуи.

— Простите, господин супрефект,— возразил жандарм,— но мне требуется расписка, что я сдал преступ... что я сдал мадемуазель с рук на руки.

— Вы получите расписку в моей канцелярии,— сказал мосье Ксавье, и жандарм вышел.

Симона стояла спокойно, с высоко поднятой головой. Глубокими темными глазами она медленно обводила лица присутствующих.

Мадам сидела в тяжелом выцветшем темно-красном кресле и, не прибегая даже к помощи лорнета, разглядывала Симону таким же спокойным взглядом, как та ее. Мосье Ксавье подошел к стулу, но не сел, а стал за ним, крепко обхватив руками спинку. Мэтр Левотур, с обычным своим профессионально безучастным выраже-

нием лица, уселся; поудобнее закинув ногу за ногу; портфель лежал перед ним на зеленом столе. Маркиз, тонкий и прямой, сидел в слишком большом для него кресле и с холодным, насмешливым любопытством оглядывал Симону. Симоне очень хотелось заглянуть в лицо дяди Проспера, но тот стоял у окна, спиной к присутствующим.

Супрефект, занявший свое привычное место у огромного стола, поигрывал карандашом и часто моргал. Наконец он произнес:

— Садитесь, дружок. Садитесь же, прошу вас, господа.

Он явно нервничал. Все долго обстоятельно рассаживались, кто-то услужливо пододвинул к столу тяжелое кресло мадам.

И вот, несколько раз откашлявшись, мосье Корделье сказал:

— Проспер, может быть, ты в качестве опекуна хочешь...— Он не кончил фразы и снова принялся вертеть в руках карандаш.

— Мне не легко,— начал было дядя Проспер,— да, мне чертовски тяжело.— Он встретил спокойный, испытующий взгляд Симоны, громко засопел и ничего больше не прибавил.

Но тут молчание нарушил скрипучий голос маркиза:

— Милостивые государи и государыни,— сказал он властно,— вам известно, что я прибыл сюда по просьбе мосье Корделье и по соглашению с немецкими властями, которым я обязан доложить обо всем, что я здесь услышу. Я понимаю, кое-кому из вас, а может быть, и всем вам тяжело пропзвести необходимое дознание. Однако, если оно не будет произведено, это приведет к крайне неприятным последствиям. Поэтому я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы, в наших общих интересах, высказались без ложной деликатности.

Наступило неловкое молчание. Все смотрели на мосье Планшара.

Тогда, тихо и твердо, как обычно, заговорила мадам.

— Ввиду того,— сказала она,— что моему сыну тяжело касаться этого вопроса, позволю себе взять

слово я. Всем нам ясно, что в тяжелых репрессиях, которым немцы подвергают наш департамент, виновато злополучное деяние, совершенное дочерью моего пасынка. Наши сограждане в Сен-Мартене, и вместе с ними боши, истолковали поджог гаража как акт незрелого, но благонамеренного патриотизма. Должна признаться, с первой же минуты я заподозрила, что поступок девочки продиктован не только желанием постоять за Францию. Тем не менее я склонна была усматривать главные мотивы, толкнувшие ее на это, в романтически преувеличенной любви к родине, и мы, мой сын и я, всячески гнали от себя иные предположения относительно мотивов поджога. Однако тайные подозрения не оставляли меня. Я знаю дочь моего пасынка. Десять лет я старалась укротить ее тяжелый бунтарский нрав. К сожалению, безуспешно. К сожалению, я не обманулась и па сей раз. Некоторые признания Симоны и все ее поведение с полной несомненностью показывают, что то, что принимается за патриотический подвиг, на деле не что иное, как низкий акт мести испорченного ребенка.

Мадам умолкла. Она говорила тихо, как всегда, чувствовалось, что ей трудно говорить, она шумно дышала. В просторной сумеречной комнате стояла тишина, слышно было только дыхание мадам да жужжание мухи, вившейся вокруг нотариуса. Все смотрели, как мэтр Левотур белой, пухлой рукой отгонял муху.

— Когда затем выяснилось,— продолжала мадам,— что за злополучную выходку Симоны враг заставляет расплачиваться весь наш департамент, мосье Планшар и я оказались перед тяжелой дилеммой. Мы знали, что мероприятия немцев основаны на заблуждении. Не обязаны ли мы рассеять это заблуждение? Однако стать на этот путь — значило скомпрометировать внуку моего мужа. Мы обвинили бы ее в преступлении.

Мадам опять умолкла. Она потянулась к графину. Мосье Корделье предупредительно поспешил налить ей стакан воды. Все смотрели, как она сделала два маленьких глотка.

— И тут,— снова заговорила она,— сыну моему пришла в голову счастливая мысль. Он поехал в Франшевилль, он открыто изложил префекту обстоятельства

дела и через его посредничество вошел в соприкосновение с немецкими военными властями. Ему удалось договориться с ними. Немецкие власти не настаивают на том, чтобы предать широкой огласке позор семьи Планшаров. Они не требуют передачи дела в руки правосудия. Они готовы удовлетвориться административными мерами, если мы предпримем их против виновницы пожара. Немецкие власти обещали, что, как только мы это выполним, они тотчас же отменяют особые репрессии, применяемые к населению. Мой сын,— продолжала мадам еще тише, но отчеканивая каждое слово,— мой сын все же не решался разоблачить дочь своего сводного брата. Я спорила с ним ночи напролет. Его доброе сердце не позволяло ему сделать наше печальное открытие общим достоянием.

В наступившей тишине по-прежнему было слышно лишь дыхание мадам и жужжание мухи, отставшей теперь от мэтра Левотура и бившейся об оконное стекло.

— Нужно было,— продолжала мадам,— чтобы появилось еще новое обстоятельство, и только тогда мосье Планшар решился наконец отбросить свои колебания. Сын мой все эти годы обращался с Симоной как с родной дочерью. Баловал ее, брал с собой в Париж, исполнял все ее прихоти; ей захотелось иметь темно-зеленые брюки, и она получила их. В благодарность за все Симона украла у него из спальни ключ от его кабинета. А сейчас она вторично совершила нечто подобное. Она вторично совершила кражу. Она присвоила деньги, предназначенные на расходы по хозяйству, и сбежала с ними. Только теперь, когда окончательно доказано, что Симона закоренелая домашняя воровка, сын мой решился разоблачить ее. Нельзя допускать, чтобы целый департамент страдал по вине безнадежно испорченной девочки. Наш печальный долг — отрубить больной палец. Вам, Филипп, известны ваши обязанности. Мы передаем Симону в ваши руки. Если понадобятся еще какие-либо показания или подписи, мы к вашим услугам.

Мадам кончила. Она так невозмутимо и смело преподнесла свои чудовищные измышления, что все, хотя и знали, какая велась игра, слушали ее так, словно она

сообщала нечто совершенно новое. Она произнесла свою обвинительную речь, и теперь восседала, черная и неподвижная, в выцветшем темно-красном кресле; она сидела, вдавив голову в плечи, выпятив огромный двойной подбородок, ее живот и бедра образовали сплошную массивную глыбу, руки тяжело покоились на подлокотниках кресла, кресло и человек слились воедино. Так восседала она, расплывшейся тушей, тяжело дыша, но неподвижно, как истукан, и только вокруг губ ее змеилась еле заметная усмешка.

Симона встала. В измятой блузе, вся в пыли, с выражением сосредоточенности на худом лице и в больших, глубоко сидящих глазах, она казалась побежденной, осужденной раньше, чем она вымолвит слово. Борьба мадам с этим ребенком с самого начала была неравной, у Симоны не было ни малейшего шанса на успех. Что бы она ни сказала, судьба ее была предрешена, она это знала, все это знали. И тем не менее все с жгучим интересом следили за этой борьбой и напряженно ждали, что скажет Симона.

Она сказала:

— Я сделала это, чтобы бошам ничего не досталось. Вы все это знаете, весь Сен-Мартен это знает.

То были простые слова, они не внесли ничего нового, они не опровергли обвинений мадам. Но обвинения мадам опровергались лицом Симоны. Это юное, серьезное, полное горечи лицо было живым обвинением, и никому из мужчин, собравшимся в этот час в кабинете супрефекта, не забыть его до конца дней своих.

Мадам в ответ на слова Симоны даже бровью не повела, разве только усмешка ее стала чуть-чуть явственней.

— Ты хочешь сказать, что я лгу? — спросила она. Она не повысила голоса, она говорила без вражды, со спокойным превосходством нормального человека, который обращается к сумасшедшей. — Ты хочешь сказать, что я лгу? — спросила она топом, не допускающим слова «да».

— Да, — сказала Симона.

Оно было сказано тихо, это «да», без вызова, пожалуй даже вежливо. Но оно было так насыщено прав-

дой, что все великолепное обвинение мадам рассыпалось перед ним в прах.

Так убедительно, так уничтожающе прозвучало это спокойное «да», что мадам, которая до этой минуты вела себя дьявольски умно, сорвалась и совершила ошибку.

— Я полагаю, милостивые государи,— сказала она, обращаясь ко всем сразу,— что бегство этой девчонки совершенно достаточное признание. Вот она стоит тут перед вами и корчит из себя патриотку. А что она сделала? Она подожгла гараж для того, чтобы нанести жестокий удар мне и моему сыну. Она сбежала, захватив с собой не только чужие деньги, но и чужие вещи.— И так как мужчины посмотрели на нее с любопытством, а Симона с удивлением, она пояснила:

— Она увезла с собой чужую книгу, взятую на прочтение.

Но тут Симона улыбнулась, ее даже позабавили эти слова мадам. Она обратилась к мосье Ксавье:

— Мадам имеет в виду одну из тех книг, которые дал мне папаша Бастид,— пояснила она.

Мосье Ксавье не усидел на своем стуле. Казалось, этот маленький человечек сейчас бросится на мадам, но уже в следующее мгновение он овладел собой. И голос его только чуть-чуть дрожал, когда он заговорил.

— Мой отец,— сказал он, обращаясь к мадам,— очень любит Симону. Симона несомненно имела право рассматривать эти книги как свою собственность.

— Однако,— возразила мадам,— мосье Бастид явился на виллу Монрепо и потребовал вернуть ему книги.

— Смею вас уверить, мадам, отец мой рад будет услышать, что Симона взяла с собой эту книгу. Он считал своим долгом участвовать в воспитании дочери близкого друга. Господа, речь идет не о пустой книжке для легкого чтения, мадам имеет в виду книгу о Жанне д'Арк. Верно, мадам?

Тут впервые ярость мадам прорвалась открыто. Ненависть, которая в тот памятный вечер на мгновение вспыхнула в ее глазах и которую видела только Симона, теперь увидели все.

— Известно,— сказала она, и голос ее прозвучал несколько громче обычного,— что старший мосье Бастид

своими опасными речами и вздорными советами способствовал неправильному развитию девочки и тому, что она стала на плохой путь. Но я говорю это не в укор мосье Бастиду. Он очень стар.

Лучше бы мадам оставила в покое историю с книгой. Ибо даже супрефект не выдержал.

— Я не вижу,— сказал он,— ничего плохого в том, что мадемуазель Планшар взяла с собой в дорогу патристическую книгу.

И тут в первый раз заговорил дядя Проспер.

— Оставим эту тему,— попросил он глухо.

Мэтр Левотур слегка наклонился в своем кресле.

— Простите, если я вмешуюсь, господа,— сказал он.— Я полагаю, что всякие разговоры в данном случае излишни. Перед нами письменное заявление мадемуазель Планшар.— И он вытащил из большого кожаного портфеля бумагу, которую Симона подписала.

Звук ясного, учтивого голоса этого человека раздражающе подействовал на Симону. Вид его гладкого лица, его перстень, поблескивающий на белом пухлом указательном пальце, запах его портфеля — вывели ее из равновесия. Спокойствия ее как не бывало, с неудержимой горячностью она набросилась на него:

— Но ведь условились, что я подписываю это только для вида. Мне сказали, что эта подпись только для бошей. Все эти господа знают...

Нотариус вежливо, но безапелляционно прервал ее:

— Разрешите, мадемуазель, я сначала зачту эту бумагу.— И он стал читать: — «В присутствии мадам Катрины Планшар... Добровольно и без принуждения признаю, что я подожгла... Я сделала это по злобе на мадам, упрекавшей меня в том, что я... Я не нашла другого способа отомстить за обиду и рассчитывала, что так я сильнее всего огорчу мадам Планшар и нанесу ей материальный ущерб. Прочитала и подписала: Симона Планшар».

Мэтр Левотур читал без всякого выражения, ничего не выделяя и ничего не оставляя в тени. Именно поэтому каждое слово приобретало дьявольский вес, каждое слово вырастало во что-то большое, самостоятельное, наделенное жизнью.

Но едва он кончил, как заговорила Симона, и звук ее грудного проникновенного голоса сразу же развеял в прах ясные слова нотариуса.

— Но дядя Проспер меня твердо заверил...— воскликнула она живо.

Мадам прервала ее.

— Скажите, мэтр Левотур,— спросила она,— Симона добровольно сделала признание?

— Вопрос излишен, мадам,— чуть не обиженно ответил нотариус.— Я засвидетельствовал за подписью и печатью, что мадемуазель сделала признание добровольно и без принуждения.

Поняв, в какую безвыходную западню она попала, Симона повернулась к дяде Просперу.

— Дядя Проспер,— заклинала она его,— ты ведь уверял меня, что мне ничего не будет, что это чистейшая формальность, ты дал мне слово...

Дядя Проспер сидел согнувшись, всегда такой подтянутый человек казался сонным, больным: он машинально поднимал и опускал правую руку, лежавшую на столе, вверх и вниз, вверх и вниз и старательно отводил глаза, избегая взгляда Симоны. Симона умолкла.

Мосье Ксавье, сдерживаясь, внезапно охрипшим голосом пояснил:

— Симона, по-видимому, хочет сказать, что ее заставили подписать заявление обманом и посулами.

Супрефект Корделье, разбуженный и подхлестнутый словами своего подчиненного, стал разыгрывать следователя.

— Мадемуазель Планшар,— обратился он к Симоне,— вас хитростью заставили подписать это заявление?

Симона не успела ответить, ее предупредил дядя Проспер. В первый раз он открыто посмотрел на нее, его крупное лицо было истерзано страхом, мукой, душевной борьбой.

— Симона,— сказал он настойчиво,— Симона, говорил я тебе, что я никогда не подам на тебя в суд? Я и не подал. И татап не подала. То, что здесь происходит, это не суд. Это чисто административное разбирательство.— Ему удалось взять себя в руки, обрести свой привычный, убедительный, сердечный тон, свою

прежнюю победоносную уверенность. Но тотчас же, крайне растерянный, он обратился к супрефекту: — Объясни же ей, Филипп, о чем идет речь, — умолял он. — Помогите же мне, господа, — призывал он остальных, чуть не плача. — Скажите ей, что речь идет о судьбе всего департамента. Скажите ей, что каждый из нас обязан принести какую-то жертву.

Но мосье Корделье, чувствуя поддержку Ксавье, уже вошел в роль строгого чиновника.

— Я спрашиваю вас, мадемуазель Планшар, — повторил он тоном сурового судьи, — вас хитростью заставили подписать это заявление? От вашего ответа очень многое зависит. Хорошенько подумайте.

— Не понимаю, чего вы добиваетесь, господин супрефект, — неожиданно проскрипел маркиз. — Вы так ведете дело, что, пожалуй, я поступил бы правильнее, если бы удалился, дабы не присутствовать при подобных разговорах. Будет вполне естественно, если наши немецкие гости осудят первого чиновника округа за то, что он подвергает сомнению прямое, письменное изложение, в присутствии нотариуса сделанное признание и внушает признавшейся, чтобы она отреклась от своих слов. Иначе это и нельзя истолковать. Преступное действие, совершенное из личных побуждений, явно стараетесь причесать под патриотический акт.

Супрефект чуть-чуть побледнел.

— Господин маркиз, — начал было он, призывая маркиза к порядку.

Тем временем мосье Ксавье близко подошел к Симоне. Положив руку ей на плечо, он стал ее дружески уговаривать.

— Симона, — сказал он, — верно ли, что они ложью и всяческими махинациями довели тебя до того, что ты подписала эту бумагу? Прошу тебя, ответь. Говорю тебе прямо: в твоей судьбе ничего не изменится от того, скажешь ли ты «да» или «нет». Но все-таки скажи нам.

Симона сидела в своих темно-зеленых брюках и измятой, перепачканной блузе. Загорелое лицо ее с随вольным лбом было сосредоточенно. Они призывали ее сказать правду, и они заклинали ее солгать. Что же было правдой?

И вдруг она увидела, что было правдой. Туман, которым чувства, желания, вожделения обволакивают вещи, рассеялся, яркий свет прозрения пролился вдруг на события, и они до ужаса отчетливо и обнаженно предстали перед ней во всех своих контурах и взаимосвязях. Как ни юна была Симона и как ни наивно было все ее поведение, в эту минуту она была мудрейшей из всех, кто был в этой комнате.

Ясно, до боли, увидела и почувствовала она лживость, разлитую вокруг, лживость того, что разыгрывалось здесь, в комнате супрефекта, и ложь и предательство повсюду, в стране и на фронте, которые не сумела разглядеть не только она, но и французский народ.

Симона проникла в глубь вещей, где лежала их вневременная правда. Исчезли день и час. Силились воедино ее время и время Жанны д'Арк. Хитросплетения лжи, которыми спутали ее, а пятьсот лет тому назад Жанну д'Арк, были все те же, извечные.

И Симона не роптала на свою судьбу, она знала, что так нужно, что ее страдания не напрасны. И она решила быть стойкой и все перенести. Но с горечью приняла она свою, пусть необходимую судьбу. В лице девочки было столько горького познания, что оно искажилось и не по летам повзрослело. Заглянув в это лицо, мосье Ксавье не в силах был подавить короткого, глухого стоны.

Стон этот вернул Симону к действительности. Только что мудрейшая из людей, она снова стала пятнадцатилетней Симоной Планшар. Она посмотрела на дядю Проспера. Его глаза, глаза побитой собаки, умоляли ее, были прикованы к ней, он не помнил себя.

Ничего не изменится в ее судьбе от того, скажет ли она «да» или «нет», объяснил ей мосье Ксавье, солжет она или скажет правду. Но в судьбе дяди Проспера многое изменится, это она понимала. Минуту раньше, до мига дарованного ей познания, она, быть может, пощадила бы его. Но теперь у нее не было жалости к этому ничтожному человеку.

«Тебя хитростью заставили подписать этот документ?» — спросили ее.

— Да, — ответила она решительно. — Дядя Проспер

сказал мне, что это чистейшая формальность. Он дал мне слово, что если я подпишу, мне ничего не будет.

Припертый к стене, дядя Проспер сделал вид, что он очень рассержен.

— Ведь я тебе уже объяснил,— сказал он раздраженно,— что это не суд. С тобой здесь говорят не как с обвиняемой. Речь идет об административных мерах.

— Но о каких же мерах может вообще идти речь? — воскликнула Симона. — Ведь все, что сказано в этой бумаге, неправда, и всем вам это известно. Вы, мосье супрефект, распорядились, чтобы дядя Проспер разрушил гараж, и дядя Проспер обещал вам, что, когда будет нужно, он это сделает. Но когда было нужно и он этого не сделал, сделала это в самую последнюю минуту я, потому что иначе все бы осталось в целости. Вы все знаете, что это было так. Весь Сен-Мартен это знает.

Мэтр Левотур указал на злополучную бумагу.

— Ваше письменное признание, мадемуазель,— произнес он любезно, не повышая голоса,— говорит о другом.

Тогда маркиз, с ледяной иронией, сказал супрефекту:

— Я восхищаюсь вашим долготерпением, господин супрефект.

Супрефект, получивший в такой форме предупреждение, напыжился, словно собирался сказать что-то решительное, но, так и не собравшись, опять раскис и только машинально все продолжал постукивать большим карандашом по мягкому зеленому сукну, обводя присутствующих рассеянным взглядом. Вид этой растерянности подсказал Симоне, что ей уготовано нечто страшное.

— Кончайте же, наконец,— потребовала она мрачно. — Скажите мне наконец, что вы хотите со мной сделать? Что они хотят со мной сделать, дядя Проспер? — обратилась она к мосье Планшару.

Наступило короткое молчание. Потом мосье Ксавье сказал:

— Они хотят отправить тебя в «Зверинец», Симона.

Черно-серый и мрачный предстал перед присутствующими этот страшный дом, исправительное заведение в Франшевиле. Когда-то, уже давно, а затем еще

раз, два года назад, вокруг него был поднят громкий скандал. Слухи о чудовищных избиениях и мучительствах, каким подвергали там воспитанников, проникли в газеты и вызвали горячие дебаты в палате депутатов. Были опубликованы фотографии дома, фотографии слоняющихся по дортуарам, коридорам и пустынному двору забитых подростков, со злыми, отупелыми, запуганными лицами. И вот теперь, когда прозвучало бытовавшее в народе название этого дома, перед всеми возникли образы истерзанных, униженных юношей и девушек.

Но от этих мрачных картин все тотчас же возвратились к действительности. Вернул их крик. Кричала Симона. Кричала истощенным, пронзительным детским криком.

Когда мосье Ксавье открыл ей страшную правду, она в первую секунду восприняла только звук его слов. Она видела, что все лица обращены к ней — иные смущенные, иные каменные, злые. Она хотела заглянуть в лицо дяди Проспера, но он опустил голову, и она видела только обрамленный волосами лоб. Но уже в следующую секунду слова мосье Ксавье дошли до ее сознания, и, так как она обладала даром живого воображения, она мысленно перенеслась во все то, что означал для нее франшевилльский исправительный дом, о котором она столько слышала. Увидела себя среди его обитателей, слоняющуюся по двору и по коридорам. Увидела свое собственное лицо, такое же злое, отупелое, запуганное, мертвое, как лица всех в этом доме. Страх захлестнул ее, страх перед черными годами, когда ее замуруют в этом склепе; волна страха начисто смыла всю ее рассудительность, и тогда она закричала этим пронзительным, детским, страшным криком.

— Ай, ай, ай,— кричала она.— Ни за что, ни за что на свете. Неправда, что люди в Сен-Мартене хотят этого. Только не «Зверинец». Это предательство. Только не «Зверинец».

И вот случилось так, что крик ее проник сквозь запертые двери в приемную и в коридоры, и кто-то, перепуганный, открыл дверь, и в приемную и коридоры старинного здания на крик бежалось множество людей.

Симона смотрела на этих людей, знакомых и незнакомых.

— Они хотят бросить меня в тюрьму, — закричала она им. — Они хотят запереть меня в франшевильский дом. За то, что я сожгла бензин и гараж, за то, что я не хотела, чтобы все это попало в руки бошей, меня бросают в тюрьму. Этот гадкий человек, — и она указала на дядю Проспера, — обещал мне, что если я подпишу какую-то бумагу, это будет хорошо для вас и мне ничего не сделают. А теперь они все переврали по-своему и хотят запереть меня в «Зверинец». Не допустите этого, не молчите. — Она дышала прерывисто, она всхлипывала.

Мадам своим обычным, холодным, тихим голосом сказала мосье Корделье:

— Надо кончать, Филипп.

Супрефект, страшно нервничая, теребя розетку, крикнул:

— Закройте там по крайней мере дверь.

И один из чиновников, бывших в приемной, закрыл дверь.

Симона, обессиленная, упала на стул. Она всхлипывала. Но это продолжалось недолго. Она вспомнила о своем решении. Она не позволит украсть у нее смысл того, что она сделала. Она выдержит испытание. Она переживет лихолетье. Это решение сразу же влило в нее силы. Она чувствовала, как силы эти растут. Однажды она видела в кино, как на протяжении минуты из зерна выросло могучее развесистое дерево. Так вместе с решением крепили и силы Симоны.

Она вытерла лицо своим несвежим платком. Потом, гораздо спокойнее, уже владея голосом, сказала:

— Я подожгла гараж для того, чтобы он не достался бошам. Вы бросаете меня в тюрьму только за то, что я против бошей. Вы хотите, чтобы никто не знал, что это было сделано против бошей. Но все это знают. И я молчать не буду. И вам не дадут убить меня. Люди в Сен-Мартене не допустят, чтобы вы меня убили. Франция этого не допустит. Я буду повторять снова и снова, что вы лжете. Я имела в виду не мадам, я имела в виду бошей.

Пока она говорила, рассудительный мосье Ксавье совершил самый безрассудный поступок в своей жизни. С трудом сдерживаемым, ровным шагом, крепко сжав очень красные губы, со вздутым родимым пятном на правой щеке, с потемневшими от гнева живыми глазами, маленький человек подошел к двери, которую только что закрыли, и распахнул ее. Люди в приемной не разошлись. Наоборот, их стало еще больше; приемная была полна народу, стояли голова к голове. Симона без помехи подошла к порогу. Люди хранили молчание. Она сказала им:

— Передайте всем: я сделала это, чтобы бонам ничего не досталось.

Поведение мосье Ксавье, видимо, забавляло маркиза.

— Никогда не думал, мосье, — сказал он, усмехнувшись и слегка покачав головой, — что взрослый человек может ради ребяческого жеста поставить на карту свое служебное положение.

Мосье Ксавье ничего не ответил и даже не взглянул на него.

Зато супрефект вздрогнул. Неопределенно скосив глаза в ту сторону, где в толпе промелькнул жандарм Гранлуи, он сказал:

— Полагаю, что следует положить этому конец. — И, обратившись к Симоне, он, словно в оправдание себе, сказал: — Я здесь в некотором роде только исполнительная инстанция.

Жандарм медленно, перешително прокладывал себе дорогу в толпе и наконец подошел к Симоне. Она сказала ему:

— Сейчас, мосье.

Она оглядела собравшихся, одного за другим, красноречивым взглядом простилась с мосье Ксавье, пристально, словно стараясь запечатлеть в памяти, взгляделась в падменное, холодное лицо маркиза, гладкое, злое — мэтра Левотура, широкое, расплывшееся лицо мадам, в упор посмотрела в белесые прищуренные глаза супрефекта. Мосье Корделье поежился под ее взглядом, мэтр Левотур сохранил безучастное выражение лица, мадам же ответила открытым взглядом, и на ее лице снова мелькнула прежняя едва заметная усмешка.

Осталось только заглянуть в глаза дяде Просперу. Но, как она ни пыталась, она не увидела его глаз, он не поднимал головы. Тогда она сказала ему:

— Вы нехороший человек, дядя Проспер.— Затем спокойно последовала за жандармом Гранлуи.

Опять, в последний раз, шла она по знакомым коридорам дворца Нуаре.

— Полагаю, мадемуазель,— сказал жандарм,— нам лучше выйти черным ходом. У главного большое скопление публики.

Но консьерж сердито огрызнулся:

— У черного хода тоже большое скопление публики. Вы с таким же успехом можете выйти через парадный ход. Машина ждет здесь.

Он проводил их к главному подъезду. Большие красивые ворота обычно бывали закрыты, в них была узкая калитка, ею и пользовались посетители, бесчисленное множество раз Симона проскальзывала в нее. Сегодня же консьерж обстоятельно и мрачно распахнул ворота настежь.

Симона заморгала, когда свет залитой солнцем площади хлынул в сумрачный вестибюль. Площадь была густо усеяна народом, море светлых и смуглых лиц надвинулось на Симону. Шепот пронесся по толпе, когда Симона в сопровождении жандарма появилась в воротах. Потом наступила глубокая тишина.

Чтобы подойти к стоянке машин, Симоне и жандарму надо было пересечь площадь; на противоположной стороне стояла машина, очевидно предназначенная для Симоны, высокая, черная и закрытая. Толпа, пропуская Симону, расступилась, и образовался свободный проход. Когда она приближалась, люди умолкали. Те, кто был в шляпах или фуражках, обнажали головы.

Так шла она к ждавшей ее машине, и жандарм нес маленький узелок с ее вещами.

Вдруг какой-то старик протиснулся вперед и остановил Симону. То был папаша Бастид. Румяное лицо его, обрамленное белоснежными волосами, подергивалось. Он подошел к ней почти вплотную. Угловатым движением протянул ей что-то,— по-видимому, книгу, тщательно завернутую и перевязанную шпагатом:

— Вот, вот,— проговорил он; старик, всегда такой речистый, не находил слов.— Прощай, малютка,— сказал он.

— Прощайте, папаша Бастид,— ответила она.

Она была уже у машины. Внутри, в полумраке, она увидела силуэт безобразной женской фигуры.

Симона повернулась. Долгим взглядом, в последний раз, окинула солнечную площадь, благородный фасад дворца Нуаре, людей, которые все, как один, обратили к ней лица. Так стояла она перед открытой дверцей машины, жандарм положил вещи внутрь, чернота кареты ждала ее.

Но тут толпа, все время стоявшая безмолвно и неподвижно, пришла в движение. Взметнулись руки для прощального приветствия, женщины и девушки плакали, жандарм стал во фронт, раздались возгласы:

— Прощай, Симона! Прощай, Симона Планшар! Не падай духом, Симона! До свидания, Симона! Мы не забудем тебя, Симона Планшар! Мы вырвем тебя оттуда, Симона!

— Прощайте,— сказала Симона своим красивым, звучным голосом, она казалась совершенно спокойной.— Прощайте, родные. До свидания.— Она увидела, как много у нее друзей. Она думала: «Я должна оправдать их любовь, я должна быть достойной дочерью Пьера Планшара». Она не испытывала никакого страха. Решимость, рожденная познанием, закалила ее.

Под бурю возгласов она вошла в старую колымагу, в которой ее ждала безобразная женщина. Треща и крихтя, машина тронулась. Симона удалялась навстречу черным годам ожидания, унося в памяти прощальные возгласы своих сограждан, а в сердце — уверенность, что она выдержит испытание.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗГНАНИЕ

Стр. 30. *Ксантинна* — жена философа Сократа, отличавшаяся, согласно преданию, крайней сварливостью.

Стр. 64. *Разве Гете, Шекспир, Готфрид Келлер только и делали, что сочиняли?* — Гете был естествоиспытателем и министром герцогства Саксен-Веймарского, Шекспир — актером, швейцарский писатель-реалист Готфрид Келлер (1819—1890) долгое время был муниципальным советником города Цюриха.

Стр. 68. *Как вам известно, я — виталист...* — Витализм — идеалистическое направление в биологической науке, объясняющее все явления жизни особой, духовной по своей природе и непознаваемой «жизненной силой».

Стр. 71. *Daimonion*. — Так называл Сократ свой «внутренний голос», якобы удерживавший его от неразумных поступков.

Стр. 77. *Штампц Йоганн* (вернее Стампц Ян) (1717—1757) — чешский композитор и дирижер.

Стр. 93. *Капуя* — в древности город в Италии. Здесь карфагенский полководец Ганнибал (247—189 до н. э.) после победы над римлянами в битве при Каннах дал кратковременный отдых своим войскам, во время которого они якобы изнежились и утратили боевой дух.

Стр. 94. *...притча о Давиде, отбившем Вирсавию у своего царедворца Урии*. — Царь Давид, увидев купающуюся Вирсавию, жену полководца Урии, пожелал взять ее в жены, а Урию отправил в поход, с тем чтобы он наверняка погиб. Урия был убит, а Вирсавия сделалась царицей и родила Соломона.

Стр. 94. *Берхтесгаден* — баварский городок, где находилась резиденция Гитлера.

Стр. 100. *Иеговисты* — члены секты «Свидетели Иеговы».

Стр. 101. *Гораций прав*. — Речь идет о советах, которые Гораций дает молодым поэтам в своем стихотворном послании «Поэтическое искусство».

Стр. 103. *Evasit, erupit* — слова Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.) из его Второй речи против Катилины — по поводу бегства Катилины из Рима, где его заговор был раскрыт.

Стр. 105. ...*улыбка... эгипетическая*.— Эгинеты — мраморные фигуры, украшавшие фронтоны храма Афины Паллады на острове Эгина в VI в. до н. э.; как у всех архаических греческих статуй, на лице их изображена застывшая улыбка.

Стр. 131. *Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée* (франц.) — название одной из пьес Альфреда де Мюссе (цикл «Комедии и пословицы»).

Стр. 146. *Гиперборейцы* (греч. миф.) — жители сказочной северной страны.

Стр. 168. *Гибрис* (греч. «дерзость») — так греки называли чрезмерное самомнение смертных перед лицом богов. «Гибрис» Ниобы заключалась в том, что она, имея четырнадцать детей, возомнила себя выше богини Латоны, матери двух детей — Аполлона и Артемиды. «Гибрис» Ксеркса, царя Персии (486—465), в том, что он во время похода на Грецию перегородил мостом Геллеспонт (Дарданеллы).

Стр. 175. «*Утром ты будешь говорить...*» — Библия, Книга Пророка Исайи, глава 17, стих 14.

Стр. 180. ...*рассылает всем... политическим деятелям кантовский «Вечный мир»*.— Имеется в виду книга Иммануила Канта (1724—1804) «О вечном мире» (1795), где автор проводит мысль о необходимости установления мира.

...*волка пастись рядом с ягненок*.— Намек на текст из «Книги Пророка Исайи», глава 11, стих 6: «Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их».

Стр. 186. *Берта фон Зуттнер* (1843—1914) — австрийская писательница-пацифистка, лауреат Нобелевской премии мира 1905 года, автор пашумевшего романа «Долой оружие» (1889).

Майер Конрад Фердинанд (1825—1898) — швейцарский писатель, поэт, романист и новеллист, известный своими произведениями на исторические темы.

Стр. 202. *Нюрнберг — Рихард Вагнер ...чарами своей музыки представил на сцене...*— Речь идет об опере Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Либретто написано композитором в 1862 г. по нюрнбергской хронике XVII в.

Нюрнберг Альбрехта Дюрера...— Знаменитый немецкий

живописец, гравер, гуманист, теоретик искусства, Альбрехт Дюрер (1471—1528) родился и обучался в Нюрнберге, затем открыл в нем мастерскую и основал свою школу. При этом Нюрнберг обязан был выплачивать Дюреру, как городскому живописцу, сто гульденов в год.

...днем Фейт Штосс теорил искусство... а ночью пользовался своим искусством, чтобы подделывать ценные бумаги.— Известный немецкий скульптор, живописец, резчик по дереву, гравер Фейт Штосс (ок. 1450—1533) за подделку денежных документов неоднократно карался тюремным заключением и наложенным клейм на обе щеки.

Стр. 204. *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский писатель и поэт, виднейший представитель импрессионизма.

Вассерман Якоб (1873—1934) — немецкий писатель.

Эрлих Пауль (1854—1915) — выдающийся немецкий ученый, врач, бактериолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии, автор теории кроветворения.

Герц Генрих Рудольф (1857—1894) — знаменитый немецкий физик, занимавшийся, главным образом, вопросами электродинамики; создатель теории открытого вибратора, излучающего электромагнитные волны.

Габер Фриц (1868—1934) — видный ученый-химик, один из создателей немецкой химической промышленности. С приходом фашистов к власти был отстранен от работы.

Стр. 214. *Ad maiorem gloriam tertii imperii* (лат. «к вящей славе третьей империи») — перифраз девиза иезуитского ордена «ad maiorem Dei gloriam» — к вящей славе господней.

Стр. 216. *Талес* — молитвенное облачение евреев, белый с черными полосками плащ, падеваемый внакидку; облачение это — траурное и надевается в память о разрушении Иерусалимского храма.

Стр. 219. *Достаточно нажать кнопку, и мандарин умирает.* — Намек на разговор Эжена Растиньяка с медиком Бьяншоном из романа Бальзака «Отец Горю».

Стр. 240. *«Безумство, ты превозмогло»* и *«Будь проклят тот»*... — Слова английского полководца Тальбо из драмы Шиллера «Орлеанская Дева» (действие третье, явление шестое).

Стр. 244. *«Когда встречаются два авгура»*... — авгуры — в Древнем Риме — жрецы, ведавшие гаданием. Цицерон, считавший их обманщиками, говорил, что не понимает, как два авгура, встретившись, могут не смеяться друг над другом.

Стр. 246. *Après nous la déluge!* (франц. «После нас хоть потоп!») — слова, сказанные маркизой Помпадур Людовику XV (1710—1774) после сражения при Росбахе.

Стр. 256. *Ханука* (древнееврейск. «обновление, освящение») — еврейский праздник, установленный в память возобновления богослужения в Иерусалимском храме в 165 г. до н. э. после победы иудейского вождя Иуды Маккавея и его братьев над сирийским царем, Антиохом Епифаном.

Стр. 269. *Ульрих Вюртембергский объявляет себя ее покровителем.* — Ульрих, герцог Вюртембергский (1487—1550), обратился к лже-Жанне, чтобы с помощью ее «ясновидения» разрешить спор между двумя прелатами, с оружием в руках оспаривавшими право на архиепископство Тревское.

Жиль де Рэ — Жиль де Лаваль, барон де Рэ, по прозвищу «Синяя борода» (1404—1440) — французский маршал, один из полководцев Карла VII, сражавшийся под Орлеаном вместе с Жанной д'Арк, был одним из самых близких ее друзей и соратников. Впоследствии он был осужден церковным судом и сожжен, якобы за противоестественные пороки и оргии, устраивавшиеся у него в замке, а также за то, что он занимался магией и алхимией.

СИМОНА

Роман «Симона» вышел впервые в английском переводе, в американском издательстве «Викинг Пресс» (1944 г.). В оригинале «Симона» вышла впервые в 1945 г. в Амстердаме («Нейе Ферлаг»). По-русски «Симона» была напечатана сперва в журнале «Октябрь» (№ 5—6 и № 7 за 1945 г.), затем вышла отдельным изданием в Гослитиздате (1946 г.).

Стр. 292. *Генерал Грамон* (1604—1678) — Антуан, граф де Гиш, герцог де Грамон, французский полководец эпохи Людовика XVI, прославившийся в войне с испанцами во Фландрии.

Стр. 302. *Двести семейств* — представители могущественной финансовой олигархии (монополии «Комитэ де Франс», «Комитэ де Форж», «Шнейдер-Крезос», «Сен Гобен», «Кюльман» и др.), фактически правившие Францией с начала XX века и направлявшие ее внешнюю и внутреннюю политику на путь реакции и сближения с фашизмом.

Стр. 310. *Вейган* Максим (1867—1965) — французский во-

енный деятель, сообщник Петена, связанный с фашистским заговором кагуляров, один из руководителей правительства Виши, генерал-губернатор Алжира и уполномоченный во Французской Северной Африке.

Стр. 311. *Кагуляры* — члены фашистской организации «Кагуль» (от *франц. saoule* — капюшон), имевшей целью установление фашистской диктатуры во главе с маршалом Петеном. Заговор кагуляров был раскрыт в 1937 г., но правительство, инсценировав «суды», фактически прикрывало заговорщиков.

Фланден Пьер-Этьен — политический деятель, министр иностранных дел вишийского правительства в 1940—1941 гг.

Ливаль Пьер (1883—1945) — французский политический деятель, один из главарей режима Виши и вдохновителей изменнической гитлеровской политики, приведшей к капитуляции Франции. После освобождения Франции бежал, но был выдан французским властям и в 1945 году казнен по приговору суда за государственную измену.

Восиз Жорж (род. 1889) — французский политический деятель, правый радикал, перед второй мировой войной был агентом гитлеровской Германии. В 1941 г. в качестве члена Национального совета правительства Виши явился одним из главных виновников военного поражения Франции.

Верденский пораженец — Петен (1856—1951), в период первой мировой войны потерпевший поражение при обороне Вердена в феврале—мае 1917 г.

Блюм Леон (1872—1950) — французский политический деятель, лидер правых социалистов, редактор центрального органа Французской социалистической партии «Попюлер».

Стр. 336. ...*статуя из Домремийского музея*. — В 1843 г. Луп-Филипп Орлеанский поставил в домике Орлеанской Девы бронзовую статуэтку Жанны в полном вооружении.

Стр. 339. *Робер де Бодрикур* — наместник дофина Карла и капитан города Вокулера.

Стр. 341. ...*о герцоге Жорже де ла Тремуе... дофин задолжал ему*. — Де ла Тремуай (1385—1446) был советником-камергером при дофине Карле, а также крупнейшим ростовщиком королевства; так, в 1428 г. он одолжил королю двадцать семь тысяч ливров золотом под залог земель и замков.

Стр. 351. *«Сапожник, знай свои колодки!»* — Согласно преданию, слова, сказанные знаменитым древнегреческим живописцем Апеллесом некоему сапожнику, который сделал ему за-

мечание по поводу того, как была выписана обувь одного из героев, изображенных на картине. Художник выслушал внимательно и стал исправлять рисунок; но, как только сапожник стал критиковать другие фигуры, Апеллес оборвал его.

Стр. 357. *Мой великий предок...*— Де ла Тремуи считали, что происходят от Торизмунда, сына царя вестготов Теодориха. Торизмунд был победителем Аттилы в грандиозной «битве народов» на Каталаунских полях (осень 451 г. н. э.).

Столетняя война — война между Англией и Францией в 1337—1453 гг.; причиной послужило столкновение английских и французских интересов на европейском континенте. Поводом к ней явились претензии на французскую корону со стороны английского короля Эдуарда III, который, являясь по женской линии представителем династии Капетингов, на этом основании оспаривал престол у Филиппа VI Валуа. Для Франции Столетняя война сделалась этапом в создании единого централизованного государства.

Стр. 443. ...самым заклятым из своих врагов — герцогом Бургундским.— Иоанн Неустршимый (1371—1419), герцог Бургундии, враждовал с Орлеанским домом и с дофином Карлом, вступив в союз с англичанами. Во время свидания с дофином близ Монтеро, где должно было состояться примирение противников, был предательски убит рыцарем из свиты дофина.

Стр. 444. *Катрин де Рошель* — лжепророчица и советчица Карла VII, интриговавшая против Жанны. В 1431 г. предстала перед судом церкви по обвинению в колдовстве, но была оправдана за то, что свидетельствовала против Жанны.

Стр. 445. *Изабо* — Елизавета Баварская (1371—1435), жена французского короля Карла VI Безумного. Из ненависти к сыну, дофину Карлу, впоследствии королю Карлу VII, пыталась, по договору 1420 г., передать французскую корону Генриху VI Английскому.

Стр. 446. ...загорелась страстью к его брату, любимцу женщины.— Имеется в виду Людовик Орлеанский, вместе с которым королева Изабо, борясь за власть, интриговала против короля. Был убит по приказу герцога Бургундского 23 ноября 1407 г.

Стр. 448. *Комендант Суассона* — капитан Бишар Бурнель из Пикардии, который присягал на верность Карлу VII, но предал его. Когда войско Орлеанской Девы подошло к Суассону, он впустил в город только Жанну, архиепископа Реймского и графа Вандомского. Войско осталось за воротами и, из-за

всепенного половодья, вынуждено было пуститься в обход, что дало возможность капитану Бишару тем временем продать город герцогу Бургундскому.

Стр. 447. *Королевским комендантом Компьена был сир Гийом де Флави.*— Гийом де Флави упорно отстаивал Компьен и от англичан, и от приверженцев герцога Бургундского; когда герцог предложил ему за большие деньги сдать город, он ответил, что Компьен принадлежит не ему, а королю; когда же сам король приказал ему капитулировать перед англичанами, он паотрез отказался.

Стр. 464. *Граф Иоанн Люксембургский.*— Граф де Линьи, взявший в плен Жанну д'Арк, командовал осадившей Компьень армией бургундцев, пикардийцев, фламандцев и англичан. Жанна считалась его боевой добычей, и он продал ее англичанам.

...старой графини Люксембургской и ее дочери...— Имеются в виду жена графа, Жанна де Бетюн, и его тетка, Жанна де Люксембург, фрейлина королевы Изабо, крестная мать Карла VII.

Пьер Кошон (ум. в 1442 г.) — один из главных инициаторов и руководителей суда над Орлеанской Девой, епископ, граф Бовэзский, член и с 1403 г. ректор Парижского университета, советник английского короля Генриха VI, канцлер королевы английской.

Генерал Тальбот — английский полководец, Джон Тальбот, граф Шрусбери (1373—1453), главнокомандующий английскими войсками во Франции. После снятия осады с Орлеана был ранен и взят в плен, но Карл VII освободил его без выкупа. Впоследствии Тальбот потерпел поражение и был убит в битве с французскими войсками при Кастильоне.

Стр. 469. *Гийом Эрар* — знаменитый проповедник и ученый, каноник церкви в Бовэ. Увещаая Жанну отречься и покаяться, произнес проповедь на текст из Евангелия от Иоанна: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (глава XV, стих 4).

Стр. 474. *...английский кардинал...*— Генрих Бофор, сводный брат короля Генриха IV, епископ Винчестерский, кардинал и одно время королевский канцлер. Один из главных врагов Жанны, добивавшийся ее сожжения; председательствовал на суде, вынесшем Деве смертный приговор.

Стр. 504. *Никола Миди.*— Доктор теологии Никола Миди вместе с Жанной взшел на эшафот и произнес проповедь на текст

из Первого послания к коринфянам апостола Павла: «Посему, страдает ли один член, вместе с ним страдают все члены» (глава XII, стих 26).

Стр. 505. *Никола, аббат из Жюмьежа* — один из восьми священников, приглашенных на дом к епископу Бовэзскому 9 января 1431 г. в качестве консультантов для ведения следствия по обвинению Жанны д'Арк в колдовстве и ереси.

Каноник д'Эстивэ. — Жан д'Эстивэ, каноник Байе и Бовэ, друг Пьера Кошона, был настроен враждебно по отношению к Жанне, так как граждане Бовэ, отдавшись под власть Карла VII, отказались выплачивать церковные доходы д'Эстивэ.

Стр. 506. *Герцог Бедфордский* — Иоанн Плантагенет, третий сын английского короля Генриха VI, регент Франции во времена господства англичан. Был главным противником Орлеанской Девы и организатором суда над ней и казни.

Ричард Глостер (1452—1483) — герцог Глостер, брат короля Эдуарда IV, впоследствии английский король Ричард III.

Страшная кончина постигла и Генриха Шестого Английского... — Генрих VI умер насильственной смертью 21 мая 1471 г. после почти шестилетнего плена, умер с сознанием, что дело его династии окончательно проиграно, и корона Англии перешла к его сопернику Эдуарду IV.

...его собственный сын восстал против него. — Конец царствования Карла VII был омрачен интригами дофина, впоследствии французского короля Людовика XI (1461—1483); так, дофин принимал участие в восстании дворянства против короля (1440), затем вступил во второй брак против воли отца, женившись на Шарлотте Савойской, и, в конце концов, бежал в Брюссель к герцогу Филиппу Бургундскому, который, после смерти Карла VII, помог ему взойти на престол Франции. По преданию, Карл VII уморил себя голодом, опасаясь быть отравленным своим сыном.

Стр. 507. *Тома де Курсель* — один из судей Жанны на руапском процессе в 1431 г., богослов, профессор Парижского университета. Тома де Курсель выступил защитником Орлеанской Девы на пересмотре этого процесса в 1450 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗГНАНИЕ

Перевод И. Горкиной и Р. Розенталя

Книга третья. «Зал ожидания» 7

СИМОНА

Перевод И. Горкиной

Часть первая. Катастрофа	285
Часть вторая. Деяние	363
Часть третья. Прозрение	431
Примечания Р. Миллер-Будницкой	528

Лион Фейхтвангер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том шестой

Редактор *Н. Высоцкий*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *М. Поздилькова*
Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 16/II 1965 г. Подписано к печати 9/IV 1965 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂. 16,75 печ. л. = 28,14 усл. печ. л. 25,73 уч.-
изд. л. Тираж 300 000 (1—130 000) экз. Заказ № 2819.
Цена 1 р.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Полигиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.

1296.